ГАЙДАР





Борис Камов

ТЫСЯЧИ ТИМУРОВЦЕВ ПОМОГАЮТ СВОЕЙ СТРАНЕ ОДЕРЖАТЬ ПОБЕДУ НАД ПОДЛЫМ И ХИЩНЫМ ВРАГОМ

РЕБЯТА!

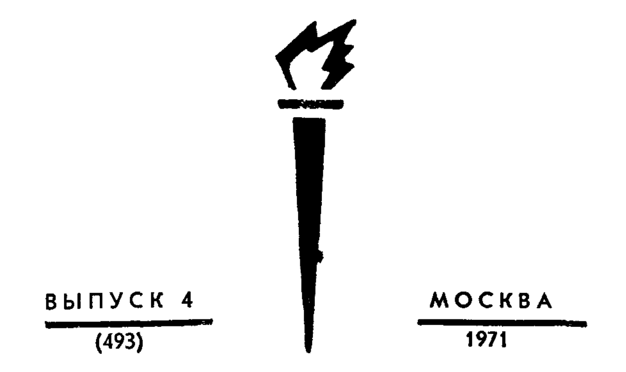


ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Жизнь
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ
ЛЮДЕЙ

Серия биографий

ОСНОВАНА
В 1933 ГОДУ
М. ГОРЬКИМ



ВЫПУСК 4
(493)

МОСКВА
1971

Борис Камов

ОБЫКНОВЕННАЯ БИОГРАФИЯ

(Аркадий Гайдар)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
ЦК ВЛКСМ
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

8Р2
К18



Арх. Гайдар

часть первая

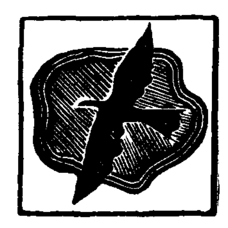


„ВСЕ ЭТО ОЧЕНЬ СТРАННО, НО ВСЕ ЭТО БЫЛО...“

Я... всегда с большой теплотою вспоминаю огневые зори на вражьих фронтах — боевую школу, в которой прошли мои лучшие мальчишеские годы.

Аркадий Гайдар,
автобиография
«Командир отдельного полка»

ПРОБУЖДЕНИЕ



Он вскочил среди ночи от толчка неясной тревоги. И первая мысль: «Где я?!»

...За пять с лишним лет службы в армии он спал на чистых нарах казарм и грязном полу случайных изб, на белоснежных койках госпиталей и в навозных хлевах, на полках щелястых теплушек и на спокойных палубах речных барж, в пахнущих могилами погребах и возле жарко тлеющих стволов лиственниц в снегу.

А то бывало: не слышно топота тряпками обмотанных копыт, не брякнет сабля, не звякнет котелок. И только ходят под тобой теплые бока верного усталого коня, успокаивая и убаюкивая.

И вдруг не выдержит, прикроет веки. И хотя знает, не прошло и минуты, — тут же вздрогнет, испуганно их откроет. И чувствует — отдохнул.

Но засыпал ли он на два часа или на несколько минут — о том, что можно спать целую ночь, он уже забыл, то есть забыл, когда сам спал целую ночь, — он вскакивал всегда с одной и той же мыслью: «Где я?!»

Это испуганное «где я?» ждало ответа каждое утро, вернее каждую ночь, потому что просыпался он обычно задолго до рассвета, обходил посты, наведывался в штаб, а потом, выйдя снова на улицу, долго вслушивался, прикрыв глаза, в звуки ночи, безошибочно отличая пьяные шаги от крадущихся, стук открываемой калитки от стука хлопаемой ветром, а далекий топот копыт от перебора копытами лошадей, стоящих на конюшне.

И даже вроде успокоенный порядком, за которым следил круглые сутки, успокоенный ровными звуками ничем не потревоженной ночи и четкими, шепотом, докладами часовых, редко если ложился опять: ждала работа.

Но если ложился, то, как в колодец проваливаясь, засыпал. И сны были напряженные, тяжелые, где то, что было, перемешивалось с тем, что могло быть и чего он опасался. И, просыпаясь, в испуге снова спрашивал себя: «Где я?», потому что, ко многому привыкнув за свою бродячую жизнь, никак не мог привыкнуть к почти ежедневному мельканию городов, станиц, сел, хуторов, рек, дорог, озер, лесов, в которых или близ которых приходилось делать привал или останавливаться на ночлег.

И, открывая глаза, должен был мгновенно представить, куда приехал с отрядом вечером, где посты, как относится к нашим население, далеко ли противник... Только вспомнив и представив все это, понимал, что́ нужно делать немедля, а что погодя.

Но все это требовало времени. Много времени. Поначалу, может быть, целой бесконечной минуты. Потом, правда, свел его до нескольких секунд, но все равно считал, что это непростительно много, и если тревога опять застанет его во время сна, из-за его медлительности будет потеряно время, которому нет цены.

Этот страх за утерянные секунды поселился в нем еще в августе девятнадцатого, когда их, курсантов командных курсов, только накануне произведенных в командиры, бросили под Фастов. И все они в ожидании предстоящего утром боя заснули. (Задремали и сморенные тридцатикилометровым маршем часовые.) А петлюровцы нагрянули на рассвете.

Став полуротным в тот же день, потому что Яшку Оксюза в начале боя почти сразу убило (не засни часовые, может, Яшка жил бы до сих пор), он поклялся: пока будет жить, пока будет командовать, у него такое не случится.

И в самом деле не случалось — ценой таких вот испуганных пробуждений. Ценой того, что разучился спать.

И сейчас, когда он испуганно вздрогнул, сбросил одеяло и сел, он перво-наперво осмотрелся. Он спал в большой комнате с высоким, в полумраке казалось, бесконечным потолком. На окнах висели плюшевые, верно, до революции дорогие шторы, которые не были задернуты. И он видел часть светающей Москвы, то есть срезанный рамой кусок неба цвета мыльной воды, последний этаж и крышу дома на другой стороне Тверской и еще другие. утыканные трубами крыши.

Он подозрительно, одними глазами, обвел комнату, пытаясь понять, что его разбудило.

Середину комнаты занимал овальный, благородного дерева стол без скатерти и несколько стульев. На спинке одного висел френч, новый, парадный, нарочно с вечера выглаженный. При виде френча внутри что-то

заныло, и ему показалось: он понял, отчего проснулся.

Сразу захотелось пить.

Он прошлепал босыми ногами по гладкому, маслом крашенному полу, взял стоящий на столе вместо графина умывальный кувшин, отпил несколько больших глотков, как, бывало, пил прямо из ведра в походе. И снова лег, натянув одеяло и чувствуя, что его начинает познабливать — то ли от холода в комнате, то ли еще от чего.

...Командирский этот френч ему выдали под Моршанском, когда принял 58-й полк. Там же познакомился с Марусей, а на другой день его ранило.

Этот приветливый папаша, к которому он однажды заезжал с бойцами спросить дорогу и который почти силой напоил их всех молоком и дал еще с собою самосаду, через неделю, когда, преследуя банду, они мчались тем же селом, мимо того же крытого железом дома, папаша этот (он помнил свое изумление и свою ярость) вырос вдруг из-за плетня и, как булыжник в собаку, швырнул круглую бомбу-самоделку под ноги его коню.

Хирург вынул потом из распухшей руки (очень боялись заражения крови) два похожих на чугунные черепки осколка (они безобидно звякнули, падая в таз) и долго возился, сшивая разорванное правое ухо.

«Вы молодой человек, — ласково говорил хирург, — ухо у вас должно быть красивым».

Осколков он так ни одного и не взял — устал от боли: болела рука, болело ухо, но сильнее всего болела контуженная взрывом голова. (Потом, конечно, пожалел, что не взял: при случае, за столом с друзьями, можно было бы вынуть и показать.)

А когда перенесли его в палату (пришлось немного подождать, пока кого-то убирали *вниз*), вдруг отворилась дверь и быстро, бесшумно вошла Маруся.

Он даже вскрикнул.

А Маруся подошла, села рядом, положила руку на его совсем горячую голову и сказала:

«Я тебя весь день после боя искала. Больно тебе, милый?»

А он ответил:

«Наплевать, что больно, Маруся. Отчего ты такая бледная?»

«Ты спи, — ответила Маруся. — Спи крепко. Я около тебя все дни буду».

Потом выяснилось, какой-то дурак ей сказал: «Комполка убило. Я сам видел: разорвало бомбой на кусочки», и она прибежала, думая, что его уже нет.

Первые дни Маруся в самом деле от него ни на шаг не отходила. Другие раненые, правда, не обижались, просто немного завидовали и, случалось, просили что подать или чем помочь. Она откликалась на просьбы приветливо и готовно. Солдаты звали ее «наша сестренка».

...Когда после выписки получил в каптерке свои вещи и переоделся, все на нем было мятое, стыдно выйти. В особенности френч. Но Маруся сказала: «Ничего, придем — отгладим».

И действительно, когда пришли, Маруся велела френч ему снять и тут же принялась гладить: отпарила борта, рукава, ни складочки на спине, потом повесила френч на спинку стула, не велев трогать, чтобы теплое, отпаренное не помялось.

И сразу стала готовить ужин.

И он вдруг понял: она его стесняется.

...Хотел всем ее показать, но целых два года не удавалось попасть домой. И только получив направление к новому месту службы — в Сибирь, — сумел ненадолго заехать с Марусей в Арзамас.

Но мама все еще была в Средней Азии. Послали ее туда на три месяца, а задержали на год.

С отцом он тоже разминулся: отец приезжал незадолго перед тем в отпуск, наготовил дров, посадил огород, поправил кое-что по хозяйству и уехал обратно в Новониколаевск, в полк, где служил комиссаром.

Но тетке Дарье Алексеевне, которая вела весь дом, и сестришкам (звал сестер сестришками) Маруся понравилась сразу: не успели они сойти с поезда, как Маруся в переднике уже помогала на кухне, вечером что-то штопала и шила, а утром с веником и тряпкой уже мела пол и обтирала пыль с таким проворством, словно родилась и выросла в этом доме и не собиралась из него никуда уезжать.

И две эти недели они прожили беззаботно и весело: ходили гулять на Сороку, маленькую речушку, когда-то перегороженную плотинами и превращенную в чистые, проточные пруды; ходили по лесу и березовому перелеску,

где он раньше, до армии, просиживал целыми днями, слушая и подманивая своим свистом в ловушку птиц.

Он водил Марусю по местам, дорогим для него с тех пор, как помнил себя, и она за это над ним, как он немного побаивался, не смеялась, а наоборот, ей все нравилось, как нравились и те книги, которые он любил, снимая дома с полок то стихи Пушкина, то повести Гоголя и вслух читая ей по необъяснимой прихоти то «Пажа, или Пятнадцать лет», а то «Сорочинскую ярмарку», и, бывало, тут же, развеселившись, отбрасывал в сторону книгу, чтобы подурачиться.

Он напяливал на себя теткины платья, представляя то жадную и хищную богомолку, которая истово крестится на иконы, а сама, воровски стреляя глазами, высматривает и вынюхивает, что есть в доме, а то стриженную после тифа девицу, которая кокетливо смущается, что у нее короткие волосы.

Или вдруг хватал Марусю, Катю, Олю, по одной или всех вместе, и, опрокидывая стулья, носился с ними по дому, а потом, выбежав во двор, где было просторно и морозно, и не выпуская из рук ни одну из них, начинал под страшенный визг быстро-быстро кружиться на месте, изображая теперь ярмарочную карусель.

Тетка Дарья, услышав крики и визг, тоже выбегала во двор и умоляла его успокоиться, потому что он сейчас кого-нибудь уронит и разобьет или простудит, а ему уже не остановиться.

Поездка с Марусей домой — это было самое счастливое время с той поры, как кончилось детство. Маруся тоже часто очень вспоминала Арзамас, и они решили, что при первой же возможности поедут опять: хоть на недельку, хоть на один день.

И поехали: у него был длинный, полугодовой отпуск — по болезни.

Уже вернулся из армии отец, и приятно было видеть, как ласково и добро он принял Марусю и сколько приветливости и милой заботы проявляла Маруся к отцу, понимая, что отец на войне от такой заботы отвык, и в пустом доме, который отцу пришлось обживать теперь заново, вдвоем, с Талкою (Оля и Катя уехали к маме), хозяйственная женская рука и внимание к мелочам были нелишними.

...Что было затем, вспоминать не хотелось. Да он и не вспоминал. Наоборот, он гнал от себя это каждый

день, каждое утро и каждую ночь, но *это* все равно стояло перед глазами.

То есть ничего особенного как будто и не произошло. Они тихо, совсем тихо поссорились. Маруся написала письмо. За ней приехала сестра. И Маруся, бесслышно, как она делала все, собрав вещи, тихо, с мягкой улыбкой со всеми простилась.

Он, конечно, пошел на вокзал. Подсадил в вагон сестру, подал вещи, хотел помочь и ей, потому что ступеньки были высокие, платформа низкая, а Маруся маленькая и обиженная.

Но Маруся тихо сказала:

— Не надо... Я теперь уже сама.

И все эти месяцы после ее отъезда, против своей воли думая, как же получилось, что у них вдруг не получилось, он винил во всем себя — и за то, что был не прав, и за то, что там, в Арзамасе, не сумел сказать ей что-то самое простое и важное, что бы ее остановило.

И как ни бессмысленно это теперь выглядело, думая о ней, искал и находил те самые слова, которые могли бы остановить ее тогда в Арзамасе.

И, глянув еще раз на френч, отпаренный с вечера так, как она его учила, вдруг понял, что его разбудило:

«Увольнение!..»

Сегодня его увольняли из армии вчистую.

ПРОГУЛКА

Он вышел на улицу. Уже было светло. Мимо гостиницы, чуть замедляя ход, процокала пролетка. А в сторону Кремля, пофыркивая, плавно прошел «форд» с брезентовым латаным верхом и слюдяными окошечками.

Есть не хотелось, да и все еще было закрыто. Купил у заспанного мальчишки-разносчика свежую газету. Остановился. Пробежал на первой странице заголовки событий. Машинально глянул на число: «19 апреля 1924 года». Сунул газету («Дочитаю потом») в карман. Достал изогнутую трубку, набил ее табаком и закурил.

Идти к Медянцеву было рано. Впрочем, он и не спешил. Медянцев сказал: «Можете прийти в любое время...»

Но тянуть тоже было ни к чему. Это как на перевязке, когда нужно стиснуть зубы и дать сестре рвануть

присохший бинт. И он был готов. Только до того, как придет в последний раз к Медянцеву, нужно было кое-что решить. Решить это, наверное, можно было и раньше, но он все время тянул, ожидая заключения комиссии.

Правда, по некоторым признакам догадывался, что еще не вполне здоров, но, во-первых, надеялся, вдруг комиссия этого не заметит или посмотрит сквозь пальцы, а во-вторых, если и заметит, то — чем черт не шутит — возьмет и признает его хотя бы ограниченно годным. Это значило, что полк ему, конечно, в этом случае уже не дадут, батальон, по всей видимости, тоже, но в армии скорей всего оставят, а в глубине души он был теперь согласен на любую должность...

На комиссии врачи его окружили, и он с удовольствием, чуть заискивая, делал все, о чем его просили: дул в прибор для измерения объема грудной клетки (там сразу что-то чуть не сломалось), приседал, потом снова давал себя слушать, и один из докторов, не отрывая трубки от его груди, восхищенно произнес: «Как молот!»

Но когда он осторожно спросил, оставляют ли его служить (это уже после постукивания молоточком и после того, как вытянул перед собой по чьей-то просьбе руки с громадными бицепсами и сильными, растопыренными пятернями, а руки вдруг жалко, беспомощно задрожали, и он не мог ничего с ними поделать), врачи сникли, замкнулись, словно пять минут назад с ним не шутили.

А потом председатель комиссии вышел и сказал, что, к сожалению...

И теперь, когда до встречи с Медянцевым оставалось два, от силы три часа, ему нужно было все решить.

Это, конечно, была глупость, но, пока он еще не забрал в Реввоенсовете документы, он был командиром 58-го отдельного Нижегородского особого назначения полка, уволенным в длительный отпуск по болезни.

Получив же бумаги, становился просто гражданином Голиковым, социальное происхождение — сын учителя, имущественное положение — бедный, образование — незаконченный пятый класс реального, в отрядах белых, зеленых, Махно и Петлюры (ненужное зачеркнуть) не служил. Последняя занимаемая в армии должность такая-то, род занятий до службы в армии — не имеется...

Конечно, это было не совсем так. Еще в августе семнадцатого с правом совещательного голоса вступил в Арзамасе в партию большевиков, несколько месяцев работал секретарем в газете «Молот» и делопроизводителем в уездном комитете партии, о чем писал потом в анкетах.

Но себе-то он мог признаться, что там и тут был только мальчиком на побегушках. Да и было ему тогда всего четырнадцать.

И когда Ефимов записывал его к себе в отряд, до пятнадцати ему не хватало двух месяцев и четырех дней. И при оформлении документов пришлось допустить небольшую, год с лишним, неточность, иначе его бы не взял даже Ефимов, как не брали другие, хотя у Ефимова за него просила мама, которая боялась, что ее Аркадий убежит с первой подвернувшейся маршевой ротой. А так, полагала она, за сыном хоть присмотрит свой человек.

Вообще, всю жизнь ему необыкновенно везло, пока полтора года назад не началась полоса неудач и нелепостей. И как всякий человек, на которого неизвестно с чего посыпались беды, он стал не то чтобы суеверным, (над суеверием у них дома тайком от тетки смеялись) — просто ему было нужно разобраться, с чего же это началось.

И он стал вспоминать все с самого-самого начала...

САМОЕ НАЧАЛО

Льговский дом свой помнил смутно. Дом был несуразен, похож на большой амбар, только с окнами.

В одной части этого «амбара» жили они, то есть он, мама, папа, сестра Талка и нянька Варя. Няньке он говорил: «Ты только моя, нянечка» и не позволял брать на руки Талку, если Талка пищала.

Рядом был огород, молоденький сад и маленькие избушки с пчелами, а в пристройке — папин верстак.

Почти каждый вечер мама с папой брали тяжелые портфели с тетрадями, книгами и уходили «на работу», то есть в комнату через стенку. Если он вечером с нянькой гулял, то через стекло видел: мама или папа стоят при свете керосиновой лампы у черной стены, говорят или рисуют по черному белым мелом, а их ученики, такие же взрослые, как они сами, сидят, слушают и тоже

рисуют — только уже в тетрадках. И все это называлось школа.

И если ему говорили: «Скоро вырастешь — пойдешь в школу», — грустил: сначала, думал, надо вырасти, как папа.

А неподалеку стоял большой каменный дом с высокой трубой. Когда желтела трава и во всех садах, куда ни забежишь, угощают яблоками, бородатые мужики в лаптях с ременными кнутами провозили на телегах в распахнутые ворота грязную, всю в земле, белесую свеклу. И тогда, подвешенные высоко в небе, начинали бегать и опрокидываться маленькие вагонетки. Там, где они опрокидывались, росла гора жома. А на чистых возах через те же ворота увозили толстые мешки. Если мешок развязывался или падал, оттуда высовывалась белая сахарная головка в синей обертке. И все это называлось сахарный завод.

Папа носил такой же, как рабочие на заводе, картуз с лакированным козырьком. Мама ходила в длинном платье. Им часто было некогда. И когда днем все вместе обедали, он торопился, глотал не прожевывая и все спрашивал:

«Почему завод называется заводом?.. Почему свекла, которую возят на завод, белая, а которую мы едим в борще — красная?.. Она краснеет, как рак?..»

И еще однажды спросил: «Всех зовут Васька, Петька, Ванька, а я Аркашенька. Почему?» Мама рассмеялась: «Так звали моего папу».

После его рождения, оказывается, был даже спор: папа хотел дать имя своего отца. Мама не возражала, но ей не нравилось: «Исидор!» И тогда в честь другого деда назвали Аркадием.

Дед Аркадий Сальков был из промотавшихся дворян. По традиции семьи выбрал военную службу, а после смерти бабушки, то есть маминой мамы, очень красивой, родом из Польши, запил. Запои мало помогали успехам по службе. С горя дед женился опять, «взяв женщину не своего круга». Это сразу отдалило его от товарищей и вызвало гнев начальства. Карьера не удалась. Умер дед Сальков штабс-капитаном...

Мамино детство (она потом рассказывала) прошло в Киеве. Было оно тяжелым: мачеха оказалась настоящей мачехой, как выяснилось, сказки не врали.

В квартире целыми днями стоял гром и крик: «Наташа!..» — это звала маму и, беснуясь, хлопала дверьми мачеха. Мама нянчила подряд всех младших детей в семье и училась в гимназии, хотя на домашние уроки времени почти не оставалось. Выручали способности.

Зато, получив аттестат об окончании (с правом работы в начальной школе), тут же ушла из семьи.

Против воли деда Салькова обвенчалась вскоре с «мужиком» — Петром Голиковым, который гимназий, конечно, не кончал: кончил двухклассное уездное училище в Щиграх и Курскую учительскую семинарию, а по наведенным справкам не пил, «был поведения отличного» и предосудительно замечен был только в одном: любил все объяснять мужикам.

...После обеда мама с папой отправляли его спать, а сами принимались готовиться к урокам или, обмакивая перо в красные, волшебного цвета чернила, подчеркивали в тетрадях ошибки.

Как проверяют тетради и ставят отметки, мог смотреть долго, а его отсылали, и он жалел. И потом всегда с нежностью относился к чистым тетрадкам и даже теперь любил писать только в них.

Вечерами, когда за окнами совсем темно, под потолком керосиновая лампа с абажуром, в школе нет уроков, а ему еще не надо спать, он тихо сидит, боясь, что его сейчас прогонят, а мама с папой говорят друг другу непонятные слова: учат немецкий и французский.

Это ему тоже было интересно, но он ждал другого: когда они вдоволь наговорятся и когда мама, улыбаясь, посмотрит в его сторону, снимет с полки толстую книгу, скажет, чтобы сел поближе, и начнет читать о жадном попе и хитром работнике его Балде, о храбром князе Олеге, которому пришлось расстаться с любимым конем и которого ужалила «гробовая змея», но больше всего нравилось, когда мама читала без книжки:

У лукоморья дуб зеленый,
Златая цепь...

Златую цепь он видел на животе у купца в лавке, а кот ученый представлялся ему в больших, как у директора завода француза Гутиера, что ездит в пролетке, очках, и таким же строгим.

Мама сказала, что стихи эти сочинил поэт Пушкин.

Сразу представил: на высоком холме, откуда очень далеко видно, стоит зеленая толстая пушка на громадных

колесах от телеги. А рядом солдат: в ремнях, с сумкой, с короткой саблей и в высокой шапке — кивере, на плече у солдата ружье. Солдат у пушки стоит долго, делать ему нечего, вот он и придумывает стихи.

Но мама принесла новую книжку и показала в ней картинку: сидит, сложив на груди руки с длинными и тонкими, как у мамы, пальцами, дядя. А голова и щеки у него, как медвежья полость, мохнатые.

— Это Пушкин, — сказала мама.

Он был разочарован.

Однажды нянька его потеплей одела и вывела погулять. Но им тут же пришлось вернуться, потому что рабочие не захотели идти в завод, а собрались во дворе и кричали. Прибежали солдаты с саблями, в круглых, без козырька, меховых шапках и начали толкать рабочих.

Он хотел посмотреть, вынут ли солдаты сабли, а нянька испугалась, увела его домой, дверь заперла на засов. И папе пришлось стучать.

Занятия в школе отменили. Ни мама, ни папа в тот день не проверяли тетрадок, а тихо о чем-то шептались, и папа сунул потом в горящую печку две маленькие книжки, хотя сам объяснял, что книжки — это чудо: если знать все буквы, то книжка, словно живая, сама тебе все расскажет, и потому книжки надо беречь.

Тут постучали в дверь. Все заволновались, а папа, вместо того чтобы пойти открыть, сначала помешал кочергой в печи.

На пороге стояла маленькая и толстая тетя, которая почему-то не разделась в прихожей, а прямо в пальто, чего ему никогда не разрешалось, прошла к маме в спальню. И мама не сказала ей: «Что это за новости — пойди и разденься», а сама же туда и повела. И когда через минутку тетя вернулась в прихожую вешать пальто, оказалось, она такая же, как нянька, которую он звал тетей Варей, а взрослые на улице просто девочкой.

И он не мог понять, почему тетя перестала быть толстой, и ходил по квартире за ней следом, надеясь: вдруг она опять станет толстой, и он подглядит, как это делается.

Снова толстой она не становилась, зато в комнате мамы, подозрительно осматривая все углы, он заметил листок, который почти упал за кровать. И с одной стороны был, как книжка, исписан, а с другой — нет. И он

подумал, что это листок из книжки, которую сжег папа, и потому листок этот папе не нужен. Тут же нашел карандаш и принялся рисовать.

Мама увидела, на чем он рисует, и листок отобрала. Он стал плакать: «Это ненужный! Это из той книжки, и он валялся!» Мама давала ему чистую тетрадку, а он не хотел: на листке уже было нарисовано. И плакал, пока не заснул.

Дальнейшее виделось смутно.

Помнил, в доме поселилась тревога. Мама и папа больше не занимались языком, мама почти не пела, и часто слышалось одно и то же слово — «прошение», затем стали собирать вещи.

Кровати, табуреты, комод оставляли.

Книги, посуду, одежду паковали.

И он увидел города: Курск, возле которого, в Щиграх, родился и вырос отец; старый Владимир с собором на высокой горе, где похоронен смелый князь Александр Невский; Нижний Новгород с широченной замерзшей Волгой и громадным кремлем, где в маленькой звонкой часовне, под плитой, лежит гражданин Минин, который спас Москву; и Сормово, где много заводов. Делали на этих заводах не сахар, а машины. Что такое машина, не совсем понимал.

В Сормове остались жить. В школе ни мама, ни папа больше не работали. Тетрадей-рисунков с занятий не приносили. Отец стал ходить в форме.

Новая служба его называлась акцизное ведомство. Что папа там работает — не нравилось. Папе, кажется, тоже не нравилось: папа часто вспоминал школу и своих учеников.

...Маму видел все реже.

Она окончила курсы какого-то Миклашевского, ездила в Казань сдавать экзамены, а когда вернулась, была уже не просто мама, а фельдшер, и они снова переехали — в Арзамас. Мама работала теперь в больнице. Дежурства у нее были дневные и ночные. Но если даже мама ночевала дома, поздно ночью к ним громко стучали. Мама тут же одевалась и уходила, а утром сообщала, у кого из соседей кто родился: девочка или мальчик. Она это узнавала раньше всех. А потом днем спала, и весь дом ходил на цыпочках.

Из-за маминых дежурств не получались и праздники. Допустим, в воскресенье папа свободный и все догова-

риваются идти на Мокрый овраг или в перелесок. А мама не может. И хотя с папой тоже очень интересно: вот они останавливаются в березняке и слушают мелодичное «пинг-пинг-тара-рах» синицы, или дробь дятла, или переливы соловья, и папа про каждую птицу рассказывает; или же ловят сачком ящерицу и подробно ее рассматривают, и ящерица их тоже подробно своими блестящими глазами-бусинками рассматривает, — гулять без мамы скучно.

Зато уж семейные праздники — это были настоящие праздники.

Во-первых, так все хозяйство вела тетка, а тут, когда чей-нибудь день рождения, мама на работу уже почти не ходит, сама готовит, сестришки вертятся возле и просят то кусочек теста, то капельку начинки, то ложечку масла обмазать пирог и суют его на противень к большому пирогу, крошечный пирог румянится и делается совсем как настоящий.

Во-вторых, если праздник, можно все потихонечку пробовать. Когда уж пришли гости, и угощение стоит на столе, и ешь чего хочешь, это уже не так вкусно, а вот на кухне... И в-третьих, подарки.

Девчонкам дарили всегда ерунду: сказки братьев Гримм, которые он знал наизусть, платья, коробки шоколадных конфет, Кате — той дарили все куклы.

Зато ему однажды принесли дудку, как у стрелочника — раз; ружье, которое стреляло пробками, — два; саблю с ножнами — три и коробку с фокусами — четыре.

Сначала фокусы не получались. В объяснении было сказано, что нужны сноровка и ассистент.

Ассистент нашелся сразу — Оля. А сноровка пришла потом. Зато, когда показывал фокусы, сбегалась вся улица.

В коробке была зеленая рюмочка с шариком. Он клал шарик на дно рюмочки, показывал, что кладет и что вот, пожалуйста, положил, и спрашивал, куда бы почтенная публика хотела, чтобы шарик переместился. «Почтенная публика» кричала:

— Ко мне в карман...

— Вон к нему в сапог!

— В мой ранец!

— К вам на чердак!

Он делал загадочно-факирский вид, подносил рюмку с шариком к своему уху и, словно прислушиваясь, объявлял: «Шарик хочет на чердак!» Тут же начинал бормотать заклинания, кружиться на одном месте, сыпать что-то невидимое в рюмку, наконец кричал:

«Але ап!»

И показывал рюмку зрителям. Каждый мог собственноглазно убедиться, что шарика на дне рюмки нет, что шарик исчез, поскольку он в самом деле исчезал, провалившись внутрь рюмки с помощью хитрой кнопки.

Тут как раз появлялся и его ассистент Оля, которая едва приметным знаком давала понять, что второй такой же блестящий шарик на чердаке спрятан и можно идти искать...

...В четырнадцатом, осенью, его отдали в реальное. Помещалось училище в белом трехэтажном здании с громадным мрачным вестибюлем и высокими сводчатыми потолками: так раньше строили только школы и казармы.

Пришел он в первый день рано. Ребят было еще мало. Решил прокатиться разок на перилах широченной лестницы. И когда, удачно скатясь и слегка обалдев от неожиданной скорости, все же удержался на ногах, то увидел, как сзади на его плечо ложится сильная мужская рука с отстреленным пальцем: его поймал училищный инспектор Лебяжьев по прозвищу Стрелок[1]. И, ни слова не говоря, отвел к директору.

Так он начал новую жизнь в реальном, с первой минуты возненавидя Лебяжьева, которого ненавидели (и боялись!) все. К тому же шепотом от старших к младшим передавалось, что Стрелок сотрудничает в сыскном отделении.

А сталкивались они с Лебяжьевым без конца, особенно из-за кинематографа Рейста на Сальниковой улице.

Иногда его с собой в иллюзион брала мама. Но это случалось редко. Чаще он ходил сам — с непременными приключениями. Например, для посещения кинематографа требовалась увольнительная записка из училища. И пятак. Но то был пятак — не было записки. То была записка — не было пятака.

И тогда Сашка Буянов, Колька Киселев, второгодник Доброхотов, он и еще несколько ребят нашли выход: покупали один билет, кто-нибудь шел и захватывал место возле окна, а когда начинался сеанс, снимал

[1] Примечания даны в конце книги.

крючок со щита, которым закрывались окна. Товарищи влезали по одному и рассаживались где попало, поскольку в зал набивалось буквально сколько влезет.

Случалось, когда лезли в окно, ловил городовой, но, увидев реалиста, отпускал: бог знает, кто у этого реалиста отец. Надерешь ему уши, а это окажется сынок купца Синюгина...

Вежливость городовых действовала неприятно. Было ощущение, что с ним по крайней мере городовые вежливы по ошибке. И однажды в беседе с приятелем даже спросил:

«А мы, Федька, какие — бедные или богатые?»

Сошлись на том, что «средние».

Это деление на бедных, богатых и «средних» было во всем. В реальном, например, имелись основные и параллельные классы. Параллельный класс считался «плебейским». В нем учились приезжие, иноверцы и такие, как Костя Кудрявцев, который с одиннадцати лет работал в поле и только к четырнадцати попал во второй класс.

Костя был сутулый, с несуразно длинными руками.

«Это все соха, — жаловался Костя, когда смеялись над его сутулостью. — Походите за сохой от зари до зари — станете не только сутулыми — горбатыми...»

Костя, кажется, был у них в реальном единственный «мужик». Большинство ж учеников составляли «аристократы»: дети попов, известных в городе купцов, наследники «дворянских гнезд».

На уроке такой «наследник» стоит у доски, озираясь и ожидая подсказки. На контрольной шепотом умоляет решить задачу. А после занятий важно выходит из подъезда, не торопясь, чтоб все видели, усаживается в экипаж, и бородатый мужик укрывает ему ноги медвежьей полостью, хотя и пешком-то «наследнику» идти до дому пять минут.

Вокруг «аристократов» вились «подлипалы» — дети мелких торговцев, аптекарей, средней руки ремесленников, владельцев питейных заведений, коих в Арзамасе было не меньше церквей.

По наущению «аристократов» «подлипалы» издевались над беззащитными и хохотали, делая вид, что помирают со смеху, заметив заплаты на чьих-нибудь, возможно, не в первом поколении носимых штанах. «Подлипал» этих звали еще так — «ухари».

Особенно доставалось от них поляку Псевичу и Косте Кудрявцеву.

Костя пришел прямо во второй класс, и «аристократы» сговорились устроить ему «крещение». Обычай этот существовал давно: новичков били. Правда, Костю предупредили, чтоб берегся и от своего класса в перемену далеко не отходил. Но Костя однажды забылся, пошел прогуляться по коридору, к нему тут же подскочил Новицкий, прозванный за оттопыренные уши Ослом, а сзади подкрался тучный и неповоротливый Маслов.

Маслов толкнул Костю на Осла, Осел «обиделся», что его задели, и ударил Костю по лицу. Костя не успел ответить, как Маслов подставил ножку. Осел же снова толкнул.

Костя упал. Осел и Маслов набросились на него: «Куча мала!.. Куча мала!..» Подлетели «ухари».

Не будь Костя так робок, раскидал бы их всех в разные стороны, но Костя робел. И робость эта была тоже «от сохи».

И когда вся эта свора стала плясать на распластанном Кудрявцеве, на помощь рванулся он: отбросил сразу от страха ослабевших «подлипал», оттащил за плечи и со стуком опрокинул на пол Осла — Новицкого, а подбежавшие с другого конца коридора Колька Жуков и Киселев сделали то же самое с Масловым.

«Аркашка гусарит», — бросил кто-то сзади. Но он не «гусарил». Он сам не понимал, как это получалось: не мог видеть, если бьют слабого.

Совсем маленький, еще не умея читать, он подолгу рассматривал картинки в толщенной книге «Великая реформа»: и портрет Салтычихи, и плети, и всякие орудия пыток. Папа, если бывал дома, читал подписи к картинкам, все объяснял. И он однажды спросил:

— А почему же: крестьян было много, помещиков мало, и крестьяне все позволяли?

— Боялись... Это хуже всего, если человек боится. С ним тогда можно что угодно делать... Он раб.

Это рабское он видел в Косте. И, бывало, злился на Костю, особенно после случая на катке.

Катались втроем: Киселев, Кудрявцев и он. Теша только-только покрылась льдом, который в иных местах чуть прогибался, но кататься все равно было хорошо: лед ровный, снегу нет, и на коньках можно укатить далеко-далеко...

Накатались в тот день досыта. Он простился с ребятами. Снял «снегурки» и отправился домой. Кольке же и Косте надо было в другой конец города.

Он по крутому склону вскарабкался наверх и еще не очень далеко отошел от берега, когда услышал истошное: «Выбирайся!.. Выбирайся!..»

Кричали снизу, с реки. Сначала подумал: «Кто-нибудь дурачится». Но ветер дул в его сторону. И донеслось отчетливое:

«Аркашка-а!»

Тут узнал и голос: кричал Костя.

Костьку много били, но он даже плакал тихо, и, чтобы Костя так закричал, должно было случиться невероятное. И он помчался обратно к реке.

С обрыва увидел: Колька Киселев барахтается в воде, пробует вылезти на лед, но тонкая кромка обламывается, и вокруг Кольки много мелкого ледяного крошева, а Костька бегает у самого берега и кричит, хотя что тут кричать: Колька сам все равно не выберется...

Он сбежал по откосу вниз, бросил коньки (хорошо, успел их снять), отстегнул форменный ремень с пряжкой и пополз к полынье. Киселев стал барахтаться навстречу (по тяжелому дыханию и отчаянному выражению глаз он видел, что Колька выбивается из сил) и попробовал вскарабкаться на лед. Кромка снова затрещала. И Колька с жалобным стоном в обнимку с большим куском льда снова плюхнулся в воду, обрызгав ему лицо.

От ледяных этих капель ему сделалось зябко и страшно. Хотелось кинуться на берег, подальше от черной полыньи. Но он молча и осторожно пополз навстречу Киселеву и бросил ему конец ремня с пряжкой. Ремня не хватило. Он подполз ближе и бросил опять. И пряжка, тяжелая, литая, кажется, ударила Киселева по руке, но Колька даже не обратил на это внимания, тут же схватился за нее, а он предупредил: «Взбирайся осторожней...»

Колька едва приметно кивнул, но сразу успокоился, лег грудью на лед, вытянув вперед руку с пряжкой, он стал его медленно тянуть и до пояса вытянул, а Киселев еще немножко подтянулся на локтях. Дальше ж было никак.

Он позволил Кольке передохнуть, решив пока что для лучшего упора стать на колени. И в то же мгновение провалился сам.

Вот когда ему сделалось страшно: Костька, знал, не поможет. Никого другого поблизости нет.

И когда он весь напрягся и, скорей от обжигающего холода, нежели из предусмотрительности, хватанул полные легкие воздуха, ноги его коснулись дна: воды было чуть выше пояса.

«Здесь мелко!» — закричал он.

Тогда Киселев тоже нащупал ногами дно, и они выбрались на берег.

В красной от холода и воды руке Киселева был намертво зажат его ремень.

Он помог Киселеву снять коньки, наскоро отжать с одежды воду. Они стали с Колькой плясать, чтоб согреться.

Рядом суетился виноватый, униженный Костя. Чтоб не обижать, ничего ему не сказали, но и помощи его не приняли тоже.

Он потом много раз убеждался: этот случай Костю тоже ничему не научил.

...Им, в сущности, дома занимались мало. Отец в постоянных разъездах, мать занята в больнице, но родители умели (и он оценил это позже) по незначительному даже поводу сказать или сделать такое, что запоминалось надолго.

Отец, когда он приходил избитый или по уши мокрый, никогда не говорил: «Зачем ты туда полез?», или как тетка: «Не водись с этими разбойниками...» Отец внимательно выслушивал, интересовался подробностями, и если во время драки или иного происшествия он не трусил и действовал по справедливости, — не корил и не осуждал.

Отец по натуре своей был мягок. В юности у него достало воли и отваги получить образование, не остаться «мужиком». А потом что-то в нем надломилось, хрустнуло. Чиновничий мундир свой отец носил элегантно и красиво, а грустил о пиджаке, косоворотке и том времени, когда учил в школе. И чуть издалека, бывало, говорил: если человек поступает смело, он поступает правильно.

Однажды, это было уже без отца, он смастерил себе тугую рогатку, разбил чье-то стекло и очень обиделся, когда показали сразу на него и обвинили «по одному только подозрению».

«Вдруг бы не я разбил, — оправдывался он, — тогда, значит, все равно на меня?»

И мама объяснила: если в чем виноват — не жди, пока докажут и будут стыдить, а возьми и сознайся сам. И тогда никто ничего не свалит на тебя, если сделает другой. И он сознавался.

Разольет ли, играя в прятки, в чужом погребе сметану, захочет ли помочь Нинке Бабайкиной из своего двора, а вместо помощи получится только хуже, — придет и скажет: «Виноват я...»

И хотя сам честно признался, крику, ругани, угроз не меньше, чем если б кто доказал. Иной раз даже пожалеет, а потом все равно сознаётся. Другие мальчишки над ним смеялись: что-нибудь натворят — и тут же спокойный, безучастный вид и похлопывают потом его по плечу: «Вот, мол, учись, разиня...» Бывало, и он так хотел, но все равно заставлял себя, обещав маме. И однажды не пожалел...

Прочитав Фенимора Купера, он решил у себя во дворе сыграть в индейцев. Поймали с одноклассником Володей Тихоновым соседского петуха (тварь, между прочим, сильно зловредную), надергали у него перьев из хвоста на индейский головной убор. И вот в самый разгар игры, уже под вечер, когда взрослые вернулись с работы, и кто читал на скамейке газету, кто пил в палисаднике чай, с ободранным петухом под мышкой явилась соседка.

— Это что же такое на свете творится? — запричитала соседка, подбрасывая в воздух петуха, который неловко, пришибленно замахал крыльями и, едва коснувшись земли, с истошным криком, словно от позора, промчался по двору, и все видели, какой у него ободранный, совершенно куриный хвост. — Животную уже погулять выпустить нельзя?!

Взрослые, ничего еще не понимая, изумленно смотрели вслед петуху, а тем временем Володя Тихонов, вождь индейского племени (он взял себе имя Бесстрашное сердце), бесшумным индейским шагом, с пяточки на носок, пригнув украшенную перьями голову, неторопливо направился к воротам, осторожно, чтобы не помять, положил на траву роскошный свой убор — вежливый стук калитки. И затем только было слышно, как через дорогу, шлеп-шлеп, кого-то стремительно уносят быстрые ноги.

И тогда, глядя в сторону калитки, он приблизился

к незамолкавшей соседке и виновато, но с достоинством, как и подобает побежденному, однако не покорившемуся индейцу, признался, что хвост петуху ободрал он.

Конечно, можно было бы рассказать и о нахальстве петуха, перья которого были вырваны отчасти и в назидание, но это значило бы, что он ищет оправданий, а индейцу не пристало оправдываться перед крикливой, бледнолицей, неопрятной женщиной.

И он выдержал все, что обрушилось на его гордую голову, даже не помянув трусливого вождя Бесстрашное сердце, который сидел сейчас в своем деревянном вигваме и ждал, когда эта бледнолицая женщина со своим петухом придет кричать и к нему.

И он вдруг с сожалением, как думает здоровый и сильный о больном и убогом, подумал о Володьке: да, вот он стоит сейчас посреди двора, и его ругают, но он стоит, не склонив головы, и когда его перестанут ругать, все кончится.

А Володька будет сидеть и ждать, испуганно замирая, еще долго, очень долго...

И, ценой немалых усилий признаваясь в содеянном, каждый раз ощущал, что приходит облегчение и гордая радость. (Позднее только понял почему: перешагивал через страх.)

И тогда уже сам начинал искать возможность проверить себя, направляя во время «морского боя» свой «сверхдредноут» из половинки сгнивших ворот на «линкор» противника из корыта для свиней, заранее зная, что от толчка, который сейчас произойдет, они все окажутся в воде.

Или если играл с ребятами и девчонками в лапту у себя во дворе и мяч застревал на высокой крыше, он лез, чтобы достать, и нарочно шел по самому-самому краю. Девчонки внизу кричали от страха, а он следил только за тем, чтоб не потерять равновесия и не споткнуться. Когда же наконец он спускался, то минуты две с безучастным видом прогуливался. Мальчишки обижались: задается. А ему нужно было отдышаться...

Конечно, он делал немало глупостей. И мама с теткой ним хлебнули, особенно когда отец уже был на войне. Но потом, как это ни странно, многие «детские глупости» в жизни пригодились. И он часто думал: каким бы он рос и как бы сложилась его судьба, если б не война?..

ВОЙНА

Газеты по вечерам в палисаднике отец читал вслух. Узнать и обсудить новости собиралось много народу. Тон газет был ликующим, а лица тех, кто слушал, лицо и голос отца — печальными, и он не понимал, как можно, читая такое, не ликовать.

В Николаевском зале Зимнего дворца, сообщалось из Петрограда, после совершения «молебствия о ниспослании русскому оружию победы» состоялась «торжественная церемония зачитывания манифеста о войне», где царь произнес речь:

«Спокойствием и достоинством встретила наша Великая Матушка Русь известие об объявлении нам войны. Убежден, что с таким же чувством спокойствия МЫ доведем войну, какова бы она ни была, до конца».

И затем газеты почти каждый день писали: «Россия и ее державный вождь спокойны. Довольно стали в руках наших братьев-воинов. Еще больше мужества в их сердцах...»

Тем временем под гармошку, с лихим пьяным криком люди уходили на войну. А на базарной площади он увидел, как забирали на войну лошадей. Женщины висли на покорных конских шеях так же неотцепно, как на шеях мужей. Лошадиное испуганное ржание перемешивалось с горестным женским плачем. И словно от плача поприглох ликующий тон газет.

«Председатель Нижегородского комитета Ее императорского высочества Великой Княгини Елисаветы Федоровны Главноначальствующий Нижегородской губернии гофмейстер Двора Его императорского высочества Борзенко» извещал о том, что создан комитет помощи семьям фронтовиков, в связи с чем он, как председатель, Главноначальствующий и гофмейстер, просит помощи у народа, «так как средств у комитета почти нет...».

«Жертвуйте, не стесняйтесь, — призывали газеты, — жертвуйте от избытка, жертвуйте от скудости. Каждая самая малая жертва дорога и необходима...»

...Отец забежал прощаться уже из казармы. Странно было видеть его — всегда элегантного, в белоснежном белье — стоящим в грубошерстной, почти до земли шинели, несмотря на жару, в барашковой мятой папахе и тяжелых сапогах.

Новому виду отца обрадовалась только одна маленькая глупая Катюшка, которая изумленно таращила глаза, трогала отца за рукав и смеялась: «Солдат папа!.. Папа солдат!»

Прощаясь, отец обошел всех соседей во дворе. Пожал руку и сказал несколько слов каждому из соседских детей. Он чуть не заплакал, когда отец попросил соседскую девочку Нину помогать ему, Аркадию, потому что Аркадий остается в доме за мужчину.

Без отца тосковал. Ждал писем. Сперва их не было вовсе. Потом стали приходить — отдельно маме и девочкам, отдельно ему. Письма ему были посмешней. Он читал их во дворе всем, и ребятам тоже нравилось. Но чаще всего отец писал так: «Жив, здоров, сидим в окопах, и сидеть, кажется, конца и краю не предвидится».

Его разочаровывали эти письма: «Что это такое, на самом деле? — думал он. — Человек с фронта не может написать ничего интересного. Описал бы бой, атаку или какие-нибудь героические подвиги, а то прочтешь письмо, и остается впечатление, что будто бы скука на этом фронте хуже, чем в Арзамасе грязной осенью».

И только увидев у знакомых открытку отца, которая кончалась так: «Маргарите Михайловне шлю свой привет, и, бог весть, не последний ли?» — понял, с какими мыслями все это время на самом деле жил отец.

И однажды твердо решил: «Еду к папе на фронт. Буду с ним рядом, что бы ни случилось...»

Поднакопил денег. Весь вечер накануне, конечно, не объясняя своих намерений, проговорил с Талкой, наказывая не огорчать маму (у нее и так теперь будет много забот) и подробно писать на фронт папе. Талка соглашалась. Она была послушной сестрой.

Утром, спрятав школьную сумку, махнул вместо реального на вокзал. Там стояло несколько эшелонов. Какой из них на фронт, спрашивать не стал (могли принять за шпиона!) и, посмотрев, в котором же едут солдаты, пристроился на подножку.

Солдаты, как выяснилось, ехали на отдых в тыл. Его высадили на первой же остановке — станция Кудьма. В холодном станционном зале заночевал. А днем прочел в газете: пропал мальчик, крупный, светлоголовый, голубые глаза, длинные ресницы. На левой щеке узкий шрам...

И когда в лесной избушке его опознал усердный жандарм, он и сам был этому рад: на фронт ему уже

не хотелось, а сильно хотелось домой, «но самому вернуться было стыдно».

...В школе, на уроке географии, его вызвали к доске. «Скажите, молодой человек, — неожиданно попросил его учитель, — на какой это вы фронт убежать хотели: на японский, что ли?..» [1]

Единственным человеком в училище, кто с сочувствием отнесся к неудачному его побегу, был классный наставник и преподаватель словесности Николай Николаевич Соколов, который не стал иронизировать или смеяться, а пригласил его к себе домой.

УЧИТЕЛЬ СЛОВЕСНОСТИ

Соколов был необычной и долгое время загадочной фигурой [1]. Самый образованный человек в городе (по слухам, знал около десяти языков, в том числе китайский), он мог преподавать в столичном университете, а вел словесность в арзамасском реальном. На уроке удивлял смелостью суждений, а дружил с духовенством, был частым гостем в церкви и купеческих особняках и всюду появлялся только в форме.

Выглядел Соколов неприступно и строго: очки, подстриженная черная бородка, болезненно-бледное, словно бы муками истерзанное, лицо, а на квартире у себя, что ни день, собирал ребят. Ходил он быстро, чуть подпрыгивая, как птица. И мальчишки ласково прозвали его Галкой.

Галка снимал квартиру на Новоплотинной (в доме попа Никольского). В комнатах его стояла низкая, по чертежам самого Галки, сделанная мебель, шкафы с книгами. А в отдельном помещении была столярная мастерская.

После обеда в комнаты набивались ребята. Кому было далеко идти, здесь же обедал. Готовили Галке хозяева — и всегда в расчете на гостей с завидным аппетитом.

Дома Галка наконец снимал мундир, делался приветливее и мягче. Каждому находил занятие. А на верстаке своем учил мальчишек мастерить ящики, шкатулки, клетки.

И в тот вечер, когда он впервые попал к учителю на квартиру, Галка не вел никаких утешительных бесед — просто показал на книжные шкафы: «Посмотри...»

Он высмотрел Жюля Верна и Марка Твена и стал бывать у Галки каждый день. Мама говорила: «Это неудобно». А он ничего не мог с собой поделать.

Галка давал домой ребятам инструменты, подзорную трубу, дорогие лыжи, кораллы, звучащие раковины, диковинные камешки и много других вещей, которые, видимо, были связаны для него с какими-то воспоминаниями, но Николай Николаевич умел и любил доставлять радость. И если что-то нечаянно ломалось, Галка успокаивал и с веселой улыбкой говорил, что ничего страшного, тем более, что вещь ему сильно надоела. И когда кто-то из родителей купил и принес дорогую безделушку взамен разбитой, Галка отказался ее взять.

Уроки Николая Николаевича любили: он много рассказывал и по-особенному спрашивал. Было интересно со всеми думать и отвечать. Он жалел, когда раздавался звонок, и, помогая Галке донести связки тетрадей и книг, продолжал спорить по дороге домой. Чтобы досказать, входил «на минуточку» в квартиру, оставаясь у Галки уже до позднего вечера, здесь же делая уроки, а утром уже снова стоял у крыльца, чтобы снова помочь Николаю Николаевичу донести все до школы и поделиться мыслями, которые пришли в голову ночью.

...Пока был дома отец, жили славно, весело. Вечерами все в том же палисаднике отец пел своим низким, мягким баритоном «Дивлюсь я на небо» и «Як умру, то поховайте», тетка всегда одну и ту же «Наш костер в тумане светит». Мама и Катюшка ей подпевали.

Зато мама, как никто, читала стихи. Иногда, немного шутливые. писала сама. Он тоже, подражая, совсем еще маленький, стал сочинять. И после одно сочинение в классе написал стихами. Галка, раздавая проверенные работы, обстоятельство это отметил, но вопреки его ожиданиям не восхитился. «Стихи плохие», — тихо и мягко, словно сожалея, что они плохие, произнес учитель.

Зато когда принес сочинение на свободную тему «Старый друг — лучше новых двух», Николай Николаевич признал работу «бесподобной». Сказал, что будет читать ее даже в других классах. И, помолчав, тихо добавил: «Мне, Голиков, кажется, что у вас есть дарование...» (На уроках Галка всем говорил «вы».)

С той поры Галка выделял его, как человека «со способностями». Беседы с ним делались все доверитель-

нее, что не мешало ему получать двойки по другим предметам. И когда мама упрекнула его за очередную двойку по чистописанию, даже обиделся:

— И подумаешь, какая наука — чистописание. Я в писатели вовсе не готовлюсь.

— А к чему ты готовишься?.. Почему опять инспектор пишет, что ты по пожарной лестнице залез на крышу школы?.. Что ты — в трубочисты готовишься?

— Нет, ни в художники, ни в писатели, ни в трубочисты... Я буду матросом.

ВЕСЕЛОЕ ВРЕМЯ

Читал газеты с описаниями подвигов. В школе на молитве о даровании победы пел громче всех. И его только удивляло, что сообщения с фронта при такой храбрости войска становятся все скромнее, а списки убитых, раненых и пропавших без вести занимают в газетах все больше места.

Арзамас наводнили беженцы. В лавках с ночи выстраивались хвосты. Оптовый склад Н. С. Моргунова призывал беречь «здоровье и деньги»: «Фруктовый чай дешевле, вкуснее и полезнее китайского».

«Нижегородский листок» печатал выступления ораторов Государственной думы о том, что надо «внимательно относиться к хозяйственным нуждам отдельных районов. Так, например, значительная часть скота в северном районе была убита только потому, что недоставало корма, а между тем в других районах корм имелся. Его нужно было только перевезти...»

Один из купеческих сыновей пришел в школу заплаканный: получил от отца по морде. Оказывается, выручку из лавок домой приносили мешками, и «бедные родители» не успевали сами считать.

Каждый день публиковались «всеподданнейшие депеши Державному Вождю»: «Мы восторженно гордимся... под доблестным руководством Верховного Главнокомандующего... в годину Великой народной войны... одушевленные твердой верой... чувства беспредельной любви и преданности...», пока в марте семнадцатого в реальном училище во время уроков вдруг не заперли все двери. Никто не мог ничего понять, но тут маленькую площадь у памятника Ступину заполнила демонстрация. Старшеклассники открыли окна на первом этаже и стали без пальто прыгать в снег. Он тоже прыгнул.

Поднявшись на крыльцо соседнего дома, рабочий-кожевник во всеуслышание заявил: «Царь, виновник трагедии на Ходынке и кровавых событий пятого года, царь виновник Ленского расстрела и теперешних поражений в войне, — низложен и подписал отречение! Вместо него будет Временное правительство!»

Сначала даже не понял: хорошо это или плохо? А главное — как с войной? Очень ждал отца. Но из других выступлений выходило, что без царя освобожденный народ станет воевать с удвоенной силой... Газеты, которые недавно публиковали «всеподданнейшие депеши», теперь печатали телеграммы новому «дорогому вождю».

Все точно перебесились. Только и было слышно: «Керенский... Керенский...» В каждом номере газеты помещались его фотографии.

О царе по-прежнему писали довольно часто, по обыкновению на первой странице, но уже мелким шрифтом: «Бывший император Николай Романов будет отправлен за пределы России... как только будет закончено рассмотрение отобранных у него документов».

«Бывший царь... обратился к Временному правительству с заявлением о желании подписаться на «Заем свободы»...»

«По соображениям государственной необходимости, Временное правительство постановило находившихся под стражей бывшего императора и императрицу перевести на место нового пребывания... в г. Тобольск...»

Были в этих сообщениях и доля прежнего почтения, и то злорадство, которое он видел на лицах лавочников, срывавших со стен портреты скучного полковника, чтобы прилепить карточку Керенского.

Вообще, в тихом Арзамасе все вдруг перемешалось. В истории города, правда, и раньше случались события: когда Иван Грозный разорил «за измену» Новгород, то выслал «виновных» в Арзамас.

Когда на подступах к Арзамасу был разбит Стенька Разин, то схваченных мятежников вешали в городе по сорок-пятьдесят человек в день, и за три месяца казнили одиннадцать тысяч. В память об этом на окраине стояли махонькие часовенки с образами и лампадками.

С тех пор, думал он, все были так напуганы, что за двести с лишним лет ничего значительного в городе

не произошло. И вдруг выяснилось, что Арзамас полон революционеров...

Он бегал с митинга на митинг. Казалось, голова раздувается, как бычий пузырь, и все же не мог понять, чем отличается эсер от кадета, кадет от народного социалиста, трудовик от анархиста, пока на одном из митингов кто-то не тронул его за плечо. Рядом стоял Галка.

«Идем, милый, ко мне, — сказал Галка. — Будем чай пить, у меня есть булка и мед. Я так рад, что тебя увидел!.. Я... сегодня хотел нарочно к вам зайти».

Они давно не виделись. Когда Галка жил через дорогу, у попа Никольского, то часто приходил к ним, Голиковым, в гости. И одно время по настоянию мамы Галка у них даже обедал. Или сестришки носили еду ему домой. Потом Галка от Никольских съехал. А в суете этих головокружительных дней видеться и вовсе стало некогда.

Галка изменился: вместо плаща с бронзовыми застежками на нем было темное пальто и широкополая шляпа. Коротко подстриженная борода разрослась, и лицо сделалось простым, мужичьим. Николай Николаевич теперь больше походил на земского врача.

В тот день Галка привел его в клуб большевиков. Потому, что он читал о большевиках, он представлял себе их не иначе, как в болотных сапогах, непромокаемой одежде, с кольтом в каждом кармане. Узнав, кто Галка, сокрушался, что учитель не «настоящий революционер», ну, хотя бы как эсеры или анархисты. И по дороге в клуб даже сказал о своих сомнениях. Галка посмотрел смеющимися глазами.

«Ты погоди... Вот я тебя сведу...»

НАСТОЯЩИЕ РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ

Клуб помещался на Сальниковой улице, в деревянном домике, который был окружен густым садом.

По словам Галки, «большевиков на весь город человек двадцать». В клубе же было битком. Солдаты из госпиталей, расконвоированные пленные австрийцы, рабочие с кожевенных заводов — и вдруг среди австрийских и русских шинелей, среди темных одежд кожевников глаза резанул канареечный кант шинели реалистов — за столом, в самом углу, сидели Колька Березин и Женька Гоппиус, выпускники прошлого года. А рядом с ними — маленькая женщина в шелковом темном платье с аккуратной прической, мать Женьки, Мария Валерьяновна.

Гоппиусы — мать и сын — жили на окраине. Мать давала уроки. Сын помогал. Летом сдавали в аренду сад и огород, которые не могли обработать сами, этим жили.

О доме Гоппиусов обыватели говорили: на окраине живут, мол, неспроста, и если вечерком у садика ихнего постоять, много любопытного можно подметить. И когда, припомнив эти разговоры, он небрежно спросил у Галки: «А Женькина-то мать что здесь делает?» — Галка ответил: «Руководит».

Маленькая женщина в шелковом платье с прической от парикмахера — это и был самый главный арзамасский большевик.

Тогда многое стало ясно. Припомнилось: Женька и Березин устраивали в училище всякие демонстрации: носили директору петицию с требованием уволить математика, позволившего себе «выражения, оскорбительные для достоинства учащихся». А в прошлом году выпускной весь их класс отказался фотографироваться с преподавателями, или, как говорилось в петиции по этому поводу, «с чиновниками министерства просвещения».

По училищу гуляло страшное и гордое словечко «бунт». Чаще других поминались Березин и Женька, но все обошлось: «чиновники министерства просвещения» побоялись огласки.

Не только Березин и Женька, но и другие мальчишки были воспитанниками Марии Валерьяновны, которая много лет вела у себя на квартире нелегальный кружок: малознакомых просто приглашала попить чаю, давала кой-какие книги, но ни в одной беседе в ту пору Мария Валерьяновна даже не упомянула о большевиках, в партии которых состояла много лет.

Мария Валерьяновна (по отцу Виноградова) родилась в интеллигентной семье. Окончила уфимскую гимназию. Вышла замуж за талантливого инженера-путейца. С ним переехала в Москву, здесь училась на медицинских курсах. Участвовала в подпольных кружках, печатала и распространяла прокламации РСДРП. Переехав с мужем в Арзамас (по его проекту здесь строился вокзал), организовала кружок в селе Выездном. Связала кружковцев с Мак-

симом Горьким, который жил тогда в Арзамасе под надзором полиции.

В 1904 году (когда он еще только родился!) Мария Валерьяновна участвовала в создании Арзамасской организации РСДРП. Скрываясь от полиции, переехала в 1908 году в Крым. В Алупке вступила в подпольную военную организацию. Опасаясь ареста, бежала в Сормово, откуда ее вскоре выслали в Арзамас под надзор полиции.

Во всех этих вынужденных скитаниях и переездах потеряла троих детей, которые умерли от болезней. Разошлась с мужем. Женька и революция — это было все, что у нее осталось в жизни.

В иных учениках своих Мария Валерьяновна ошиблась, но троих воспитала: своего Женьку, который был первый ее помощник, — Женька приводил какого-нибудь парня обменять марку, показать опыт по химии (в подполе у Женьки была своя лаборатория, однажды он чуть не поднял на воздух весь дом). Если парень оказывался толковый, приходил еще.

Вторым был Алеша Зиновьев, невысокий, крепкий, заметно хромавший из-за поврежденной в детстве ноги. Алеша Зиновьев штудировал все книги, где только встречалось слово «социализм».

А третьим стал Колька Березин — могучий, с немыслимо густыми волосами. Он был неразлучен с Женькой. У Гоппиусов прижился совершенно. И Мария Валерьяновна считала Березина самым талантливым своим воспитанником. Женька, может, знал больше, чем Николай, но был чуть избалован и анархичен.

Николай же схватывал все на лету. Схваченное додумывал до конца. И потому не было в Арзамасе равных ему ораторов. На митингах от других партий выступали образованные солидные люди. Они говорили, как радеет новое правительство о народе, но, чтобы правительство радело еще сильнее, нужно, во-первых, победить немцев, во-вторых, отобрать Константинополь у турок и, в-третьих, не трогать землю у помещиков, во всяком случае без вознаграждения...

И восторженная толпа, подавленная логикой какого-нибудь эсера Кругликова, скучнела.

Тогда на телегу или поставленную торчком бочку, в расстегнутой шинели и ученической фуражке, из-под которой выбивался чуб, вскакивал Колька Березин.

Толпа встречала его появление смехом, свистом и улюлюканьем. Взбешенный приемом, Колька стоял, ожидая, пока народ угомонится, и начинал говорить, но совсем тихо. Ему кричали:

— Громче! Раз уж залез, давай громче!..

— Воюем до победного? — спрашивал Колька, оглядывая публику. — Что ж, неплохо... неплохо...

Народ недоумевал.

— А знаете ли вы, — говорил Березин резко, — что войны могло не быть совсем?.. Что царь согласился ее начать, чтобы получить в награду от англичан Константинополь?! Царя нет... Слыхали, отрекся царь? — Слушатели кивали. — А война за Константинополь продолжается. Так чем же Временное правительство лучше царского?..

Толпа удивленно перешептывалась.

— Жарь, парень, дальше! — кричали ему.

— Вам предлагают выкупить у помещиков землю?.. Хорошее предложение. Умный человек придумал. — Толпа снова замирала. — Только давайте сначала подсчитаем: сколько стоил хлеб до войны, помните?

— Помним!

— А теперь пуд хлеба сколько стоит?

— Двести пятьдесят рублей! — кричали из толпы.

— А сколько получает в месяц инвалид войны, той самой, которую вам предлагают довести до победного конца?

— Двадцать, двадцать рублей он получает!

— А полный георгиевский кавалер за весь свой бант?

— Тоже двадцать в месяц!

— А теперь подсчитайте, сколько попросит с вас помещик за каждую десятинку своей земли, пошарьте по карманам, поглядите, не завалился ли у вас за подкладку миллиончик-другой!

Так говорил бывший реалист Колька Березин, воспитанник тихой Марии Валерьяновны, и все вокруг него ревело и бесновалось. Других ораторов, которые залезали на ту же телегу, уже не слушали...

Все эти подробности он узнал много позже. А в первые свои приходы в клуб смотрел и слушал со страхом и любопытством. И постепенно его втянуло, завертело и ошарашило.

Однажды его подозвала Мария Валерьяновна.

— Мальчик, подойди, пожалуйста, сюда. Ты чей? — спросила она его мягко, но холодновато.

Хорошо, поблизости толокся Женька.

— Это Аркашка Голиков, — сказал Женька, — сын фельдшерицы из родильного отделения. Он пришел с Соколовым.

— А где твой отец? — снова, уже почти приветливо, спросила Мария Валерьяновна.

— На войне... Мы третьего дня получили письмо: солдаты избрали его командиром полка.

...В те месяцы просил отца:

«Милый, дорогой папочка! Пиши мне, пожалуйста, ответы на вопросы:

1. Что думают солдаты о войне? Правда ли, говорят они так, что будут наступать лишь только в том случае, если сначала выставят на передний фронт тыловую буржуазию и когда им объяснят, за что они воюют?

2. Не подорвана ли у вас дисциплина?

3. Какое у вас, у солдат, отношение к большевикам, к Ленину? Меня ужасно интересуют эти вопросы, так как всюду о них говорят!

4. Что солдаты? Не хотят ли они сепаратного мира?

5. Среди состава ваших офицеров какая партия преобладает? И как вообще смотрят на текущие события? Какой у большинства лозунг? Неужели «Война до победного конца», как кричат буржуи, или «Мир без аннексий и контрибуций»?

И, опасаясь, что отец не поймет, как ему все это важно, пояснил: «Пиши мне на всё ответы по-взрослому, а не как малютке».

Ему тогда было тринадцать.

...Одним из первых поручений Марии Валерьяновны было отнести записку Софье Федоровне Шер. Он схватил листок и выскочил из клуба.

Софья Федоровна приняла его приветливо, прочла записку и сказала: «Ответа не будет». Он чуть не рассмеялся: Шер была невысокой полной немкой. Она очень правильно строила фразы и на редкость неправильно ставила ударения.

Лет десять назад Софья Федоровна приехала из Германии бонной. В Ярославле вышла замуж. Родилось четверо детей, это не помешало ей вступить вместе с мужем в революционную организацию. Организацию предали. В доме Шеров в Ярославле обнаружили склад динамита. Пятого своего ребенка Софья Федоровна чуть не родила в тюрьме, пока ей по многодетности не заменили каторгу ссылкой и не выслали под надзор в Арзамас.

Теперь Софья Федоровна помогала Гоппиус. Несмотря на смешное свое произношение, охотно и часто выступала на митингах. В речах и докладах ее была страстность. И ужасное произношение уже не смешило, а трогало: немка, а ругает «своего» Вильгельма, немка, а с нами...

Однажды зимой Софья Федоровна выступала в Стригулинских номерах. После митинга ее долго не отпускали. И она вышла на улицу, окруженная толпой. Он шел рядом с Софьей Федоровной. Его оттиснули. У перекрестка он изловчился и снова оказался возле нее. И тут его сильно и колко ударило в грудь. Он почувствовал, как прервалось дыхание, и схватился за бок ниже сердца. Сквозь верблюжью куртку просачивалось что-то теплое.

...Когда от испуга и боли пришел в себя, Софья Федоровна, по-прежнему окруженная толпой, была далеко впереди, а вверх по спуску, вдоль лавок, бежал человек.

Он посмотрел на свою руку — ладонь была в крови.

— Что с тобой?! — почти крикнула мама, которая, к счастью, оказалась дома.

— Не пугайся... Меня.... после митинга... ударили ножом.

Рана оказалась небольшой: конец ножа уперся в ребро и только распорол кожу на боку. Мама ловко и быстро его перевязала.

Одетый в чистую рубаху (взамен испачканной кровью) и напоенный чаем, он впервые всерьез испугался: сперва за Софью Федоровну (удар, надо полагать, предназначался ей), а потом уже за себя.

В дневнике пометил: «Меня ранили ножом в грудь на перекрестке».

Конечно, интересней было бы записать все подробно, но в дневнике «Товарищ» для пай-мальчиков, который иначе именовался «Календарь для учащихся на 1917/18 учебный год», на каждый день отводилось всего две строки. И потому лишь добавил: «Был в Совете».

Он гордился, что спас, пусть нечаянно, Софью Федоровну, сравнивая себя с героями Степняка-Кравчинского, о которых читал в книгах отца, найденных на чердаке.

Конечно, теперь он улыбался немного хвастливым тем

мыслям, но и в июле семнадцатого, в пору победы реакции, когда в обычно переполненном большевистском клубе на Сальниковой вдруг осталось всего-навсего несколько человек, он помог Галке спрятать литературу, бумагу и шрифты — то немногое, что удалось спасти за десять минут до обыска. И снова ощутил себя персонажем романа Кравчинского.

Правда, Галка, которому он помог все надежно укрыть, неожиданно спросил:

— Постой... Постой! А ты, брат, не того... не сболтнешь?..

— Что вы... Что вы! — испугался он. — Разве я о ком-нибудь хоть что... когда-нибудь? Да я в школе ни о ком ничего никогда, когда даже в игре, а ведь это же всерьез...

— Ну ладно, ладно... кати... Эх ты, заговорщик!

НАЧАЛО НЕОБЫКНОВЕННОГО ВРЕМЕНИ

В сентябре семнадцатого возобновились занятия в реальном, но борьба течений и партий, которая шла на улицах и площадях, отчасти переместилась и в стены училища. После закрытия клуба ему кололи глаза: «Зачем с большевиками околачивался, зачем к 1 Мая над ихним клубом на крыше флаг вывешивал, почему на митинге отказался помогать Федьке раздавать листовки за войну до победы?»

Федька был его недавний приятель. Они разошлись в политических убеждениях. Из-за Федьки он чуть не попал в одну историю...

Еще летом он раздобыл себе небольшой маузер с двумя обоймами. Оружие привозили и продавали солдаты. «Нижегородский листок» печатал объявления: «Продается малодержанный револьвер с коробкой патронов». И он носил короткоствольный плоский маузер в кармане брюк. Знал о нем только Федька — это когда еще дружили.

И однажды (он дежурил в классе и, выгнав всех в коридор, распахнул окно) вошел с тремя ребятами из школьного комитета Федька и потребовал сдать револьвер.

«Какой еще револьвер?» — прикинулся было он.

«Не запирайся, пожалуйста! Я знаю, что ты всегда носишь маузер с собой. И сейчас он у тебя в правом

кармане. Сдай лучше добровольно или мы вызовем милицию...»

Он рванулся к двери — Федька преградил дорогу. Он ударил Федьку — на него навалились остальные. Кто-то пытался выдернуть из кармана его руку, которой он крепко держал рукоятку маузера.

«Отберут... Сейчас отберут», — пронеслось в голове.

И тогда, взвизгнув, выхватил маузер, большим пальцем вздернул предохранитель и нажал спуск...

Четыре пары рук мгновенно разжались, он успел увидеть «будто ватные лица» и «желтую плиту каменного пола, разбитую выстрелом». И, не раздумывая, «спрыгнул с высоты второго этажа на клумбы ярко-красных георгинов».

Несколько дней не ходил в школу. Ждал прихода милиции. Вместо милиции ввалились ребята из параллельного, «плебейского», класса. Оказалось, они припугнули Федьку и всех: если кто проболтается — «темная».

...То был его первый выстрел.

А жизнь шла на редкость занудливая. Газеты печатали нескончаемые речи Керенского: «В настоящее время... государство находится на краю гибели... Временное правительство и я в том числе...»

И вдруг что это? После очередной речи премьера в «Нижегородском листке» от 26 октября полуизвещение-полуизвинение: другие материалы «вследствие занятия большевиками «Петроградского телеграфного агентства» нами не получены...».

А на следующий день, когда вновь был открыт большевистский клуб, принесли другую газету: «Сдача Зимнего дворца»: «...большевики предъявили правительству ультиматум под угрозой обстрела с «Авроры» и Петропавловской крепости... правительство всеми покинуто. Ожидавшееся подкрепление не пришло...»

По дневнику «Товарищ» увидел: сам он 25 октября, после фильма у Рейста, затеял со Шныровым на улице поединок на палках и был огорчен, что их заметил директор, а большевики в это время, наверное, занимали Зимний и телеграф...

Однажды вечером в клубе, в тесных сенях, двое рабочих отбивали молотками доски от ящика с винтовками. Формировалась патрульная группа, и нужен был связной.

«Кого послать?» — спросил незнакомый комитет-

чик. «Ну, из своих кого-нибудь, кто под руку подвернется».

И тогда он крикнул: «Я подвернусь под руку!» — «Ну возьмите хоть его! Он быстро бегает». И тогда он сказал: «Все берут винтовки — и я возьму... Что я, хуже других?» И, выхватив из ящика трехлинейку, пустился вдогонку за сходившими с крыльца дружинниками.

Его появление на улице с винтовкой наделало переполоху. Двери многих домов перед ним навсегда захлопнулись. «Что у него, совсем еще мальчишки, может быть общего с этими большевиками?» — шептали за его спиной. И даже мама, которая все умела понять, умоляла:

— Побереги себя... Ну куда ты так торопишься? *

А его уже понесло... Он продолжал ходить в школу. Писал на уроке сочинение, отказывался отвечать немке, но старательно учил французский, выпрашивал, как член классного комитета, вместо рисования танцы, не пропускал (свобода!) ни одной ленты у Рейста, бегал на кадетские лекции и собрания, но в точно обусловленный час появлялся в большевистском уездкоме.

Во время осадного положения, когда по ночам то и дело возникала стрельба, они с Березиным ходили патрулем по притихшим улицам.

Как-то вечером стоял на посту у соборной площади. Приметив (уже начался комендантский час) человека в фуражке и шинели, который намеревался скользнуть в переулок, вскинул винтовку.

— Стой! Кто идет?! Пропуск! (Затвор у него на всякий случай был взведен давно.)

Человек робко приблизился.

— Это... вы? — изумленно спросил он, узнав школьного инспектора Лебяжьева. Не было в училище ни одного мальчишки, которого бы инспектор хоть за что-нибудь не «казнил». А в прошлом году Лебяжьев настаивал на его исключении «за организацию протеста на уроке законоучителя».

— Я... — упавшим голосом ответил Лебяжьев.

И тогда он произнес ту самую фразу, которую слышал всякий раз, когда Лебяжьев ловил их у кинематографа.

* Здесь и дальше звездочкой отмечены документы и отрывки из документов, публикуемые впервые.

— Нельзя, — сурово сказал он инспектору, — разгуливать по ночам... Извольте отправиться домой...

...Это было сумасшедшее, неповторимое, очень радостное время.

Говорили: «Нужно знать народный эпос» — читал «Калевалу». В училище ставили «Игроков» Гоголя — играл обманутого обманщика Глова. Голодали раненые в госпиталях — он ходил с большой монашьей кружкой на вокзал. Ему охотно подавали. А по субботам непременно у Гоппиусов. Мария Валерьяновна по давней традиции собирала молодежь. Читали и обсуждали рефераты. Говорили о будущем. Особенно Женька: «Ребята, представляете?! Еще десять лет, и уже коммунизм... Мать, представляешь? Ты еще будешь молодая. Бросишь давать свои уроки. И мы с тобою просто немножко поездим...»

— Ласково — Мать! — Марию Валерьяновну (правда, между собой) звали все кружковцы, звали и под влиянием прочитанного недавно романа Горького, звали и потому, что Мария Валерьяновна выводила в люди не одного только Женьку.

Березин в свои восемнадцать лет стал председателем Арзамасского горкома партии, Алеша Зиновьев — секретарем горкома и чуть позже — председателем прифронтовой чрезвычайки.

МАМИНА ХИТРОСТЬ

Вскоре вовсе потерял покой: задумал ехать на фронт.

«Ах, папа, — жаловался он год назад, в июне семнадцатого, — к нам всякие новшества проникают с большим трудом, и вообще Арзамас представляет из себя не что иное, как яму. И в самом деле, чтобы здесь люди жили общественной жизнью, чтобы их захватили текущие события — да никогда!» Революция, казалось, скоро кончится, а он еще ничего не успел и не повидал. И хотя за год многое изменилось: в августе семнадцатого его приняли в партию (для начала с правом совещательного голоса), когда в городе открылась первая за всю историю Арзамаса газета «Молот», Галка, назначенный редактором, взял его к себе секретарем, из газеты через два месяца направили делопроизводителем в уездный комитет партии, — все было не по нем.

Пробовал это объяснить — Мария Валерьяновна и

новый председатель горкома Вавилов обиделись. Алеша же Зиновьев на него даже накричал: «В городе не хватает грамотных людей!»

Он подчинился, делал все быстро и аккуратно, но самым радостным для него, четырнадцатилетнего, были занятия по военной подготовке в группе партактива.

Он маршировал, ползал, колол чучело, разбирал, чистил, собирал винтовку, ожидая главного — когда начнутся стрельбы. Глаз у него был верный. И бывший солдат мировой, а ныне инструктор, Туроносов остался им доволен. И, пройдя за месяц полный курс туроносовских наук, он тут же чуть не уехал на фронт. Получилось это так.

Он зачем-то пришел на вокзал. На запасном пути стоял эшелон. А рядом на площадке под гармошку лихо плясал мальчишка в полной красноармейской форме, с чубом под Козьму Пруткова, а другие красноармейцы прихлопывали в такт и кричали плясуну: «Пашка!.. Давай, Пашка!.. Давай, Цыганок!..»

И Пашка «давал». И только видно было, как вслед убыстряющейся музыке взлетали, на мгновенье отрываясь от земли, Пашкины ноги в сапогах с почти игрушечными шпорами.

Наконец Пашка сделал цирковой «комплимент», серьезно поклонился и побрел куда-то в сторону.

Тут он с Пашкою и познакомился. Родом Цыганок был из Торжка. Настоящая фамилия его была Никитин. В отряд попал потому, что взял матрос Гладильщиков, которому Пашка в прошлом году, занимаясь извозом, помог поймать одного офицера.

— А если я попрошусь?.. — неуверенно произнес он.

— Пойдем, — предложил Пашка.

Пришли в купе к Гладильщикову:

— Товарищ комиссар, парнишку возьмите, — жалобно попросил Цыганок. — Хороший парнишка.

— Командир не разрешит...

— Ну мы, можно, сходим к командиру? — не отступал Пашка.

Командир снял с него форменный допрос, но, узнав, что отец у него командовал полком, теперь же комиссар, а сам он умеет стрелять и ездить верхом, смягчился:

— Принимай, Павел, себе нового товарища!.. — И уже вдогонку: — А лет-то тебе, Аркадий, сколько?

— Четырнадцать! — радостно ответил он.

— Четырнадцать?! — изумился командир. — Тогда, брат Аркадий, подрасти... Я думал, тебе хотя бы шестнадцать.

— Соврать не мог?! — набросился на него Пашка, когда спрыгнули на полотно. — Документ у тебя он требовал, что ли?..

С Пашкой Никитиным они после снова встретились — уже в Хакасии.

...О том, что чуть не уехал с кавалерийским отрядом, проговорился за столом. Он уже настолько привык, что мама не вмешивается в его дела, что был уверен: она и здесь ему ничего не скажет. А вышло иначе.

— Как это «чуть не уехал»? — изумленно и в то же время гневно спросила мама. — А я, а девочки, а тетя? Или мы для тебя уже ничего не значим?

Мама сердилась редко. Он видел ее последнее время похудевшей и усталой: от работы, выступлений на митингах и переживаний, о которых в доме не говорили... Ему было больно, что он ее огорчил. И все же сказал твердо: «Не с этим — так с другим. А на фронт я все равно уеду!»

Мама поняла: спорить бесполезно. Да она и не спорила: только с грустью посмотрела, как перед отъездом на отца... И приняла свои меры.

В Арзамасе формировался коммунистический батальон. Командиром его назначили Ефима Осиповича Ефимова. И мама через знакомых упросила Ефимова взять его к себе адъютантом. Думала: «Пока что батальон в Арзамасе. И потом все-таки при командире».

Он обрадовался. Однако, помня Пашкин урок, прибавил себе, заполняя анкету, два года. И выходило, что ему шестнадцать.

Выдали форму (морской офицерский кортик у него был, и, когда чуть позже снимался во весь рост, кортик нарочно передвинул вперед). Поставили на довольствие и положили оклад жалованья. Дома сразу стало немного сытней.

Вопреки ожиданиям служба оказалась не бог весть какой интересной: писал под диктовку, запечатывал и принимал пакеты. Отвечал на телефонные звонки. Ефимов в своем салон-вагоне ездил то в Нижний, то в Казань. И он в том же вагоне то в Нижний, то в Казань. Под самый новый, девятнадцатый год Ефимова назначили командующим войсками охраны железных дорог

республики. Он остался адъютантом, теперь уже при командующем.

Однажды Ефимов сказал: «Сходи, Аркаша, попрощайся. Завтра поедем в Москву — насовсем».

Отыскал Гоппиусов и Галку. Они простились с ним тепло, но торопливо. Собрал в своей комнате вещи — в основном всякую мелочь. Присели перед дорогой. Обнял маму, тетку, сестер и не оборачиваясь пошел.

На перекрестке не выдержал, оглянулся (все стояли у крыльца) и быстро поворотил за угол: испугался, что расплачется и вернется — он впервые надолго уезжал из дома.

КРЕЩЕНИЕ ПОД КИЕВОМ

Хитрость командующего

В Москве его обязанности сделались много обширнее. У командующего теперь имелся целый штаб с дежурными, писарями, телеграфистами, охраной. И он, по-прежнему оставаясь адъютантом, одновременно был начкомом связи штаба Ефимова.

Ефим Осипович по-прежнему относился к нему заботливо и добродушно. 22 января, когда ему исполнилось пятнадцать, командующий поздравил и преподнес подарок. Он обрадовался и смутился. «Считают, — подумал, — за мальчишку», — но хватило ума обиды не показать.

Однажды, в феврале, Ефимов сказал: «Я уезжаю на Советскую площадь. Герой, не хмурься. Я взял бы и тебя, но в машине нет бензина, и я поеду верхом».

Здесь, в Москве, он чувствовал себя очень одиноко. И не любил, когда Ефимов уезжал без него. «Товарищ командующий, — сказал он, — мне горько! Разрешите и мне поехать верхом с вами?» И помчался на конюшню выбирать лошадь посмирнее. В седле держался еще плохо, ездить верхом учился в Арзамасе на водовозке. Ему же оседлали высокого лукавого коня, который, очутясь на площади, стал храпеть и крутить мордой.

На площади шел митинг. С балкона Моссовета выступали коммунисты многих стран. Потом вышел Ленин. Площадь замерла. Он, радостный, поднялся на стременах, чтобы лучше разглядеть, но конь вздрогнул, попятился и захрипел. И во время короткой речи он следил только за тем, чтобы конь стоял смирно и дал послушать речь хотя бы другим.

Больше он Ленина не видел. Вечером товарищи, как смогли, выступление пересказали. Он опечалился: «Все дерутся за победу мировой революции, а со мной играют, как с маленьким». И попросил у командующего: «Отпустите на фронт...» Ефимов отказал. Он стал просить настойчивее. Командующий говорил: «Ну обожди, скоро поеду сам — возьму тебя». Но Ефимову хватало дел в Москве. И когда он обратился в очередной раз, командующий ответил: «Иди учиться. Я знаю, тебе еще только пятнадцать. И на курсы берут тех, кто воевал, но я поговорю».

Ефимов, как и мама, хотел его уберечь: на курсах краскомов учились полгода...

А вышло иначе.

Московские Советские пехотные курсы Красной Армии помещались на Пятницкой, 48. Во дворе его встретили толкотня и разгром: курсы переезжали на Украину, в Киев, а Киев — это был петлюровский фронт.

На вокзале быстро погрузились в теплушки. Паровоз еще не прицепили. Он увидел почтовый ящик. Вырвал из блокнота листок. «Мама! — торопливо писал он. — Прощай, прощай!» Дальше сообщал, что стал курсантом, что Ефимов не хотел отпускать. «Голова у меня горячая от радости, — заканчивал он. — Все, что было раньше, — это пустяки, а настоящее в жизни только начинается...»

Крушение

Настоящее началось много раньше, нежели мог себе представить. Эшелону дали зеленую улицу. На радостях спели звонкую курсантскую песню:

Прощайте, матери, отцы,
Прощайте, жены, дети!
Мы победим. Народ за нас.
Да здравствуют Советы!..

Затем поднавалились на пайковый хлеб — круглые восьмифунтовые ковриги... Утром поезд шел уже мимо белых мазанок и зеленеющих полей.

Пропустили вперед, не доезжая Конотопа, товарный и двинулись дальше. Но паровоз, уже набрав скорость,

внезапно тревожно загудел и стал тормозить: на путях, размахивая флажками, стоял человек:

— Впереди, в пяти верстах, крушение... Товарный разбился.

Взводные тут же раздали боевые патроны. На тесной паровозной площадке поставили пулемет. Двери теплушек распахнули настежь. Эшелон бесшумно двинулся. Он лежал на верхних нарах и всматривался в проплывающий лес, пока впереди не зачернела какая-то бесформенная масса.

— А ведь крушение-то предназначалось нам, — произнес кто-то. Он вздрогнул.

Сколько раз потом смерть проходила вот так же рядом.

Учебная практика

Разместили VI Киевские имени Подвойского курсы на Кадетском шоссе, в огромном трехэтажном здании бывшего кадетского корпуса. В программу входили русский язык, арифметика, природоведение, история, география, геометрия, пехотные уставы, пулеметное дело, тактика, фортификация, топография, основы артиллерии, военная администрация, а во второй половине дня — строевые учения, стрельбы, топографические занятия в поле.

Это была программа офицерского училища, которую надлежало пройти за несколько месяцев, но то объявлял себя «атаманом Херсонщины и Таврии» Григорьев — и курсы бросали против Григорьева, то приходилось ловить банду капитана Горленко, то в самом Киеве, в Керосинных казармах, то есть на Керосинной улице, восставал вчера еще надежный полк.

Летом девятнадцатого он приобрел многое из того, что пригодилось через год и через три.

Во время одной экспедиции на Волынь с ее густыми лесами и топкими болотами его назначили комиссаром курсантского отряда. Население поддерживало атамана Битюга, и, чтобы с атаманом справиться, нужно было крепко подумать...

«К великому удивлению мужиков», отряд «не гонялся по всем направлениям и не требовал ежедневно полсотни подвод... Днем для отвода глаз... наведывались в соседние хутора... К вечеру и к ночи десятки мелких

дозоров и разведок, по три, по четыре человека, незаметно расходились в стороны по оврагам, расползались по хлебам... Удар подготавливался тяжелый и верный».

Оставалось только решить: когда... Помог сам атаман: у колодца задержали мужика — отравил воду. На допросе мужик признался, что послан Битюгом, который велел донести, как подействует отрава. Ночью же нападет на «красных юнкеров» сам.

Он приказал местному старосте «к завтрашнему дню приготовить подводы», пояснив, что «люди позаболели и есть предположение, что они отравлены».

Когда же ночью с криками: «Ого-го, бросай винтовки! Мухи дохлые!» — атаман, не встретив никакого охранения, ворвался в центр села, бандитов встретил оглушительно дружный залп, который слился с длинными очередями трех пулеметов...

Семнадцать

«Дело красных войск на Украине уже было проиграно. Ежедневные сводки доносили о непрерывном продвижении противника... Враг подходил с тыла к Чернигову, и только Киев еще держался...» Но вдруг Петлюра сильным ударом продвинулся за Фастов. Из штаба фронта прискакал связной. Ни на кого не глядя, пробежал мимо часового в кабинет начальника курсов, передал засургученный пакет, сунул в карман расписку и умчался. В пакете был приказ: сегодня же произвести выпуск старших классов, а завтра в составе курсантской бригады выступить на фронт...

В одиннадцать утра сто восемьдесят курсантов в новой форме, с краскомовскими удостоверениями в руках стояли в последний раз на училищном плацу.

Отгремела присяга, отзвучал исполненный оркестром «Интернационал», когда перед строем затормозил открытый автомобиль наркомвоена Украины Николая Ильича Подвойского.

Нарком вышел из кабины. Прошел вдоль шеренг. На лице его была печать бессонных ночей и глубокой тревоги.

— Товарищи бывшие курсанты, — негромко произнес нарком. — Поздравляю вас с почетным революционным званием красного командира!.. Здесь, в Киеве, вы прошли не только курс теоретических наук. Вы прошли

школу борьбы с контрреволюцией. Благодарю вас за вашу геройскую работу!

Стоявшие на плацу понимали: выпускное свидетельство сегодня ровно ничего не значило. Их бросали в прорыв, как бросают последний мешок с землей в разваливающуюся под напором воды плотину... Командиры, они уходили в завтрашний бой рядовыми. (Он, правда, был назначен взводным, Яшка Оксюз — полуротным. Но общей картины это не меняло.)

Стоя на плацу, все они понимали: завтрашний бой изменит счет. И многие из них никогда не поведут в бой свои батальоны и свои полки. От мысли этой делалось не по себе.

И словно зная, о чем они думают, нарком неожиданно произнес:

— Вы отправляетесь в тяжелые битвы, многие из вас никогда не вернутся из грядущих боев. Так пусть же в память тех, кто не вернется, кому предстоит великая честь умереть за Революцию, оркестр сыграет похоронный марш.

И оркестр заиграл. Мурашки побежали по спинам. Никому не хотелось умирать, ни завтра, ни через год, но звуки марша оторвали их всех от страха, дали силы перешагнуть через него, и никто уже не думал о смерти.

Рассвет застал 6-ю роту 2-го полка бригады курсантов в тридцати километрах от Киева, близ станции Боярка. Из-за выбеленных изб медленно поднималось солнце.

Сведения, накануне доставленные разведкой, успокаивали. И, расставив вечером посты, Оксюз приказал остальным разойтись по хатам, справедливо полагая, что другой такой случай отдохнуть подвернется нескоро. И когда за церковью на восходе солнца ударил взрыв, бывшие курсанты, схватив оружие, высыпали на улицу и понеслись в ту сторону, где разорвалась граната и началась перестрелка.

То ли под утро заснул часовой, то ли к часовому незаметно подобрались, а он все-таки успел в последнее мгновение взорвать гранату — как бы там ни было, петлюровцы находились уже на окраине села...

Впереди всех с маузером в руке, перепрыгивая через плетни и заборы, бежал невысокий крепыш Оксюз. Пули посвистывали все чаще и ближе, и стучал навстречу пулемет.

В огороде Яшка вдруг споткнулся и, вытянув руки,

с размаху, по-детски, упал на грядки. Он видел, что Яшка упал, и, следя за тем, чтобы не запутаться в картофельной ботве самому, продолжал бежать, краем глаза наблюдая за Оксюзом.

Тот не поднимался и как-то странно шевелился, словно не мог оторваться от земли.

Он вернулся, подбежал к Яшке и сгоряча хотел помочь ему встать, но, приподымая, увидел, что новое сукно только вчера выданного Яшкиного командирского френча быстро намокает над карманом.

— Беги! — с трудом произнес Яшка и опять как-то странно шевельнул рукой, словно хотел и не смог ее поднять.

Он оглянулся, ища, кому бы передать Яшку. И увидел нескольких товарищей-курсантов, которые, остановясь, в испуге смотрели на раненого Оксюза.

Совсем близко, еще невидимый, стучал пулемет. Петлюровцы наседали. И ранение Оксюза оборачивалось катастрофой.

Тогда он схватил с земли свою винтовку, высоко поднял ее над головой и громко, как никогда в жизни, крикнул:

— Слушай мою команду! Вперед! За Яшку!

Когда выбили петлюровцев, он вернулся на то место, где оставил Оксюза. «Уже розоватая пена дымилась на его запекшихся губах, и он говорил уже что-то не совсем складное и для других непонятное». Но он знал и понимал, что Яшка торопится сказать, чтобы били они белых и сегодня, и завтра, и до самой смерти, проверяли на заре полевые караулы, что письмо к женедевчонке у него лежит, да он и сам видит, торчит в кармане...

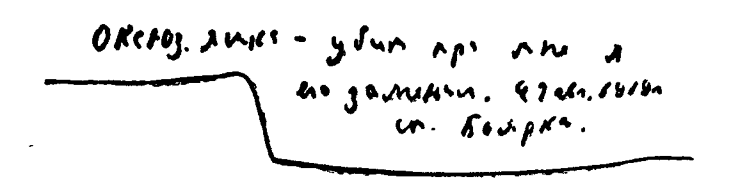
Вечером решали, кому быть полуротным вместо Яшки. Ребята постановили: ему.

Это случилось двадцать седьмого августа девятнадцатого года, ему было ровно пятнадцать с половиной лет.

А еще через неделю он был уже ротным.

Первые пять дней командования были самыми трудными за все пять лет службы в армии. Они отступали, приближаясь к Киеву, каждую ночь, чтобы успеть в кромешной тьме окопаться к утру.

Окапывались в чистом поле. Иногда в садах. С восходом же солнца начинало нестерпимо печь. И вода нужна была, как патроны. О еде думалось меньше. Чаще не



Запись в дневнике Гайдара.
Декабрь 1940 года.

думалось совсем. Изредка сосали сахар, выданный без пайковой меры (все равно бросать), но как все они голодны, поняли в ту минуту, когда шрапнельным снарядом на их глазах изрешетило полевую кухню. Суп вытек на сухую землю, распространяя запах, от которого сразу подвело животы.

— Командир роты... — сказал ему помкомполка, — бой близок, а люди голодны. Идите в тыл, в штаб, и скажите, что я приказал прислать консервов.

Он козырнул и пошел. Тропка изгибалась меж кустов. Он шел к себе в тыл и потому был спокоен. И когда сзади послышался лошадиный топот, не повернул даже головы, а сделал полшага в сторону, чтобы пропустить кавалеристов.

Но топот резко оборвался. Горячее лошадиное дыхание опалило шею. Послышался металлический лязг двинутого затвора, и он почувствовал на затылке холодное прикосновение винтовочного дула.

Негодуя на дураков-кавалеристов, осторожно, иначе бы ему разбили череп, поворотил голову — и мысленно умер в ту же минуту, потому что увидел два ярко-красных мундира и синие суконные шаровары, каких ни курсантская бригада, ни красноармейцы не носили.

«Кончено, — мелькнула тысячесекундная мысль, — как это ни больно, как ни тяжело, а все равно кончено».

И он отшатнулся, с тем чтобы по железному закону логики спусковой крючок приставленной к затылку винтовки грохнул выстрелом.

— Наш! — коротко крикнул один. Шпоры в бока, нагайка по крупу, и опять никого и ничего.

Посмотрел вокруг, сделал машинально несколько шагов вперед и сел на пень. Все было так дико и так нелепо. Ибо и опыт войны, и здравый смысл, и все — все говорило за то, что он обязательно должен быть мертв.

Потом узнал, что далеко на левом фланге отбивалась бригада красных мадьяр. Бригада была разбита, и двое прискакали сообщить об этом в штаб полка.

...Жгло напоследок августовское солнце, когда измученные курсанты вливались в поросшие травой окопы времен германской оккупации. То был последний рубеж — позади оставался лишь Киев. И память сохранила об этом дне пестрые разорванные картины.

...Он жадно пил из чьей-то фляги. Рядом шлепнулась, взвизгнув, шальная пуля.

Узнал: убиты Стасин и Кравченко.

...Бой пошел в открытую. «Бросай винтовки!.. Ого-го! Бросай!..» — орали, наседая, петлюровцы. В ответ полетели гранаты — выданные вместе с сахаром «лимонки». Петлюровцы пустили казачий эскадрон, который врубился в соседний взвод, но обезумевший, отчаявшийся пулеметчик косил всадников в упор. И конница, отстреливаясь, повернула...

И когда казалось, что аду этому не будет конца, приполз комиссар курсов Бокк. «Отходим! — крикнул ему Бокк почти в самое ухо. — Бесполезно!»

Он передал команду по цепи. Машинально пересчитал товарищей и не поверил своим глазам: из ста восьмидесяти человек, которые совсем недавно стояли на училищном плацу, из окопов поднялась едва половина. А он еще не знал, что через несколько дней их останется всего лишь семнадцать... Он будет восемнадцатым.

А пока что он пересек с бойцами город, прошел по Цепному мосту, который почти шатался под напором людей. На другом берегу с лесистого бугра недавние курсанты долго всматривались в сторону Киева.

— Ну, прощай, Украина! — сказал один.

— Прощай! — эхом повторили товарищи.

— Мы опять здесь будем!..

«РАНЕНЫЙ БОЛЬШЕВИСТСКИЙ МАЛЬЧИШКА»

В 16-й армии под Ельней получил роту, которая была плохо вооружена, еще хуже одета и после поражения совершенно деморализована. Он учил бойцов стрелять, быстро окапываться, далеко и точно бросать гра-

наты, рассказывая поучительные случаи, которые произошли с ним самим или его товарищами.

Бог знает, вспомнил ли бы он сейчас об этом, если бы не шестое декабря все того же девятнадцатого: он несся впереди своей роты верхом в атаку. Кругом рвалось. Вдруг что-то, как палкой, ударило в ногу. И он почувствовал, что медленно и плавно летит по воздуху...

В Воронежском госпитале провалялся три недели. Ранение и контузия от падения с лошади, по мнению врачей, были нетяжелыми (никто не знал, что именно эта контузия позднее обернется для него катастрофой), но каждый вечер побаливала голова, ныло в ноге, ходить мог пока лишь на костылях. И ему дали отпуск.

Облачась в госпитале в новое обмундирование, выданное взамен рваного и запачканного кровью, он подошел к зеркалу и увидел крепкого мальчугана в серой шинели, солдатской папахе, с обветренным похудевшим лицом и веселыми глазами. Только висевшая на боку офицерская сабля плохо вязалась с белыми, свежими костылями.

...Он давно не писал домой. Еще дольше не имел писем из дому. На вокзале в Арзамасе его, разумеется, никто не встречал. И он ковылял на своих костылях, пока его не догнала подвода. «Садись, солдат, подвезу», — пригласил небритый подводчик.

...Прижимая к костылю брякающую о ступени саблю, толкнул дверь и услышал визг сестер — то ли от радости при виде его, то ли от страха при виде костылей.

Мама вбежала, когда он отдыхал. Настороженно оглядела, понимая, что с войны просто так не отпускают, холодными с мороза руками взяла его голову и дрогнувшим голосом сказала:

— Похудел. Побледнел. А вырос-то, а вырос-то! Да встань ты с кровати! Дай я на тебя посмотрю...

— Мне, мама, неохота с кровати вставать... Я бы, пожалуй... да у меня нога немного побаливает...

— Ранен? — тихо спросила мама.

— Немножко, — ответил он.

Мама провела рукой по его бритой голове. И с минуту они просидели молча. Вскоре зашипел самовар. В кухне запахло чем-то вкусным. Легкая дрема охватила его. Показалось, что ничего такого и не было: ни фронта, ни широких степей, ни отряда, ни боев.

Дрема, в которую его клонило, как он полагал, от усталости, была на самом деле дремой подхваченного в поезде тифа. Через день он метался по тесной, сразу ставшей неудобной постели. И однажды, соскочив с кровати, выхватил из ножен саблю и долго лежал с ней, прижимая клинок к разгоряченному лбу (блестящая сталь хорошо холодила), пока мама саблю не отобрала.

АРЗАМАССКИЙ АВАНГАРД

Когда пошел на поправку, стали прибегать знакомые ребята-комсомольцы. О том, что он приехал, узнали от Талки. Она тоже была теперь в комсомоле. В августе восемнадцатого, когда вступал в арзамасскую организацию «Интернационал молодежи» (как она в ту пору называлась), их было всего несколько человек. А теперь уже несколько десятков.

Одними из первых пришли черненький, чуть франтоватый Коля Кондратьев, немного суматошный поэт Ваня Персонов и Шурка Плеско.

Хотя его бог тоже ростом не обидел, Шурка даже рядом с ним выглядел гигантом. Белобрысый, широкоплечий и широколицый Шурка, если он закуривал трубку, делался похож на английского шкипера. С курением в организации боролись. Почти все ребята голодали, и табак не прибавлял сил, но Шурка продолжал курить, веря, что его здоровье выдержит.

Шурке многое прощалось за жадность к книге, за точную, быструю память, в которой хранилась тьма всевозможных сведений, диковинных цифр, неожиданных афоризмов, цитат, стихов, имен. Доклады и выступления его были прекрасны.

Когда комсомольцев посылали на лесоповал и нужна была сила, Шурка ее не жалел. Если начинался лесной пожар, Шурка снова рубил и валил лес, копал канавы, преграждая путь ползущему огню. Он работал без устали по двое-трое суток, пока вдруг, обессиленный, не сваливался и не засыпал. Тогда возле него кто-нибудь сидел: мало ли что может случиться со спящим.

Но если Шурка срывался, ему от своих же иногда здорово и жестоко влетало.

И если с Кондратьевым они просто вместе учились, а

Шурка был его друг, то с Ваней Персоновым его связывало давнее поэтическое соперничество.

Правда, он к своему стихотворчеству относился более спокойно. Персонов же считал себя поэтом. Ревниво следил за впечатлением, которое производили его стихи. Лучше Персонова никто в Арзамасе писать не умел. Но это никогда не были стихи «из жизни». Это всегда были стихи «из стихов».

В первую их встречу после возвращения (шел третий год революции) Персонов, например, прочитал:

Ко мне пришло из омута разврата
В борьбе с нуждой погибшее дитя,
Ища во мне заступничества брата...

Они с Ваней об этой вещи поспорили. И он тоже написал, но:

Угнетенные восстали,
У тиранов мы отняли
Нашу власть.
И знаменам нашим красным
Не дадим мы в час опасный
Вновь упасть.

Его стихи получились хуже Ваниных, но зато были революционными. Впрочем, и те и другие напечатал арзамасский «Авангард».

Это была комсомольская газета. Выходила она не чаще двух раз в месяц тиражом до пятисот экземпляров. Девизом газеты были неизвестно откуда взятые строчки: «Мы солнце старое потушим. Мы солнце новое зажжем».

Ему разрешили ходить. И в первый же вечер он пришел, хромая, в комсомольский клуб. Беленькая тихая Зина Субботина от имени организации сказала, что они все очень им гордятся. Им и Петей Цыбышевым, который тоже был на фронте. И покраснела. Он тоже покраснел. Тогда, чтобы сгладить неловкость, его спросили, как он смотрит на женский вопрос и все ли ему понятно в книге Бебеля «Женщина и социализм». На женский вопрос он еще не смотрел никак, а имя Бебеля слышал впервые.

Вообще, разговор поначалу не получался. В нем видели героя и ждали рассказов о невероятном. «Ну, вот идет ваш отряд, вдруг...», а ему трудно было объяснить, что невероятное даже на войне происходит не каждый день и что там иногда бывает страшно... И он уж вовсе удивил товарищей, когда стал появляться всюду, где только мог, с мамой.

И снова невозможно было объяснить, что там, где, по представлению ребят, «грохочут двадцать батарей», он часто вспоминал маму, ее внимательное, улыбающееся, прекрасное лицо. И коль скоро мама была теперь совсем рядом, хотел быть с ней все время. А это не удавалось. С утра до вечера она была занята своей профсоюзной работой. Он пенял ей, мама смеялась, что он сам виноват, познакомив ее с Гоппиус и Вавиловым, и ей быстро нашли дело.

Мама работала среди женщин, занимаясь тем самым «женским вопросом», который так волновал местных комсомольцев и в котором он ничего не понимал. И он ходил с мамой на собрания: во-первых, по дороге можно было поговорить, во-вторых, он любил маму слушать.

Мама оказалась прирожденным оратором. Говорить, как она, у них в семье не умел никто, даже он, хотя ему часто приходилось теперь выступать.

Мама поднималась на трибуну и ждала. И крестьянки из ближних сел, измученные нуждой беженки, купеческие дочки, торговки с базара, гордые и молчаливые монашки — все притихали. Мама негромко и страстно произносила: «Товарищи женщины!» И от звука ее голоса толпа вздрагивала. А мама продолжала: «Величайшая справедливость — освобождение от гнета, которое недавно произошло, — это двойная справедливость и двойное освобождение для нас с вами, потому что женщина многие века была рабынею раба...»

После выступления шли домой. И мама выглядела по-настоящему счастливой. То, что копилось годами: знания, дар слова, сила чувств, — все выплескивалось на трибуне.

Иногда возвращались втроем — с Александром Федоровичем Субботиным, бывшим электромонтером, недавно избранным председателем арзамасского Союза профессиональных союзов. Он руководил всей той работой, которую делала и мама. И если не успевали дорогой все обговорить, Субботин заходил к ним домой, расспрашивал его: где побывал да что повидал, как живут люди в других местах. Слушал, удивлялся, хвалил, протягивал кисет, но он тогда еще не курил.

И все же было ему в Субботине что-то неприятно: или самоуверенность, или роскошные усы, которые делали Александра Федоровича похожим на мушкетера.

А может, ощущение, что Субботин не так уж приветлив и добр, как бы ему, Субботину, хотелось выглядеть при маме?

Но особенно разбираться в этом было некогда: он влюбился в сестру Александра Федоровича — Зину.

Они были знакомы и раньше: встречались по дороге в школу. Она бежала в гимназию, он — в реальное. Но Зина знала о нем еще и от мамы, которая бывала у них дома. В день его отъезда в Москву мама пришла к Субботиным заплаканная: «Я не могла Аркадия удержать, — сказала она. — Понимаете, не могла». А потом носила и читала все его письма. Присылал он их не часто.

Зина с тех пор изменилась мало, только подросла, и лицо у нее сделалось нежнее и задумчивее. Она жила в своем особом мире, очень светлом и простодушном, в котором ей не был нужен никто. И хотя рядом были другие девочки, тоже приветливые и милые, и девочки эти розовели от смущения и радости, если он только глядел в их сторону, — его тянуло к тихой, одинаково со всеми приветливой Зине, которая недавно заявила: «Я больше всего на свете люблю маму и свою комсомольскую организацию».

Организацию, конечно, нельзя было не любить: комсомольцы здесь жили, как живут в большой многодетной семье, где есть младшие и старшие, но нет чужих. А у него бывали минуты, когда ему хотелось побыть с кем-то наедине.

Увидено было много. Передумано тоже. Рассказывать все это в большой нетопленной комнате бывало иногда трудно. А Зину из клуба никак не увести. Она говорила, что уходить вдвоем неудобно. Даже расходились все вместе. И тогда он решил поступить иначе...

В городском театре давали «Наталку-Полтавку». Спектакль выбрал он. А Ваня Персонов, прикрепленный от большевистской организации к театру, в котором он даже, случалось, играл, добыл двадцать-тридцать бесплатных билетов. И он попросил ребят, чтобы все от них с Зиной отсели: ему нужно с ней поговорить. И вообще, он скоро уезжает.

Ребята согласились, но Зина разгадала хитрость. Что-то сказала. Он обиделся. Зина заметила: «Беспричинные твои обиды мешают нашим отношениям...» И они вообще чуть не поссорились.

«...Пишу из Арзамаса, — сообщал он в январе двадцатого отцу, — куда я прибыл на несколько дней в отпуск, несколько уставший после непрерывной работы и службы. Я, однако, возвращаюсь опять к ним, как только заживет моя рана, полученная на фронте три недели тому назад (рана пустяковая, в левую ногу). Кость не тронута, скоро смогу бросить костыли, так что ты не беспокойся. Да и какое может быть беспокойство. Ты сам, проведший несколько лет на фронтах, сам знаешь, что на войне конфетами не кормят...»

Дальше он приводил послужной свой список за год — то есть с декабря восемнадцатого по декабрь девятнадцатого: адъютант командующего, заместитель комиссара и председатель ячейки Киевских командных курсов, командир партизанского отряда курсантов, действовавшего на внутренних фронтах Украины, взводный, полуротный, командир роты, инструктор Смоленских курсов, затем «по собственному желанию отправился на Западный фронт», наконец, Главное управление военно-учебных заведений командировало его в Высшую офицерскую школу.

«Список довольно большой, — заключал он, — для годичного пребывания в Красной Армии...

В общем, я собою доволен. Немножко устал, но это пустяки. Я думаю, что сейчас неуставших нет.

«На смену старшим, в борьбе уставшим спешите, юные борцы!» — вот клич теперешней молодежи, но я опередил его и пошел на фронт раньше, чем наш союз РКСМ мобилизовал свои силы под ружье...»

НОВЫЙ ВЗЛЕТ

За месяц до ранения, когда он прибыл на сравнительно тихий Польский фронт, его назначили комроты. Судя по обстановке, тут, недалеко от границы, должно было начаться что-то серьезное. И он ждал. И когда первого декабря девятнадцатого поступил приказ направить его на учебу в Москву, в Высшую стрелковую школу комсостава («Выстрел»), сдавать дела не спешил, пока через неделю его не задело шрапнелью.

Так что после госпиталя и поездки домой он отправился на учебу, и в знаменитом марш-броске Тухачевского на Варшаву участвовать ему уже не привелось.

Руководил школой «Выстрел» прежний ее начальник (в прошлом генерал) Филатов, большой знаток стрелкового дела, автор превосходной книги «Об основаниях стрельбы из винтовок и пулеметов». В Филатове поражало сходство со Львом Толстым: огромный рост, пушистая расчесанная борода, молодые глаза и мудрая приветливая улыбка.

...Оказалось, что даже строевая подготовка — это целая наука, имеющая много скрытых тонкостей. Преподаватель Рыжковский, например, объяснял: когда командир идет в свою роту, рота должна быть уже построена. Издали командир обязан определить, как выглядит строй. Если заметил что-то не в порядке, остановись на полпути, расправь на себе гимнастерку, потуже затяни ремень, а с роты глаз не спускай. И те, у кого небрежный вид, тут же приведут себя в порядок.

Таких советов было много. И они ему сразу пригодились, когда после окончания «Выстрела» он получил двадцать третий запасной полк в Воронеже. Ему было шестнадцать, а под его началом — четыре тысячи человек: выписанные из лазаретов бойцы, остатки истребленных, разбитых наших частей, пойманные дезертиры.

Он учил солдат стрельбе, дисциплине, формируя отряды, которые тут же отправлялись на фронт — под Кронштадт, где начался мятеж, на Тамбовщину, где восстали банды Антонова.

А в июне двадцать первого на Тамбовщину послали его самого.

ПО ПРИКАЗУ ТУХАЧЕВСКОГО

В Тамбове, в штабе Тухачевского, часовой, прочитав его документы, резким звонком вызвал караульного начальника, который тоже долго и недоверчиво рассматривал его направление и мандаты, а потом, ни слова не говоря, ушел в соседнюю комнату звонить по телефону. «По бумагам, — жаловался кому-то в трубку караульный начальник, — он есть командир полка Голиков. А на личность — безусловно мальчишка. Так пропустить?..»

Он готовился увидеть Тухачевского, который знал его по Кавказскому фронту, где он, курсант-практикант «Выстрела», командовал ротой, и, по отзывам, удачно.

Однако Тухачевский был в отъезде. Его провели к начальнику штаба. Тот сказал, что зачисляет его покамест в резерв начальников отдельных частей.

В политотделе из неуклюжего купеческого сейфа ему достали папки с бумагами, которые он мог читать, не вынося из комнаты.

Из газет он имел представление о событиях, которые уже несколько месяцев разворачивались здесь, в центре России, но теперь перед ним были подлинные документы.

С грифом «Совершенно секретно» прочитал агентурную сводку о решении заграничного ЦК эсеров от тринадцатого мая 1920 года по поводу начала восстания. В сводке была изложена программа «преобразования в России» на случай захвата власти эсерами, которые предлагали «политическое равенство без разделения на классы», отказ от власти Советов, созыв Учредительного собрания, возвращение прежним владельцам фабрик и заводов, «широкий кредит личности», то есть свободу предпринимательства, и концессии иностранцам. Была и уступка «народу» — крестьянству: установление твердых цен на фабричные товары и отказ от ограничений в ценах на хлеб.

Вряд ли бы эта программа возымела действие на уставшего от войны и получившего помещичью землю крестьянина, если бы эсеры не воспользовались давно не виданной засухой и голодом в деревнях и нелепыми ошибками местных властей.

В чем заключались ошибки, прочел в «Тамбовском пахаре» от 27 февраля 1921 года в статье «Что сказал тов. Ленин крестьянам Тамбовской губернии».

«14 февраля, — объяснялось в статье, — товарищ Ленин принял в Кремле крестьян Тамбовской губернии, приехавших поведать ему о крестьянских нуждах». Их рассказ, записанный членом уисполкома Смоленским и заверенный делопроизводителем Петровым, и публиковала газета.

«Тов. Ленин принял нас в зале один, любезно поздоровался, пожал руки и пригласил сесть и сказал: «Крестьяне-тамбовцы, дорогие товарищи, объясните мне, какое у вас неудовольствие и что такое банда Антонова и что она делает».

Крестьянин Бочаров... объяснил: банда грабит советские хозяйства и потребиловки и частных граждан, у

крестьян отымает скот, лошадей, сбрую, фураж. А после приходят красные и тоже обижают крестьян.

Тов. Ленин записал это на бумаге и просил высказываться еще.

Тов. Бочаров указал, что наложили непосильную продовольственную разверстку.

Тов. Ленин спросил: «А в 1918 и 1919 годах вы без скандала выполнили разверстку?»

Бочаров ответил: «Без скандала, только в этом году был сильный неурожай и разверстку выполнить <было> невозможно».

Тов. Ленин дальше спросил: «А как относятся местные власти?»

Мы давали ему ответы, что агенты продорганов не считались ни с чем, требовали и брали, а власти не обращали внимания. И еще очень обидно, что, бывает, берут картошку. Мы ее свозим, где картошка гниет, и нас же опять заставляют очищать это место. Нам, крестьянам, очень жаль, что нашим трудом красноармеец и рабочий не пользуются.

Тов. Ленин сказал на это, что люди бывают не на своих местах. Причем просил нас выбирать в Советы самых лучших, добросовестных людей из трудового класса... и высказывать власти все нужды крестьянства. А если люди, избранные нами к власти, оказались негодными, то надо их смещать и заменять другими.

А еще мы сказали тов. Ленину, как бывает: сидят в советских имениях лодыри и все получают: и керосин, и спички, и соль. И он это записал, а на после сказал: «Если теперь крестьяне будут обижены властью, сообщайте в губернию, а если губернская власть не примет во внимание, обращайтесь в Москву, в Кремль, ко мне. Можно письменно и лично...»

Вероятно, между разговором Ленина с тамбовскими крестьянами и введением продналога вместо разверстки существовала прямая связь. Во всяком случае, на Тамбовщине закон о продналоге был введен раньше, нежели в других губерниях.

Не были забыты Лениным и те, кто, не считаясь с опустошительной засухой, отбирал у мужиков последнее, чтобы сгноить на свалках — «складах».

Заявления крестьян, как показала проверка, не рассматривались. Жалобы и письма в Москву перехватывались. Это обнаружила специальная Комиссия ВЦИК

под председательством Антонова-Овсеенко, вся мера изумления и негодования которой вылилась в стремительное и страстное обращение «Ко всему населению Тамбовской губернии»:

«Граждане! Мы призываем вас к дружной работе по восстановлению народного хозяйства... по укреплению власти трудящихся. Мы призываем вас к содействию по искоренению всяческих злоупотреблений, к очистке советских учреждений от недостойных людей...

Ревтрибунал получил задание: быстро и точно разбираться в поступающих к нему делах и гласным, широко открытым судом судить обвиняемых. Назначена экстренная проверка движения дел всех жалобщиков для привлечения к суду прежде всего тех, кто тормозил рассмотрение этих жалоб по существу...»

Через день его вызвал к себе Тухачевский. Когда адъютант провел его в кабинет, Михаил Николаевич, склонив голову с ровным, великолепным пробором, быстро писал за большим столом, на котором аккуратно и, казалось, неторопливо были разложены папки, карты, книги, на машинке отпечатанные бумаги.

Заслышав: кто-то вошел, Тухачевский прервал работу, поднялся во весь громадный свой рост, поздоровался, улыбнулся, но все как-то устало. Выглядел командующий сейчас много старше своих двадцати с чем-то лет.

На Тухачевском была та же или такая же, без карманов, гимнастерка, какую носил год назад, командуя Кавказским фронтом, только вместо металлического флажка к ней был привинчен орден Красного Знамени.

Встречаясь с Тухачевским или наблюдая его только издали, он жадно, почти ревниво всматривался в его чуть полное, удивительно красивое лицо, пытаясь разгадать тайну какого-то необычайного дарования и таланта Тухачевского, без которого не могла обойтись революция. Он искал эту тайну и в прошлой жизни командующего, потому что ни о ком, разве только еще о Гае, не ходило столько рассказов и легенд, сколько о Тухачевском.

Говорили, что отец его был дворянин, что сам Тухачевский в канун мировой окончил офицерскую школу в Москве и по успехам имел право поступить в гвардию, а выбрал обычный пехотный полк, попал на германский фронт и за полгода — невиданный в истории случай — получил за удачные вылазки шесть орденов.

В военной карьере Тухачевского, особенно уже в пору взлета и службы в Красной Армии, было много такого, что позволяло сравнивать Тухачевского с величайшими полководцами прошлого.

...Всю жизнь он кому-нибудь подражал. Сперва отцу. Когда ближе познакомился с Галкой, то Галке. Когда же попал в армию и стал командиром и дальнейшая судьба его (как ему казалось) бесповоротно была решена: он остается служить на всю жизнь, — хотелось быть похожим и на Ефимова, и на Подвойского, но в особенности на Тухачевского.

В том, что после первого же боя в Кожуховке его выбрали командиром взамен убитого Яшки, в том, что послали в «Выстрел», когда возникла нужда в надежных командирах, в том, что из запасного 23-го полка перебросили на борьбу с антоновщиной, он находил сходство с судьбой нового командующего.

...Разговор с Тухачевским вышел короткий. Михаил Николаевич сказал, что пригласил его поближе познакомиться, что, хотя мятеж как таковой в целом ликвидирован, работы все равно еще много: прячутся и сопротивляются те, кому терять уже нечего, то есть люди самые опасные. И потому первейшая задача — привлечь на нашу сторону все население.

Еще Тухачевский говорил, что 58-й полк, куда его направляют, полк трудный. Там чуть не произошла катастрофа, но об этом ему лучше расскажет комиссар полка, которому удалось катастрофу предотвратить.

Он выехал в Моршанск. Штаб 58-го помещался в двухэтажном каменном доме на углу Почтовой и Лотиковской. Пока предъявлял документы, пока пристраивал в вестибюле чемодан и шинель, в штабе начался легкий переполох.

Перед тем как подняться на второй этаж, подумал было отстегнуть хотя бы саблю, но потом решил: не стоит. Все-таки боевой командир.

Комиссар Бычков, видимо уже предупрежденный, ждал. И когда он вошел, его поразило напряженное выражение очень умного лица очень сильного человека. Одну-две секунды комиссар смотрел так, словно по самому первому впечатлению хотел составить исчерпывающее мнение о нем.

От беспощадной прямоты такого взгляда сделалось не по себе. Но он четким шагом, чуть придерживая саблю,

прошел через всю комнату... звякнул большими шпорами, вскинул руку:

— Товарищ комиссар, позвольте представиться: бывший командир 23-го запасного полка Голиков, назначенный командиром в 58-й Нижегородский отдельный особого назначения полк... — и, вынув из сумки заранее приготовленный листок приказа, четким движением (адъютантская школа!) положил листок на стол, отступив на шаг и снова звякнув шпорами.

В такт шпорам звякнула сабля: он старался произвести впечатление.

Комиссар, все это время недвижно за ним наблюдавший, вышел на середину комнаты, пожал руку.

— Садитесь, пожалуйста, товарищ Голиков... Простите, как вас зовут?

— Аркадий...

— Аркадий... А по отчеству?

— Петрович, — смутился он.

— Очень рад с вами познакомиться, Аркадий Петрович. Мы давно вас ждем. Полк уже порядочное время без командира. Я сегодня как раз звонил комиссару боеучастка Сергееву. «Сколько еще ждать?» — «Едет, — отвечает, — едет командир. Тухачевский сказал, бывалый, опытный. Представлен к награде за Кавказ...» Я, признаюсь, ждал этакого лихого. А вы, оказывается, еще очень молоды. Это не упрек, — поспешил добавить Бычков. — А теперь скажите, как добрались? На квартире своей еще не были?

О награде он слышал впервые. И хотя на Кавказе был прошлым летом и никаких наград с тех пор не получал (он скоро оттуда уехал, и награда могла прийти без него), услышать о ней здесь, в штабе 58-го полка, от незнакомого человека было приятно, тем более он догадывался, за что его могли представить: курсант «Выстрела», он проходил на Кавказском фронте минувшим летом практику — командовал IV ротой 303-го полка 34-й Кубанской дивизии, а когда в одном тяжелом сражении выбыли из строя старшие командиры, ему, практиканту, пришлось возглавить полк и держать оборону, пока не прислали замену.

(Сохранилось фото: он в только что полученной командирской форме — звездочка на рукаве, тяжелая шашка на боку, лицо мальчишеское, упрямое. Снимался там же, на Кавказском, летом двадцатого.)

Усадив его в кресло, Бычков запер дверь, чтоб не мешали. И, расхаживая по кабинету, поведал странную историю полка.

ЧТО РАССКАЗАЛ КОМИССАР БЫЧКОВ

В полк Бычков попал недавно, в мае.

Полк насчитывал две с половиной тысячи — при ста двух командирах, пулеметной роте и кавалерийской разведке в девяносто сабель. А потери даже в мелких стычках были ощутимы. И победами стычки эти назвать было трудно.

По приезде в Моршанск Бычков пошел на базар, понимая, что базар — это всегда «биржа», экономическая и политическая. И по тому, как и чем торгуют, понять можно многое.

На базаре было полно красноармейцев, которые торговали кусочками сахара, кнутами, женскими кофтами, консервами, ситцевыми платками. Рынок оцепили. Красноармейцев задержали. Выяснилось — это бойцы недавно присланного резервного подразделения. С одним красноармейцем у Бычкова произошла беседа. Бычков спросил: «Откуда сахар?» — «Мой паек. Менял на табак», — «А консервы?» — «Опять мой паек — получил взамен котлового довольствия. Что в котел кладется, никто не видит, а тут каждый получает свое. Хочет — ест. Не хочет — меняет». — «Но ведь если ты меняешь — сам остаешься голодный?» — «Зачем? Хозяйка, если попросить, накормит. А то как же? Для того и на квартире стою. Вон даже в газете пишут... «Губизвестия» читали? «Надо прокормить Красную Армию». — «А салопчик бабий, — поинтересовался Бычков, — ты тоже вместо котлового довольствия получил?» — «С салопчиком, врать не буду, вышел грех».

Разговор заставил призадуматься. Положим, за всеми салопчиками не уследишь. Но торговля пайком? Отмена котлового довольствия? Во-первых, это нарушение приказа наркома, во-вторых, явный толчок к стремительному развалу дисциплины. Тем более совсем еще недавно каждое подразделение имело хорошо налаженное питание.

Бычков пошел к командиру полка Загулину. Комполка ответил: «Мне некогда!»

«Но что это за бойцы, которые бегают по гарнизону с кульками?!»

«Каждый получает, — ответил Загулин, — что ему положено по раскладке. Я лично вижу в этом преимущество. Боец несет паек в дом, где стоит. Делится с той семьей, которая его приютила. Это укрепляет смычку полка с местным населением».

Бычков даже растерялся... но ему показалось, что Загулин проговорил все это чуть старательней, нежели бы мог себе позволить очень занятой и абсолютно уверенный в своей правоте человек.

Комиссар приказал вернуть котловое довольствие в некоторые подразделения — словно в издевку, бойцам привозили помои: без мяса, без сала, без соли... Когда повторилось, понял: приготовлением помоев тоже кто-то руководит.

Проверяя после этого списки рот, обнаружил: в 58-м полно недавних дезертиров. Большинство — уроженцы Тамбовской губернии. Как выяснилось из тех же бумаг, Загулин некоторое время назад отослал на фронт несколько сот коммунистов. Почему?

Вдобавок трагедия. Прислали пополнение — человек сорок новобранцев. Их нужно было перебросить в другой конец уезда. Бычков сказал Загулину: «Это лучше сделать с наступлением темноты». И не проверил. Ребят отправили рано утром, а вечером в новом, только полученном грузовике привезли убитых: бандиты устроили засаду.

К счастью, Бычков встретил знакомую, которая, услышав фамилию Загулина, спросила: «Это какой же Загулин: похож на калмыка, высокий, вот здесь шрам?.. Так это же бывший частный пристав...» — «А ты не путаешь?» — усомнился Бычков. «Мне трудно спутать: нагайка Загулина гуляла по моей спине».

Загулин в самом деле оказался бывшим приставом и бывшим офицером-колчаковцем, который перешел на сторону Красной Армии. Его приняли в партию. Наградили даже орденом. Быстро выдвигали. Как опытного командира послали на Тамбовщину, но, попав в родные места, Загулин сознательно разлагал полк, главную боевую силу в Моршанском уезде.

«Когда Загулина забрали, — сказал Бычков, — я стал просить нового комполка».

* * *

Выслушав рассказ Бычкова, ошеломленный, он долго сидел молча. Получив назначение в отдельный, то есть самостоятельно действующий, полк, понимал, что будет немало забот. Но такого даже не мог себе представить. А за каждый украденный салопчик отвечал теперь он.

Захотелось побыть одному. Он сказал об этом и встал. Бычков распорядился по телефону, чтобы командира полка проводили на квартиру, а возле дверей кабинета чуть придержал его и почти измученно произнес:

— Судьба полка, Аркадий Петрович, зависит теперь в первую очередь от вас, от того, как вас примут, как сумеете себя поставить. Тем более вы еще так молоды... Я, конечно, соберу коммунистов, подготовлю, а пока, — произнес Бычков еще тише: — чтоб не давать поводов к насмешке... снимите с себя, пожалуйста, часть вашей амуниции. Пока мы не в бою, вам, наверно, не нужен артиллерийский бинокль и не обязательно ходить с такой длинной саблей. И тем более вам, наверно, не нужны мушкетерские шпоры.

Он и теперь помнил, как сделалось жарко лицу.

«ЧАСТЕНЬКО Я ОСТУПАЛСЯ»

Бычков был одним из самых замечательных людей, которых ему довелось встретить. Крестьянский сын, родом из этих же мест, Сергей Васильевич оказался старше на десять лет. Прошел мировую. В восемнадцатом вступил в партию. Выбирался делегатом на VIII Всероссийский съезд Советов. На съезде познакомился с Лениным — по смешному поводу.

Бычков с другим моршанским делегатом приехали в валенках, а началась оттепель. И Бычков с товарищем решили попросить у Ленина ботинки на время, Ленин распорядился выдать насовсем. И долго расспрашивал после, как живут на Тамбовщине (это было еще до мятежа).

И если он в самые первые недели своего пребывания в полку ни разу всерьез не сорвался, то обязан был этим только Бычкову.

Комиссар ни разу первым не вошел в дверь. На совещаниях в полку не произнес первым ни единого слова. Если кто из бойцов по старой памяти обращался в его присутствии к комиссару, Бычков деликатно поправлял: «Пожалуйста, к командиру».

Он шел однажды с комиссаром в 3-ю роту. По дороге задержался. И комроты, думая, что новый комполка не слышит, спросил Бычкова: «Что это за мальца нам прислали?»

— Нового командира, — ответил Бычков, — нам прислал Тухачевский. После случившегося *кого-нибудь* Тухачевский присылать бы не стал. Голиков молод по возрасту, но зрел по опыту. Это бывалый командир. Имеет заслуги. И вы должны это объяснить своим бойцам, чтоб не вышло насмешек.

Знакомство с полком начал с пулеметной роты. Это была главная ударная сила (артиллерии в 58-м не было), а между тем рота держалась неспокойно. Загулинские порядки пулеметчикам нравились.

— Знакомьтесь, — сказал Бычков, — наш новый командир.

Хотя роту предупредили, парни помоложе, его сверстники, смотрели на него, как он сам, верно, смотрел на Пашку Цыганка, с которым чуть не уехал на фронт, а бойцы постарше — с недоверием и даже со скрытым возмущением, что подметил и Бычков.

Он не подал виду и негромко, приветливо поздоровался. Ему вразнобой ответили. Скомандовал: «Вольно!» И его с комиссаром окружили. Пошли вопросы: «Откуда родом? Кто родители?» Потом: «А где вы, товарищ Голиков, учились? Давно ли командуете-то?»

Рассказывать начал со службы у Ефимова. Помянул про курсы, ранение и контузию. Не постеснялся, вспомнил, как в первом деле кинул гранату, не выдернув кольцо. От него ждали откровенности — он был откровенен.

После беседы попросил, чтоб показали оружие. Пулеметы и составленные в пирамиды винтовки были плохо, для отвода глаз, почищены. Все настороженно ждали: «Заметит? А если заметит, что скажет?..»

Ничего не сказал. Только отходя от последней пирамиды, спросил: «Так заняты гусями и курами, что и винтовки некогда почистить?..» (Бойцы смущенно за-

смеялись.) И тоном приказа: «Вычистить!.. Завтра проверю».

Проверил — почистили. Тогда сказал: «Хватит выплескивать на землю суп». Трудно объяснить почему, но снова послушались.

С пулеметной роты все и началось. Жизнь в полку налаживалась. Занятия. Стрельбы, маршировка. Три раза в день горячее. И тут непростительную глупость сотворил он сам.

Долго не налаживались простые, товарищеские отношения с комсоставом, то есть выслушивали командиры его всегда внимательно, распоряжения выполняли, на совещаниях каждое его предложение деловито и спокойно обсуждали, так что после добавлений оно становилось уже общим, но стоило произнести: «Совещание окончено...» — все в то же мгновение подчеркнуто дружно подымались и уходили. Все, кроме Бычкова.

Он понимал командиров. Примерно из ста с лишним тридцать пять были офицерами, имели награды за мировую. Приблизительно столько же числилось в полку бывших унтеров. И назначение к ним семнадцатилетнего комполка все они расценивали как проявление недоверия: профессионального и политического. Это многое усложняло: одно дело, когда отношения простые, и комбат в иной ситуации не ждет распоряжений, действует по обстоятельствам. Другое, когда тот же комбат говорит: «Я ждал приказа...»

Он знал, что командиры иногда собирались, пели под гитару, выпивали, а к утру, к побудке, являлись подтянутые и выбритые. Раза два приглашали и его. Он отказывался, потому что продолжал знакомиться с полком, роты которого были разбросаны по селениям вокруг Моршанска. И ему было не до цыганских романсов.

Но когда в довольно тихую минуту его снова пригласили и он опять отказался, один из командиров спросил: «Зачем же вы нас, Аркадий Петрович, обижаете? Или вам неприятно сидеть с нами за одним столом?»

Смутился, ответил: «Если управлюсь, приду». Ему показалось, что и приглашают его со значением — на «товарищеский ужин». Что, если это примирение? С другой стороны, мудрый дед Филатов, начальник «Выстрела», говорил: «Никакого панибратства... Командир всегда немножко бог».

Поднялся к Бычкову.

— Я тебе не рекомендую, — ответил комиссар. — Вопреки опасениям ты хорошо поставил себя в полку. Бойцы говорят о тебе с уважением. Что командиры иногда собираются, а ты с ними не пьешь, красноармейцы знают тоже и ценят. И по-моему, тебе не следует идти. А вообще, как знаешь...

Он пошел.

И его напоили.

И он очутился в том нелепом и безвыходном положении, когда нельзя уйти (обидятся и засмеют!) и нельзя дольше оставаться, потому что еще хуже напоят. И вдруг чуть не заплакал от обиды: «Провели, как мальчишку».

Утром в штабе встретил Бычкова. «Хорош!» — глядя на него, произнес комиссар.

Он и сам полагал, что вид у него хорош, хоть и выкатил перед уходом на себя три ведра воды.

До обеда побывал в лазарете, на полигоне и продскладе. Потом вызвал трех вчерашних сотрапезников и отругал за то, что перепутали свои банные дни. И теперь неизвестно, когда мыться первой роте, когда второй. (Командиры ушли в заметном смущении.) Затем поднялся к Бычкову.

— Конечно, — согласился Бычков, — нельзя обижать людей. Командиры наши — люди преданные, но замашки у них гусарские, поэтому знай край, да не падай.

Он согласился. Тогда Бычков спросил:

— Ну, а когда вернешь деньги?

— Какие деньги?!

— Миллион семьсот тысяч, которые ты взял у меня ночью. (Это было примерно трехмесячное его жалованье.)

— Прости, Сергей Васильевич, но я у тебя не брал ни копейки...

— Ты пришел сюда ко мне в первом часу. Я знал, что ты в гостях, и оставался в штабе допоздна. Ты пришел и попросил два миллиона. Я сказал: у меня таких денег нет. Тогда ты стал грозить наганом, нагана твоего я, конечно, не испугался. Я мог бы позвать часового, но не хотел подымать никакого шума. Мне достаточно истории с Загулиным. Двух миллионов у меня не нашлось: только полтора миллиона собранных партвзносов

и двести тысяч своих. Я тебе все эти деньги отдал, решив отложить разговор до утра, когда ты проспишься.

— Прости, но я совсем ничего не помню. Я грозил тебе наганом? И взял такие деньги? Но на что?..

— Почем же я знаю на что?

— Но... у меня ничего нет. — Он вывернул карманы. — Вот пятнадцать тысяч. Остались от прошлой зарплаты. Больше ничего...

— Если ты, Аркадий Петрович, мне не веришь...

— Нет, почему же, я тебе верю...

— ...то вот, пожалуйста, твоя расписка, — и положил на стол вдвое сложенный листок плотной бумаги.

Это была расписка в том, что он, Голиков А. П., взял один миллион семьсот тысяч у Бычкова С. В. Текст и число были написаны рукой Бычкова, а подпись стояла его.

Он узнал бы ее из тысячи поддельных, потому что нарочно упражнял руку, исписывая своим «Арк. Голиков» любой чистый клок бумаги и даже большие листы на своем рабочем столе, которые приходилось поэтому часто менять. Комиссар ему однажды заметил: «Такое пристало старорежимным телеграфистам, но не тебе, командиру особого полка, подписи которого достаточно, чтобы снять с фронта целый батальон».

Прочитав расписку, он сказал:

— Не помню... Ничего не помню, комиссар.

— Как же будем решать?

— Не знаю... Меньше чем в три месяца мне никак не расплатиться. Куда же я их дел?

— Мне-то, повторяю, откуда знать? Я тебя не спрашивал — ты не говорил. Только учти, если будет ревизия и не окажется денег, меня разжалуют. Я останусь без партбилета.

Неделю ходил как приговоренный, не зная, куда ушли те злосчастные деньги и где взять другие. Иногда навещал Бычков: «Ты чего голову повесил? Выкрутимся как-нибудь. Давай пройдемся по казармам».

Он так ничего и не придумал. Оставалось попросить у отца, но было стыдно. Давно ли писал... «В общем, я собою доволен. Немножко устал, но это пустяки. Я думаю, что сейчас неуставших и нет. «На смену старшим, в борьбе уставшим спешите, юные борцы» — вот клич теперешней молодежи...»

Как можно было после этого: «Дорогой папочка, не пришлешь ли ты мне два миллиона?..»

И все же за письмо такое сел, но тут внезапно вошел Бычков, расстегнул карман и положил на стол расписку.

— На́, — сказал комиссар, — и забирай свой вексель. Ничего ты мне не должен. Просто я решил тебя проучить — и за разгульное твое гусарство, и за то, что строчишь на чем попало: «Голиков... Голиков... Голиков». Этот кусок бумаги я отрезал ножницами от листа у тебя на столе...

И Бычков вышел.

Было радостно и стыдно. Злился на себя и улыбался: «Как же это я дал Бычкову так себя провести? Ведь видел, что расписка-то на клочке настольной бумаги».

Но комиссар был прав: шутку похуже мог сыграть и кто-нибудь другой.

* * *

В своей автобиографии Гайдар писал: «Частенько я оступался, срывался, бывало, даже своевольничал, и тогда меня жестоко за это свои же обрывали и одергивали, но все это пошло мне только на пользу».

ПОРАЖЕНИЕ БАНДЫ КОРОБОВА

В ночь на 21 июля 1921 года из штаба 5-го боеучастка пришел приказ: «По сведениям войсковой разведки, в районе села Хмелино оперирует банда Коробова — Попова численностью до 300 всадников.

Приказываю командиру 58-го полка тов. Голикову: К 5 часам 21.VII выслать команду контрразведчиков вверенного вам полка не менее 50 всадников при двух пулеметах в село Перкино. По прибытии контрразведчиков 58-го полка в село Перкино вести беспрерывную разведку в южном, юго-восточном и юго-западном направлениях. В случае обнаружения банды, не дожидаясь особых приказаний, немедленно атаковать ее и уничтожить».

В районе Хмелино его красноармейцы столкнулись с частью банды человек в сто. Возникла перестрелка, бандиты разбежались, оставив двоих убитых.

И теперь вся надежда у него была только на раз-

ведчиков. Раз банда здесь, во всяком случае, поблизости, нельзя ее упустить. И когда пришло донесение, что в районе Николаевского кордона (десять верст восточнее Перкино) разогнанная банда собралась, с конной разведкой в эту операцию отправился сам. И к Перкинскому лесничеству добрались часам к шести.

Было намерение дождаться полной темноты и тогда уже ударить, но в темноте и атакующим труднее. Будь то деревня — другое дело. А здесь лес. Пусть не очень густой, с широкими просеками, а все-таки. И потом в лесу рано темнеет...

Подсчитали, сколько примерно понадобится времени, чтобы окружить лесничество. И условились: атака начнется минут через пятьдесят. Еще раз предупредил: «Обход делайте как можно скрытнее, иначе Коробов уйдет, не приняв боя...»

Тот примерно час, который он отвел себе и разведчикам для занятия рубежей перед атакой, проходил медленно и напряженно. Через точно сосчитанные минуты должно было решиться, примут ли его как боевого командира бойцы, примут ли остальные командиры, перед которыми на той нелепой вечеринке он предстал совершенным дураком. Примет ли, наконец, Бычков, который с чужих слов говорил: «Молод по возрасту, но зрел по опыту». Сегодня Бычкову предстояло в этом убедиться или разочароваться.

Положение осложнялось тем, что стычки с Коробовым случались и при Загулине, но либо при этом погибало немало наших, либо Коробов прорывался к лесу, хотя была полная возможность его задержать. И среди бойцов ходили разговоры, что, мол, «бандюков этих все равно всех не переловишь...».

Посмотрел на часы. Время, которое он отвел на обход, истекало. Двое спешенных разведчиков, возвратясь из лесничества, доложили: там вроде бы спокойно... Лесничество — это несколько сараев и домиков. Бандиты что-то варят. Пасутся стреноженные лошади («Это хорошо — даст бог, до последней минуты не услышат топота наших коней»). Часовые покуривают. Похоже, никого не ждут. Так что самое время.

Он снова поглядел на часы: «Пора». Прислушался — тихо. И кивнул командиру конной разведки, отчаянному, по рассказам, парню. Если нужно было разведать, совершить неожиданный налет, скрытно подобраться к бывшему помещичьему имению, тот всегда умел найти удобную дорогу, пробраться задами или оврагами.

И теперь, когда все беззвучно тронулись, он волновался больше всех — не только потому, что это была первая вылазка, но и потому, что разведчики привыкли подчиняться лихому своему командиру, и было неизвестно, как отнесутся, если в момент схватки команду подаст он: когда люди остаются с глазу на глаз со смертью, действуют свои законы...

И дал себе слово: без крайней нужды вмешиваться не станет.

Кончился реденький лесок. Дальше в лесничество шла прямая дорога. Он остановился. Подождал, пока подъедут остальные.

Командир разведки спросил: «Можно?..»

Ответил: «Можно».

Командир разведки приказал: «Приготовить бомбы!» Щелкнули вставленные запалы, и бойцы рванулись с места.

Недалеко от полуразвалившегося сеновала навстречу ударило несколько испуганных выстрелов. Маленький отряд тут же рассыпался, чтоб не полоснули пулеметной очередью, и с грохотом разбрасываемых бомб, с треском винтовочных выстрелов, с гиканьем и свистом ворвался в лесничество.

Командир конной разведки любил шум и грохот. «Пусть пули, выпущенные на скаку, летят мимо цели, пусть бомба брошена в траву и впустую разорвалась... Было бы побольше грома, побольше паники! Пусть покажется ошарашенному врагу, что неисчислимая сила красных ворвалась в деревеньку. Пусть задрожат пальцы, закладывающие обойму, пусть подавится перекошенною лентою наспех выкаченный пулемет...»

И сейчас, когда красноармейцы ворвались на территорию лесничества, от внезапного гиканья и грохота стали выбегать и выскакивать из домиков и сараев бандиты. Отстреливаясь на ходу, они бросались на неоседланных лошадей, надеясь убраться подобру-поздорову. Но с противоположной стороны, а затем слева и справа раздались выстрелы и такой же гранатный грохот. Это вступили в бой остальные группы разведотряда. Раздался истошный крик: «Окружи-ли!.. Красные окружили!..»

Сам он не кидал гранат и не стрелял, только слушал и смотрел, пытаясь охватить картину вечернего боя, что-

бы в случае необходимости вмешаться и чтобы потом, наедине, все по деталям разобрать и обдумать, поскольку таких боев предстояло еще немало.

Лишь в самом начале операции он разрядил наган в окно, откуда высунулся, дав выстрел, обрез.

Результаты боя оказались такими: шесть бандитов убито (сколько раненых увезли с собой, неизвестно). В числе трофеев три лошади, шесть сабель, двадцать пять винтовок, две тысячи патронов. Но самое главное, как писал он в донесении, «с нашей стороны потерь не было...».

Сам же он был доволен еще и тем, что не лез, не бросался очертя голову, не подменял командира разведки. В «Выстреле» их учили: командир не тот, кто отчаяннее любого бойца, а тот, кто не теряет способности думать в момент самого жестокого боя.

И когда он в другой уже раз ехал с той же конной разведкой по степи, неожиданно мелькнула чья-то тень — и сразу за бугор.

«Ага, — подумалось, — стой, белый разведчик. Дальше не уйдешь никуда...»

Ударил он коня шпорами, выскочил на бугор. Глядит — что за чудо: стоит под луной какая-то девчонка. Лица не видно, только волосы по ветру развеваются.

Соскочил он с коня, а наган на всякий случай в руке держит. Подошел и спросил: «Кто ты и зачем в полночь по степи бегаешь?» А луна вышла большая, большущая! Увидала девчонка на его папахе красную звезду, обняла его и заплакала.

Так они с Марусей и познакомились, а на следующий день осколками ручной самодельной бомбы его ранило, и Маруся, узнав, прибежала к нему в госпиталь.

Он ей тем более обрадовался, что Бычкова[1] в полку к тому времени уже не было: как местного уроженца, комиссара перевели на гражданскую работу — разъяснять крестьянам новый закон о продналоге. И все дальнейшие операции полк провел с новым комиссаром.

«...Воевать кончено, — сообщал он 1 августа 1921 года в Арзамас Шурке Плеско. — Мною уничтожены банды Селянского, Жирякова и Митьки Леденца. Работы много. В течение всего лета не слезал с коня. Был назначен врид командующего боевого участка... Живу хорошо. Хромать (в Арзамасе его помнили еще на костылях!..) перестал.

Собираюсь в Академию Генерального штаба, в Москву. Привет вашему губкому. Когда вырасту, буду работать лучше. Мы еще пока резерв...»

Это было его последнее письмо с Тамбовщины. Получилось оно слегка хвастливым, и вспоминать о нем было стыдновато: ведь под Моршанском действовал не один 58-й полк, были и другие; была и комиссия ВЦИК, присланная Лениным, и всюду распубликованные листовки: «Добровольно явившимся будет сохранена жизнь», и только что принятый X съездом закон о продналоге, снимавший обиды продразверстки. Наконец, в губернию просто завезли дополнительное количество хлеба и мяса, хотя многие районы страны по-прежнему голодали.

Одно искупало тон письма — семнадцать лет!

ПРОТИВ СОЛОВЬЕВА

Комбат без батальона

Но в Академию Генерального штаба не пустили — послали на другую работу. И он ехал в Сибирь, в Новониколаевск.

Банды Антонова были разгромлены, а те, что оставались, выходили из лесов. Им были установлены «прощеные дни».

Бойцы его полка последнее время конвоировали сдавшихся, охраняли колосившиеся поля. Когда созрел хлеб, помогали жать серпами рожь (он жал тоже и полоснул себя серпом по мизинцу левой руки. И старуха, чье поле, сказала: «Теперь научишься жать, а иначе никак»). И люди его круглые сутки стерегли необмолоченные скирды, чтобы никто не поджег.

И вот («Январь двадцать второго») он направлялся за новым назначением, потому что в Сибири продолжалась своя антоновщина.

Рядом с ним, не отрывая глаз от окна, сидела Маруся. Они тогда еще были вместе. Он ехал в Сибирь впервой. А для Маруси это была ее родина.

По дороге сделали остановку в Арзамасе. Впервые, возвратясь домой, не застал маму, а без нее дом был совсем пустой, хотя все стояло на прежних местах и тут по-прежнему жили и тетка Дарья и сестришки.

Мама уехала с Субботиным в Среднюю Азию. Послали их туда по партмобилизации на три месяца, а задержали на год. (Мама стала секретарем уездного комитета партии в Пржевальске.) Для мамы, может, это было даже лучше. Она не слышала злобного шепота соседей, особенно бывших квартирных хозяев Бабайкиных, которые ожесточенно ее травили, мстя за то, что мама, женщина «интеллигентного круга», пошла помогать большевикам.

А для него, для них для всех отъезд мамы был невыносимо горек, но об этом дома старались не говорить, показывали ему последние мамины письма. И ждали, как и отца, который, между прочим, тоже служил в Новониколаевске, и они с Марусей надеялись там его повидать.

С отцом повидались. Прожили вместе несколько дней, пока ему не выдали на руки предписание:

«Начальнику штаба частей особого назначения ВСВО.

Одновременно с сим препровождается в ваше распоряжение бывший командир 58-го отдельного Нижегородского полка тов. Голиков для назначения на должность не ниже командира отдельного батальона. О прибытии и исполнении донести».

Они выехали с Марусей 1 или 2 февраля. 9-го были в Иркутске. Он подал рапорт.

«Начальнику штаба ЧОНа ВСВО

РАПОРТ

Доношу, что сего числа прибыл в ваше распоряжение для назначения на командирскую должность в частях вверенных вам войск. Прошу не отказать в назначении меня в Енисейскую губернию, по месту жительства семьи...»

Здесь получил новое предписание:

«Тов. Голикову. Предлагаю вам с получением сего отправиться в распоряжение командчонгуба Енисейской губернии для назначения вас на должность не ниже командира отдельного батальона...»

Предстояло ехать в Красноярск, а там — куда пошлют. И он отвез Марусю к ее родным, не зная, сколько еще придется помотаться, пока попадет к месту службы. Успокаивало одно: будут в пределах губернии. (А что губерния от Западных Саян до Таймыра, об этом старались не думать.) И простились.

Из Красноярска послали в Ужур. До станции Глядень добирался поездом, а затем на лошадях — железной дороги дальше не было.

Батальона в Ужуре для него не оказалось. Ему отвели комнату в штабе 6-го Сибирского сводного полка, поручили принимать и обрабатывать донесения, составляя на их основе общую разведывательную и оперативную сводку. Времени это занимало немного. И здесь, как на Тамбовщине, он погрузился в материалы о бандитизме.

Кто такой Соловьев!

В Ачинско-Минусинском районе действовали остатки колчаковских отрядов и мелкие шайки уголовников. Зажиточность местного крестьянства, когда любой налет давал добычу, позволяла этим бандам существовать годами. Но «самой старой и замечательной» *, как говорилось в одном документе, считалась банда Ивана Соловьева.

Родился Соловьев в селе Форпост того же Минусинского уезда, в котором теперь преимущественно и действовал. Отец его был небогат.

Заслужив у Колчака лычки урядника, Соловьев после разгрома адмирала остался жить в деревне Черное озеро, но был арестован, доставлен в Ачинск, откуда бежал и появился в своем родном селе Форпост.

«Иван, ты откуда?» — удивились соседи.

«Да вот оттуда».

«А ежели оттуда, то теперь-то куда, в котору сторону?»

Ответил «в котору».

«Ну и зря, — посетовали ему. — Лучше б вернулся, откуда прибег...»

Не вернулся. Собрал Соловьев шесть человек (все родня) — и в тайгу. Раздевали прохожих. Грабили обозы и села. Все негромко — то есть без программ и лозунгов. Барахлом обзавелись. А в товарищи к ним никто не шел. Уж очень их компания считалась неавторитетной. Но тут появился в уезде и был разбит отряд колчаковца полковника Олиферова. Самого полковника в бою застрелили в упор. Остатки отряда подались на юг. А человек тридцать

повстречали Соловьева, который предложил им влиться в его банду.

Влились. В банде появился штаб. Правой рукой Соловьева стал двадцативосьмилетний прапорщик Королев, агроном по образованию. Начальником штаба (у бывшего урядника!) полковник Макаров, монархист. Макаров ходил в погонах. В лесу поселил жену и дочь, которые вели с бандитами беседы «за царя».

Разведкой же ведал «инородец» Астанаев. На него работали даже дети... И банда всегда точно знала о всех передвижениях отрядов ЧОНа.

Соловьев, когда получил такое подкрепление, объявил себя командиром «Горно-партизанского отряда имени Великого князя Михаила Александровича», выбросив два лозунга: «За освобождение (?) инородцев» и «За Учредительное собрание».

Лозунги никого не манили. И вербовать людей Соловьев начал так: приходил в село, уводил в тайгу сельсоветчиков и партийцев, там выстраивал.

— Кто хочет бороться за Учредительное собрание и вступить в мой отряд? — спрашивал Соловьев.

Два-три «охотника» делали шаг вперед. Им давали винтовки и приказывали расстрелять остальных, после чего Соловьев заявлял: «Вы совершили преступление, убив своих товарищей...»

Осенью двадцать первого у Соловьева было двести сабель, а в следующем году — четыреста двадцать.

«Все распоряжения в банде, — докладывала наша агентура, — выполняются беспрекословно» *. Атаман почувствовал такую силу, что издал приказ, в котором запрещал кому бы то ни было углубляться в тайгу «более чем на пять километров от края ее. Захваченные будут расстреливаться на месте» *.

Царить в тайге Соловьев намеревался долго. Как и полковник Макаров, забрал к себе в лес жену, отца, двух дочек. За пределами тайги никого из близких уже не оставалось.

Атаман вывез с рудников паровые котлы, железные печи, оконные рамы, строя прочные жилища, запасая оружие, одежду, мануфактуру.

В мечтах Соловьев заносился далеко и кое-чего достиг. О нем говорили только шепотом («Все видит и слышит»), он мог за день, если верить той же молве, появиться сразу

в двух-трех местах, разделенных десятками верст бездорожья. Соловьев срывал заготовки и поставки, парализуя действия Советской власти во многих деревнях.

По следам Родионова

Нарочный доставил донесение — копию «подметного письма» на имя председателя комячейки в селе Чебаки.

«Граждане чебаковцы! — говорилось в письме. — Неужели вам не надоело по целым месяцам не раздеваться и редко дома бывать?.. С моей стороны совет таков: предлагаю сложить оружие, жить по-прежнему. Ежели не сложите... к масленке ждите в гости. За сложение оружия гарантирую неприкосновенность личности... Соловьев» *.

В штабе созвали совет и послать в тот район решили его. Собрался он быстро, но шифровка его обогнала:

«26/III в 12 ч. выехал из Ужура в Божьеозерское тов. Голиков для принятия батальона от комбата Касьянова. Касьянову отдано распоряжение прибыть... Кажурин».

Он ехал верхом в сопровождении парнишки — связного, приданного для охраны. Парнишка трусил. Держался все время позади.

Самому тоже было не по себе: выскочи навстречу десять-двенадцать человек — и удрать не удерешь, и справиться не справишься.. Вообще, в незнакомой местности всегда чувствовал себя неуверенно.

Однако обошлось.

Касьянов торопливо сдал дела. И он остался со своим батальоном... которого не было: имелся отряд в двадцать пять человек. Полувзвод. А громкая должность его — комбат — означала, что он в самом деле мог бы получить батальон, но армейских боевых единиц здесь не существовало. Рассчитывать можно было лишь на то, что в случае крайней нужды ему, как батальонному командиру, придадут еще два-три таких же отряда.

Чувствовал себя обескураженно, словно с ним обошлись в насмешку, а делать нечего, надо приступать. И он с первого же часа познал, что такое война с бандитизмом в условиях Сибири.

...Снарядил разведку в девять человек под командой Мотыгина — разведка вернулась ни с чем.

Зато дозорные захватили мужика с наганом и гранатой. Мужик признал, что из «отряда Ивана Николаевича»,

то есть Соловьева. На остальные же вопросы отвечать не захотел.

Мужика отослал в Ужур и сразу начал готовить другую разведку. Но тут вернулись посланные в Ужур конвоиры: мужик, по их словам, по дороге пытался бежать и был ими убит.

Объяснения показались ему подозрительными. Однако заниматься сейчас расследованием случившегося не было возможности. Посадив конвоиров до выяснения под арест, во главе новой разведки пошел сам.

У него было предчувствие, которое редко обманывало, что противник, то есть Соловьев, очень близко. И он в надежде на возможную встречу двинулся из Чебаков в соседнее Ново-Покровское.

Столкновение с бандой было ему необходимо, чтобы сразу утвердить себя на новом месте, чтобы доказать Мотыгину: разведка накануне была проведена плохо, и еще для того, чтобы после успешного боя не торопясь разобраться в этой странной истории с побегом арестованного, которого не довели до Ужура.

По дороге в Ново-Покровское опросил всех встречных. Никто ничего не знал. А это был почти верный признак, что банда в самом деле близко, только люди запуганы. И вернулся к себе в штаб с пустыми руками.

После разноса, учиненного накануне Мотыгину, стыдно было глядеть людям в глаза. И он долго ходил по своей комнате в реквизированном доме сбежавшего золотопромышленника Иваницкого, обдумывая сложившуюся нелепую и на сегодняшний день безвыходную ситуацию. Лег далеко за полночь. И только уснул — разбудили: двое мужиков из Ново-Покровского пробрались окольно к нему в штаб, чтобы сообщить: как только он вчера, уже на обратном пути, прошел через село, налетело шестьдесят всадников под командой Егорки Родионова. Взяли хлеб, погрузили вьюками на тут же отобранных лошадей и скрылись.

(Налет подтверждал сведения о том, что Соловьев, по соображениям тактики, разделил свой отряд на несколько банд поменьше, доверив одну Родионову. Кто такой Родионов, в штабе 6-го Сибсводполка не знали. Он тоже.)

Велев понеприметней вывести мужиков из штаба, дал команду седлать через полчаса коней и продиктовал шифровку. Тут же пришел ответ: ему на помощь высылался отряд Измайлова в шестнадцать штыков (из числа комсомольцев-чоновцев, поднятых по тревоге). Но отряд должен был еще дойти. Он не стал ждать — пустился по свежим следам вдогонку. Однако следы в чистом поле замело.

Шли дни. Родионов затаился в тайге. Сидеть сложа руки, пока атаман изволит выйти, было нелепо.

И он вызвал через надежного человека тех двух мужиков из Ново-Покровского и послал в тайгу. «Если наткнетесь,— предупредил,— на бандитов, волки угнали табун лошадей».

И тут же получил донесение от соседа, начальника отряда Шмаргина: «Возле улуса Сарала замечена банда...» * Шмаргин просил, если будет возможность, прислать подмогу.

Он растерялся: ведь ему самому прислали подмогу — шестнадцать штыков. И даже с подмогой ему все равно не хватает людей: Родионов вот-вот не усидит, выйдет со своими шестью десятками молодцов, все верхом, из леса. Чем брать?..

Со стесненным сердцем ответил Шмаргину: «Держи, мол, меня в курсе, хотя помочь тебе вряд ли сумею: караулю Егорку Родионова и в твоей, Шмаргин, помощи скоро буду нуждаться сам...»

И тут встречная депеша от Шмаргина: «Обнаружена банда в тридцать-сорок человек под командой Соловьева» *. Шмаргин посылал против Соловьева двадцать пять человек, а сам с несколькими бойцами оставался в Сарале, на случай, если помощь понадобится ему, комбату Голикову.

Взволнованный известием о появлении «самого» Соловьева» и тронутый заботой Шмаргина, у которого был достаточный повод, чтобы кинуть против атамана все невеликие свои наличные силы, он тут же решил отправить в Саралу полтора десятка всадников, но возвратилась мужицкая разведка:

— Следы Егоровы нашлись... Тимофей узнал подковы своей кобылицы...

Значит, Шмаргину не мог дать ни одного человека. Всех бойцов до единого он забрал с собой (с отрядом Измайлова сорок один штык, с ним — сорок два). И велел выдать винтовки мужикам, у которых имелись свои счеты с бандой. Всего получилось пятьдесят два бойца при одном пулемете на салазках.

Двигались быстро. До следов, которые вели прямо-

хонько к Родионову, добрались часа за три. Что ждало впереди — неизвестно, потому сделали привал. Сухари. Снег вместо чая — и в глубь тайги.

Вскоре обнаружили покинутую стоянку: банда жгла костры, резала коней, ставила шалаши. Через двадцать километров нашли такую же, то есть с разбросанными лошадиными головами и копытами и ямой, в которой были запрятаны лыжи. На них Родионов ушел в беспредельную глубь леса, оставив только две лыжни. Батальон лыж не имел. Не только с собой — вообще. Преследовать не было никакой возможности.

По возвращении нашел телеграмму Шмаргина: «Отряд двадцать пять человек... догнал банду Соловьева тридцать человек. С обеих сторон была открыта стрельба, после чего банда разбежалась в разных направлениях. В результате перестрелки убит один бандит... взята одна лошадь и одна винтовка. С нашей стороны потерь нет...» *

Пока сидел в Ужуре, отмечая по карте, как и куда согласно донесениям движутся банды, а куда — наши отряды, все выглядело просто. И он, бывало, честил про себя тех недотеп-командиров, которые, выследив, тут же упускали Другуля или того же Соловьева. И в большинстве неудач видел только недостаток расторопности.

Но вот он сам был достаточно расторопен. Никто не упрекнул бы его, что, преследуя Родионова, он что-либо упустил... кроме самого Родионова. И снова было стыдно.

Чуть погодя, остыв от неудачи, рассудил: здесь не Украина и даже не Тамбовщина. Тут необъятные просторы. Беспредельная тайга. Каждый бандит — следопыт и охотник. Конечно, в батальоне у него мало людей. Конечно, не было лыж, но прежде всего ни к черту не годилась разведка. Пытаясь поймать Родионова, был уверен: у Егора шестьдесят всадников, банда всерьез обобрала Ново-Покровское, и не мог понять: куда делся табун лошадей и увезенный хлеб, когда бандиты встали на лыжи?.. Потом узнал: в налете участвовало двадцать всадников, забрали всего десять пудов муки и восемь лошадей — совершенные пустяки по сибирским условиям.

А он вызвал сперва отряд Иванова, затем выпросил шестнадцать штыков отряда Измайлова, держал в напряжении Шмаргина, не дав бросить все, что имел Шмаргин, на преследование Соловьева.

Как знать, не держи Шмаргин для него резерв, ушел ли бы Соловьев?..

НАЧАЛЬНИК БОЕРАЙОНА

Дней через десять из Ужура доставили пакет:

«Во исполнение приказа Командчонгуба... Ачинско-Минусинский район разбит 9/IV на следующие три боевых района: первый, граничащий к западу от реки Енисея, к северу от Томской железной дороги, к югу до речки Черный Июс и Чулым, второй — к западу от реки Енисей, к югу от реки Черный Июс и Чулым, до реки Большой Улень, южнее станции Сон — рудник Юлия по реке Сухая Тесь, и третий — к западу от реки Енисея... Начальником первого боевого района [назначается] комсводотряда шесть Кудрявцев, второго боерайона — комбат 6-го сводотряда Голиков и третьего боерайона — командир кавалерийского полка один... тов. Равдо...» *

Участок, который ему отводили, мог вместить небольшую страну. В пределах своего боерайона он имел право самостоятельно принимать решения, не выпрашивая в Ужуре каждый раз еще десять человек. Но вторая часть приказа повергла его в совершенное уныние: на весь боерайон, кроме имевшихся у него двадцати пяти бойцов, выделялось еще восемьдесят три штыка и тридцать две сабли, то есть сто пятнадцать человек, и два пулемета.

...И он отправился в инспекционную поездку по своему району, решив начать с курорта Шира.

Ехали, не считая охраны, втроем: командующий отрядами ЧОНа губернии Кокоулин, немолодой врач, который возвращался из Красноярска, и он. Врач по дороге рассказывал, что источники курорта Шира по своим целебным свойствам не уступают карлсбадским. А купание в самом озере столь же полезно, как и в море.

На курорте Шира, у лечебных павильонов, их ждали. И командир с франтоватыми усиками, по-цыгански свободно сидевший в седле, отсалютовал: «Отряд в количестве... Рапортует помкомотряда Никитин».

Хотя фамилия ничего ему не говорила, мог поручиться, что Никитина знает. И когда все направились к штабу, сказал Никитину:

— Я вас, по-моему, где-то видел... Вы не бывали в Арзамасе?

Никитин хитро улыбнулся:

— Бывал... Мы ехали на Восточный фронт и делали там остановку...

— Пашка,— изумился,— Цыганок?!

— А вы,— растерянно,— Аркадий?!

Забыв, кого сопровождают, кинулись друг другу на шею. Пришлось объяснять командующему: встречались мальчишками. Никитин уже служил в ту пору в кавалерийском отряде, хотел помочь поступить ему, а его не взяли по молодости. Командующий рассмеялся.

Они с Цыганком, конечно, после Арзамаса подросли. Считали себя вполне взрослыми. Тем временем Пашке было девятнадцать, а ему — начальнику боевого района — восемнадцать[1].

После обеда обсуждали: теперь, когда созданы бое-районы, есть ли смысл собрать все отряды в одном месте, перебрасывая их в нужном направлении?

Пашка сказал: «Как мне кажется, сливать отряды ни к чему. Пусть остаются где есть». Он поддержал: банды редко нападают на вооруженных. И предложил: не только оставить отряды там, где они стоят теперь, но и подразделить их еще на более мелкие, по семь-восемь человек, чтобы в селах и возле дорог, где чаще всего появляются банды, всюду имелись как бы заслоны. Это должно произвести особое впечатление на тех, кто попал к Соловьеву по ошибке или принуждению.

— У нас и так мало сил,— произнес командующий,— чтобы их еще больше дробить.

— Сил, конечно, мало,— согласился он.— И я бы не отказался, если бы мне подбросили еще хотя бы сто или двести человек.

— Хорошо. Действуйте, как находите нужным,— согласился командующий. — Получится — применим ваш опыт. Не выйдет — взыщем. А подкрепление вам, я думаю, удастся подкинуть.

И слово сдержал — прислал ему, как говорилось в приказе, «для усиления района Голикова» * восемь человек. Видимо, больше командующий дать не мог.

СВОЯ РАЗВЕДКА

Пинкертоновщина

Создал свою разведку, о которой думал с тех пор, как его провел Родионов.

Разведсводка штаба, как правило, запаздывала на несколько часов. О действиях банд в окрестных селах чаще всего узнавал, когда банда уже совершила налет и крестьяне приходили просить, чтобы красноармейцы догнали Соловьева и отобрали награбленное имущество. Если же банда просто появлялась в селе или ее встречали где-либо на дороге, об этом не сообщали. Или сообщали очень редко, хотя такие сведения были важней всего.

Разумеется, каждый день выделялись разведгруппы, которые нередко добывали ценные сведения, но ему нужны были люди, способные проникнуть в расположение банд.

...Начал с того, что поменял армейское седло на мягкое хакасское, переоделся в крестьянское платье и отправился со своим знакомым, Федором Кочкиным, просто так по большой дороге.

Со всеми, кто попадал навстречу, здоровались и закуривали. У него с собою был полный кисет и номер «Красноярского рабочего». Он щедро делился табаком. С ним делились новостями: «Соседей моих сын у Ивана Николаевича служит, так он сказывал...» Или: «Еду за дровами вчера, а они навстречу: «Дядька, далеко в лес не ходи — заблудишься». И хохочут».

Когда возвращались с Кочкиным, кисеты были пусты, во рту горчило, а самодельный его блокнотик был весь исписан только ему понятным шифром. В арзамасском реальном вся школа играла в шифры. У него их было целых два: один простой, другой хитрый. Второй, хитрый, теперь пригодился.

Беседы на большой дороге давали немало, а тут еще он договорился, что отец Федора Кочкина — Иван Кочкин, который жил в дальнем селе, выдаст его за племянника из Ужура.

Село, в которое попал, было богатое. И он угодил прямо на *помочи*, когда *мир* помогал солдаткам, которые остались без мужей. Помогая «маломочным», мир демонстрировал свою послушность Советской власти, призывавшей: «Ни один осиротевший дом не должен остаться без внимания», одновременно страхуясь перед Соловьевым, Кулаковым, Другулем, поскольку немало «погибших» и «пропавших без вести» на самом деле служило в бандах.

...Он знал эти «бандитские гнезда» еще по Украине, когда, бывало, куда ни сунься, «либо костры горят, а над кострами котлы со всякой гусятиной-поросятиной, либо

атаман какой заседает, либо просто висит на дубу человек, а что за человек, за что его порешили — за провинность какую-либо, просто ли для чужого устрашения, — это неизвестно». И даже на дальнем-раздальнем хуторе, если заходил в дом,— ставили тебе на стол кринку молока, отрезали шматок сала, не жалели ковригу хлеба, а укладывая спать, запирали двери на висячий замок — то ли ты в гостях, то ли в ловушке. И курсант Левка Демченко попал однажды в такую ловушку: заперли его в чулан. И стали уже звать какого-то не то Гаврилу, не то Данилу. Только Левка тогда не растерялся. Задвинул засов со своей стороны. Выставил винтовку в щель, благо винтовка при нем оказалась, и «начал спокойно садить выстрел за выстрелом», думая: «А наши-то стрельбу сейчас услышат — вмиг заинтересуются...»

«Помочи» проходили празднично. К нему скоро привыкли, и развязались языки. О чоновских отрядах здесь знали не меньше, нежели о Соловьеве. Когда ж один старик произнес: «А Голик-то, новый командир...», он даже вздрогнул, на мгновение представив, что́ с ним бы сделали, подметь кто: «А Голик-то, вот он, родненький, сидит с липовым своим дядькой и давится поднесенным пирогом с рыбой».

Конечно, это была непростительная пинкертоновщина, но для себя он объяснял ее так: для того чтобы посылать в бандитское гнездо других, он должен испытать, что же это такое, на себе.

Кузнецов

Одним из его постоянных разведчиков стал Василий Кузнецов, черный, широкоплечий мужик с широкими скулами и острым, хищным носом. Родом Василий был с Дону, как занесло его в Сибирь — мало кто знал. Биография у Василия была путаная, а сам он человек странный. Со скандалом, например, сдавал всякий раз налог, а по его заданию уходил на несколько суток в тайгу, чтобы выяснить, какими дорогами Соловьев ходит с Теплой речки. И выполнял все в точности.

Поначалу он Василию не вполне доверял, посылая для проверки других, пока не убедился: Кузнецов тайно за что-то ненавидит Соловьева, Соловьев же считает Василия своим. Повстречав Кузнецова однажды в лесу, атаман даже спросил:

«Чего сидишь в своей берлоге — давай к нам».

«Детишек много... — ответил Кузнецов. — Без них идти — заедят, что я с тобой. С ними идти, случись что — куда денешь?..»

На тот случай, если б Соловьев спросил о нем и о его отряде, каждый раз уславливались, что говорить. Все ж бандиты держали Васю в некоем отдалении. Узнавал Кузнецов преимущественно о результатах вылазок и о том, куда свезено украденное (это бывал очередной временный склад). По прошествии некоторого срока он склад этот забирал.

Пашка Никитин объяснял: у Васи кругом друзья. Не так ловок Вася, как ловки друзья, а у них свои счеты с Соловьевым...

Аграфена

Несколько раз ему помогала Аграфена Кожуховская, у которой снимал в Форпосте комнату и столовался.

Сначала жил при штабе, и работать приходилось круглые сутки: есть ли дело, нет ли — все прут в штаб. И тогда он по совету Кузнецова снял квартиру в доме Аграфены. И очень удачно.

Было ей под сорок. Жила с мужем, которого он видел мало. Сноровистая и веселая Аграфена делала все быстро. Принесут, бывало, ей полотна, ниток, пуговиц (из кузнецовских трофеев) шить рубашки бойцам. Она в несколько дней раскроит, сметает, раз-раз — готово цело. И рубашки лежат, словно у купца в лавке, целой стопкой.

С ним же Аграфена была то уважительна, то насмешлива — в зависимости от того, видела ли она в нем в ту минуту мальчишку или командира, но во всех случаях относилась к нему с такой смущавшей его предупредительностью и заботой, какой не знал, покинув дом. И он прятал свое смущение под грубоватой сердитостью.

Бывало, придет: «Обед готов?» — «У меня всегда готов, чтоб тебя, Аркаша, не задерживать». (Сам просил, чтобы по отчеству не звала: «Вы зовите меня без людей Аркаша».)

Садится. Если с ним гость, Аграфена приглашает гостя. Ставит тарелки, суп, котлеты прямо со сковородки. Он с гостем беседует и ест. Съедает котлету, вторую,

третью, дойдет до пяти, сам удивится: «Что это я? Вроде и не хотел, а так сегодня разъелся...»

«Батюшка ты мой, — скажет она ему, — ты ведь как бычок мой Миша, целый день ходишь. Кушай еще. Мяса много».

После котлет попьет чаю с печеньем. (Печенье любил, и она ему нарочно пекла.) Если гость к тому времени уйдет — подремлет немного и опять отправляется.

— Да куда же ты? — кричит ему из кухни Аграфена. — Отдохни хоть часик.

— Некогда, — ответит, — давно что-то про Ваньку ничего не слышно.

Ванькой между собой звали Соловьева. Аграфена Соловьева знала: училась в одной школе. «Он, пока не стал бандитом, так-то ничего, хороший был парень, — говорила Аграфена. — Семья большая. Жили небогато. Избушка на одном боку. И чего в бандиты записался — до сих пор не пойму».

Женщина была она умнющая.

И он просил у нее иногда совета, поскольку Соловьев охотился за ним не меньше, чем он за Соловьевым. Только охота у них была разная.

Узнав, что ему только восемнадцать или по крайней мере что он очень молод, стал Соловьев прельщать его письмами. Народ ездил взад-назад. Какому-нибудь мужику по дороге в Форпост вручался конверт: «Брось подле многолавки...» А раз на конверте: «Передать Голикову. Срочно», то сразу и приносили.

— Опять какая-то собака письмо принесла, — удивлялся он.

В письме: «Аркадий Петрович! Приезжай погостить. Самогон, я знаю, ты не пьешь, так у меня «Смирновская» есть. С честью встречу — с честью провожу. А не сможешь приехать — так и быть, ящичек подброшу. Кто-нибудь передаст...»

Он самогонку в самом деле не пил, как не пил в ту пору ничего. «Спасибо, — отвечал, — Иван Николаевич. Я водку-то и свою не пью. А твою-то и вовсе пить не стану. Я лучше из Июса напьюсь».

И письмо бросали возле той же многолавки. А на письме — «Передать Соловьеву».

А сам, как получит записку, целый день ходит задумчивый. Всюду ему чудится Соловьев. Ни разу в лицо его не видел, а все Соловьев перед глазами. Терпеть

его не мог, а увидеть, поймать Ваньку — другой мечты не было.

Не оставляло предчувствие — Соловьев рядом. Тревожное это ощущение будило его ночью. Он спешно одевался. Пристегивал маузер. Засовывал в карман несколько «лимонок», торопливо обходил посты, потом забирался на холм повыше, лежал и слушал: нет ли конского топота, не донесутся ли какие голоса. Однажды донеслись.

«Тревога!»

Тревога оказалось ложной. А уехал на сутки из Форпоста — на рассвете был заколот часовой.

Велел оцепить однажды лес, а сам, ожидая шифровку, задержался в штабе. Когда уже садился на коня, подали записку: «Карауль не карауль, а меня тебе все равно не укараулить...» Не выдержал, засмеялся. И вечером, придя домой, вспомнив, рассмеялся снова.

— Ты чего? — удивилась Аграфена.

— Это я про Ваньку... Ох умен, ох ловок. Интересно б на него посмотреть. Просто интересно.

— Да ничего в нем особенного нет, — сказала Аграфена. — Росту он, Аркаша, пониже твоего. Волосо́м потемней, а в плечах такой же... И потом давно я хотела тебя спросить: ну, поймал бы ты нашего-то Ивана. Чего бы ты стал с ним делать?

— Я сам много думал. И когда забывал ненадолго, какой за ним «хвост», была у меня мысль сначала крепко его связать, когда немного перебесится — посадить в поезд и отвезти в Москву.

Водил бы я его по театрам и музеям, в ресторан бы настоящий сводил. И вообще, показал бы ему человеческую жизнь. А потом привез бы обратно и предложил: «Давайте сделаем из него человека. А не захочет стать человеком, бейте его при мне. Да я и сам его первый прибью!» Вот, Аграфена, чего мне хотелось. Только поздно уже. Много дел он натворил.

— А ведь устал ты небось, Аркаша, от солдатской своей жизни? — спросила Аграфена. — Все война да война. Домой, наверное, хочется?

Подумал, что дома-то у него, собственно, и нет. Мама в одном месте, отец — в другом, Маруся — в третьем. И ответил уклончиво, что будь он приспособлен к невоенной жизни, то после Соловьева, может, остался бы в Сибири навсегда. Нравятся ему здесь и реки с тайменем и хариусом, и тайга, но особенно нравятся ему горы.

— Чего ж тебе ждать, пока приберут Соловьева, — засмеялась Аграфена, — иди к Соловьеву в друзья, живи с ним в горах.

— А что? — ответил в тон ей. — Выкопаю себе, как Соловьев, норку и буду, словно граф, жить-погуливать.

Дня через два попросил:

— Сходила бы ты, Аграфена, на Песчанку (то была изрытая ямами гора, откуда брали песок), вы с Соловьевым односельчане. Тебя никто не тронет.

Позвала Аграфена двух молодиц, переплыла с ними в лодке на другой берег Июса. А когда вернулась — на руке кузовок, ягод в нем почти нет, больше травы. Вошла к нему — отдала перевернутой ладонью честь:

— Так точно, Аркадий Петрович, в ямине спрятались. Вся Иванова конница под скалою стоит. Коней тридцать. Сами же сидят кашу варят. С ними ли Ванька — не приметила. Близко подходить побоялась.

Аграфена доложила весело. Для нее страхи остались позади. А ему было не до шуток. Где взять столько лодок? Да и заметят сразу. А заметят — постреляют в воде.

...Дал команду: «По коням!» И в объезд, чтоб пересечь Июс в неприметном месте, но не успели, сделав обход, ступить в воду — бандиты открыли из-за камня огонь. Били, правда, с дальнего расстояния — и он махнул рукой: плавком на другой берег.

На том берегу завязался бой. Из бойцов тяжело ранило Петухова. От брошенного, тоже раненого, бандита узнал: был у Песчанки и Соловьев.

...За ужином Аграфена вдруг устроила ему нахлобучку:

— Что это, Аркадий, твои ребята на тебя жалуются. Как бандитов увидишь, так все: «Вперед! Вперед! Объезжай, да не так». И сам все первый.

Смутился:

— Мне бы Соловьева живьем взять!

— А я как посмотрю, — покачала она головой, — мальчишка ты, Аркадий, мальчишка...

Настя — Маша

Первая серьезная победа над Соловьевым была связана с Машей. Настоящее имя ее было Настя Кукарцева, но об этом мало кто знал.

Впервые услышал о ней от Пашки Никитина, когда обсуждали планы создания своей разведки. Пашка познакомился с Настей раньше. Говорил о ней с восхищением, предсказывая, что это будет «исключительная разведчица».

Он восхищения этого побоялся. Подумал: «Пашка попросту влюблен» (так оно, кажется, и было). Однако Пашка настаивал, и он согласился посмотреть на хакасскую Мату Хари, которая даже не подозревала, какую ослепительную карьеру готовит ей Цыганок.

Он уже представлял, как задразнит Пашку, который, вместо того чтобы подобрать настоящих разведчиков, предложил знакомую девчонку, чтобы иметь возможность встречаться с нею «по служебной надобности». Смущало и то, что жила Настя на Теплой речке; бывая в Форпосте, останавливалась у Кузнецова, который ни разу о ней почему-то не говорил, но коль скоро Пашка настаивал, условились: Никитин покажет Настю издали, а он уже решит, стоит с ней разговаривать или нет.

Какая-то девушка вывела из ворот коня, легко взлетела в седло и проехала мимо окон.

— Она! Вот это она!.. — закричал Пашка. И оба выбежали на улицу.

Издали увидел высокую, тонкую девушку (с длинными, до седла, косами, в расшитой безрукавке и широкой юбке), которая свободно сидела на великолепной серой лошади. За спиной девушки висела берданка. Они с Пашкой тут же вскочили на коней, обогнали Настю огородами и выехали навстречу.

Настя поразила его: лет шестнадцати, круглое (хакасский разрез глаз) лицо, которое нельзя назвать красивым, но лицо это дышало таким умом, в нем было столько спокойствия и презрительной гордости, что он понял Пашку: если ему и нужна была разведчица, то только такая.

Настя легким наклоном головы ответила на дружное «Здравствуйте!» и проехала мимо. «Графиня! Настоящая графиня, — зашептал Пашка. — Я ж тебе говорил».

Вечером через Анфису Фирсову, бойкую, веселую казачку, пригласил Настю встретиться у Анфисы. Был тут и Пашка — в чистой гимнастерке, надраенных сапогах, с расчесанным в десятый раз за нынешний вечер чубом.

При свете лампы и завешенных окнах Настя выгля-

дела приветливей и мягче, но была чуть встревожена и держалась немного настороже.

Попросил рассказать о себе.

— Я с Теплой речки. Отец записался в комячейку, — рассказывала она. — Ночью пришла банда Другуля. Человек шесть-семь. В погонах. Отца схватили и выволокли во двор. Я слышала, он просил: «Рубите сразу». Мать рвалась к нему. Двое, что остались в комнате, ее не пускали. Потом вернулись те, со двора (один сдернул салфетку и обтер саблю), и принялись за мать. Я слышала в соседней комнате ее стоны. Она по-нашему, по-хакасски, звала отца. Ее передразнивали и смеялись. Возле меня стоял один. Ему велели меня постеречь, чтоб потом увезти, а ему не терпелось посмотреть, что в соседней комнате. Он отошел — я выпрыгнула в окно.

Когда вернулась утром — мама тоже была мертвая.

Говорила она по-русски хорошо, почти без акцента. Училась в русской школе.

Сказал, зачем пригласил.

— Боюсь, — призналась она. Тихо-тихо.

— Но вы же охотница?

— На зверя-то не страшно... И потом Иван Николаевич мне тоже предлагал. У него несколько женщин — так вот или им помогать. Или... как просите вы. Я не согласилась. Тогда Иван Николаевич сказал, что берет меня под свою защиту. Что Другуль поступил с отцом неправильно.

— Но ведь сам он так же поступает?

— Не он — помощник, Косов.

— Откуда вы знаете?

— Люди говорят.

— Что еще люди говорят?

— От Соловьева ушли почти все из отряда Олиферова. Они благородные, а он бандит. Они за нового царя, а ему б только грабить.

— И что же — никого из отряда Олиферова не осталось?

— Почему? Осталось, только мало.

— То, что вы сейчас сказали, очень важно...

— Вот видите — сразу и помогла, — сказала Настя, поднялась и вышла.

Они с Пашкой подождали и вышли тоже. Ему понравились прямота и откровенность Насти: ведь про Соловьева и предложение Соловьева она могла не говорить.

Впрочем, раз она ответила отказом, это все уже не имело смысла.

А на другой день через ту же Анфису Настя передала, что согласна. Он с ней встретился. И они договорились: видятся только с наступлением темноты, в условленное место приходят с соблюдением всех предосторожностей, и будет лишь три человека, помимо него, с кем она может быть откровенна: Никитин, Анфиса и фельдшер Фокин, если не будет Анфисы. Кузнецову не говорить ничего, как и другим.

Она слушала, кивала и была в ту минуту своей детскостью и полной, безусловной доверчивостью похожа на его Марусю. Казалось, Настя устала быть все время такой, какой он увидел ее в первый раз.

Для маскировки Насте нужно было дать новое имя. Предложил: «Маша». «Маша сказала. Маша передавала привет...» Если спросят: «Что за Маша?» — можно всегда ответить: «Жена». Маша, Маруся — одно имя.

И он поручил: найти проходы и тропы, которыми пользуется Соловьев, а в селах выяснить, какие настроения в банде. Есть сведения: некоторые бандиты из местных тоже недовольны Соловьевым и хотят от него уходить. Так ли это?

Маша (Настей он ее уже не звал) уехала. И в нем сразу поселилась тревога. Иногда представлял: это не Маша — его Маруся, тоже сибирячка, верхом, с изношенной отцовской берданкой бродит одна по тайге, рискуя в любую минуту наткнуться на бандитов, которые не знают, забыли, а то и не признают «охранной грамоты» Соловьева. Или приметили, что она идет по их следам.

В голову лезли всякие случаи. Вспомнил женщину, у которой убили трех братьев, а мать «изодрали» так, что она вскоре умерла. Женщину же забрали как добычу в банду. И была она там, пока обманом и смелостью не вырвалась и не наскочила на его отряд. От радости женщина смеялась и билась в истерике. Была счастлива и не поднимала глаз, хотя никто ее ни о чем не спрашивал и ничем не корил.

Когда приближался час возвращения Маши, ходил возле штаба, напевая одну и ту же привязавшуюся песню:

От твоей хаты до моей хаты
Горностая следы на снегу.

Обещала меня навестить вчера ты —
Я дождаться тебя не могу... —

пока не пробегала мимо Анфиса и не говорила быстрым шепотом: «Пришла, ждет, очень спешит».

Напряжение мгновенно спадало. Торопливо шел на условленное место, каждый раз новое, и видел — почти всегда в темноте: темноте леса или сарая, реже — при желтоватом свете керосиновой лампы — ее лицо с блестящими от радости, широко открытыми глазами.

В лесу, бывало, не сразу ее находил. Она тихо окликала его: «Аркадий!» И весело-весело, так же тихо смеялась, когда и после оклика отыскивал ее не сразу.

Если Маша не торопилась, сам никогда ее не торопил. Молча усаживался рядом, ждал, пока не начинала рассказывать. То, с чем она приезжала, ей всегда представлялось пустяком, но пустяком это не было ни разу. А как-то Маша приехала до срока, вызвала его ночью через фельдшера Фокина, чтобы сообщить: самый главный штаб Соловьева на Поднебесном Зубе (посмотрел по карте — высота почти 2000 метров над уровнем моря). И начертила на листке, в каком приблизительно месте.

Она уже не спрашивала: «Ну что: опять пустяк?» — понимала, с чем приехала: несколько неровных линий на шершавом клочке означали начало конца Соловьева. Но по Машиному лицу видел: это еще не все. И ждал.

И она призналась: ей кажется, ее начинают подозревать. Конечно, может, она ошибается. Она всегда боится. А теперь, когда узнала про штаб, то боится еще сильней. Но вот даже у себя в комнате, когда совсем одна, за ней как будто кто-то все время смотрит. Чтоб незаметно уйти из дома, вылезла в окно и пришла пешком.

Второе сообщение стоило первого, но не хотел расспросами пугать ее еще сильней.

— Я думаю, ты устала.

— Устала.

— Может, передохнешь?

— Нет, — ответила она. — Поймаешь Соловья — тогда и отдохну, поеду учиться в Красноярск, — засмеялась она и тут же смутилась: — Я ведь только в Ужуре и была.

Мог приказать — она осталась бы, но он не знал еще самого главного — что́ там наверху, на высоте двух километров? Есть ли там гарнизон? Или база эта, хоть и главная, пока что запасная?

Отпускать Машу был риск. Но и посылать нового человека был тоже риск: Соловьев не должен догадаться, что он знает о Зубе и проявляет интерес. И потом, если б Маша сейчас не вернулась, это могло бы Соловьева насторожить.

Он долго молчал, потому что думал, и взял с нее слово: она возвращается на Теплую речку последний раз. Замирает. И если представится возможность, узнает подробности о Поднебесном.

Она послушно согласилась, а ему сразу стало неспокойно, хотя Маша была еще здесь.

Полчаса, наверное, шли вместе по темному лесу. Чем-то одуряюще пахло. Ему пора было возвращаться (глупо и опасно идти с ней рядом — вдруг кто в этой тьме их приметит). Остановился и снова увидел пылающий блеск этих глаз.

— Может, все-таки не пойдешь?.. Я могу послать Анфису. У нее там живет тетка.

(В самом деле мог — только Анфисе пришлось бы начинать все сначала.)

Ответила:

— Не отговаривай, а то... соглашусь.

Спросил себя: «Будь передо мной сейчас Анфиса, уговаривал бы так?»

Маша протянула руку, маленькую, с твердой ладошкой. Осторожно пожал, чтоб не раздавить своей лапищей, и Маша, не оглядываясь, ушла. Долго смотрел ей вслед, хотя ничего уже не было видно и слышно.

Он ждал ее четыре дня, которые она у него просила, обещая: этих дней ей будет довольно и с ней за это время ничего не случится. Ждал спокойно, но то было странное спокойствие, которое наступает за минуту перед боем, когда время вдруг раздвигается и делается необыкновенно емким.

Он оставался спокойным даже на пятый — ведь он велел ей замереть. И значит, ей так нужно, чтоб не вызывать подозрения. А на седьмой ему доложили: возле Теплой речки найдено изуродованное тело девушки-хакаски.

«Когда нашли?!»

«Сегодня на рассвете...»

Через час ворвался Пашка: «Аркадий, это Маша».

Никитин со взводом случайно очутился возле Теплой речки и попал на сиротливые похороны, где люди не решались выйти из домов, опасаясь мести банды.

Он оседлал коня и понесся к Теплой. Никитин послал ему вдогонку для охраны несколько своих кавалеристов, поменяв им лошадей.

Невысокий холм с могилой у подножья двух тонких березок отыскал легко. И долго простоял, чуть облокотясь на один из стволов. С горечью подумал: «Пока домчался, земля на могиле начала подсыхать».

И пока он так стоял, красноармейцы держались поодаль, словно не хотели мешать.

От перебежчика позднее узнал: несмотря на «охранную грамоту», Машу в соловьевском отряде начали подозревать. Астанаев велел за ней следить, но это ничего не дало. Соловьев подсмеивался: «Главный шпион уже боится девчонок».

И Астанаев взялся доказать: переодел десятка полтора бандитов и отправил под видом красного отряда на Теплую речку. «Красноармейцы» стали в двух-трех домах, в том числе Машином, на постой. Маша варила им картошку, жарила мясо, кипятила чай. Слушала разговоры о необходимости «поскорее ликвидировать Родионова и Соловьева» и... нарушила запрет: попросила «командира» передать Голикову, что не может прийти и еще что-то.

Допрашивал Машу Соловьев. Она ни в чем не призналась. Для начала Иван отрубал ей саблей пальцы. По одному.

ШТУРМ СОЛОВЬЕВСКОЙ ГОРЫ

При подготовке к штурму Поднебесного Зуба ему очень помог Александр Иванович Шарков, бывший унтер, который командовал у него одним из отрядов.

При подготовке штурма Шарков был все время при нем. Вместе опрашивали охотников, которые бывали на Зубе. Вместе изучали донесения разведки, посланной ровно за сутки до начала штурма. Шарков, в частности, настоял на том, чтобы оставить, хотя людей и так не хватало, резервную группу для переброски на самый тяжелый участок.

Ночью все отряды собрались в лесу, в нескольких ки-



Наталья Аркадьевна Голикова (до замужества Салькова) — мать писателя. (Публикуется впервые.)

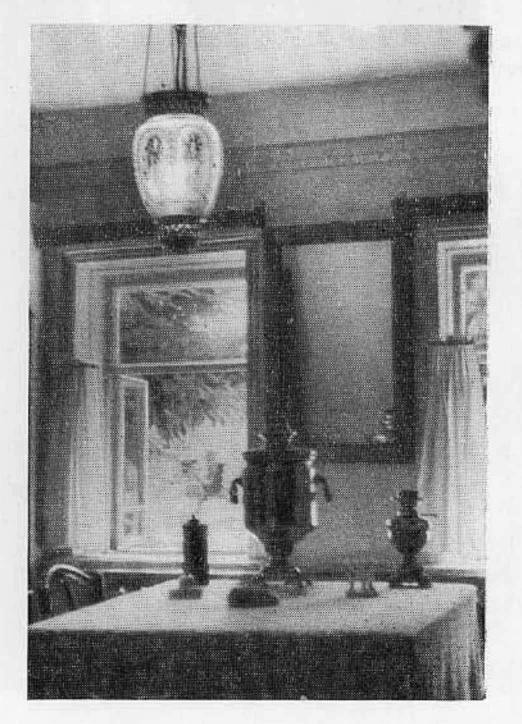


Петр Исидорович Голиков — отец.

Семья Голиковых: мать Наталья Аркадьевна, тетушка Дарья Алексеевна, Аркадий — ученик реального училища, сестры (слева направо): Катя, Оля и Наташа — Талка. 1914 год. (Отец в это время был уже на войне.)



Флигель на бывшей Новоплотинной улице в Арзамасе (ныне ул. Горького). Здесь прошло детство Аркадия Голикова, отсюда он ушел в Красную Армию.



Столовая-гостиная в том же доме. (Теперь во флигеле квартира-музей А. П. Гайдара.)

Аркадий Голиков — вторая половина 1917 или самое начало 1918 года. (Редкий снимок.)



Здание бывшего реального училища, где на одном из уроков Николай Николаевич Соколов, по прозвищу Галка, обратил внимание на литературные способности ученика Голикова.

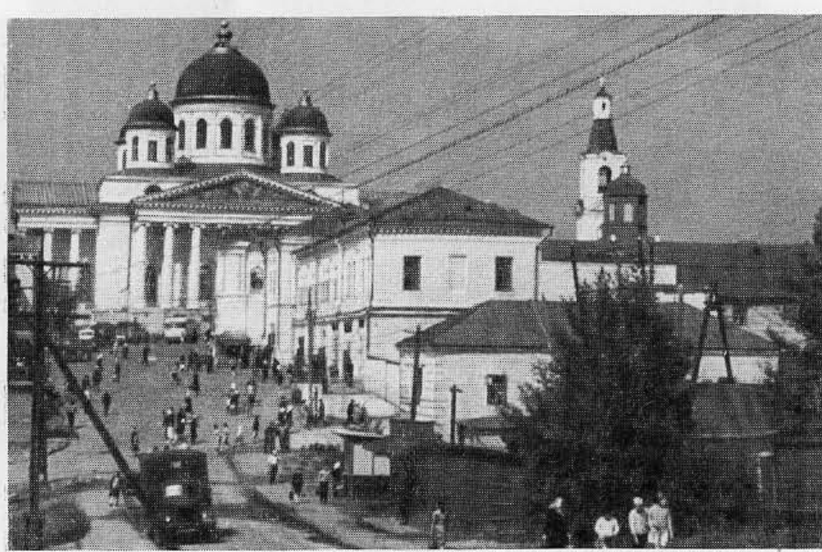


Пруд в Арзамасе. Тут происходили «морские бои».



...За поясом маузер — тот самый, с которым связано столько событий в повести «Школа». Конец 1918 года. (Редкий снимок.)

Арзамас. Центр города со знаменитым собором в честь победы русских войск над французами в 1812 году. Справа от собора колокольня, на которую любил взбираться Аркадий. (Фото 1967 года.)



Командир роты, 1920 год. Кавказский фронт. (Снимок впервые опубликован самим Гайдаром в повести «Обыкновенная биография».)





Комиссар 58-го отдельного Нижегородского полка Сергей Васильевич Бычков (Лаут). Моршанск. 1921 год. (Публикуется впервые.)

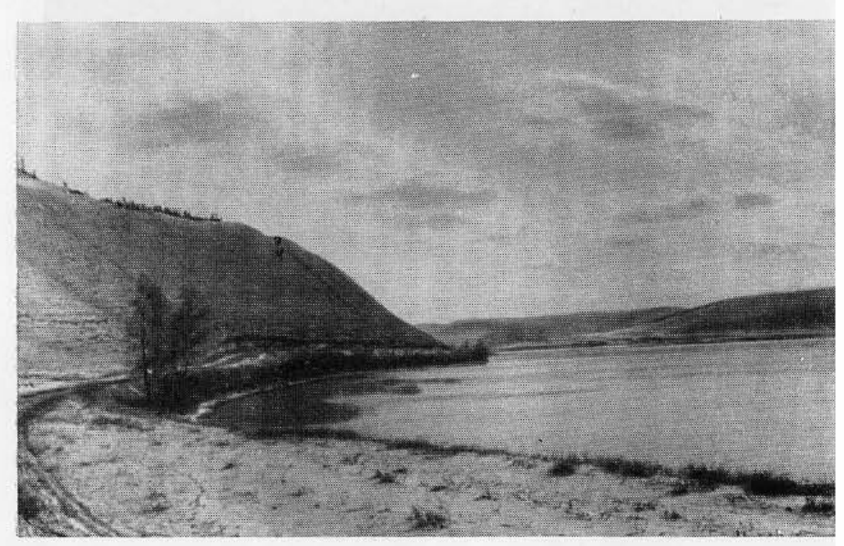
Командир 58-го отдельного Нижегородского полка Аркадий Петрович Голиков. Моршанск, лето 1921 года.

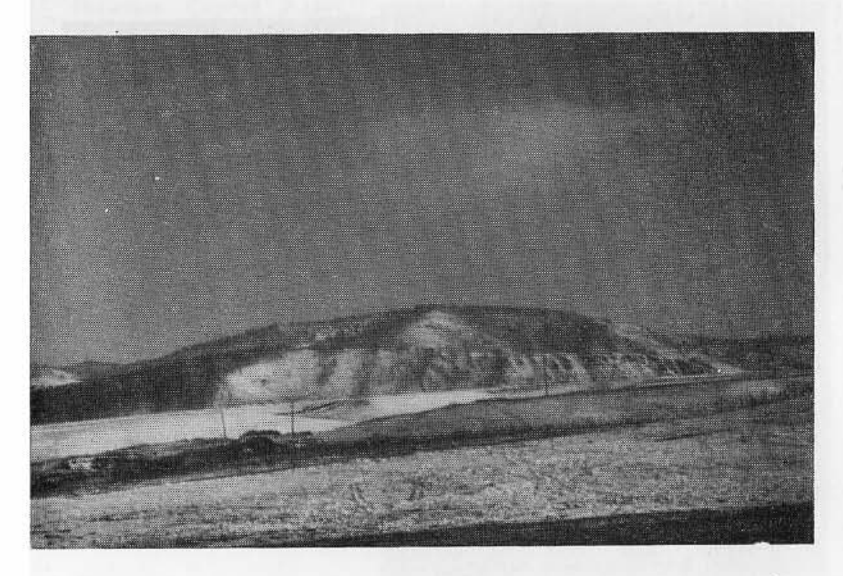




Павел Михайлович Никитин («Пашка-Цыганок») — боевой товарищ А. П. Голикова. Ачинск. 1922 год. (Публикуется впервые.)

Божье озеро.





Сопки в районе Божьего озера. Здесь начальник второго боевого района Голиков гонялся за бандами атамана Соловьева.

Весна 1924 года. Голиков приехал в Алупку навестить больную мать и привез с собою рукопись «романа», который позднее назвал «В дни поражений и побед».





Алупка. Воронцовский парк.
Мраморная доска и общий вид братской могилы, в которой похоронена Наталья Аркадьевна Голикова. (Доска с нынешним текстом установлена в 1945 году. Прежняя надпись звучала так: «Борцам с контрреволюцией».)



Писатель Сергей Александрович Семенов. Снимок 20-х годов. (Публикуется впервые.)



Это ему, даря свое фото военной поры, писал бывший комполка и начинающий автор «Дней поражений и побед»:

Сергею Семёнову.
Командарму литератур
ного фронта, лучшему
другу
Арк. Голиков
20/III 1925 г
Ленинград.

Пермь. Аркадий Гайдар, фельетонист газеты «Звезда», с сотрудниками редакции: первый (сверху) друг детства Александр («Шурка») Плеско, за ним Борис Назаровский и Леонид Неверов.





Архангельск. 1929 год. Уже была написана «Школа».



Аркадий Петрович Гайдар и Михаил Михайлович Ландсман. Москва. 1929 год.

лометрах от Поднебесного. Командиры получили последние указания, чтоб к нужному часу начать движение по горе, смыкая кольцо вокруг горной террасы, где, по неполным данным, в том числе по сообщению Маши, имелось десятка полтора изб и других построек.

Буквально в последнюю минуту стало известно: кроме постов на нижних террасах, на вершине растет древняя лиственница, в которой сделан наблюдательный пункт.

С головным отрядом шел он, слева — Дерябин, справа — Троицкий и Уланов, которые примерно на высоте полутора тысяч метров должны были растянуть свои группы в цепь. Замыкали движение Шарков и Никитин, они оставались со своими бойцами в резерве.

Неожиданности начались почти сразу. Из-за крутого подъема не брали ничего, кроме оружия, боеприпасов, нескольких сухарей и фляг с водой. Патроны, гранаты, пистолеты каждый прятал и набивал куда только мог: в котомки, в карманы брюк, за пазуху.

Чтоб легче было при такой выкладке двигаться, надели у кого сколько было рубах, шинели же оставили внизу. А в горах ночью резко похолодало. Подул сильный ветер. Пока люди шли, было тепло. Как только останавливались, начинали замерзать. Он тоже мерз, несмотря на теплую фуфайку под френчем. Ветер продувал его насквозь.

Головной отряд стал вытягиваться в цепь. То же, по плану, должны были сделать отряды слева и справа, но соединиться они могли только возле самой вершины.

Небо на востоке чуть посветлело. Сделалось тревожно, что утро настанет прежде, нежели успеют подняться, но торопить бойцов все равно не мог. Чем ближе была вершина, тем короче остановки. Одна была подлинней: предстояло снять часовых. Часовых сняли и двинулись дальше.

И когда из-за гор показалось солнце, даже не солнце, а только золотистая от него полоса, до соловьевского лагеря оставалось метров триста, не прикрытых ни тьмой, ни деревьями. И тут их заметили. И с той самой лиственницы, о которой его предупреждали, ударил винтовочный выстрел, который раскатился по горам, и эхо, стукаясь о камни, раскат повторило.

Цепь замерла. Он тоже прижался к валуну: ведь выстрел мог быть и случайным. Допустим, кто-нибудь поблизости охотился. Однако снова ударило. И затем,

словно дострелпвая обойму, раздались подряд еще три выстрела.

Терять уже было нечего. Бойцы сорвались с мест, полезли, поползли, даже побежали наверх, чтобы успеть, пока стреляет только один, забраться как можно выше. Из-под ног бойцов сыпались камни. Немалого размера обломок, катясь, больно ударил его по бедру: «Хорошо бы, — подумал он, — пока наверху разберутся, успеть подняться хотя бы еще на сто метров...»

Не успели. Сверху открыли пальбу из двух-трех десятков винтовок. Оставалось только помолиться богу, чтобы у Соловьева не оказалось пулемета. Ответного огня по-прежнему не открывали. Бойцы поглядывали в его сторону — он не давал сигнала: с такого расстояния все равно не попадешь. Нечего зря жечь патроны. А по себе знал, как тревожно, если атакующие молчат.

Пальба бандитов становилась все яростней, нервничать начинали и его бойцы, потому что всегда легче, если можно ответить.

Оглянулся. Сзади, метрах в трехстах, шел резерв Шаркова. В крайнем случае, что бы ни случилось на флангах, головной отряд поддержкой обеспечен.

Нажал кнопку деревянной кобуры, вынул маузер и, наведя длинный ствол на темное пятно наверху, которое казалось ему притаившимся бандитом, три раза выстрелил. Это было сигналом. Со всех сторон, словно обрадовавшись, захлопали винтовки красноармейцев.

Продвижение замедлилось. Каждый боец теперь, прежде чем сделать шаг, выбирал, куда перебежать, за каким камнем спрятаться.

Стоя немного позади всей цепи, он следил за пестрой картиной начавшегося боя, время от времени делая перебежки сам, если только стремительное, даже лихорадочное, карабканье по крутому склону можно было назвать перебежкой.

Многому научась и ко многому на войне привыкнув, не мог привыкнуть к стрельбе, если в него целились. И в короткие эти перебежки, когда надо было каждый раз отрываться от спасительного камня, чувствовал себя неважно.

Метрах в ста от террасы бойцы залегли. Это означало, что штурм пока захлебнулся, что он, готовя операцию, не рассчитал время и они не управились с подъемом до восхода солнца. Еще это означало, что ни к черту не

годится связь, потому что нет никаких сведений ни с левого, ни с правого фланга. И что еще до соприкосновения с противником четкий его план полетел вверх тормашками.

Конечно, мог еще, пользуясь коротким замешательством наверху, в бандитском лагере, подтянуть резерв Шаркова и кинуться в стремительную атаку, но пожалел людей на пороге, возможно, последней берлоги Соловьева.

Продолжалась пустая перестрелка. Замелькали бинты. Булыжником скатывались сверху гранаты. Рванув, они поднимали столбы пыли и каменных осколков.

Бойцы устали. Не заметно было того особого воодушевления, с которым выходили в поход, а это означало: красноармейцев трудно будет поднять. Но вдруг выстрелы донеслись сперва далеко слева, потом справа. Но сначала слева. Это был Дерябин.

Заслышав стрельбу на флангах, он поднялся, закричал: «Ура!.. Вперед!» и стал, не глядя на бойцов, карабкаться наверх. Камень выскочил у него из-под ноги. Он потерял опору, упал и начал сползать вниз, но его поддержали бойцы, которые поднялись вслед за ним.

Наверху, это было видно, началась паника. Он заметил несколько человек, которые вскочили в полный рост и потом пропали из виду. По всей вероятности, их послали на фланги, как и других, невидимых им.

А он со своим отрядом продолжал карабкаться. Сверху стреляли, но уже не так плотно, зато чаще, нежели прежде, летели и катились гранаты, которыми бандиты хотели возместить слабость ружейного огня. Каждая граната, если ее замечали издали, заставляла замирать и прижиматься к земле, но остановить движение бойцов сейчас уже не могло ничто.

Обход с флангов Соловьев прозевал, приняв головной отряд и резерв Шаркова за все наличные силы. Надо полагать, Иван Николаевич и впрямь считал его уж очень молодым и неопытным.

И пока Соловьев не опомнился, нужно было добраться до террасы. И он снова полз, цеплялся, подтягивался, где можно, перебегал, не оглядываясь, но зная и чувствуя, что отряд так же упрямо ползет и карабкается за ним.

Метрах в пятидесяти от лиственницы, в которой был наблюдательный пункт, он увидел за камнем мужика. По приметам выходило — Соловьев.

Соловьев выстрелил, промахнулся (пуля цокнула рядом, осыпав лицо его колкими крупинками), он пальнул в ответ и спрятался за камень. Соловьев опять ударил из винтовки — он ответил, прыгнул вперед, снова нажал спуск — маузер щелкнул... Он похолодел. Деревянная рукоятка сразу сделалась влажной.

«Ничего страшного, ничего страшного: осечка или кончилась обойма...»

Оттянул затвор — пусто. Сменил обойму, стал ждать.

Ждал выстрела. Хотя кругом продолжали стрелять: сверху вниз и снизу вверх, чувствовал: Соловьев держит на прицеле корень сосны, под которой он теперь лежал, готовый всадить в него пулю, как только он выглянет. Возможно, Соловьев его тоже узнал.

Но если Соловьев еще ждать и мог, то он не мог ждать ни минуты. Его лежание под сосной бойцы могли понять как угодно. И он снял папаху, надел ее на ствол маузера и осторожно, чтоб виден был самый верх и чтоб ему не попортило руку, высунул. В то же мгновение в папаху ударило. Он через папаху тоже два раза ударил и вскочил. После долгого лежания под сосной терраса показалась ему совсем близко.

Последняя команда, которую он отдал и которая была услышана, — «Гранаты к бою!». После этого все смешалось.

Врываясь в лагерь, увидел опрокинутое навзничь тело того, с кем перестреливался и кого принял за Соловьева. Это был заросший бородой молоденький парень. Соловьев же во время боя, как узнал потом, находился в центре лагеря и отдавал приказания. Когда же атаман увидел, что окружен с трех сторон, то, собрав человек сорок из своей свиты и бросив остальных, ушел по противоположному скалистому склону прежде, нежели Уланов с Дерябиным успели замкнуть кольцо. Это была его ошибка. Он слишком понадеялся на крутизну гор. И просчитался.

Лагерь Соловьева оказался громадным, однако разглядывать его пришлось потом. С отрядом Шаркова и Никитина, рискуя сорваться, он кинулся по тому же склону вниз, в погоню.

Следы отступавших легко распознавались по сломанным ветвям, рассыпанным патронам, по выпавшему из ножен плоскому немецкому штыку.

Часа через два банду настигли. Еще часа два шла перестрелка, которая ничего не дала.

Ночь, голодные, провели в лесу. На рассвете вернулись в соловьевский лагерь. Здесь узнал, что потерял за вчерашний день около десяти человек, не считая раненых. Это было много. Даже слишком. На склоне нашли одного из подручных Соловьева — Баринова. Он лежал в обнимку с винчестером, а мушка у винчестера была сделана по-особенному, один Баринов, как объяснили, мог с такой мушкой положить несколько десятков человек.

Начхоз Абрамович повел его показывать лагерь. Всего здесь было около трех десятков строений, крытых невыделанными лошадиными шкурами, жесткими, словно кровельное железо.

Зашли в дом самого Соловьева. Полы устланы шкурами тех же лошадей. Стены обиты хорошими коврами. Где не хватило ковров — толстый драп. На коврах — коллекции сабель, кинжалов, шашек. В основном подделка под старину, а несколько сабель имелось порядочных: два или три дамасских клинка, столько же златоустовских, все в дорогом оформлении, с чеканкой и даже камнями.

Был соблазн взять гибкую и тонкую, чуть изогнутую дамасскую саблю: к оружию всегда был неравнодушен. И будь сабля попроще, он бы взял, но эта была уж очень приметна и дорога. И он бросил ее на широкий диван, возле обшарпанного «ремингтона», на котором печатались все «подметные письма» и приказы Соловьева. Единственное, что отобрал для себя, — несколько книг из тех, что Соловьев вывозил при каждом удобном случае, чтобы коротать за ними в громком чтении длинные тоскливые вечера.

В ОБНИМКУ С МЕДВЕДЕМ

Несмотря на успешный штурм, еще более успешный побег Соловьева подействовал на красноармейцев самым удручающим образом. Пока Соловьев оставался жив, всякий раз в последнюю минуту выскальзывая из рук, борьба с атаманом превращалась в бесконечную и по внешней видимости безрезультатную игру.

И когда его отряды спустились с гор, когда отправили в госпиталь раненых и похоронили убитых, в Форпосте, где квартировали теперь почти все его бойцы,

воцарилось уныние. Красноармейцы молча сидели по избам или на лавочках возле домов, занимаясь кто чем. Или вовсе ничем.

Что означал удачный побег Соловьева, он понимал не хуже остальных. Будь у него еще двадцать-тридцать человек, он послал бы их на другой склон горы, но этих людей у него не было. Как встретит их Соловьев на Поднебесном, тоже не знал. С одной стороны, требовалась тщательная разведка (почему он в конце концов отпустил Машу), с другой — ни в коем случае нельзя было показывать Соловьеву, что база его раскрыта, почему он, получив после гибели Маши подтверждение, что Соловьев на горе, предпочел внезапность дальнейшей тщательной разведке.

Было еще одно обстоятельство, которого он опасался, но о котором никому не говорил: он до штурма не знал, что́ Маша просила «командира» передать ему, и не проговорилась ли под пытками на допросе. Но, судя по тому, что Соловьев их вовсе не ждал, Маша не сказала ничего, а просьба ее была передана шифром.

Гора, на которой мог полечь целый полк (вот почему он не рискнул остаться без резерва), была взята меньше чем с полутора сотнями бойцов. С минимальными в этих условиях потерями.

И все же у него настроение было хуже всех. Он чувствовал себя виноватым перед Машей за те невольные опасения, которые у него были, пока вел людей на Поднебесный Зуб, за то, что дал Соловьеву ускользнуть. Вспоминались Машины слова: «Поймаешь Соловья — тогда и отдохну...»

Но он оставался командиром. То, что могли себе позволить красноармейцы, не мог себе позволить он. Мало того, он обязан был вывести людей из этого состояния. Случись новый бой — они не готовы.

Конечно, можно было созвать митинг: «...бой и принесенные жертвы не напрасны, каждое поражение ослабляет Соловьева», — объяснив то, что бойцы понимали и без него. На худой конец можно было крикнуть начхоза, велев добыть несколько ведер самогонки и выдать каждому по стакану для веселья. Но это был тоже не выход. И тогда он придумал.

Во дворе стоял привязанный к столбу медведь. Один из охотников подобрал его осенью маленьким медвежонком и растил на потеху. Ночью мишка спал в сарае. Днем его привязывали у столба на длинной цепи. Живя среди людей, которые его сытно кормили, зверь отличался игривостью и добродушием.

Он подозвал бойца, гармониста Мишу Вазнева, и тихо шепнул: «Бери гармонь и приходи во двор. Ты поиграешь, а я тут кое-что выкину...»

На гармошку стал собираться народ. Медведь от музыки пришел в радостное настроение и заходил на цепи. Он вынес копченую рыбину и начал водить ею перед мишкиным носом, чуть подразнивая. Как только медведь разевал пасть — отводил рыбину и поднимал ее над мишкиной головой. Зверю не оставалось ничего другого, как встать на задние лапы и получить рыбину, которую медведь, все так же стоя, съел. Тут он обхватил зверя за туловище, пробуя повалить, а удивленный медведь положил ему на плечи свои лапы.

Во дворе собрались изумленные бойцы, и со всей деревни сбежались крестьяне. Местные держали сторону косолапого и кричали: «Мишанька, наддай!», а бойцы орали: «Не подведи!» — командиру.

Поначалу борьба с медведем шла вничью. Зверь норовил опуститься на передние лапы, а он, обхватив мишкино туловище руками и упираясь головой в мохнутую грудь, не давал, и мишка, растерянно разинув пасть, смешно переминался, чтобы не опрокинуться на спину. Толпа продолжала шуметь, орать и даже свистеть. И никто не заметил, когда в добродушном настроении медведя наступила перемена. И в то мгновение, когда он выпрямился, чтобы перевести дух, медведь вдруг надвинул огромной лапой барашковую папаху ему на глаза, расцарапав щеку...

Он машинально присел, выскальзывая из угрожающе-когтистых лап, и быстро отошел в сторону. Только слышно было, как звякнула цепь и пискнула гармошка. По лицу его, чувствовал, текла кровь.

Споров по поводу его игры с медведем хватило на неделю. Охотники считали: «Командир баловался зря. Медведь, он зверь непонятный. Его можно держать дома заместо собаки, а быть настороже». Бойцы тоже полагали: возню с медведем он затеял зря. И все-таки, вспоминая о ней, всякий раз улыбались. А ему ведь только это и было нужно...

«НЕ ОБРАЗУМЛЮСЬ, ВИНОВАТ...»

Пока врачи не сказали: «Болен», все мог.

...Отогнув скатерть, писал, когда открылась дверь и в горницу вошел племянник Аграфены. Увидев его, племянник замер на пороге — ни туда, ни сюда.

Он не любил, когда отвлекали. Он уставал от бесконечной вереницы людей с одними и теми же разговорами о Соловьеве, угнанном стаде, ограбленном соляном обозе. Думал: «Если б только дня три без просыпу поспать, раздражение и усталость пройдут». Но днем был на операциях или в штабе. Ночью проверял караулы, отдыхал же только наедине со своими тетрадками.

И он чертыхнулся про себя, что парень его отвлек и вдобавок застрял в дверях, но, видя полную от застенчивости растерянность, приветливо сказал: «Проходи, молодой человек, проходи...»

Племянник оторвался от порога и... остановился посреди комнаты. Снова про себя чертыхнувшись, спросил, как зовут, чем занимается, есть ли клуб. Звали Ваней. Клуб имелся. «Только что там делать, не знаю, — пожаловался Ваня. — Ни комсомола у нас, ничего. Один гармонист».

Ответ Вани понравился. Он засмеялся. «Ну, это дело мы поправим...» И в следующий вечер пришел в клуб, который помещался в большом реквизированном деревянном доме. Вдоль стен шептались и лузгали семечки парни и девушки Ваниного возраста. А посреди, на табуретке, печально поигрывал на двухрядке местный музыкант.

Его тотчас заметили, притихли.

— Что же, товарищи, не танцуете? — негромко спросил он.

Все немного смутились, замялись. А девушка одна выкрикнула:

— Не танцуем, потому что не умеем. Научите — будем!

Все засмеялись, а смутился теперь уже он. В армии за четыре года заниматься довелось бог знает чем, но вот танцы не преподавал еще ни разу. Да и был он в хореографии, между прочим, несилен, хотя в реальном сам ходил выпрашивать уроки танцев вместо рисования.

Но отступать было уже поздно. И, попросив музыканта подыграть, показал, как танцуют вальс и польку, а после сделал несколько кругов по залу с той самой девушкой, Мариной, которая посоветовала, чтобы он их научил. И с другими девушками. Потом за девушек с двумя парнями, а затем предложил попробовать самим.

Никто, конечно, не хотел идти первым, но гармонист заиграл «На сопках Маньчжурии». И, наступая друг другу на ноги, сбиваясь и еще плохо слушая музыку, несколько пар двинулись по кругу, а он, не давая покоя остальным, кое-кого шутливо выталкивал на середину. Получилось много веселья и смеха.

Тут за ним прислали из штаба — он незаметно ушел. А когда появился в следующий раз, встретили веселыми шутками, но, кажется, были рады. Он попросил тишины и сказал, что предлагает поставить им своими силами спектакль, пьеса называется «Горе от ума».

Пьесу привезли из Ужура. Просил про революцию, про классовую борьбу, что-нибудь разоблачающее мировой империализм, и в Ужуре, видимо, сочли, что «Горе от ума» вещь самая подходящая... Ждать, пока пришлют другую, не стал, в другой раз могли прислать «Гамлета».

Он пригласил всех, кто был в клубе, устроиться поудобнее. И рассказал, что пьеса (однажды у него был разговор о ней с Галкой) создана великим русским писателем, который обличает нравы и быт чиновничества и дворянства, близко стоявшего к царю.

Читал пьесу долго. И когда предложил поставить, желающих набралось достаточно. Встречу назначили на другой день. И он объяснил, что возьмут пока только первый акт.

Пятерых исполнителей на пять главных ролей отбирал целый вечер. Пробовались все, кто хотел. А кого на какую роль оставить, решали голосованием. Был соблазн сыграть самому. Причем играть хотел все три мужские роли: Чацкого, Молчалина, в особенности же Фамусова.

Сколько ни играл в любительских спектаклях, всегда тянуло на характерные роли. В дурацкой пьесе «Среди цветов», которую ставила в Арзамасе их квартирная хозяйка Бабайкина (дама, сентиментальная только при постановке любительских спектаклей), он попросил роль садовника. Картуз, наклеенная борода, в особенности роскошная трубка совершенно изменили его облик. Если был в костюме и гриме, то ощущал, как сама собой меняется походка, слегка подгибаются ноги, а в голосе появляется не то старческое, не то козлиное дрожание.

Когда ж в реальном ставили гоголевских «Игроков»,

умолил Галку дать роль младшего Глова, «будущего гусарского юнкера», который на самом деле был из шайки жуликов, вздумавших обобрать удачливого шулера Ихарева.

И хотя в этой роли не пришлось клеить бороду и курить трубку, он был ею очень доволен, потому что на протяжении пьесы младший Глов, по замыслу Гоголя, четырежды преображался на глазах у публики.

Роль была выигрышная и тем более дорогая для него, что он поначалу плохо ее понимал. Она не выходила, пока несколько раз не прошел ее всю вместе с Галкой, который растолковал, кто такой этот Лже-Глов на самом деле и каково этому человеку, сохранившему остатки благородных чувств, было в одной компании с жуликами. Он же объяснил: самая лучшая роль у актера та, которая получается не сразу. И что вообще настоящий художник должен свое творение сперва выстрадать.

И когда он собрался ставить первый акт «Горя от ума», то подумал: «Роль Фамусова наверняка не получится сразу...» А потом решил не играть совсем. И, распределяя роли, себе не взял никакой. Он только показывал, кому, когда, где стоять или сидеть и откуда выходить. И с голоса учил, как подавать стихотворный текст.

Роли запомнили быстро, прямо на репетициях, но лучше всех получалась Лизанька, ее играла та самая Марина, которая крикнула в клубе, чтобы научил их танцевать и по поводу которой Аграфена ему пеняла: «Ну что ты, Аркадий, за человек. Мается, сохнет по тебе девка, а ты бы хоть когда в ее сторону глазом повел».

На очередную репетицию вдруг никто не явился. Прибежал только Ваня. «Старики, — сказал, — сговорились: «Представление — дело богомерзкое». И не велели никому в нем участвовать».

Он пришел в необыкновенное волнение. Вызвал председателя сельсовета и велел прямо сейчас назначить сходку. И когда в ожидании тревожных вестей в клубе набилось столько, что нечем стало дышать, взял слово.

— Я пригласил вас сюда, — сказал он, — чтобы объяснить, что такое театр.

Театр возник, — продолжал он, — в глубокой древности, прежде всего как зрелище для народа, но проклятые эксплуататоры забрали театр себе, сделав из него забаву. И вот теперь Революция возвращает театр народу!..

Говорил, как будет хорошо, если вот здесь, в этом

клубе, откроется свой театр. И молодежь, чем стоять вдоль стенок и щелкать семечки, станет читать со сцены стихи. И прочел последний монолог Чацкого:

Не образумлюсь... виноват.
И слушаю — не понимаю.
Как будто все еще мне объяснить хотят,
Растерян мыслями, чего-то ожидаю...
Слепец! я в ком искал награду всех трудов!
Спешил!.. летел!.. дрожал!.. Вот счастье, думал, близко...

И хотя никто из присутствующих не имел ни малейшего понятия о том, кто такой Чацкий, куда он летел и какого счастья было ему нужно, монолог и в особенности слова: «Карету мне!.. Карету!..» — произвели на публику такое впечатление, что запрет на участие в спектакле был тут же снят. (И вскоре почти все «актеры» стали комсомольцами!)

Потом поставил еще одну пьесу — Сергея Третьякова, но это уже за неделю до той, будь она проклята, операции.

Он больше всего опасался удара в спину. Усталость и опасения на время заслонили все. И он отдал приказ, трагический и стыдный, из-за которого потом заболел.

Или даже наоборот: был к тому времени уже болен, но еще не знал, и другие не знали тоже.

...И он ждал решения.

Все рассказал он на заседании товарищам: и про обстановку, и про свои сомнения, и про то, что не хватало у него людей. Но коль скоро превысил свои полномочия, хоть и в трудном положении, хоть и во имя Революции, должно было его наказать.

Думал: исключат, разжалуют, понизят. Не разжаловали: исключили из партии. «На два года...»

Раньше просил — не отпускали, а теперь вдруг: «Ты, кажется, хотел учиться?..» — «А Соловьев?..» — «Справимся без тебя».

...Соловьева действительно взяли без него, но Соловьев к тому времени был уже разбит — разбит им. У неуловимого атамана оставалось все меньше людей. Набрать новых, когда песенка его была спета, Соловьев уже не мог. И начал недавно еще удачливый атаман, сыпавший «подметные письма» с посулами, приказами и угрозами... торговаться.

Дважды просил Соловьев о встрече. Дважды пила с ним депутация от командования (без «братской выпивки» Соловьев не соглашался вступать в переговоры). Со-

ловьеву и штабу его было обещано смягчение участи за добровольную сдачу. Это значило: если применят амнистию, то срок вообще получится небольшой. А рядовым «партизанам», которые сами выходили из леса, как только они сдавали винтовку и называли себя, тут же говорили: «Шагай давай домой... если понадобишься — вызовем». И по суду многие после были оправданы. Или получили сроки условно.

Государство к бывшим врагам своим было великодушно.

Соловьеву все это с примерами было объяснено. Атаман соглашался выйти из леса в точное совершенно место и в точно договоренный день и час. Готовили встречу. Приглашали фотографов и газетчиков. Выхода ждали, как праздника: все до смерти устали от соловьевских разбоев, но оба раза в последнюю минуту страх брал в Соловьеве верх — и снова отбирал у крестьян хлеб, угонял скот, подстерегал золотые обозы, то ли поднимая себе цену, то ли мечтая еще прорваться в Монголию...

Но дороги все были перекрыты. И пора комедию было кончать. И когда Соловьев снова попросил прислать кого на переговоры, был атаман в удобный момент — один на один — схвачен и связан командиром парламентеров Зарудным...

«ТОЛЬКО В РЕВОЛЮЦИЮ МОГУТ ПРОИСХОДИТЬ ТАКИЕ ВЕЩИ»

Соловьев был захвачен позже. А пока что он оформлял документы для поступления в Академию Генерального штаба. Впервые услышал про нее, когда учился в Высшей стрелковой школе. Академия тогда только открылась. И он твердо решил, что через год туда поступит. В апреле двадцать первого написал даже отцу: «Осенью, по всей вероятности, уеду держать экзамен в академию, но только вряд ли выдержу, если не дадут месяцев двух отпуска для подготовки по общеобразовательным предметам, а то ведь что и знал-то, позабыл все...»

Но послали в Сибирь.

«На днях в Москве, — читал он в «Красноярском рабочем», — торжественно отпраздновали первый выпуск из Академии Генерального штаба Красной Армии. Окончили ее несколько десятков человек...» Он снова для себя загадал: поступит, когда покончит с Соловьевым.

А вышло снова не так.

Пройти медкомиссию в Красноярске он уже не успевал. И Кокоулин в штабе дивизии его спросил: «Как ты вообще себя чувствуешь, ничего?»

— Я? — удивился он. — Я здоровый... Устал только немного.

В Академию нужна была еще партийная или комсомольская характеристика, и он пошел в Енисейский губком комсомола.

...Он был комсомольцем, когда еще, по сути, не было комсомола, а только еще возникали союзы рабочей молодежи. У них в Арзамасе такой союз тоже возник. Они назвали его «Интернационал молодежи». В нем поначалу было всего три человека. А когда в двадцатом приехал домой после ранения, застал уже довольно большой коллектив. Неприятно было ему только одно: Федька, который хотел отнять у него маузер и вообще пенял ему раньше за то, что он всегда с большевиками, теперь, оказывается, тоже состоял в комсомоле...

Недалеко от соборной площади, на втором этаже каменного дома, у комсомольцев был свой клуб — с дежурным, шестью разнокалиберными винтовками в большой пирамиде и холодной печью, которая затапливалась только вечером, когда парни и девочки, устав от погрузки фуража и дров в вагоны, от выступлений перед отъезжающими на фронт, от стирки гор белья в госпиталях, приходили в клуб отдохнуть, поговорить и погреться. А то еще бывало: девчонки после работы забегут, схватят тряпки, ведра, тазы, вымоют, выскоблят полы и стены, пока все не заблестит и не засверкает. После этого убегают домой и возвращаются празднично приодетые.

Он мало тогда побыл в Арзамасе, но и ему удалось кое-что сделать. Вместе с другими комсомольцами он ходил по мелким частным предприятиям (крупных в Арзамасе не было!), добиваясь, чтобы подростки не стояли у чанов и станков больше восьми часов. Вместе с девочками — по линии женотдела! — ходил по красноармейским семьям. И если семья красноармейца жила в развалюхе или подвале, ее перевозили на другую квартиру.

Комсомольцы прямо на улице подбирали тифозных больных и доставляли в изолятор за городом. Ему было стыдно: он подбирать больных на улице не мог — сам едва держался на ногах после ранения и тифа...

Горем для всей комсомольской организации стала смерть Пети Цыбышева.

Петя пошел на фронт по призыву Нижегородской организации: «...Наше место там, где железом и кровью решается быть или не быть Советской власти...» И вот Петя умер дома, в Арзамасе, от ран, полученных на войне. Это была их первая потеря. И хоронили Петю обе организации: партийная и комсомольская. Хоронили со знаменами, с музыкой.

Возле перелеска новый председатель горкома партии Вавилов сказал Шурке Плеско:

— Кому-то нужно выступить от комсомола.

— Аркадий выступит, — ответил Шурка. — Кому же еще? Он тоже из армии. — И ему: — Это наше тебе, Аркадий, поручение...

А когда он горячо говорил у только что выкопанной могилы, у еще раскрытого гроба, увидел свою маму. Она не отрывала глаз от Петиного белого, уже изменившегося лица. И он тогда вдруг догадался, о чем думала мама: ведь ему завтра снова уезжать.

И Енисейский губком комсомола выдал ему письмо — аттестацию для представления в ЦК комсомола в Москве.

«Начальник 2-го боевого района по борьбе с бандитизмом, бывший командир 23-го полка... командир 58-го отдельного Нижегородского полка армии по подавлению восстания Голиков Аркадий состоит членом РКСМ с августа 1918 года, то есть с самого начала его организации.

Несмотря на свою молодость (18 лет), за время четырехлетнего пребывания как члена РКСМ в частях Красной Армии занимал ответственные посты, задания на которых выполнял с успехом...»

И далее, «отмечая проведенную» им «работу по укреплению Красной Армии», губком просил ЦК комсомола дать «ему соответствующую аттестацию и оказать содействие при поступлении в Академию Генерального штаба РККА, дабы он смог получить законченное военное образование».

В Академии на медицинской комиссии его сразу же признали непригодным. И хотя прямо так никто не сказал, решение комиссии подразумевало и его непригодность к дальнейшей службе. А это было крушением всего.

Что делать?.. Кого и о чем просить?.. И он пошел

в ЦК комсомола. Поведал все как есть. Из Цекамола командующему частями особого назначения республики направили письмо о том, что «Центральный комитет РКСМ просит вас назначить тов. Голикова на соответствующую должность в частях вверенных вам войск города Москвы, дабы он смог подготовиться и своевременно попасть в Военную академию РККА, необходимую для получения законченного военного образования».

Но из документов медицинской комиссии было очевидно, что он болен. Ни о каком назначении речи быть не могло. «Тов. Голиков» подлежал демобилизации, тем более что армия сокращалась до шестисот тысяч. Однако за него просил Цекамол. И штаб ЧОНа республики обратился в Реввоенсовет, где ему 18 ноября 1922 года было выдано удостоверение в том, что «бывшему командиру 58-го отдельного полка по борьбе с бандитизмом товарищу Голикову Аркадию Петровичу... заместителем председателя Революционного Военного Совета республики... разрешен шестимесячный отпуск с сохранением содержания по последней занимаемой должности».

Предполагалось: за это время он подлечится и поступит в академию в будущем году.

Возвращение в Красноярск было невеселым. Каждому надо было объяснять: «На почве некоторых потрясений и прежней контузии я заболел острым нервным расстройством».

Вопреки ожиданиям в Красноярске встретили тепло. В феврале двадцать третьего гарнизон, как и страна, готовился отметить пятую годовщину со дня основания Красной Армии. И он попал в радостную праздничную суматоху.

Двадцать третьего февраля его чествовали вместе с ветеранами 26-й Златоустовской дивизии, к которой он был приписан, выдали премию: деньги и малиновые шаровары. Докладчик говорил о нем, что из девятнадцати прожитых им лет пять он прослужил в Красной Армии и что его заслуги в борьбе с Соловьевым известны.

...Полгода ничего не изменили. Он чувствовал себя то лучше, то хуже. И мечтал хотя бы о том, чтобы его просто оставили в армии. Еще дважды Реввоенсовет республики давал ему полугодовой отпуск, но головные боли, шум в ушах, дрожание рук — все то, что называлось «травматическим неврозом», не проходили. Ему исполнилось двадцать. Он был, в сущности, инвалид.

...Незадолго до последней комиссии оставались деньги.

Они с Марусей поехали в Арзамас к отцу. Там с Марусей поссорились. И расстались. Может, если б не болезнь, не было б и ссоры?..

И вот ранним утром он подходил к зданию Реввоенсовета, ничего по дороге не решив. У него был дом в Арзамасе, до недавнего времени — в Сибири, а на самом деле ни одного... У него была прекрасная и гордая профессия — солдат, но для нее он был уже непригоден. У него были мать, отец, сестры, друзья детства — но сейчас он был одинок.

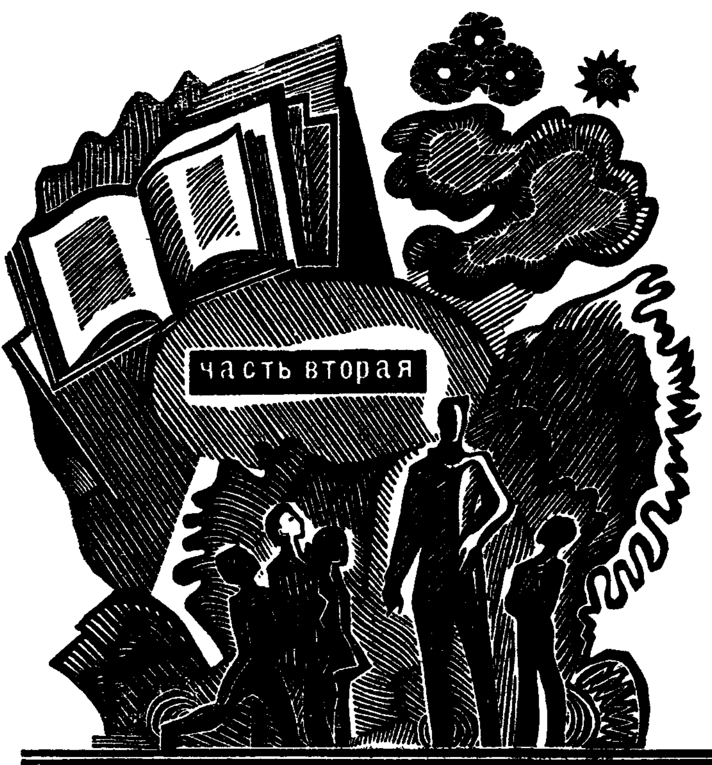
С этими мыслями вошел в бюро пропусков и поднялся наверх. Медянцев повел его к приемной председателя РВС. Он долго ждал. Наконец его вызвали, но не к Фрунзе (как думал), а к заместителю — Данилову. Данилов заинтересовался: такой молодой, а уже инвалид. Он коротко рассказал свою жизнь с отъезда, почти побега, из дома. Данилов как-то косолапо, добродушно похлопал его по плечу и сказал, улыбаясь: «Только в революцию могут происходить такие вещи».

Он стоял худой, взволнованный, вытянувшись в струнку.

Его снова попросили обождать. Вдруг в приемной все встали: «Фрунзе!» Чуть сгорбясь, Фрунзе совсем не по-военному поднял руку и прошел к себе в кабинет.

Минут через десять появился Медянцев: «Ну вот приказ подписан». И он стал медленно спускаться по широкой лестнице. В руке была зажата бумага — выписка из приказа Реввоенсовета Союза Советских Социалистических Республик (по личному составу) о зачислении в резерв бывшего командира 58-го отдельного полка по борьбе с бандитизмом тов. Голикова А. П. с 1 апреля сего, то есть 1924 года. И подпись — «М. Фрунзе».





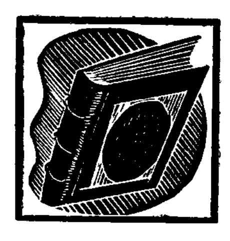


„...СКОЛЬКО МУК ДОСТАВЛЯЕТ МНЕ МОЯ РАБОТА!“

Чтобы быть писателем, надо почти столько же мужества, как и для того, чтобы быть солдатом.

Стендаль

ОТСТАВНОЙ СОЛДАТ



Утром 22 июня он не ждал этого сообщения, как его не ждал никто. Газеты, которые до завтрака вынул из ящика, вышли со спокойными заголовками: «Народная забота о школе», «Сахарной свекле — образцовый уход», статья о Лермонтове, примелькавшаяся сводка с англо-германского фронта.

И вдруг...

Еще неделю назад, вопреки упорным слухам, что Германия задерживает поставки по договору, что большими партиями в Берлин выезжают сотрудники немецкого торгпредства и посольства, что зарубежные газеты давно пишут о близкой войне Германии с Россией, — вопреки всему этому появилось сообщение ТАСС, что концентрация немецких войск вблизи советской границы вызвана предстоящими маневрами, а газеты некоторых стран стремятся нас с Германией поссорить...

И вот заявление по радио. Он не успел его дослушать — позвонили в дверь. Открыл — Дора. Смеющаяся, запыхавшаяся, с сумкой покупок и букетом цветов.

«Знаешь, Дорчик, война!..» — сказал он. Дора выронила цветы. Он помог их собрать, а когда вернулся в комнату, уже передавали музыку.

Позвонил Фраерману, Паустовскому. Да, все слышали тоже. О другом говорить не хотелось. О войне ж еще было нечего.

Он сел за просторный свой письменный стол, который появился в комнате совсем недавно и который он так любил. За столом этим у окна хорошо думалось и писалось. И если он садился работать, то просил всех уйти, потому что комната была одна. И он боялся, что нечаянный шум собьет его с рабочего настроения. Или он отвлечется и потеряет то самое важное слово, которое потом уже не найдешь, не вспомнишь.

Дора, конечно, не сердилась. Она ко многому привыкла. И в непростых разных случаях бывала по-женски мудра.

Сейчас ему тоже хотелось подумать, но странное дело: Дора входила и выходила, в углу возилась маленькая Женька, но они ему не мешали, наоборот, без них

было бы много грустней, потому что обдумать и решить все связанное с войной надо было сегодня, в воскресенье, чтобы завтра с утра начать действовать.

Он помнил слова одного из великих, что «художники слова, творцы» поставлены судьбой «в особое положение» и «должны стоять выше всех людей и вещей».

Он не считал себя «художником слова», тем более «творцом», хотя последние два года о нем хорошо и много писали. Он называл себя солдатом, находил солдатскую должность самой высокой, пока может быть война, а что война будет, он понимал, как мужик, помяв в руках щепоть земли, понимает, когда сеять, а растерев в ладонях колосок — когда жать.

Он предвидел и предсказывал этот день, потому что был солдат по призванию и давнему немалому опыту, солдат, уволенный семнадцать лет назад в бессрочный отпуск, рядовой по последнему, полгода назад на перекомиссии установленному званию. И коль скоро он значился по документам как освидетельствованный инвалид и не подлежал только что объявленной мобилизации (его могли взять лишь в последнюю очередь!), он должен был сам решить, где теперь его место.

Тогда, в апреле двадцать четвертого, все к черту переворачивалось только для него. Теперь для всех. Но тогда, мальчишкой, он решил для себя все правильно. Не потерял себя. Не покатился вниз, как один позже встреченный им приятель, тоже уволенный командир, отличный товарищ и рубака, для которого жизнь остановилась в тот день, когда ему пришлось проститься с армией.

Решение, которое он принял в Москве, в гостинице «Дрезден», удержало его от такой же печальной судьбы (хотя поводов не устоять на ногах было предостаточно), и если позже, случалось, не удерживался и много было всякого, то чаще всего от приступов болезни, приближение которых он всякий раз чувствовал по внезапной смене настроений и той беспричинной тревоге, которая его настигала посреди ровных, радостных дел, в разгар успешно идущей работы.

Он никогда не был трусом. Но то, что шло за первыми, поначалу только ему заметными признаками, те изнурительные и беспощадные нравственные муки, которые нес с собою приступ, было таким страшным, что, глуша себя, он пытался неотвратимое отдалить.

Зато если болезнь отпускала — несколько месяцев не

прикасался ни к чему. Мог жить на юге, брать на себя хлопоты по грандиозному пиршеству, бутылка за бутылкой отбирать лучшие вина, а потом сидеть посреди веселой компании, чокаясь со всеми стаканом холодной, из родника, воды, чувствуя, что полон сил, еще не прошедшей молодости и желания крепко работать.

И вот он опять из-за той же болезни, которую вроде обуздал и с которой научился справляться, оказывался на обочине. Снова предстояло заново обдумать свою жизнь. И не ошибиться.

ВСТРЕЧА С МАТЕРЬЮ

Тогда же, в апреле двадцать четвертого, в финчасти РВС ему выплатили жалованье за шесть месяцев по должности комполка (по которой увольняли) и выходное пособие за две недели. В Москве делать больше было нечего. Последний раз выправив командирский литер, уехал к маме в Алупку.

В Средней Азии, где шла изнурительная борьба с басмачами, у мамы открылся туберкулез. ЦК партии срочно послал ее лечиться на юг. Но по письмам сестер выходило, что больна мама тяжело и врачи мало надеются.

Он мог бы, наверное, приехать и раньше, но его удручали собственная болезнь и неопределенность. Все надеялся: «Вот поправлюсь, получу новое назначение...» Теперь же откладывать поездку было попросту нельзя да и бессмысленно, хотя настоящую причину своих отпусков от мамы скрывал.

Он не видел маму четыре года, с первого своего приезда в Арзамас после ранения, когда ввалился в дом на костылях. И мама, бывало, после дежурства садилась к нему на постель и осторожно, боясь, что вспоминать ему тяжело, расспрашивала про то, что с ним было.

Рассказывал. Только не все.

Про то, как их учили-учили, а потом бросили последним заслоном, про то, как их чуть не перебили сонных в Кожуховке, про то, как он бежал в штаб полка, а ему двое верховых чуть не прострелили голову (он до сих пор чувствовал на затылке прохладу приставленного к затылку винтовочного дула), — про это не рассказывал. Но даже то, что рассказывал, осторожно выбирая случаи побезобидней и посмешней, заставляло ее бледнеть. И он

видел себя, свою стриженую голову, прислоненную к железным ободьям кровати, в ее испуганно расширенных зрачках.

И часто потом, на Тамбовщине, на Кубани, в Сибири, вспоминал эти беседы с мамой, потому что, как потом оказалось, то, что было на Украине, было еще только самое-самое начало, тоже, конечно, не пустяки, но под Киевом он отвечал за себя, за взвод, потом за роту, а после школы «Выстрел» дали целый полк.

И когда после четырех таких лет, совсем взрослый (порой казалось даже, старый: что ни говори, а уже двадцать), приехал в Алупку к маме и сестришкам и во дворе, на раскладной, нарочно вынесенной кровати увидел маму: коротко стриженную, худую, протянувшую к нему руки, — бросил на землю шинель и чемодан и, что-то жалобное крикнув, рванулся к ней.

Он стоял на коленях, уткнув голову к ней в одеяло, и она долго гладила его по волосам своей тонкой, бессильной рукой. А он все только повторял: «Мама, как ты себя чувствуешь, мама?»

— Ничего, — отвечала она, — лучше. С тобой уже лучше...

Рядом стояли Оля и Катя, и прибежавшая тетка Дарья, и нянечка санатория, при котором теперь все они жили, и с ними тоже нужно было поздороваться, а у него не было ни сил, ни желания подняться, потому что впервые за четыре года рядом с больной мамой, силы которой, он знал, уходили день ото дня, он вдруг почувствовал себя спокойно и защищенно, как в детстве, прибегая к ней напуганный «Вием» или страшным, на улице услышанным рассказом.

Сколько помнил себя, его всегда считали маминым сыном. Не потому, что он не любил отца.

Наоборот, о морском бое на Сороке, о жестокой драке на улице, о пойманном уже, который сидел в ящике сарая, можно было рассказать только отцу.

И все же он оставался маминым сыном, потому что чертами и округлостью лица, цветом глаз, улыбкой и даже ямочками на щеках и подбородке, ямочками, которых так стеснялся, став взрослым и командуя людьми, он походил на мать.

И все говорили, что мама любит его больше остальных детей, и мама не протестовала, а рассудительная Катя на это однажды ответила:

— Ну и правильно... Нас, девочек, у мамы ведь трое, а Аркадий-то у нас ведь один...

И когда он приехал в Алупку, мама сразу повеселела. Ему и врачам говорила, что чувствует себя заметно лучше и если бы Аркадий был с ней все время, давно бы поправилась.

Окружающие улыбались, и он был нежен с мамой, как никогда в жизни, а мама без конца спрашивала, не жестко ли ему спать, а то можно попросить еще перину. И сыт ли он: ему ведь надо расти. И подолгу не отпускала его от себя. И он ей много рассказывал, дурачился и смешил, и мама, чего с ней давно уже не было, весело, но тихо смеялась, только иногда ее смех переходил в тяжелый кашель. И он отворачивался, чтобы дать маме отдышаться, потому что знал: она не любила, когда он ее в такие минуты видел.

Вечерами читал ей за день переписанные главы автобиографического романа, где себя называл Сергеем Гориновым. Она слушала. От возбуждения щеки ее розовели, и если глава вдруг обрывалась, она не спрашивала, что с ним, не с Сергеем Гориновым, а именно с ним было дальше. Она терпеливо ждала следующего вечера, понимая, что в романе он откровеннее, чем в своих рассказах ей. А на другой день, дослушав главу до конца, уходила в себя. Слезы медленно катились по щекам.

«Хотела бы я увидеть твою книгу», — сказала она однажды.

И о Марусе не говорил ни с кем — только с мамой, когда мама достала из тумбочки, где у нее хранились все лекарства, его и Марусины письма.

Два или три помнил. Маруся писала при нем. А последние пришли уже оттуда, где она жила теперь, и были полны заботы и нежности. Маруся предлагала прислать каких-то трав и ягод, которые очень помогают.

«Родственная девочка», — сказала мама.

Он чуть не заплакал.

Вообще, рядом с мамой чувствовал себя совсем маленьким, даже сейчас.

Мама по-прежнему была для него единственным человеком, который мог все понять. И в истории с Марусей, и в литературных его опытах. И то и другое для него значило немало. В особенности мнение мамы о романе, который и был решением, принятым в гостинице «Дрезден».

...Роман свой начал писать зимой двадцать второго в Ужуре. Писал каждую свободную минуту, иногда не ложился спать совсем. И едва мог дождаться вечера, чтобы сесть за свои тетрадки снова.

В тот год хотелось успеть все: поймать Соловьева, подготовиться в академию, прочесть всю классику, поставить «Горе от ума», сыграть Фамусова, Чацкого и Молчалина, писать стихи и даже вот роман. В последний этот год он и сорвался.

Врач потом объяснил: то, что ему одновременно хотелось быть и командиром, и разведчиком, и актером, и писателем, и он был уверен, что все получится, — это шло от молодости и хорошей душевной смелости. А то, что делал все сразу, по нескольку суток не спал и вроде не знал усталости, — это уже начиналась болезнь. Сумей он сдержать себя и отказаться хотя бы от работы по ночам, возможно, болезнь и не дала бы такой вспышки. Природа любит равновесие. Он же пошел против нее.

Всерьез писать вначале не собирался. Это вышло как-то само. Скорее всего от одиночества. Друзей, когда приехал на новое место, в Сибирь, еще не было. Маруся жила у родных. Никитина и Шаркова встретил позже. А хотелось с кем-то вместе подумать, вспомнить, поделиться, но тихо-тихо.

Быть откровенным в письмах не умел и стеснялся. Тем более что писал редко. И всем одинаково бодро, пряча подчас за этой бодростью печаль и недовольство собой, растерянность и тревогу, что всему, чему мог научиться сам, вроде бы научился. Когда же в чем просил помочь, отвечали: «Не маленький. Учить тебя некому». И выходило, что школа у него одна — собственные ошибки.

Ему сильно недоставало Бычкова.

Однажды — вспомнить, где в чем успел, а где срывался, — он сел писать записки. Думал: «Выйдет интересно — переделаю в роман», но первые две главы — про Арзамас — получились вялыми. А главное, понял, что пишет-то не для себя. А тогда совсем уж глупо делать двойную работу. Надо сразу приниматься за роман.

Название «В дни поражений и побед» пришло позже. Для начала нарисовал на обложке в верхнем правом углу красную звезду с расходящимися, как от солнца, лучами. Крупно вывел: «Тетрадь», красиво расписался «Арк. Голиков» и поставил число «23/11».

Начал же с критики «Записок»: «Обосновать первую

главу, расширить... вторую изменить, — писал он. Водянистые чернила на шероховатой бумаге расплывались. Каждую букву поэтому выводил отдельно. — Городск(ое) училище. Форму вычеркнуть, возраст увеличить. Подчеркнуть Ленина. Охарактеризовать революцию в уезде... Спать на полу ночью с дозором. Более резко и твердо перед уходом на фронт...» *

Самым трудным было писать о себе в третьем лице, словно о постороннем. С одной стороны, это давало внутреннюю свободу. События в памяти понеслись стремительно и ярко. Среди них такие, о которых в «Записках», может, никогда бы и не написал: «Красные наступают, весна, начало любви к Стасе...» *

Любовь к Стасе кончилась драматически. В решительную минуту схватки курсантов с бандой обнаружилось, что Стася на стороне банды. «Вы сволочь, Стася. Вы сволочь, Стася... Идите, и я не знаю, почему я не стреляю в вас» *.

План книги расширялся: «Тревожные вести... Оборвана телеграмма... Эшелон бунтует... Курсанты спешат на помощь... Крушение... И я прыгаю в темноту, а кругом горит зарево...» *

Казалось, все уже решил, а написать вместо «я» — «он» еще не мог, пока не придумал себе новое имя — Сергей с звонким «р» посередине и не переставил две буквы своей фамилии.

Сергей Горинов походил и чем-то уже не походил на него: был решительней, отважней и удачливей, нежели он, без тех печальных нелепостей, которые происходили с ним.

Трудно было привыкнуть к своему двойнику. Позже привык. И что Сергею были чужды его сомнения и страхи, нравилось. Он даже этим гордился.

Жизнеописание Горинова начиналось издалека, с Арзамаса: проказы на уроках закона божьего, Февральская революция, которая «бурно кинула его сначала в ряды кружковой молодежи» *, а потом в явно большевистскую среду. «С тех пор его можно было видеть около крепкого местного большевистского ядра и в минуты торжества буржуазной реакции в июльские дни, и после Октября... все тревожные минуты существования рабочей власти. В свободные минуты он читал книги и брошюры и чувствовал себя в своей стихии...» *

Чтоб не писать, как едва не уехал на фронт с кудрявым Пашкой и как плакала после этого мама, уверенно вывел: «Сергею исполнилось пятнадцать («пятнадцать» зачеркнул, поставил «шестнадцать»). Высокий, крепкий, с белокурыми волосами и прямым голубым взглядом, он производил впечатление по крайней мере девятнадцатилетнего... Теперь перед ним... стоял вопрос, на что держать... курс и что делать. Училище было закрыто, да при всем желании сидеть за учебником он не смог бы, потому что его молодая горячая натура властно требовала живой и кипучей работы» *.

Тут Сергей получал письмо от своего друга Николая Егорова, курсанта командных курсов: «Мой горячий совет тебе: бери немедленно документы... и валяй тоже вместе с нами. Будем работать и учиться вдвоем» *. И вот Сергей уже курсант, председатель курсовой комячейки, командир курсантского отряда.

...То были самые первые страницы его прозы.

Когда приехал к маме в Алупку, у него уже было написано больше трети. И мама, которая прочла за свою жизнь немало книг, в него поверила. И он с каждым днем писал все смелее и свободнее.

И когда роман по первому разу был близок к завершению, начал исподволь готовить маму к своему отъезду.

Куда поедет, решил давно: в Ленинград, к бывшему учителю словесности Николаю Николаевичу Соколову, которого до сих пор ласково звал про себя Галкой. Николай Николаевич преподавал теперь в Военной академии.

Но, уезжая в Ленинград, дал слово себе и маме, что вернется хоть ненадолго, как только что-либо прояснится. И часто представлял, как после первого (большого!) литературного успеха приезжает к маме снова. А мама чувствует себя уже несравненно лучше. Он рассказывает ей об издательстве, о Галке, о Ленинграде, и они потихоньку спускаются Воронцовским парком к морю. Волна тихо подкатывает к самым их ногам, но мама уже не боится, она почти совсем здорова.

...Он представлял эту картину много раз, живя в маленькой своей комнате недалеко от Невского и еще не зная, что мама, призывая в последние минуты отца и его, умерла, а ему не могли даже сообщить, потому что он обещал сразу, как только будут хорошие новости, написать. А хороших новостей не было... [1]

СПОР С ОТЦОМ

По дороге в Ленинград заехал в Арзамас. Отец жил теперь на новой квартире, которую дал исполком.

Однажды собрались друзья. Отец пораньше пришел с работы. И он устроил чтение рукописи. От волнения стучали зубы. С трудом разжимался рот. Это было первое его публичное чтение. Но в комнате, когда выложил на стол свои тетрадки (целая стопа!), сделалось так тихо, что скоро успокоился.

Роман произвел впечатление, но ему показалось, что и Нину Бабайкину, и Колю Кондратьева, и Митю Похвалинского больше всего поразило, что все описанное произошло с ним самим и что вот Аркашка, с которым в детстве вместе дурачились и обливались водой, вроде как писатель.

Сдержаннее всех был отец, но и он, поглаживая длинные казацкие усы, не смог скрыть, что дрожат руки. Отец хвалил, хотя подметил и недостатки. Главная же мысль заключалась в том (и отец вернулся к ней, когда гости ушли), что роман интересен. И если продолжать писать, то способности его, несомненно, разовьются, однако, считал отец, сейчас, когда миллионы безработных и жизнь в стране только налаживается, строить свои надежды на сомнительном успехе рукописи, где все живо, горячо и неумело, пожалуй, не стоит. Лучше остаться в Арзамасе, поступить на небольшую должность (как бывшему комполка, ему, конечно, пойдут навстречу). Если рукопись опубликуют, он сможет должность оставить. Если ж нет, у него есть тыл.

Отец еще говорил о необходимости образования и душевной зрелости.

Опустив голову, соглашался: «Да, в романе много неумелого... Да, мне уже здесь предлагали работу... Нет, я отказался... Я буду только писать...»

В тот же вечер они с отцом резко поспорили. Они оба были правы, но каждый своей правотой: правотой юности и правотой зрелости, правотой дерзости и правотой житейской мудрости...

Отец был уже немолод. Это особенно бросалось в глаза теперь. Это заметно было и по военным письмам отца. «Ты, конечно, мечтаешь все уйти с военной службы, — отвечал он из Моршанска в двадцать первом году, — завести огород, корову, садик, пасеку...»

И когда в двадцать третьем отец демобилизовался, приехал в Арзамас и здесь возглавил ЕПО — Единое потребительское общество, — он писал из Красноярска: «...меня нисколько не удивило, что ты выступаешь в роли «краскупа» (то есть красного купца). А все-таки чудно, право, чем черт не шутит: был ты и учителем, и чиновником, и солдатом, и офицером, и командиром, и комиссаром, а теперь нá тебе, новый номер — краскуп...»

А ему в двадцать лет было страшно сесть за канцелярский стол (писать, считать — больше ничего в мирной жизни не умел), хотя газеты и разъясняли, что время лихих кавалерийских атак прошло. Нужно учиться хозяйствовать и даже торговать.

Революция дала ему все, о чем он мечтал. И даже то, о чем не смел мечтать. Четырнадцатилетним мальчишкой он хотел только одного — попасть на фронт. Революция ж доверила ему взвод, роту, батальон, полк, боеучасток и боерайон.

Став инвалидом (что из того, что у него целы руки и ноги), он попытался вложить все свое изумление перед революцией и тем, что произошло с ним, в первый свой роман. И если после пережитого на фронте, после болезни и катастрофы у него появилась надежда, что сможет писать, стоило ли выкатывать на него ушат холодной воды? Ведь если человек с трудом отрывается от земли, чтоб бежать в атаку, ему не кричат, что отступать он будет вон в тот лесок.

Он заторопился к Галке, в Ленинград, чувствуя, как земля уходит из-под ног.

СОЛДАТСКОЕ БРАТСТВО

Одиночество

В Ленинград приехал с Наташей — Талкой. Младшие сестры, Оля и Катя, успели объездить с мамой пол-России, а для Талки это было первое большое путешествие. Они обошли с ней весь город, узнавая знакомые по фотографиям и книгам места, но перво-наперво он потащил Талку к Николаю Николаевичу. В сумке у него лежала рукопись.

Часто представлял, как обрадуется ему бывший учи-

тель и после представит его начальству академии, в которой теперь работал: «Знакомьтесь, мой ученик. Командовал полком. Сейчас, правда, по болезни в отпуске, но вот написал целый роман о пережитом и увиденном».

Николай Николаевич жил в общежитии, в здании Главного штаба. Они с Наташей долго шли по коридору. Галку дома не застали. Решили ждать. Из окна отсюда были видны Зимний, Дворцовая, Александрийская колонна...

Минут через пять в коридоре появился человек в мятом френче, с запущенной мужицкой бородой.

Он, улыбаясь, подошел к бородачу: «Николай Николаевич!..»

«А вы, простите, кто будете?.. Аркадий?! — изумился Галка. — Наташа?!»

Бывший учитель быстро отпер дверь и провел их в комнату. Но радости на лице Николая Николаевича написано не было. Рассказ его о себе Галка выслушал рассеянно. Тетрадки полистал утомленно, словно прежние ученики каждый день приносили ему по готовому роману.

Рукопись, однако, через несколько дней прочитал. Одни страницы похвалил, за другие побранил, но обнадеживающего, поворотного для его судьбы разговора (ради этого разговора он приехал с юга!) не произошло. Приглашения заходить не последовало.

Они с Наташей терялись в догадках, чем объяснить, что Галка, который всю жизнь кого-то воспитывал и кому-то помогал, вдруг равнодушно отнесся к нему, когда ему впервые понадобилась помощь.

Снова надо было что-то решать. А что — не знал. И, сунув рукопись в чемодан, уехал с сестрою на последние деньги на Кавказ.

...Трудно сказать, почему, отослав Талку домой к отцу, вернулся в Ленинград. Может, потому, что ехать было все равно куда (лишь бы не в Арзамас). Может быть, и потому, что жила еще надежда на помощь Николая Николаевича... А может, потому, что в Реввоенсовете в Москве попросил переслать все документы в Ленинградский военный округ. А писать, что передумал, было вроде неудобно.

Снял комнату подешевле. И снова принялся за рукопись. После беседы с Галкой немало переписал и поправил, но в нем уже поселилось сомненье. И он не решался рукопись куда-нибудь нести. Тем более что в Москве, по дороге с Кавказа, рискнул зайти в издательство.

«Ваш роман должен быть аккуратно переписан от руки на одной стороне листа большого формата. А лучше всего — на машинке...» — это было все, что он там услышал.

Тогда оставались еще деньги. Мог перепечатать, но не было сил для второго такого же «содержательного» разговора. А после новой правки в толстой, как у словесника, стопке тетрадей не оставалось ни одной аккуратно исписанной страницы. Стоило вывести несколько строк, тут же их зачеркивал и писал снова. По второму и третьему разу выходило энергичнее и тверже. «Нужно больше писать и больше зачеркивать» — то был уже опыт, но нести в таком виде было нельзя. Пробовал переписать — выходило то же самое.

Кончились деньги. Продал хромовые сапоги, командирский френч с «разговорами», который очень любил (нарочно даже в нем сфотографировался), длиннополую кавалерийскую шинель, мохнатую папаху, отличный складной нож, однако продавать скоро стало нечего.

С отчаяния по вывеске зашел к машинистке, попросил напечатать роман свой в долг: «Это про красных курсантов, про красных юнкеров, когда он выйдет, я отдам вдвойне...» — «Настя, — ответила машинистка, — закрой за советским Куприным дверь».

Пробовал устроиться на работу. Постоянной не было. Изредка подворачивалось таскать, грузить. Платили хорошо, кроме того, был сыт: питались артельно. Заработанного за две-три ночи хватало дней на десять. И немного отдать хозяйке.

Как-то вечером почти столкнулся на Невском с Галкой. Рванулся подойти — и спрятался в парадном: не хотел, чтобы видел его глубокой осенью в коричневом дождевике и когда-то белых парусиновых туфлях... Конечно, мог написать в Арзамас, но это значило признать правоту отца в том споре. Получалось что-то вроде легенды о блудном сыне, которую они «проходили» по закону божьему в реальном. Этот сын ушел от своего отца странствовать, но потом, как видно, ему пришлось туго, и он пошел на попятный.

Он же не был библейским блудным сыном. Дни одиночества, недели уединенной работы, о которой думал даже во сне, вскакивая в темноте и при свете спички

записывая несколько слов, научили многому. А книги, прочитанные за то же время, особенно повести и романы, опубликованные после революции, убеждали: не сейчас, так скоро сможет писать не хуже. Единственное, чего боялся. — «А что, если рукопись все-таки нигде не примут?». Что в таком случае делать, не знал.

Готовясь к худшему, уговаривал себя: «Бывали поражения и в армии. Ничего. Выжил».

Да, бывали. Да, выжил. Но в армии — все вместе. Он же был теперь один.

Все прошло. Но дымят пожарища,
Слышны рокоты бурь вдали.
Все ушли от Гайдара товарищи.
Дальше, дальше вперед ушли.

Стихи сложил недавно. А новое имя его родилось так.

В Хакасии, преследуя Соловьева и появляясь с отрядом то в одном, то в другом улусе, часто слышал за спиной вопросительно-тревожное: «Хайдар Голиков?», «Хайдар, Голиков!», иногда просто: «Хайдар?!»

Слово нравилось. В нем было что-то от дикой, беспредельной степи с табунами необъезженных несчитанных коней, что-то загадочное и призывное. Был уверен: «хайдар» означает «всадник, начальник, командир». И, по привычке думая о себе в третьем лице, произносил его на русский лад: «Гайдар Голиков!.. Гайдар!»

Позже узнал: «хайдар» по-хакасски — «куда, в какую сторону». Конечно, был разочарован, но имя «Гайдар», которое сам себе придумал, по-прежнему нравилось.

«Писать вы можете...»

Утром собрался. Засунул в картонную папку (с трудом ее завязал) все свои тетрадки. И отправился в издательство, которое помещалось в доме с глобусом, на углу Невского и канала Грибоедова.

Еще не было десяти часов, а в длинных мрачных коридорах уже стояли, кого-то ждали, кого-то ловили молодые и не очень молодые люди. Царила напряженная и странная тишина, как в больнице во время операции, исход которой неизвестен. И люди боятся громким словом помешать хирургу. Или спугнуть судьбу.

Он неуверенно ткнулся в одни, потом в другие двери — везде заседали. Остановился перевести дух.

Рядом, в коридоре, негромко разговаривали двое. Невольно прислушался. Говорили о том, что люди устали от войны. Когда американцы снаряжали экспедиционный корпус в Европу, каждому солдату клали в ранец томик Диккенса — развлечься на привале. И сейчас, после всего пережитого, лучше всего идет «красный Пинкертон», либо юмор «под Аверченко», либо, если серьезное, про восстановление и рабочий класс.

Прислонился к стене. Ему показалось, что все к чертям собачьим проваливается.

— Товарищ, вы заболели?

Он вздрогнул. Рядом стоял человек лет тридцати, без пальто, судя по деловому спокойному виду, работник издательства.

— Нет, спасибо. Это я так.

— Но вы чем-то огорчены?

— Говорят, что вот не берут. Передышка. Лучше всего Аверченко и Диккенс.

— Чего не берут? Какой Аверченко, какой Диккенс? Отойдем в сторонку. Кто вы? Откуда? Что принесли?

Он оторопело посмотрел на человека, которому стал вдруг интересен, но, тут же спохватясь, сбиваясь и перескакивая (здесь все так заняты!), рассказал свою жизнь до сегодняшнего дня в десять минут.

Незнакомый чудак осторожно вынул у него из-под локтя папку, развязал тесемки, полистал странички. «Через час зайдите вот сюда, в эту комнату». И растворился во тьме коридора.

Выждал час и толкнул показанную ему дверь. В комнате только что кончилось заседание. Одни закуривали и выходили. Другие стоя продолжали разговор. Трое или четверо сидели за столами.

Не зная, к кому обратиться, ждал, пока заметят. И высокий с гладким пробором человек (который немного стеснялся своего роста и сидел чуть сутулясь) посмотрел на него вопрошающе и доброжелательно.

И прежде чем высокий успел что-либо произнести, он положил на стол пред ним свою папку и дернул тесемку. Папка распахнулась (высокий от неожиданности вздрогнул), а он, понимая, что это, возможно, последний шанс, ринулся, как в бой, как в атаку, когда только один путь выжить и победить: не оглядываясь, вперед...

— Я Аркадий Голиков... Это... мой роман, — твердо и отрывисто произнес он. — Я хочу, чтобы вы его напечатали.

Из-за других столов удивленно поднялись люди.. Видимо, авторы в этой комнате не каждый день разговаривали тоном кавалерийской команды. Из папки в ту же минуту расхватали добрую половину тетрадок (он ужаснулся их виду в чужих руках), и ни на кого больше не глядел — только на высокого, а боковым зрением все равно видел руки, которые бережно перелистывали безобразные его страницы, написанные детским почерком, а в иных местах даже с кляксами.

Ждал: сейчас засмеются, засунут тетрадки обратно в папку и выставят вон: не будь нахалом.

Но высокий, пробежав несколько страниц (он сразу их узнал: Горинов говорит, что идет оправиться, толкает с обрыва бандита-конвойного, и сам бежит), спросил его:

— Вы писали что-нибудь прежде?

Хотел ответить: «Да, конечно, писал. И даже печатался — в «Авангарде»...

Но вопрос был задан хорошо, участливо. И он сказал:

— Нет... это мой первый роман... но я решил стать писателем.

— Кем же вы были раньше и кто вы теперь? — снова спросил высокий.

— Теперь — уволенный из Красной Армии по болезни. А был командиром полка.

— Долго командовали полком?

— Полком год... А вообще, командовал три.

— Сколько ж вам сейчас?

— Двадцать...

— В каких же местах вам довелось воевать? — это уже спрашивал человек в командирском френче с накладными карманами, с худым монгольского типа лицом и веселыми маленькими глазами.

— Под Киевом, Полоцком, на Кубани, на Тамбовщине, в Сибири...

— А где в Сибири?! — встрепенулся человек во френче.

— Ачинско-Минусинский район. Белопартизанщина.

— И вы про Сибирь пишете?

— Пока только про Киев.

— Костя, — сказал человек во френче, — я возьму это почитать. А вы, — обратился человек во френче к нему, — зайдите через несколько дней.

Эти дни надо было прожить. Неважно, что не оставалось денег. Что скажут, когда прочтут? Да и хватит ли терпения прочесть? Если б хоть было отпечатано на машинке... И то, говорят, не всегда читают.

Иногда ночью представлялось: он приходит в редакцию и только открывает дверь — ему начинают жать руки: «Вы большой, очень большой талант». Или: «Еще не прочитали». Или: «Вы знаете, мы куда-то засунули вашу папку, но вы не волнуйтесь. К праздникам будем прибираться, уборщица найдет...»

Что рукописи пропадают, слыхал в том же коридоре.

Не знал, сколько это — «несколько дней». Стойко выждал неделю, потом еще день... И толкнул ту же дверь.

С ним поздоровались. Попросили подождать. За столом у высокого шел разговор: кроме худого, с большим лбом, во френче, который сказал прошлый раз: «Костя, я возьму это почитать», сидел еще один, тоже невысокий, светлый, с глазами большими и внимательными.

Просьба «Подождите, пожалуйста» могла означать и что еще не прочли, и что уже потеряли. И что лучше всего, если он попробует написать «красный Пинкертон».

Он терпеливо и печально сидел в уголке на стуле, когда все трое, внезапно прервав разговор, вдруг, улыбаясь, повернулись к нему, пригласили подсесть поближе и высокий, встав, предложил:

— Давайте знакомиться — Константин Федин.

Который во френче — это был Сергей Семенов, а застенчивый и тихий, с большими внимательными глазами — Михаил Слонимский.

— Я прочитал вашу рукопись, — произнес Семенов. — И скажу то, что уже говорил товарищам... Это, конечно, никакой не роман (у него внутри все остановилось...), а повесть. Но я не мог оторваться. Здесь все настоящее: люди, подробности, поражения, победы.

— Мы тоже с Мишей прочли, — подтвердил Федин. — Действительно, трудно оторваться, хотя и немало в рукописи оплошностей неумелого пера... Писать вы не умеете, но писать вы можете и писать будете... А мы вам поможем.

...Слонимский позже рассказывал: в двадцатом к Горькому (Миша работал секретарем издательства, руководимого Горьким) в шинели и, кажется, не очень целых сапогах пришел начинающий Федин, который перед тем прислал на отзыв несколько своих новелл.

Спустя полчаса Федин почти выбежал из кабинета, повторяя в волнении: «Горький сказал мне, что я буду писателем...»

Горький действительно сказал: «Писать вы можете... Писать вы можете...»

И вот спустя четыре года Федин почти теми же словами благословил его.

...Рукопись за счет редакции отдали на машинку. Тут же выписали громадный, по его понятиям, аванс. Правда, извинились: сегодня денег он уже не получит. Только завтра.

Утром в столовой на Невском поел. И трамваем отправился на толкучку, на Сенной рынок. Купил шинель, портянки, сапоги, кучу нужных и ненужных вещей. По дороге домой забежал в два или три магазина — за подарками хозяйке и ее детям. Отпраздновал с ними свою удачу. С лихвой уплатил за прожитое и переехал на другую квартиру — Фонтанка, 68/7, квартира 56, возле Цепного моста.

Комната и здесь была не очень велика (однако больше прежней), главное же — с громадным, из какого-то присутственного места, письменным столом, который он выдвинул на середину. Стол царил в его комнате: ведь он теперь был писатель...

Литературный ликбез

Несколько дней промчалось в праздничной суете. Смотрел «33 несчастья Макса Линдера», обошел все музеи, в которых не успел побывать с Талкой: Морской в Адмиралтействе, усадьбу-музей Юсупова на Мойке, где был убит и спущен под лед Гришка Распутин, дворцы Шувалова и Шереметева на Фонтанке, смотрел «Маскарад» в Александринском театре с Юрьевым в роли Арбенина.

Забегал в издательство. Рукопись еще не была готова. А вернулся как-то домой — в гослитиздатовском конверте письмо. Понял: перепечатали, прочли, велят вернуть аванс. Побелевшими пальцами надорвал конверт.

15/X — 24.

«Уважаемый товарищ Голиков!

Предположено до выхода вашей вещи отдельной книгой провести ее через альманахи Госиздата. Просьба зайти в самое ближайшее время — ежедневно от 2—3 часов.

Секретарь редакции Слонимский».

Его повесть собирались выпустить сразу двумя изданиями!

Редактировали рукопись все по очереди, но первым сел с ним за стол Миша Слонимский...

Миша Слонимский был не намного старше, а уже давно печатался. Его хвалил Горький. Еще до знакомства он прочитал несколько Мишиных рассказов. Особенно понравился рассказ «Копыто коня» и то место, где солдат Мацко взлетел в воздух и «тело его отделилось от земли. Он увидел себя со стороны. Вот он, распластав руки, режет воздух; голова втянута в плечи. Лицо напряглось, глаза выпучены, подтянутые колени защищают живот...».

Написать так можно было, если только тебя самого подбрасывало к небу. Оказалось, что и Слонимского «подбрасывало»: в пятнадцатом ушел добровольцем на фронт. Был ранен. Контужен. Приговоренный медициною к смерти, лежал в «палате смертников», откуда его вызволил дядя, известный исследователь литературы Венгеров.

Слонимский был среди тех солдат Петроградского гарнизона, которые, сломив сопротивление офицеров (при этом был убит командир батальона полковник Геринг), первыми вырвались 27 февраля 1917 года из казарм на улицы.

В ночь взятия Зимнего находился на Марсовом поле, у казарм Павловского полка, когда туда привели воительниц женского батальона.

Солдатское прошлое Миши их сблизило. Они стали товарищами. И рукопись его правилась с весельем, азартом, переходя от Слонимского к Федину, от Федина к Семенову, от Семенова снова к Слонимскому. Каждый делал свои замечания, но никто ни единой строки за него не писал.

Если вдруг он сомневался, Слонимский или Семенов

говорили: «Идем к Федину». И Федин, случалось, брал его сторону.

Читая со Слонимским главу за главой, вспомнил одну из историй о бандитах.

— Это надо сейчас же написать и вставить, — заволновался Слонимский, — это идет вот сюда... буквально вот сюда.

— Я не могу, — испугался он.

— Почему?!

— Я в этом не участвовал. Это произошло в восемнадцати километрах от того места, где находился я.

Слонимский расхохотался:

— А ты «Войну и мир» читал?.. А как ты думаешь, имел Толстой право писать о двенадцатом годе и Бородинском сражении, если сам он родился уже после Отечественной войны?

Глядел на Слонимского изумленно. Когда писал, мешала мысль: кто-нибудь из ребят прочтет и обидится: «У меня под Киевом был трофейный «льюис», а ты пишешь — «максим». И он мучительно вспоминал подробности... а это, оказывается, было не нужно: если чего не помнил — мог написать то, что помнил, что произошло в другом совершенно месте, но так, будто произошло здесь и с ним. Это было легче и куда интереснее.

(То был первый в его жизни урок литературного ремесла. За семнадцать лет работы их набралось не так уж много. И благодарно помнил каждый.)

Слонимский и Федин передавали ему то, что сами недавно получили от споров с Чуковским и Шкловским, от встреч и бесед с Горьким (до отъезда Алексея Максимовича за границу), от общения между собой на заседаниях «Серапионовых братьев».

Жалел, что сам ни разу не попал на заседание, хотя собирались «Серапионы» в комнате у Миши, в нескольких минутах ходьбы от издательства. Зато ему о них много рассказывали.

Еще Горький им посоветовал: раз собираются и крепко держатся друг за дружку, должны как-то называться. Кто-то в шутку предложил: «Серапионовы братья». Название привилось, как прозвище в детстве.

Кроме Лунца и Каверина, которые были очень молоды, остальные «Серапионы»: Слонимский, Федин, Елизавета Полонская, Николай Тихонов, Груздев, Зощенко, Николай Никитин — прошли гражданскую.

А Слонимский и Зощенко еще и мировую. (Зощенко в окопах отравился газами.)

«Серапионом» же был и Всеволод Иванов. Он участвовал в гражданской в Сибири. Приехав в Петроград, голодал так, что в гостях у Горького однажды съел за ужином все пирожки и тут же заснул, потому что несколько дней не видел ни крошки хлеба, но не реже двух раз в месяц приносил на заседания свои рассказы — «первую живую запись того, что происходило в стране».

«Серапионовы братья» — это было удивительное содружество. И если сам он не участвовал в заседаниях, то скорее всего потому, что и без того был полон «уроками», которые давались ему каждый день. Быстро уставал. Вечером же хотелось еще поработать.

А может, потому, что накрепко подружился с Сергеем Семеновым. У них оказались до удивления похожие биографии. Только Семенов был на десять лет старше.

Родился Семенов в Петрограде, в семье токаря. Кончив четырехклассное городское училище, поступил рассыльным на почтамт. В революцию стал курсантом военно-инженерной школы, которая помещалась в Инженерном замке, но послали в Сибирь, а весной девятнадцатого — на Украину. Под станцией Крюково они с Семеновым дрались против Григорьева где-то совсем рядом.

В двадцатом Семенова снова направили в Сибирь, в Ачинский уезд, на подавление банд, но он хотел учиться, его командировали в Ленинград, а в марте двадцать первого всю инженерную школу бросили под Кронштадт. Во время штурма Семенов провалился под лед. Плеврит. Туберкулез. Мечтал: «На всю жизнь в армии». А уволили по болезни. С детства любил книги, не помышляя писать, но тут, по собственным словам, «адресовался в литературу, как в последнюю инстанцию» *, которая могла ему помочь. Еще в больнице написал рассказ «Тиф» и стал писателем.

В двадцать четвертом Семенов заведовал литературно-художественным отделом Госиздата, был членом редколлегии альманаха «Ковш» и газеты «Ленинградская правда» (в январе — спецкор на похоронах Ленина), а как писатель шумно известен романом «Голод», где дал историю своей семьи, и такими новеллами, как «Тоже рассказ» и «На дорогах войны».

От него Семенов требовал точности и смысловой за-

конченности каждого эпизода, но, поскольку в комнате редакции не было ни малейшей возможности посидеть над рукописью неотрывно хотя бы полчаса, Семенов приглашал его к себе — в просторную квартиру на Забалканском проспекте.

В кабинете Семенова строку за строкой проверяли на слух целые главы. Семенов терпеливо объяснял: нужно вычеркивать все, что замедляет темп и не имеет отношения к главному.

Сам же писал очень трудно. Жаловался: «Не хватает слов...»

...Они с Семеновым сидели и работали — вошла жена Семенова Наташа, позвала пить чай. До этого он был знаком с ней мельком. А тут она вернулась с концерта, взволнованная музыкой и тем, что знаменитый пианист, которого она слушала, согласился прийти к ним поиграть.

За столом, несмотря на поздний час, пили чай какие-то гости. Разговор шел о книгах, музыке, театре, Наташиных выступлениях (она была актриса, читала с эстрады). Тут же, на почетном месте, сидела худая, поджарая, необыкновенно важная Глебкина няня, которая с гордостью однажды сказала: «Раньше я жила у генерала Максимовича, да и теперь не у простых людей живу...»

Он вначале за столом стеснялся, но Глебкина няня (сам смешной человек Глеб давно спал) пододвинула масленку: «Ты, Аркаша, пей чай и хлеб мажь маслом».

И стало хорошо.

Когда прощался, Наташа сказала: «Вы приходите. Не работать, а просто так».

Пришел, когда ни Семенова, ни Наташи еще не было дома. Зато подружился со всеми домочадцами. Няня спросила, не хочет ли чаю. Шестилетний Глеб потащил в детскую: делать стенгазету. Называлась она «Красный уголёк» (Глеб очень сердился, если говорили «уголок»). Газету Глеб выпускал часто, но одна висела у него давно. Весь номер состоял из одной, большими буквами написанной фразы: «Да Ленин ты умер и никогда не вернесся...»

Только они успели с Глебом вывесить новую газету, Сережина сестра Феюша (полное имя ее было Анфия) попросила его провернуть на кухне мясо. Он крутил ручку мясорубки, Феюша тут же мыла пол и учила стихи Есенина. Раскрытый томик лежал на табуретке. Выжимая тряпку, Феюша глядела в книжку. И они вдвоем делали сразу три дела: мыли пол, мололи мясо и учили стихи: он на слух хорошо запоминал.

Примчалась Наташа: вечером будет полный дом, а еще ничего не готово. И послала его купить хорошего вина, шпрот, сыру и чего-нибудь к чаю.

И когда вскоре действительно набился полный дом, он уже чувствовал себя совершенным хозяином: усаживал, буквально по спинкам стульев пробирался к дверям, наливал опоздавшим, ухаживал за «Мишками» (как звали в доме Слонимских), а когда Федин сказал, что будет плясать, — раздвинул всю мебель. И Федин замечательно сплясал русскую.

Гости ушли — он помогал носить посуду, сдвигать стол. Домой его уже не пустили — уложили на диване красного дерева в столовой. И проснулся утром оттого, что все ходили на цыпочках, боясь его разбудить.

Дом Семеновых стал для него одним сплошным праздником. Он проводил тут все время, которое оставалось от работы. Он любил в доме всех. И в доме все его ждали: и Глеб, и нянька, и Феюша, но самым радостным был, конечно, вечер, когда приходил, мягко улыбаясь, Сережа, прибегала, всегда прибегала Наташа.

Днем у нее могла быть репетиция, вечером — два выступления в концертах, но сил ее не убывало. И даже после гостей она могла долго лежать и читать книгу, о которой шел разговор за столом.

Все в этом доме ему нравилось, начиная с истории знакомства Наташи и Сережи, когда подающий надежды пролетарский писатель («Верю в ваше большое литературное будущее» *, — написал о рукописи «Тифа» известный критик) увидел на обсуждении в Пролеткульте молоденькую актрису передвижного театра Гайдебурова.

Была она худенькая, коротко постриженная, в кокетливо надетой мужской кепке и выступала страстно. В ней заметна была не одного поколения культура. Весь облик актрисы показался Семенову таким притягательным и милым, что с решительностью, которую трудно было в нем заподозрить, Семенов сказал:

— Вот эта будет моей женой...

Они выглядели очень разными. Сережа много болел (купание под Кронштадтом!). Говорил всегда тихим голосом. Если за столом хотел что-нибудь сказать, все

замолкали, а Наташа просила: «Няня, не стучите ложечкой...» Сережа говорил десять-пятнадцать слов, но умно, кстати и всегда необыкновенно интересно.

Каждый рассказ Семенова выходил с посвящением «Наталье Волотовой», а самый главный свой роман он назвал «Наталья Тарпова».

В дом к ним тянулись. Здесь он познакомился с Николаем Никитиным, тоже «Серапионом», изящным, в очках. Когда Никитин приглашал на танец Наташу, смотреть хотелось только на них.

В Никитине, к удивлению, не оставалось ничего от не очень грамотного солдата Ольвиопольского полка, который накануне Октябрьских событий приехал со своим другом Егором в Петроград с целью «освободить Ленина из плена», поскольку, по их сведениям, Ленин был якобы «взят в плен капиталистами».

У Семеновых познакомился с Николаем Олейниковым и Женей Шварцем.

Шварц до недавнего времени был актером ростовского театра. Среди начинающих писателей Петрограда считался своим. Вместе с Зощенко и Лунцем сочинял сценарии «капустников», в том числе нашумевший боевик «Фамильные бриллианты Всеволода Иванова». Шутки Шварца, его пародии, остроты говорили о несомненном даровании сатирика, но всерьез Шварц ничего не писал. И когда Слонимский однажды прямо спросил: «Почему?» — «Мишечка, — ответил Женя, — я не умею».

Хорошо писать, видимо, в самом деле не умел. Плохо — стеснялся. От Шварца ждали сразу многого. Актер, он страшился кашляющей публики, пока вместе со Слонимским не поехал в Донбасс, в гости к своим родителям. Там произошла невероятная история.

В Бахмуте, в редакции газеты «Кочегарка», куда Слонимский зашел в надежде подработать, ему предложили... редактировать только что созданный литературный журнал «Забой».

Слонимский стал редактором, Шварц — секретарем. (После оказалось, феерическое это назначение устроил совершенно незнакомый им сотрудник «Кочегарки» Николай Олейников, который до умоисступления жаждал появления нового журнала.)

Имея «свою» газету и «свой» журнал, невозможно было не писать. Шварц начал со стихотворного фельетона и освободился от всего, что мешало писать. Шварц мог искать, пробовать, ошибаться. Он перестал быть вундеркиндом от литературы и мог расти, как все.

(Думал ли, что вся эта история будет иметь хоть косвенное отношение к нему?)

У Семеновых Шварц появился если еще не писателем, то, во всяком случае, уже пишущим. Встречаясь с ним, Олейников и Шварц настоятельно советовали ехать в Донбасс... Он был самым молодым. Ему нужна была «жизненная школа» («Нельзя же писать только про войну!..»). Лучшей школы, нежели Донбасс, они, разумеется, не представляли.

«Послушайте, Аркадий, — убеждали Шварц и Олейников, — мы дадим вам с собою мешок рекомендательных писем».

А он все отговаривался: «Жду... «РВС».

Рассказ должен был появиться во втором за 1925 год номере «Звезды». Написался «РВС» легко. Он был полон только что полученными уроками. Много за короткий срок прочел. И чувствовал, как сделалась послушна рука.

На мысль о рассказе натолкнула случайно подсмотренная и бегло, прямо в рукописи «Дней поражений и побед», записанная сценка:

«— Димка, давай гвоздь. А то я скажу маме, что ты из чулана стырил... Зайчиков кормить... — Димка чуть не поперхнулся... подавился от страха...»

Пока писал «роман», сценка была ни к чему, и он бросил ее на полуслове. Теперь же она послужила «пружинкой» для целого рассказа.

Повесть «В дни поражений и побед» снова напомнила ему Украину: «Нигде никогда ни один из фронтов Республики не был так бессмысленно жесток, как жестоки были атаманы разгульно-пьяных петлюровских банд».

Начал «РВС» с того, что расстрелял атаман Криволоб за сараями «четырех москалей и одного украинца», — и все же рассказ был о светлом: о командире невесть откуда возникшего красного отряда, который спасает маленького Димку от кулаков дезертира Головня, о мальчишках — Димке и Жигане, которые, найдя того же командира уже раненым, спасают его от жажды, голода и... Головня.

«Добро, — хотел он сказать, — так же заразительно, как зло... и жнут люди то, что сеют».

Только вот конец рассказа получился печальным: Димка с матерью и Топом уезжали к отцу в Петроград, спасенный ребятами командир, член Реввоенсовета Сергеев отправлялся со своим отрядом дальше. А Жиган снова оставался один.

Сделать другой конец не мог. Это была бы неправда.

Он и сам мальчишкой потянулся к Красной Армии. Как Жиган, «на факте» доказал «свою революционность». Тоже на всю жизнь остался завороженным тем, что дала ему армия, и вдруг, как Жиган, очутился один на перекрестке одинаково неведомых дорог в неуверенной надежде, что «может, где-нибудь» судьба снова сведет его с армией.

И когда Женя Шварц из самых добрых побуждений настойчиво советовал ехать в Донбасс, он не мог объяснить, что боится этой поездки, боится потерять то, что нашел здесь и без чего теперь не мог жить.

Второй номер «Звезды» вышел в апреле. На обложке в числе постоянных авторов рядом с В. Александровским, А. Безыменским, Н. Брауном, В. Вересаевым, С. Есениным, А. Жаровым, В. Кавериным, Б. Лавреневым, Ю. Либединским, С. Семеновым, К. Фединым и В. Шишковым значилось и его имя: А. Голиков.

Но ведь если пишут на обложке — значит принимают всерьез?..

И все-таки держать в руках журнал было горько: наступила пора уезжать.

Быстро, чтобы не тянуть, собрался. Купил несколько книжек «Звезды» — с рассказом и альманаха «Ковш» — с повестью «В дни поражений и побед». Получил деньги. Тут же, в темном коридоре издательства, роздал едва не половину почти незнакомым людям, которым меньше повезло. Тепло простился с новыми друзьями. Особенно нежно с Наташей и Сережей.

Сереже незадолго перед тем подарил свое фото, где был снят в форме командира полка. И надписал так:

«Сергею Семенову. Командарму литературного фронта, лучшему другу.

Арк. Голиков.

20.III.25.

Ленинград».

И он уехал, но поначалу не в Донбасс, а в Гагру. После трудной зимы хотелось тепла и нерабочих впечатлений. И еще хотелось, пусть вчерне, написать новую вещь. На этот раз уже точно роман. И опять пока что про войну.

Название придумал: «Взрыв».

«РВС» в Ленинграде очень хвалили (ревниво заметил: больше повести в «Ковше»). Думал: писать теперь станет много и быстро. И напишет целую библиотеку.

Но пришла былая тревога, порожденная болезнью и одиночеством. Не находил себе места. В горах тянуло к морю. У моря — в сад. В саду — снова в горы.

Пытался писать хоть по странице в день. А мысли разбегались. В отчаянии чувствовал: умение и сноровка, обретенные в Ленинграде, уходят вместе с силами.

В редкие минуты внутреннего покоя понимал: надо остановиться. Отдохнуть. Отвлечься. И все вернется. Но каждый час бездействия отдалял его от будущих книг, Ленинграда, друзей, и он бросался к столу. А рука и мысль сразу становились вялыми.

Недели через две написал Семенову:

«Дорогой Сережа!

Шлю привет из Владикавказа. Еду дальше. С места пришлю письмо. Работаю. Пишу роман «Взрыв». Здоровье очень неважное. Пока кончаю. Звонки... Целую ручки Наташе» *.

Открытку опустил в ящик и вскочил на подножку, потому что поезд тронулся.

О том, что роман не выходит, сообщать постеснялся. Просто хотел напомнить о себе и связать обязательством самого себя. Раз в Ленинграде теперь знали о «Взрыве», бросить роман уже не мог.

Лишь месяца через два, собравшись с духом, написал Семеновым всю правду.

«Милым моим, славным друзьям от неисправимого бродяги теплый привет.

Случайная остановка, прохладная тень школьного садика, полуденная жара, смешанная с запахом поспевающих дынь, а внизу, под горою, дорога, ровная и гибкая, та самая, по которой лежит мой завтрашний путь.

До Донбасса еще далеко, но сапоги мои еще крепки, в кармане еще звякает рубль с гривенником денег, и кисет с махоркой полон до отказа — жить можно.

Был я на Кавказе: в Абхазии, в Гагре, отдыхал, тянул кислое вино, восторгался опасной красотой интеллигентных грузинок и помогал грузчикам стаскивать

мешки с золотисто-рассыпчатой кукурузой. По ночам писал.

Был я в Харькове, тосковал о Ленинграде, о зиме, яркой и приветливой, о накуренной шумной комнате на шестом этаже Госиздата, о Наташе и о тебе.

Ходил в клинику и с идиотским выражением лица сидел на табуретке, выжидая, когда на разгоряченную голову выльется положенное количество электрического дождя.

Писать не мог помногу. По ночам не спал. Или спал, но видел беспокойно-красные сны и зарева далеких, ласковых и, к сожалению, прошлых пожаров.

...И я устал отчего-то, бросил на время писать, и не потому, что голова не работает, а потому, что скоро израбатывается. Я прожил немного в уездном городишке Щигры у своей тетки, которую увидел в первый раз за всю жизнь. И когда взбаламутил всю ее семью, закрутив помимо своей воли голову своей двоюродной сестрице, когда помог разгрузить угол одной из комнат от ветхозаветной позолоты, смазанной лампадным маслом, то мне дано было почувствовать, что ни родство, ни мое эффектное, но малопонятное звание литератора не служат достаточным основанием к дальнейшему пребыванию в сем богоспасаемом доме.

И я ушел, посвистывая, потому что у меня был еще червонец в кармане, табак в кисете и неизменная трубка во рту.

«И было неважно, что ничего другого не было». В кармане у меня письмо к одному заву в Донбассе и в душе надежда получить хорошее спокойное место рабочего.

Я ненавижу канцелярии, пропитанные плесенью чернильных пятен и запахами пудры стареющей регистраторши. Я не могу работать так же, как работал прошлый год, потому что у меня не совсем еще здорова голова. Я не умею ничего, кроме того, как гоняться и рыскать с отрядом за бандою по горам ли, по тайге ли или как перестроить колонну полка из резервной в походную. Но у меня зато сильные бицепсы и железная хватка гибкой пятерни.

И пусть будет пока так. Я знаю хорошо, что я еще выплыву наружу и что не моя вина в том, что я ухожу в резерв на несколько месяцев.

Мне много и много есть еще о чем писать, и я ни на минуту не перестаю верить «в совместный долгий и славный путь».

Я очень люблю тебя, Сергей, и Наташу — обоих одинаково, но за разное и по-разному. Тебя за то, что ты первый у меня, а главное, более близкий мне, чем кто-либо другой из литературной семьи. Наташу за то, что на нее должна быть похожа моя будущая настоящая жена. И если я долго не писал и опять долго писать не буду, то это ничего не значит.

Подвожу письмо к концу. Писал его не торопясь, спокойно заканчивая, оттачивая фразы и не растягивая — так, как когда-то учил ты.

Душно. Лоб у меня влажный и немного пыльный, и несколько капель пота падает на бумагу. На крыльце стоит мой хозяин, на сеновале которого сегодня я ночую. Из большой медной кружки он пьет холодный грушевый квас. Глотка у меня пересохла, и то удовольствие, с которым и я потяну сейчас ледянисто-сладкую жидкость, отзывающуюся немного прелостью кадочных досок, превосходит даже то, которое дает первый стакан хорошего ленинградского пива.

И кончаю.

Когда, где увидимся? Не знаю и сам. Во всяком случае, не раньше, чем я кончу свою новую повесть. Раньше увидеться со всеми и приехать в Ленинград мне было бы стыдно.

Мне вспоминается почему-то: ...большое зеркало вашей столовой, и в нем высокая темная фигура в кожаной куртке, кожаных перчатках и сросшееся с английской трубкой слегка улыбающееся лицо — но... как это все далеко, далеко.

Крепко, крепко стискиваю ваши руки и желаю всего самого хорошего. Мы еще встретимся.

Ваш Арк. Голиков.

P. S. Привет всем товарищам» [1].

«ПРОФЕССИЯ — ЛИТЕРАТОР, СПЕЦИАЛЬНОСТЬ — ФЕЛЬЕТОНИСТ»

Путь к фельетону

В Пермь поезд пришел вечером. На полутемном перроне с трудом разглядел арзамасского друга Колю Кондратьева, который его встречал. Сели в пролетку, уме-

стив в ногах весь его багаж — вещевой мешок с несколькими книжками «Ковша» и старыми рукописями.

Еще осенью Николай с Шуркой Плеско прислали письмо. От Шурки, правда, была только приписка. Коля ж писал подробнее: работает в крестьянской «Страде», а хотел бы окунуться в «рабочую массу». Сообщал, что «ведет нормальный образ жизни». Жаловался: Пермь городишко мещанский. И он боялся, что ему Пермь тоже придется не по нутру. А выбора не было.

...В Донбасс добирался уже пешком. Ночевал на бахчах у сторожей, с беспризорниками у костра в лесу. Если спрашивали, что он «есть за человек» и «куда путь-дорогу» держит, говорил, что есть он «солдат-красноармеец, вышел в бессрочный после службы», а идет «искать счастья-работы, хоть на земле в заводе, хоть под землей в шахте, лишь бы какая-нибудь, а какая» — все равно...

Нанялся за 27 рублей в месяц вагонщиком в шахту. Дали ему «брезентовые штаны, рубаху, три жестяных номера»: личный, на фонарь и казарму. И спустили на третью отметку в полукилометре от поверхности.

«Сначала было тяжело. Сколько раз, возвращаясь с работы... клял себя за глупую затею, но каждый день в два часа упорно возвращался в шахту, и так полтора месяца».

Стал худым. «Глаза, подведенные угольной пылью, как у женщины из ресторана, и в глазах новый блеск — может быть, от рудничного газа, может быть, просто так, от гордости».

Получив заработанное, двинулся к Артемовску. Пока возил вагонетку, гнал все мысли. Теперь снова надо было решать. Возвращаться с пустыми руками в Ленинград не мог. Говорить каждому: «Понимаешь, опять контузия» — мешала гордость. Купил билет до Москвы.

И тут, в Москве, встретил Шурку Плеско, с которым не виделся пять лет. Шурка закончил КИЖ — Коммунистический институт журналистики. Работал редактором комсомольской газеты «На смену» в Перми, потом заместителем редактора в рабочей пермской «Звезде», и вот недавно, в сентябре, забрали в «Рабоче-крестьянский корреспондент» при «Правде» в Москве. Шурке был двадцать один год.

В кругу арзамасских друзей он считался удачливее всех. А тут у них с Шуркой роли как бы поменялись,

но он, не тая подробностей, поведал про все свои бедствия — и большое Шуркино лицо посветлело. Он изумился и обиделся, а Шурка ласково объяснил: «Надо ехать в Пермь».

Там оставался Кондратьев, имелось жилье, но главное — отличная рабочая восьмиполосная газета. И отличный коллектив.

В Пермь его приглашали и раньше, но тогда был полон грандиозных планов. Еще недавно думал вернуться в Ленинград. Теперь желания были заметно скромней. Снова боялся одиночества — согласился. И Шурка добавил на дорогу...

Коля привез его в двухэтажный каменный дом на улице Луначарского, 42.

Когда он в своей шинели с «разговорами», кепке, гулко топающих сапогах и с давно потухшей трубкой во рту поднялся на второй этаж, их ждали: в прихожей встретила жена Шурки — Галина: высокая, коротко стриженная, улыбающаяся — очень красивая. Шурка о ней рассказывал, но он представлял ее другой.

Галя тоже работала в «Звезде», ждала ребенка, в Москву не ехала потому, что еще пока не было квартиры, а здесь целый этаж, шесть комнат, в которых, кроме, как их звали, Плесок, жили Николай, Лалетин, Костя Камский. Стол был общий — коммуна. Хозяйкой считалась Галя, но закупала и готовила тетя Анечка, старшая Шуркина сестра, крупная, лицом похожая на Шурку, которую помнил по Арзамасу и которая помнила его, потому что дружила с Талкой и знала всю их семью. За столом тетя Анечка сказала, что он стал очень похож на маму. Это его тронуло.

Сидели допоздна. Рассказывал о Шурке, Москве, Ленинграде, своем в основном пешем путешествии по югу, о встречах с Фединым, Слонимским, Семеновым, Зощенко... Он по привычке называл их Костя, Миша, Сережа.

Часа два поспав, хозяева поднялись на работу. Он тоже. Было жаль прерывать вчерашний праздник — первый после вечеров у Семеновых. Но больше всего хотелось работать: не лопатой — за столом. И его привели в редакцию.

Подписывал номер Михаил Павлович Туркин, создатель первой в Перми подпольной большевистской типографии. Однако, обремененный в окружкоме еще и другими

обязанностями, Туркин в повседневную жизнь газеты вникал мало, целиком доверив ее своему заместителю, то есть Шурке, который был, по общему мнению, беспощадно требователен, а вообще, в работе неутомим и талантлив. При Шурке газета стала подлинно рабочей, обрела собственный свой облик. При Шурке (и вокруг Шурки) сложился тот коллектив, который застал он.

Секретарем редакции был высокий, худой, с вытянутым лицом, внешне мало любезный Борис Назаровский, авторитет которого, особенно в редактуре и правке, считался непререкаемым. Приемом сообщений по радио ведал всегда стеснительный Леня Неверов. Из отдела в отдел переходил отзывчивый и мягкий Степа Милицин. «Партийной жизнью» заведовал чуть ли не единственный член партии в редакции Миша Альперович, добряк с рахметовскими принципами. Оформлял газету, только что кончив частную художественную школу, Геннадий Ляхин, а выпускал Савва Гинц.

Редакция состояла из «недоучек», возраст колебался от девятнадцати до двадцати двух, в журналистику почти все пришли случайно.

...В первый тот день в редакции Галя забрала его к себе в рабочий отдел. Оформлять его в штат, как он понял, пока не собирались. Платить же газета могла за все. И он не ленился, правил заметки рабкоров, но выходило не очень здорово. Если писать в газету ему доводилось, то править никогда.

Не зная заводской жизни и заново переписывая корявые заметки, он дополнял их разными деталями, а Галина, читая им выправленное, закусывала губу, чтоб не рассмеяться. Когда ж в комнате никого не оставалось, мягко, чтоб не обидеть, говорила, почему так править нельзя и что́ на самом деле хотел сказать автор. Пустяковое дело оборачивалось целой наукой. Галя знала, что у него опубликована повесть (перед уходом из дома он дал ей посмотреть обе книжки «Ковша»), но она даже в шутку не напомнила ему об этом, когда он «порол» одну заметку за другой. И он испытывал признательность и нежность.

Впрочем, с нежностью к Гале относились все, перенося на нее немалую часть обожания и восхищения Шуркой. И кроме того, любили саму по себе.

Гале с каждым днем становилось труднее работать и двигаться — в редакции следили, чтоб ей не пришлось

лишний раз выйти из комнаты. Ритуальными стали ежевечерние прогулки с ней.

Неизвестно, что думали пермские обыватели, глядя, как чуть не вся редакция по очереди гуляет с Галей под ручку, тем более что хождение под ручку, как и другие разлагающие черты ненавистного буржуазного быта, было отменено в семнадцатом, а в двадцать пятом считалось безошибочным признаком нэпманства.

Он полюбил вечера в коммуне, когда собирались в общей комнате после суматошного дня или в субботу после суматошной недели. Тетя Анечка ставила на стол традиционный субботний пирог, каждый припасал какую-нибудь умопомрачительную историю, и все дружно жалели, что нет Шурки.

В Перми помнили о пятнадцатикилометровом Шуркином заплыве по Каме. Он слышал даже от чужих людей, как двадцатилетний Шурка до женитьбы на Гале, видя, что отсутствие личных забот ведет к усиленному употреблению известного зелья, взял на воспитание из детского дома девочку Нелю. Педант во всем, Шурка проконспектировал груду педагогической литературы, в строго определенные часы приходил домой обедать, затем шел с Нелей на прогулку или садился читать сказки, после чего возвращался на работу.

Теперь Неля жила с Галиной.

Следы бурной Шуркиной фантазии хранила и та общая комната, в которой они собирались. Тут были хорошие обои, но Шурка однажды велел тете Анечке заварить ведро клейстеру и оклеил комнату плакатами.

Извозчик, который привез им однажды дрова, с уважением спросил: «Это у вас красный уголок?.. Ничаво, красиво...»

В общей комнате читал товарищам главы «Дней поражений и побед». А закончив, тем же ровным голосом, не выключаясь из прошлого, много по ассоциации рассказывал — не столько о себе, сколько об увиденном и людях, которые действовали в повести. Он только немного изменил их имена.

В газете вроде освоился. Читая теперь выправленные им заметки, Галя уже не закусывала губу, а сразу же отсылала на машинку и в набор.

Пора было писать и самому. Все ждали: литератор. А выходить на полосу было не с чем. И это его угнетало, пока не напечатал «Угловой дом».

Когда писал, рядом сидела Галя. Устроив ее поудобнее, просил не уходить. Рассказ был им обещан в праздничный номер, а он отвык писать. Нервничал. И готовые «куски» ему нужно было тут же показывать Гале.

«Угловой дом» — это была история шестерых наших бойцов, получивших приказ: «Сдыхайте, но продержитесь три часа...» Среди них оказалась девчонка Галя, которая «была красива» и которая «встретилась... у веранды с пробирающимся к окну юнкером» и разбила ему голову выстрелом из нагана.

Галькой девчонку, конечно, назвал не случайно. И что была у нее «темно-кудрявая огневая головка», как и у той, что сидела рядом, тоже написал не случайно.

А подвигалась работа медленно. Исписав страницу, крест-накрест тут же все перечеркивал и писал снова. «Ты послушай, послушай, так?» Галя покорно откладывала книгу, а он, дочитав и уже не интересуясь ее мнением, в ярости приговаривал: «Нет, не так!» Писал снова. И наконец радостно: «Вот теперь так... Ведь так?» Галя соглашалась: «Так...»

Когда «Угловой дом» стал обретать четкие контуры, увидел: не хватает времени. И, чуть лукавя и в то же время заранее прося прощения у читателей, торопливо писал: «Я мог бы многое рассказать, и мне жаль, что в газетном подвале «Звезды» всего лишь шесть колонок. И потому продолжаю прямо с конца, то есть с той минуты, когда Гальки уже не было, а была только счастливая улыбка, застывшая на мертвых губах ее...»

Задумался, как подписать. В газете сплошь и рядом мелькали роскошные псевдонимы. И скромное. «Арк. Голиков», по его мнению, выглядело бы просто убого. И он поставил: «Гайдар» — в память о том времени, к которому относились события рассказа.

7 ноября 1925 года «Угловой дом» был напечатан в пермской «Звезде».

Этот рассказ и следующий — «Как хоронили Левку» — приняли хорошо. В библиотеке совпартшколы даже устроили их обсуждение. И один паренек посетовал: «Очень много крови в ваших рассказах». — «Много, — согласился он. — Но разве бывали в истории войны или революции без крови?..»

В редакции таких упреков ему не делали, но ждали не рассказов, то есть рассказы, конечно, тоже хорошо, но газета ведь была рабочей.

Написал статью «О Шпагинских мастерских и вообще», которая никого не обрадовала: как действует долбежный станок, подписчики «Звезды» в основном знали. По-настоящему удачным вышел лирический очерк «Кама», но ему очерк никаких перспектив не открыл. Единственное что — здесь появилась лирическая интонация, прямое обращение к реке и к читателю. Возможно, то и другое было даже находкой, но он не знал, что с этими находками делать. Он чувствовал в себе огромный запас душевных сил.

Хотелось за что-то драться, что-то сокрушать, с кем-то говорить язвительно и резко.

Помогла нелепость. Редакции раздали анкеты. Он немало их заполнил за свою жизнь. Были анкеты короткие, были пространные, были деловые, были нелепые. Предложенная сотрудникам редакции относилась к числу последних. Тем не менее до семнадцатого параграфа «ответы из-под пера вылетали, как газетные листы из-под ротационки. Но на семнадцатом перо споткнулось». Там было: «Перечислите ваших родственников и укажите их идеологию».

Тут серьезность всех покинула. Выпускающий Савва Гинц, например, написал, что идеологию своей одиннадцатимесячной дочери ему пока выяснить не удалось, поскольку она еще не разговаривает. Посмеялись. А он подумал, что смех над глупостью должен быть громче. Сел и написал письмо-фельетон «Адмотделу Пермского исполкома».

«Дорогие административные товарищи!.. Терзаемый горькими угрызениями пролетарской совести, я вынужден печатно заявить о причинах, побудивших меня не ответить на 17-й вопрос вашей очередной... анкеты, и если я поставил вместо ответа уклончивую черту, подобную той, которую торопливо проводит бывший полицмейстер перед общеизвестным вопросом: «В чем выражалось ваше горячее участие в Февральской революции?», то отнюдь не оттого, что хотел этим сказать: «Пусть понимают как знают...»

«И хотя, — продолжал он, — к своим гражданским обязанностям я отношусь весьма добросовестно... я, однако, не писал ничего ни про свою бабушку, ни про своего дедушку, ни про троюродную тетку Аделаиду Григорьевну...» Что, например, можно было сказать об идеологии

тетки, которая при каждой встрече «смотрела... многообещающим взглядом», воздействуя на его «мужскую психологию»?

«— Не-е-ет. Довольно... — заканчивал он. — Пусть ребята как хотят, а я за чужую идеологию отвечать не буду...

И писать не стал. И не стану».

Фельетон имел успех. И он задумался: а что, если фельетон, где нужен факт, обыгранный со всех сторон, нужна проницательность и самый неожиданный жизненный опыт, и есть как раз то, что он ищет?..

В руки попало письмо. Организатор по заготовке дров товарищ Князев сообщал, что в рабочих домах наблюдается «отсутствие всякой температуры», потому что неизвестно куда задевался недавно оформленный «дровяной билет», который он, Князев, никак не может получить, потому что помлесничего говорит: билет, «по-видимому, находится у лесничего». Лесничий: «Он... шельмец, куда-то скрылся... Впрочем, зайдите завтра». Назавтра: «В настоящую минуту» билет находится в комхозе. В комхозе: «...Билет только что исчез неизвестно куда».

Описывая в очередном фельетоне «историю о неуловимом билете», вспомнил те времена, когда сам ловил «неуловимых». И «билет» вдруг стал существом одушевленным и обрел «политическое лицо».

«Где сейчас билет, — спрашивал он, — это неизвестно, говорят, что видели его разъезжающим верхом по улицам Перми... Угрозыск, конная милиция — все, все, все — в погоню. Как говорится, мы, которые, Деникина, Колчака и проч. — чтобы не поймали этого бандита...» И вдруг шутливое описание погони за «этим бандитом» оборачивалось вполне серьезным предупреждением: «У него есть, безусловно, сообщники и укрыватели, у меня даже имеются точные сведения, что они здесь, в городе...»

* * *

«...— Алло. Откуда звонят? Из конного резерва?.. Ага, я сейчас... Товарищ Степанов! Снимите со стены мою революционную шашку и мой революционный маузер».

Он снова шел в бой.

«...Я люблю остро отточенную шашку»

Печатался теперь почти каждый день. Не хватало терпения выстраивать темы в очередь. Иногда в одном номере шло сразу два, а то и три материала, которые он для разнообразия подписывал так: «Арк. Г.» или просто «А. Г.»

Просыпаясь, ощущал ту бодрость и наполненность, которые, думал, никогда к нему больше не вернутся. Быстро умывался, завтракал и спешил со всеми в редакцию. И если «заготовочная» папка была пуста, шел к столу с только что полученной почтой, разрывал конверты, тут же подряд читал все письма, пока известие о чьей-либо беде не отдавалось болью в его сердце, оскорбляя его достоинство и унижая его представление о том, какими должны быть отношения между людьми, шутка сказать, на девятом году революции.

Придвигал к себе бумагу, толстую, газетную, в типографии нарезанную. Садился к этому же или соседнему столу. Обмакивал перо. И здесь к нему уже не подходи.

Тем временем в редакции шумно и дымно. Кто-то просит завотделом Альперовича написать о международном положении. Назаровский объясняет уязвленному автору, что статья была сокращена правильно. Паша Варасов, гордость редакции, журналист и спортсмен, вратарь сборной Урала, напоминает футболистам «Звезды» о вечерней тренировке. Студент-внештатник (судебная хроника плюс небольшие очерки) восторженным шепотом рассказывает Коле Кондратьеву о своем покойном двоюродном брате, который мог пить чай, вести беседу и играть в шахматы с партнером, сидевшим в другой комнате.

А он слышит и не слышит. По левую руку от него лежит недокуренная папироса, по правую — раскуренная, но тоже позабытая трубка. И час-полтора для него в мире ничего не существует, кроме фельетона, который сейчас рождается на этих шероховатых листках. Ответственному секретарю Назаровскому и всей редакции известно, что Гайдар пишет. Назаровский присылает спросить, сколько строк оставить под фельетон. А он и сам еще не знает: может, сто, может, триста.

Закончив, ни на кого не глядя, идет к машинистке. Садится верхом на стул и диктует, на ходу дополняя,

правя и ревниво следя, смеется машинистка или нет. Если не смеется, то плохо... но, впрочем, кажется, у нее с утра сегодня было неважное настроение.

Он писал в ту пору о многом: о беспорядках в рабочей столовой, о газетах Колчака, о бестактности врача, о ворах, притаившихся под вывеской государственного магазина, о случайных людях, которые пробрались на административные посты.

...Если завотделом складов некто Петровский держал себя, «как царский полковник», притесняя рабочих, и с этим Петровским «никто и ничего» не мог сделать («Человек, который не любит коммунистов»), то бывший чиновник белой армии, «незаменимый спец» от Центроспирта, действовал провокационнее и тоньше: отказывая в письменной просьбе об авансе, он «словесно разрешал» взять до получки необходимую сумму, «а на другой же день» производил ревизию и арестовывал «виновного». Тот же спец создал «атмосферу взаимного шпионажа и доносительства».

«Есть же все-таки, — писал он, — предел таким издевательствам... Должен же в конце концов кто-либо отвечать за такие безголовые назначения...»

Он расследовал негромкое «дело Лобинского», рабочего с 1907 года, известного «исключительным отношением к работе да страстью ко всевозможным усовершенствованиям и изобретениям». Только одно предложение Лобинского позволило «улучшить плавку» чугуна в мастерских, подняв производительность «с 40 до 90 пудов в час». И такого человека «убрали» по настоянию мастера Соколова, который «бегал с Колчаком», никогда не занимался литейным делом, «хитрый, пронырливый и угодливый», был «почтителен к начальству, придирчив к подчиненным», в рационализации, предложенной Лобинским, видел только желание сесть на его, мастера, место. А уволив Лобинского, Соколов тут же ввел плавку... по способу Лобинского.

Виноват во всем случившемся, отмечал он, «был начальник мастерских Гребенев и вся система подчиненного ему громоздкого аппарата...».

Как фельетонист, он окунулся в «Бумажную стихию», вникал в «Осиновые дела», изучал «Букву закона» и «Политграмоту Уралторга», умилялся «Благими начинаниями», выслушивал сказки «О бедном старике и гордом бухгалтере», «О жадном местхозе, богатом промбанке и бедном ребе», повидал вблизи «Талантливых укротителей» в «Хорошо сшитом фраке», столкнулся с «Азартным уклоном», открыл «Остров вакханалии», читал «Письма с намеками», восхищался «Кизеловской щедростью», «Чудесами в решете», произносил «Надгробное слово» «В тысячу первый раз о том же» по поводу внеочередного «Загиба мозгов» и очередного «Случая массового гипноза».

...Когда писал свои первые фельетоны, был еще наивен. Неуловимый «дровяной билет» рисовался ему в облике бандита, у которого есть сообщники, но бандита, как он знал, можно было изловить и отдать под суд. А виновник многих нелепостей и бед был «неподсуден». Им оказался тот, кого Ленин называл «совбуром» — «советским бюрократом».

Ленин говорил: «Борьба с бюрократизмом потребует десятилетий. Это труднейшая борьба, и всякий, кто будет говорить вам, что мы освободимся сразу от бюрократизма, если примем платформы антибюрократические, будет просто шарлатаном, охочим до хороших слов. Крайности бюрократизма надо исправлять сейчас. Надо ловить эти крайности бюрократизма и исправлять их, не называя дурное хорошим и черное — белым».

И он «ловил» эти крайности.

«Советские чиновники, — писал он, — сердца имеют по большей части мягкие, чувствительные, обидеть человека отказом — никогда!

Советский чиновник обыкновенно предпочитает оставить в человеке надежду».

И описывал историю «бедного студента» Левина, у которого была больна жена и который обошел десяток учреждений. Везде ему сочувствовали, возмущались бюрократизмом — и никто не решился подписать «грошовый рецепт» на получение бесплатного лекарства[1].

А в это время в управлении Кизеловских копей, борясь с тем же бюрократизмом, при найме нескольких тысяч рабочих «не спрашивали ни документов, ни каких-либо других заверенных сведений, а прямо записывали торопливо со слов имена и фамилии» и тут же выдавали аванс. «Стоит ли говорить, — спрашивал он, — что около восьмисот человек, получивших аванс, на работу не явились и... разыскать их оказалось невозможным?..»

Впрочем, аппаратчик и сам бывал в некоторых слу-

чаях не прочь отщипнуть толику. Если ж хватали за руку — прикрывал свои действия... «буквой закона».

«Быть правдивым, — писал он в «Деле бухгалтера Клопина», — это еще не ахти какое положительное качество. Правда, она тоже свое место любит. Правду надо говорить обдуманно и к моменту, а не то чтобы тяп-ляп и бухнул где попало».

Но бухгалтер «бухнул» однажды: «Ах, уважаемый... тов. Ощепков, по моим бухгалтерским расчетам, числится за вами сумма в несколько сот рублей, и по сей ведомости таковая вами безвозвратно растрачена».

«И вот из-за этой-то самой фразы... — продолжал он, — тов. Ощепков усомнился сразу в счетоводных способностях бухгалтера Клопина, и бухгалтер... был признан *несоответствующим занимаемой должности*, снят моментально со службы без выдачи выходных пособий... что вполне, конечно, правильно, ибо... какой, с позволения сказать, он бухгалтер, если растрату в несколько сот рублей не может как-нибудь через отчет провести?..»

«Предприимчивый» хозяйственник был многогранен и многолик: умея уходить от дела, создавал видимость дела, прикрывая свое безделие особо на этот случай приготовленной бумажкой.

Он помнил, как стройотдел комхоза за очень большие деньги, двадцать тысяч, взялся отремонтировать дом: «срочно, добросовестно и в полном соответствии с техническими гребованиями». Но вскоре пошли «грозные донесения»: «только что выстроенная голландская печь осела... доски по настилу идут с гнилью», а когда штукатур «неосторожным движением руки» толкнул потолок, то еле выбрался: потому что «вполне надежный потолок» с эффектным грохотом «полетел вниз», что не помешало заместителю заведующего комхоза в разговоре с ним патетически воскликнуть: «Верите ли вы нам, как государственной организации?»

«На сей вопрос, — отвечал он в фельетоне, — прямо поставленный... я имею мужество ответить столь же прямо: «Не верю...»

Когда в другом доме «начал потрескивать и опускаться потолок», перепуганные обитатели долго «бегали в ПМХ, просили, плакали, доказывали, но ничего не помогло, и жильцы дома, ложась спать, не были уверены в том, что утром проснутся...

Наконец начали навещать дом комиссии... Вероятно,

составлен акт, вероятно, возбудили ходатайство, в общем, когда прокуратура начнет дело о гибели жильцов при должном быть недалеком обвале, то акт этот где-нибудь разыщется, как оправдательный документ... Почему же сейчас, — спрашивал он, — такая мертвая тишина?.. Разве начатое, но еще не оконченное преступление, имя которому непростительная халатность, не наказуется?! Этого не может быть».

В иных же случаях трудно было понять, что хуже: когда бюрократ за дело не берется или когда, наоборот, берется.

Добрянскому сельсовету, например, был послан приказ «о срочной очистке помещения», которое «предназначалось не для... нужд какой-либо в ударном порядке созданной комиссии и даже не для члена президиума, меняющего по желанию жены квартиру, *а для пивной*» («Загиб мозгов»).

Причем другая пивная в Перми была открыта «прямо против городского родильного дома».

«И с тех пор, — писал он, — до поздней ночи там играет музыка, поются хором песни, а также соловьиными трелями переливаются милицейские свистки...» Правда, роженицам это не по душе, «но, как известно, русский человек обоего пола пользы своей часто не понимает... а потому с его поверхностным мнением считаться не всегда следует».

Сверх меры неторопливый во всем, что касалось порученного дела и судьбы других, «совбур» проявлял чудеса оперативности, находчивости и гибкости, если что касалось его самого.

Ревизор тяги Верещагинского депо, дочери которого «зело туго выходили замуж», призвал к себе «одного из приятных джентльменов» и предложил «ему жениться, обещая в виде компенсации за этот непредусмотренный кодексом законов труд» должность помощника машиниста. «Свадьба сыграна», и вот уже другая дочь шлет письмо: «Милый Жорка... Поговори с Костей, чтобы я вышла замуж за тебя, а не за Мамаева... Что касается твоего перевода сюда и прав машиниста, то он (то есть отец) дал мне слово, что все сделает для тебя, как только ты женишься...»

«Хорошо... — иронизировал он, — что у моего начальства дочерей нету, а то вдруг бы ультиматум — женись, Гайдар, либо не только... фельетона, а даже

ни репортерской заметки без подписи. И женишься. Ей-богу. Ну куда пойдешь, кому пожалуешься?.. Плюнешь и женишься...»

Раздумывая над тем, почему многие не на своем месте, видел: не хватает образования, идейной закалки, иным же — элементарной культуры. Он знал человека, имевшего «крупные революционные заслуги» (у него «была четкая, острая мысль»), который избивал во дворе свою шестнадцатилетнюю дочь: «Сколько раз ей говорил. Крутится с парнями, того и гляди до чего-нибудь довертится...»

В другом доме хозяин призвал малолетних сыновей: «Дети, скажите дяде революционное стихотворение».

Дети вымученным, монотонным голосом сказали.

— Они у меня революционеры, — с гордостью сказал отец, — я их воспитываю на основах марксизма и ленинизма, а также в духе ненависти к капитализму... Марат, скажи, в каком году родился Ленин?

Марат ответил.

— Лев, скажи, когда образовалась славная коммунистическая партия?

Но Лев заупрямился: «Не буду. И что при гостях всегда одно и то же».

Отец смутился: «Мы, знаете ли, живем по-коммунистически, вот по вечерам всем семейством читаем вслух марксистскую литературу, дети у меня хорошие ребята, и знаете, у них порядок такой заведен, как только утром встанут, так перво-наперво «Интернационал» поют...»

Стемнело. «Надо зажечь свет», — сказал хозяин... Он повернул выключатель, и в углу перед иконой вспыхнула красная лампочка... Из угла смотрели строгие, чуть-чуть насмешливые глаза Владимира Ильича...»

Когда он вышел на улицу, в «голове чуть-чуть рябило. Кажется, слишком много красного было в этой маленькой квартирке, в двери которой с силой тащили за волосы искусственно создаваемый новый быт» («Оборотная сторона»).

И когда человек с подобным или еще меньшим представлением о том, что такое коммунизм, коммунистический быт, коммунистическое воспитание, занимал руководящую должность, он либо упорно учился, думал и старался наверстать невольно упущенное, либо катился вниз, как «правители» «острова вакханалий».

Только однажды встреча с человеком, который не

оправдал доверия, породила совсем иные мысли и чувства. Это была встреча с Чубуком.

Рабочий кузнечного цеха Чубук был выдвинут своими же товарищами в руководство завода, но быстро опустился, загулял, запил. Ночью вызывал из заводского гаража к ресторану машину. Утром не мог работать: «Да, не здоровится... Ну, конечно, переутомление...» Но рабочие кузнечного цеха видели пьесу «Тарас Бульба» и хорошо запомнили слова старого Тараса: «Я тебя породил — я тебя и убью...»

И вернули Чубука в кузнечный цех.

«Была наковальня и черные от угольной копоти руки.

Были розовые лепестки февральского банта.

Была серая шинель и горячая от расстрелянных обойм винтовка Октября.

Был кожаный щит фырчащей машины и телефонные перезвоны кабинета завода... И... опять наковальня. Круг. Но все это — ничего. Ничего, что ноют по вечерам отвыкшие от молота руки, — привыкнут опять.

— Расскажи, как ты был директором, — добродушно спросит иногда кое-кто из ребят.

— Был, — спокойно отвечает он. — Был, да сплыл... Может, и ты будешь... Я не сумел... Я сорвался... Но нас много... выбирать есть из кого... Эй, берегись...

И все уверенней и уверенней бьет по железу рабочий кузнечного цеха товарищ Чубук. Бьет со спокойной яростью.

— Врешь, перекуем!.. Мы все можем!.. Перекуем, когда надо, и себя.

Держись, сволочь!» («Вверх и вниз»).

Как газетчик, в фельетоне он себя нашел, хотя бывал иногда тороплив, а потому невольно небрежен, но ему всякий раз был гораздо важнее самый факт появления фельетона, нежели его особенные литературные достоинства. Принимаясь за очередную тему, знал: ждут десятки других. Работать над фельетоном несколько дней значило позволить себе роскошь написать один вместо нескольких. Впрочем, конечно, писал и отличные фельетоны, например «Мысли о бюрократизме».

...Впервые пришла пермского масштаба известность. Его узнавали на улице, в кинематографе, в библиотеке, узнавали скорее всего по изогнутой трубке, а трубку — по его портретам-заставкам, которые помещали в заголовках иных его фельетонов: улыбающееся лицо в кеп-

ке (естественно, с трубкой) на фоне пятиконечной звезды.

У него установились искренние отношения с другом-читателем, которого всегда мысленно видел, садясь за рабочий стол, и с которым мог быть откровенен.

«С новым годом и с добрым утром! — шутливо приветствовал он читателя в новогоднем фельетоне. — Выпейте содовой воды и положите компресс на голову. Думайте о персидском шахе, о современной литературе и о чем угодно, только не вспоминайте вчерашний вечер. Оставим вчерашнюю ночь, тем более, что ночь эта в своем роде единственная...»

Он рассказывал читателю о себе: о смешных и не очень смешных событиях своей биографии, прошлой и настоящей. Страницы фельетонов стали своеобразным дневником, куда попадало многое из того, о чем потом никогда уже не писал.

Он вспоминал «дни своей золотой молодости», свою «сизую фуражку второклассника-реалиста» и «белокурую головку Ниночки»-гимназисточки, к которой «воспылал на тринадцатом году если и не небесной, то, во всяком случае, и не земной любовью...» («Альбомные стихи»).

По разным поводам приходили на память то сухопарая училищная немка, «из-за страха перед которой» готов был удрать за сто верст, а то законоучитель отец Иоанн, имевший обыкновение за каждую ошибку наказывать безжалостно.

Он нес в фельетон непосредственные впечатления о фильме с участием Макса Линдера или о только что поставленной опере «Степан Разин», «когда взял просто автор песню «Выплывают расписные», «расписал ее «Интернационалом» — вот тебе и революционная опера...».

А в один прекрасный день поделился с читателем своей радостью: «Недавно женился с регистрацией».

Голубой домик с мезонином

Женился на семнадцатилетней девчонке — комсомолке Рале Соломянской.

В его компании все делалось сообща. Кроме коммуны на Луначарской, существовала вторая — в доме Назаровского. Все «внутренние» проблемы решались коллективно. Одному из товарищей, Игорю, коммунары, например, запретили жениться: признали невесту мещанкой.

Была у них в компании и Раля. За ней ухаживал Шурка Плеско, пока после короткого, сумасшедшего романа не женился на Галине. Дружила Раля со Степой Милициным. С большой нежностью к ней относились Савва Гинц и Борис Назаровский. А с Галиной они были подругами.

Вожатая недавно созданного пионерского отряда (движение только еще возникало и держалось пока на энтузиастах), Раля несла ребятам все, что знала, умела и в суматохе тех дней успевала узнать. Она устраивала игры, походы, костры, факельные шествия. Среди ее пионеров только и было слышно: «Раля сказала, Раля велела, Раля обещала прийти».

Небольшого роста, чуть полная, по моде решительных тех лет небрежно одетая: в каком-то салопе, какой-то кожаной куртке (зимой — в ушанке), манерой говорить, двигаться, смеяться она была похожа на отчаянного мальчишку. Ни минуты не оставалась спокойной. Казалось, энергия, отпущенная на дюжину людей, досталась ей одной. При этом была женственна, улыбалась всегда мягко и загадочно.

Знаком он с ней был мало, но все так быстро решилось, что тянуть и откладывать не имело ни малейшего смысла. И после шумной, веселой, тесной свадьбы с роскошными цветами, которые неизвестно откуда принес печальный и добрый Степа Милицин, Раля и он поселились в голубом домике с мезонином.

Нравилось зимними вечерами смотреть, как горят дрова. Особенно когда уходило пламя и в печи оставалась золотистая груда раскаленных углей. Если в них всмотреться, то можно увидеть таинственные, обрывистые, неприступные горы и древние замки. «Смотри, на эту дорогу сейчас вынесется всадник, — говорил он ей. — Всадник спешит, ему нужно успеть проскочить мост над рекой». Но мост вспыхивал голубым пламенем и обваливался.

Между двумя окнами в комнате стоял маленький письменный стол. Когда работал дома, молча ходил по комнате, по привычке посасывая пустую трубку. Додумав эпизод, присаживался к столу и быстро покрывал лист крупными, словно детскими, строчками. В этой комнате было немало прочитано. Раля доставала и прино-

сила то, что любила сама. И хотя он тоже прочел, иные по многу раз, не одну сотню книг, особенно когда находился в длительном своем отпуске, Раля прочла больше и уверенно руководила им.

Однажды в доме появился фадеевский «Разгром».

Книга потрясла его.

О том, что он сам пережил, командуя отдельным, порой надолго оторванным от других отрядом; о душевном смятении и тревожных раздумьях, когда, кроме тебя, командира, никто ничего не решит, а тебе больше всего на свете хочется спать; о жестокой необходимости никому не показывать своих чувств и своей слабости и о многом другом, что произошло недавно с ним самим, было написано Фадеевым (и он мог это оценить) с той правдивостью, красотой и прочностью, которая присуща только книгам, сработанным надолго.

Ему был понятен и по разделенной ответственности близок Левинсон. Он понимал Левинсона, как бывший командир, а родней казался Метелица, с его спокойной смелостью, любовью к риску и трагической судьбой: ведь он и сам не раз был на волосок от того, что случилось в разведке с Метелицей.

Последние же слова романа о том, что «нужно было жить и исполнять свои обязанности», стали для него на долгие годы девизом. Он часто вспоминал их потом, при разных поворотах своей судьбы.

Возвращаясь же к мыслям о Рале, думал о том, что в повседневных делах, несмотря на свою молодость, она в самом деле была умудренней и практичней. Вела себя с ним, как старшая, и была убеждена, что может относиться к нему покровительственно. Он про себя улыбался... и не мешал.

В суматохе обоюдных дел встречались дома только вечером, болтали до глубокой ночи, как она любила говорить, «обо всем на свете и по поводу личного». Летом же уходили на Каму. Подолгу сидели и молчали. Каждый о своем — и об одном и том же.

Вообще, сколько можно, бывали всюду вместе. Однажды Раля привела его в клуб имени Энгельса. Здесь собралось по какому-то поводу много ребят из депо Пермь-два, с гвоздевого и сепараторного заводов. Пришли и Ралины пионеры, возможно, заочно знакомые с ним по рассказам и фельетонам в «Звезде».

Он долго сидел, никем не замеченный. Слушал выступления. Потом пригласили на сцену его. Вышел, постоял, улыбнулся, развел руками:

— У вас тут очень хорошие ораторы... они отлично, главное же, громко говорили... а я не оратор.

— Ничего, — крикнули из зала, — не робей, товарищ!

— Ну что ж... есть не робеть! Если хотите, я прочту вам из повести, которую вы еще не знаете?..

И стал читать отрывок из «РВС», то место, где Жиган с запиской от раненого Сергеева мчится к красным звать на помощь.

Зал радостно, громко смеялся, слушая, как маленький Жиган поссорил двух бандитских атаманов.

Он время от времени поглядывал на зал и на Ралю. Она сидела неподалеку, рядом с заимскими пионерами, непривычно притихшая, и тоже смотрела на зал. Ей очень хотелось, чтобы «РВС» понравился.

И когда ребята на цыпочках, поодиночке, начали перебираться ближе к сцене, усаживаясь прямо на полу, Раля вдруг тоже поудобней уселась и улыбнулась.

Успокоилась.

Потом шли домой. И какой-то мальчуган, нагнав их на Петропавловской улице, запыхавшись, спросил:

— Товарищ Гайдар! Скажите, успеет Жиган привести помощь или не успеет?

— А ты как считаешь?

— Должен успеть!

— Верно. И я думаю, что должен.

— А вы разве не знаете?

— Знаю... Но всякое ведь может случиться: война...

Если приходил домой раньше, чем она, раскладывал свои бумаги, начинал работать, а сам ждал...

Раздавался стук в дверь. Он грозно спрашивал:

— Кто там?!

— Это я...

Или Раля уже дома. А он идет после получки и может принести домой все, что попадется на глаза: от автоматического счетчика, на котором ему нечего считать, до резинового, с красной и голубой полосой, мячика, которым тогда еще некому было играть.

И на удивленный вопрос: «Зачем вся эта дребедень, если нужно купить тебе костюм и шубу?» — неизменно отвечал, что, во-первых, шуба и костюм стоят слишком дорого, и сейчас их купить он все равно не может, во-вторых, купит, когда будут деньги, ну, а в-третьих, если

что-то есть в кармане, то надо же на что-нибудь истратить?..

Впрочем, изредка тратил с толком.

В ночь под Новый год Галя Плеско родила Зорьку. Шурка не смог приехать. Гале, надо полагать, было печально и одиноко, и он вместе со всей редакцией сделал Гале грандиозный подарок: роскошное детское приданое.

Шаг к Ленинграду

В декабре двадцать пятого повсюду готовились отметить годовщину первой русской революции. Республика чествовала ветеранов, воздавая должное тем, кто первым поднялся с оружием против царизма.

Все чаще в те дни вспоминали уральцы Александра Лбова, именем которого в Перми была даже названа улица.

Старики из Мотовилихи (иные только казались стариками: кому больше, кому меньше сорока) рассказывали об Александре Михайловиче (как уважительно его называли) удивительные вещи.

Рабочий шрапнельного цеха Лбов, когда начались волнения, действуя по воле рабочих, вывез на тачке с завода ненавистного им инженера. Совершив с товарищами набег на канцелярию какой-то фабрики, Лбов раздобыл десятка полтора револьверов. Недалеко от своего дома, в Томиловке, построил баррикаду. А после поражения ушел с одним своим родственником в лес. К ним стали стекаться люди. Образовался отряд, который просуществовал около трех лет.

Лбов не пил, не курил. Избегал жестокостей. Когда один из его партизан во время налета на винную лавку (нужны были деньги) убил целовальника, Лбов тут же расстрелял убийцу.

Не все в движении, поднятом Лбовым, было хорошо. В его отряде долгое время действовала позже разоблаченная осведомительница Александра Пономарева. Среди партизан было немало уголовников. Свою жизнь они в самом деле ставили «ни во что», но и чужую ценили не дороже. И под видом экспроприаций совершались обыкновенные грабежи.

Судьба Александра Лбова его заинтриговала. Воображению рисовалась сильная, немного мрачная фигура уральского Пугачева. Манила возможность написать авантюрную повесть в духе Степняка-Кравчинского, который поразил его еще в детстве: «Там героями были те, которых ловила полиция».

Сказал о своем намерении в редакции. Его сразу поддержали. Торжества заново пробудили интерес и к тому времени, и к самой личности Лбова. Повесть пришлась бы как нельзя кстати и, возможно, помогла бы поднять тираж, поскольку финансовое положение газеты далеко не блестяще. Так что, понял он, если браться, то делать это нужно не откладывая.

Не довольствуясь устными легендами и рассказами, обратился к материалам по лбовщине. Судебных дел в Перми не оказалось: процесс над Лбовым и его товарищами проходил в Казани. Зато в Пермском госархиве сохранились дела жандармского управления, охранного отделения полиции и канцелярии губернатора. А в комиссии по истории партии и Октябрьской революции окружного комитета партии имелись воспоминания очевидцев и участников.

После трехнедельного беглого (без отрыва от газеты, где обычным чередом печатались его рассказы и фельетоны) знакомства с папками донесений и рапортов он и не мог нарисовать законченной картины лбовщины.

«Моя задача, — писал он позже в предисловии, — ...дать для читателей «Звезды» крепко сколоченную, легко читаемую сюжетную повесть и дать почувствовать эпоху и обстановку, в которой работал Лбов. Все главнейшие факты, отмеченные в повести, — верны, но, конечно, обработаны в соответствии с требованиями фабулы».

Он только приступил, а газета (конец года!) уже поместила анонс:

> Читайте «Звезду».
>
> В январе «Звезда» начнет печатать повесть Гайдара «Жизнь ни во что» («Лбовщина»).

«Жизнь ни во что» была задумана им как мрачная романтическая трагедия:

«Эта повесть, — говорилось в посвящении, — памяти Александра Лбова, человека, не знающего дороги в новое, но ненавидящего старое, недисциплинированного, невыдержанного, но смелого и гордого бунтовщика, вложивше-

го всю ненависть в холодное дуло своего бессменного маузера, перед которым в течение долгого времени трепетали сторожевые собаки самодержавия...

Памяти тех, которые нападали с криком, умирали со смехом и во время неравных, безрассудно смелых схваток ставили собственную ЖИЗНЬ НИ ВО ЧТО...»

У повести еще не было конца. Он успел дойти едва до половины и не вполне пока представлял, как сомкнутся и свяжутся сюжетные линии, а читатели уже знали, что «Лбовщина» начнет печататься с 10 января. И он отдал художнику Ляхину машинописные страницы первых глав.

Близилось десятое. До конца работы было по-прежнему далеко. Переносить же начало публикации несолидно. И в редакции решили печатать «Лбовщину» через день.

...Повесть приняли сразу. На собрании рабкоров, созванном в конце января, один из участников говорил: «Он сам пережил эту лбовщину и отчасти знаком с ней. Повесть может не удовлетворить только тем, что печатается не ежедневно. Если бы ее выпустить отдельной книжкой, она бы разошлась хорошо...»

Был счастлив. Раньше его знали в Перми как фельетониста. Теперь еще и как писателя. И хотя достоинства «Лбовщины», возможно, ниже, чем у «РВС», — это ничего не значит.

Главное, что обещание, которое он дал в последнем письме к Сергею Семенову о том, что пусть он по болезни уходит «в резерв на несколько месяцев», но он еще выплывет наружу и тогда вернется в Ленинград, оказалось не пустым: «Лбовщина» приближала его к Ленинграду...

Радость длилась недолго. Некая дама, которая возглавляла местную комиссию по истории партии и Октябрьской революции, обнаружив в тексте повести несуществовавших действующих лиц, а также, с ее точки зрения, ошибочную трактовку событий, регулярно появлялась в редакции с протестами.

С ней вели успокоительные беседы, но она никак не могла понять разницу между документом и художественной повестью на основе документов.

Дело кончилось тем, что, не дописав «Лбовщины», он заболел. Повесть продолжала печататься из номера в номер. Вместо последних глав имелся только план. А он лежал дома, слушая изнурительный перестук молоточков в висках...

К счастью, приступ длился недолго. И когда он пришел в себя — попросил прислать машинистку. Ему прислали (вместе с машинкой!), и он диктовал набело очередную главу.

Диктовка и треск машинки, напоминавший недавний перестук молоточков, выматывали. Думал: «Завтра диктовать уже не смогу». Но приходило завтра. В голове за ночь складывался новый, размером на газетный подвал «кусок» (что-то в нем работало как бы само по себе). И диктовал снова...

В том же году «Пермкнига» выпустила «Лбовщину» отдельным изданием. И журнал «Книгоноша» писал, что «Гайдар-Голиков обнаружил достаточно умения и революционного пафоса в своей повести... Даже сама форма обычного авантюрного повествования не вызовет возражения... Читается вещь легко и увлекательно... Язык повести образен, интересен и почти лишен ляпсусов. После «В дни поражений и побед» «Жизнь ни во что» большая победа Гайдара-Голикова».

Он и сам видел, что «Лбовщина» им написана увереннй и смелей. Он уже не мучился, вспоминая подробности. Он брал факт, и тот под его пером подробностями обрастал.

Два принца инкогнито

Весна двадцать шестого ознаменовалась редкой полосой литературных удач: кроме только что напечатанной «Лбовщины», в Москве выходили «В дни поражений и побед» и детский вариант «РВС». Засватанная невеста всегда хороша — и собственная его редакция предложила напечатать «РВС», тоже с продолжением, теперь уже на страницах газеты «Звезда».

Ни одного экземпляра журнала с «РВС» у него не оставалось. Зато сохранился черновик, неряшливый, за время путешествия от Ленинграда до Перми изрядно потрепанный, однако более полный, чем журнальный текст, что позволяло назвать бывший рассказ повестью.

Получив за четыре вещи сразу, решил, что едет за границу. Во Францию.

Две недели для практики «изъяснялся со всеми, вплоть до редакционной курьерши, на некоем языке, имеющем,

вероятно, весьма смутное сходство с языком обитателей Франции».

На третью получил отказ. Не очень огорчился, потому что, кроме Франции, существовала еще и Средняя Азия, в которой тоже, между прочим, не был. И позвал с собою Колю Кондратьева. Тот, конечно, согласился.

За малостью стажа отпуск ему еще не полагался. И он уволился. Глядя на него, уволился и Николай, потеряв кое-что в окладе. Ему же терять было нечего. В штат его приняли только в феврале с окладом «по первому разряду» в одиннадцать рублей 75 копеек, что было раз в десять меньше того, что получал, скажем, ответственный секретарь. Жалованье его носило скорее символический характер, позволяя считаться штатным сотрудником. Получив гонорар, он имел возможность месяц-другой обойтись без своего «перворазрядного» оклада.

В путешествие собирались обстоятельно и неторопливо. Как только появились деньги, обзавелся роскошным костюмом: черная бархатная куртка, полувоенные бриджи, особого — на заказ — покроя сапоги-ботфорты (которым бы очень пошли шпоры) и неизменная трубка.

Для Средней Азии, конечно, такое облачение не годилось. Нужно было что-нибудь изящное и легкое, но не броское — как у принцев инкогнито.

С тети Аничкиной помощью были сшиты два белых костюма, в магазинах куплены белые туфли и подобающий случаю чемодан. Не хватало лишь пробковых шлемов, но достать их в Перми не было возможности. Ограничились белыми шляпами, приобретенными позже.

Раля с ними не поехала, и в Среднюю Азию отправились вдвоем.

Они пересекли всю Россию. Деньги тратили, не считая, по каковой причине в одном из первых же восточных городов нанесли визит в редакцию «Степной правды» и, так подрабатывая, добрались до Самарканда.

Тут им напечататься не удалось... Во всех карманах отыскали тридцать три копейки, но, как в хорошем рыцарском романе, подвернулось благодетельное приключение.

Сверху, с высокого зеленого обрыва донесся резкий крик. Затрещали кусты, и на лужайку к их с Николаем ногам упал молодой узбек. На груди его расплывалось темное пятно — след чьего-то ножа.

«Это он, сволочь... надо скорей!» — произнес молодой узбек на плохом русском языке.

Через пять минут он уже мчался по лабиринту глухих улиц, сжимая в руке записку. А через тридцать стучал в ворота запрятанного за высокими глиняными стенами дома.

В записке раненый предупреждал сестру, что жених, от которого она убежала, ударил его ножом и чтобы сестра никого не впускала в дом до его, брата, возвращения.

Так они с Кондратьевым оказались в самом центре семейной драмы, где новый быт опрокидывал старые обычаи, и в отличном доме.

Отвоеванная у нелюбимого жениха невеста замечательно готовила. У девушки «были чудные глаза с тяжелыми, точно накрашенными, ресницами». Она много улыбалась, мало говорила и пела восточные песни. Песни ему не нравились, Николаю, кажется, тоже, и они оба отдавали предпочтение плову...

Звали девушку Шахарзиада. Жизнь в доме Шахарзиады стала настоящей восточной сказкой, но длилась сказка всего три дня. Шахарзиада уехала с братом — он позвал старьевщика и продал ему весь свой чемодан.

С трудом добрались до Полторацка (как тогда назывался Ашхабад), кое-что заработали в «Туркменской искре». И хотя платили им вполне сносно (журналисты почти из центра!), денег едва хватило на погашение мгновенно возникших долгов и самые насущные нужды.

Поняли: в чужой газете на гонораре не проживешь. Местной жизни «принцы» не знали. Каждый день писать не могли. Их брали в грузчики, но нигде, кроме редакций, не платили вперед.

А как дожить до получки?..

Ночевали в садах. Случалось, там их находил и забирал в милицию патруль. Отпускали же, несмотря на документы, лишь к утру, когда появлялось начальство, которое недоумевало: «Почему они вроде как рабкоры, а не стыдятся ночевать в таких местах?»

Отвечали: «...Потому, что это нужно... для впечатлений. В гостинице что? В гостинице все одно и то же. А тут можно наткнуться на что-нибудь интересное».

«Натыкались» чаще, нежели хотели.

В Тифлисе, например, наличного капитала у них оставалось 27 копеек, впереди — двести пятьдесят верст

пешего пути через перевал, и «ничего другого больше не было».

Они устроились на вокзале, на полу третьего класса, но их разбудил агент железнодорожной ЧК: «Эй, вы, проваливайте!..» И показал на дверь.

Он вынул документ, в котором была обозначена его профессия, но агента заинтересовал толстый свернутый лист в его записной книжке:

— Что это?

— Это договор, — ответил он, — ...это я написал книгу, продал ее и заключил на нее авторский договор...

— А-а, — презрительно протянул агент. — Значит, вы книжный торговец! Нет, нельзя... оставьте помещение...

«Все я знаю, что скажут... — писал он об этом случае в «Фельетоне по поводу», — и все я понимаю сам... Не понимаю только одного: откуда у наших товарищей такая повелительность жеста и такая властность тона и рук?..»

...Положение их с Николаем становилось все бедственнее. Из Полторацка, когда дела еще были вполне сносны, он отправил в Пермь Борису Назаровскому письмо.

«Письмо это пишется, — сообщал он, — на лужайке сквера, где мы валяемся и греемся на солнышке. Настроение у нас превосходное. Ведем бродячий образ жизни, много впечатлений и приключений. В попадающихся городах останавливаемся по причине любознательности, а также и отсутствия денег. Заходим в редакцию, раз-два — и червонец в кармане. Печатают меня весьма охотно, за самый малюсенький фельетон, не торгуясь, дают десятку. «Правда Востока» взяла сразу шесть штук...

Дня через три будут деньги, и мы дальше к Каспийскому морю...»

Письмо было с подтекстом: не сомневался, что Борис не удержится, прочтет всей редакции. Кроме того, еще задолго до прибытия в Тифлис, где им был оказан особенно «теплый» прием, им все уже к черту надоело, хотели обратно в Пермь и в том же письме попросились обратно в «Звезду», рассчитывая на аванс, который позволил бы им вернуться.

Никакого ответа не последовало, как не последовало его и на отправленную через вполне приличный срок телеграмму.

В очередном письме он еще пробовал показать бравый вид, хотя это не особенно удалось.

«Живем, — сообщал Назаровскому, — мы хорошо, но стали настоящими бродягами. Ночуем когда на вокзале, когда в разваленном доме, а когда и просто на улице... Колька скулит и мечтает о Перми, я бы тоже приехал. Будем ждать ответа еще три дня, если не ответите (а стыдно все-таки), то уедем на Кавказ...»

Будь в Перми Шурка Плеско, не ждали бы денег ни дня. А так пришлось ехать на Кавказ.

В Красноводском порту нанялись грузчиками. Две долгие недели таскали мешки с солью и сушеной рыбой, бочонки с прогорклым маслом и тюки прессованного сена, зарабатывали по рублю двадцать в день. Из этих денег нужно было сколотить еще и на билет, чтобы переехать море, «ибо больше от Красноводска никуда пути нет».

Работали и в трюме. Обливались потом. Мокрая грудь казалась клейкой от мучной пыли, «но отдыхать было некогда».

— Я не могу больше! — пересохшими губами бормотал Николай...

— Ничего, держись, — облизывая губы, отвечал он. — Крепись, Колька, еще день-два.

Возвращаясь домой, «в крохотную комнатушку на окраине города, возле подошвы унылой горы», много думали-гадали, почему все же не пришел ответ, не зная, что в редакции глубокомысленно решили: «Уехали, не считаясь с родной газетой, пусть возвращаются как знают, потом будут лучше ценить постоянную работу». Впрочем, эта «воспитательная» мера относилась преимущественно к нему, поскольку в отношении к Николаю приговор был еще суровее: «Кондратьев... не... особенно нужен...»

Николая, правда, за некоторые странности в редакции не все любили, но сводить личные счеты с ними обоими, возможно, уместнее было бы после их возвращения в Пермь...

С Кондратьевым его сближало то, что оба они были арзамасцами, учились в детстве в одной школе, служили на Тамбовщине в одном полку, и ему, командиру, никогда за Николая не приходилось краснеть.

В Перми Кондратьев поначалу был для него единственным близким человеком, заботливым и внимательным, хотя собственная судьба Николая складывалась не особенно удачно.

В путешествии они много спорили по поводу увиденного, а под конец, устав от невзгод и в сотый раз поспорив, добирались в Пермь уже порознь.

Он из Баку попал в Астрахань, снова грузил, ночевал в саду под эстрадным помостом, пока не заработал на билет. В Пермь пароход пришел утром, но, чтобы сойти на берег, пришлось дожидаться темноты. Его белый костюм «принца инкогнито» был изорван настолько, что в некоторых местах лохмотья пришлось пришить к нижнему белью.

В редакции ему жали руки. Он снова со всеми разговаривал. Он не умел ничего прощать только самому себе.

В повести «Всадники неприступных гор», опубликованной в двадцать седьмом, рассказал о многом, что произошло в этом путешествии с Николаем и с ним.

Хотя они оба действовали в книге под своими именами, что-то и себе и Николаю прибавил, а что-то изменил и даже ввел любовную интригу. Гайдар в повести любил Риту, которая отправилась с ними в путешествие. В Риту был давно влюблен и Николай. И однажды, когда Гайдар, едва не погибнув, предупредил любимую девушку и друга об опасности, дав несколько выстрелов (поблизости появилась банда), Рита и Николай, заподозрив его в трусости, уехали без него... Раненый Гайдар попал в больницу. В тяжелом больном сне ему привиделось, что он в плену у хевсуров, но Гайдар не струсил и во сне, помогая отважному Руму, влюбленному в сестру жестокого Уллы...

Прообразом Риты послужила знакомая «девушка из кабака», прелестное и легкомысленное создание с рассыпающимися до плеч волосами, известное всей Перми исполнением цыганского танца с бубном. А в основу глав о жестокой борьбе молодого Рума с Уллой лег тот самый случай в Самарканде, когда брат увез сестру от ненавистного жениха.

...Всю жизнь потом не любил «Всадники неприступных гор», считая повесть вычурной. Не нравилось, что главным героем, к тому же в столь романтическом свете, вывел себя.

Он продолжал книгой спор с Николаем. Разногласия и ссора давно забылись, а написанная под их впечатлением книга осталась...

Бунт фельетонных героев

Вернулся к редакционным будням. За месяц написал почти двадцать фельетонов (сказывалась тоска по работе и отсутствие денег), но скоро обнаружил, что почти не отдохнул. Быстро очень уставал. От пустяков резко портилось настроение. Пробовал лечиться «домашними средствами». Чем дальше, тем сильнее, пока товарищи не отправили его в маленькую деревушку близ станции Ляды. Он ходил на рыбалку, окунался в деревянную колоду, поставленную в ключе (с температурой четыре градуса круглый год). И уже через несколько дней почувствовал себя лучше. Снова обрел внутренний покой, но длился покой недолго...

В Москве напечатали книжку: обложка красная, буквы «РВС» большие, желтые, и белым пламенем под ними взрывается темный броневик. Жадно пролистал страницы — и своих не узнал. Попа Перламутрия редактор превратил («Религия — опиум для народа!») в фельдшера, а в романтических местах, дабы читатель не оставался в волнующем неведении, та же рука вписала кучу всеобъясняющих и ненужных слов.

«...Вчера я увидел свою книгу «РВС» — повесть для юношества... — писал он в «Правду». — Эту книгу теперь я своей назвать не могу и не хочу. Она «дополнена» чьими-то отсебятинами, вставленными нравоучениями, и теперь в ней больше всего той самой «сопливой сусальности», полное отсутствие которой так восхваляли при приеме повести госиздатовские рецензенты. Слащавость, подделывание под пионера и фальшь проглядывают на каждой ее странице. «Обработанная» таким образом книга — насмешка над детской литературой и издевательство над автором.

Арк. Голиков-Гайдар».

В «Правде» письмо напечатали. Книга же осталась испорченной: то была его первая встреча «со спецификой» детской литературы.

Тем временем должность фельетониста делалась для него все тяжелее. Это особенно ощущалось после пребывания в «Лядской обители».

«Хорошо,— писал он,— отдыхать на лоне природы. Тут тебе и птички, и коровки, и прочие приятные насекомые.

Ходишь себе по лесу, аки святой пустынник, и собираешь плоды земные... И тяжело, конечно, после этакого приятного времяпрепровождения вернуться в каменный город... И еще тяжелей сесть за стол, раскрыть папку кандидатов на очередной фельетон...» («Расчеты инспектора Балабанова»).

Каждый его фельетон был копаньем в грязи. Каждый случай административной глупости, бюрократического равнодушия и ведомственного хамства его уже не задевал, не ударял, а ранил. Если кто-то обворовывал государство, для него это было хуже, чем если б обворовали его.

И он без оглядки обрушивался на «активных и пассивных» бюрократов, кои «часто уподобляются собакам на сене и не способны ни на малейшую жертву во имя здравого смысла, если таковая не предусмотрена присланным свыше циркуляром».

И «после каждого очередного фельетона в редакцию являлся тот или иной гражданин и, направляясь к столу секретаря, спрашивал неизменно: «Где я могу видеть человека, написавшего вчера бездарный пасквиль на меня?..»

И всякий раз холод внутри. Всякий раз молниеносное перелистывание в памяти всех собранных бумаг, свидетельств и фактов. Всякий раз необходимость встать из-за стола и вежливо ответить, что «автор этого во всех отношениях неприятного фельетона» есть он, причем «иногда чисто литературное любопытство» заставляло его поинтересоваться, в чем же именно заключается «эта бездарность». Ему уклончиво объясняли:

«До сегодняшнего дня я читал ваши заметки с интересом, но сегодня вы опубликовали недопустимый пасквиль, ибо, прежде чем писать, нужно смотреть, о ком пишешь, а я как-никак... советский работник, подрывать мой авторитет — это значит подрывать авторитет Советской власти, а... это контрреволюционно, а главное, наказуется соответствующими статьями Уголовного кодекса...»

И он отвечал в фельетоне «От поезда до поезда»:

«Авторитетный совработник нам нужен, слов нет. Но этот авторитет должен вырабатываться вдумчивым, а не казенным отношением к своему делу и честным, преданным революции трудом, а не замалчиванием и подкармливанием часто расхлябанной действительности.

И вот почему я люблю остро отточенную шашку, выкованную из гибкой стали и чеканной строчки. Вот почему нам наплевать на их истерические выкрики о «подрыве авторитета», ибо наша страна строится не на фундаменте из авторитетов отдельных личностей, а на цементе, который крепко связывает наше революционное стремление с нашим будничным строительством».

Но разоблаченные «авторитеты» меньше всего думали о «революционных стремлениях». Им не было дела до «будничного строительства». И чаще всего уже нечего было терять. И они объявляли войну газете и фельетонисту. Один такой случай стоил ему непоправимо дорого.

...Узнал о необыкновенном совместительстве следователя Филатова. Сначала даже не поверил. Потом убедился и написал фельетон-«киноэскиз» «Шумит ночной Марсель» в трех частях.

Часть первая

В кабинете следователя 14-го участка напряженная тишина. Спокойно и строго смотрят со стен портреты вождей. За столом следователь, а перед ним, хмуро опустивши голову, обвиняемый. Обвиняемый молчит или отвечает коротко и односложно... Но следователь хитер и опытен... Он неторопливо достает портсигар, закуривает сам и предлагает закурить обвиняемому ту самую коварную «следовательскую» папиросу, которая неизбежно приводит к чистосердечному раскаянию...

Дальше — трогательная картина: обвиняемый сморкается и, закуривая, говорит прерывающимся от волнения... голосом:

«Дивствительно, товарищ судейный начальник... выпимши был... ну и саданул его по башке пивной литрой...»

На лице следователя спокойная, снисходительная улыбка. Он... записывает показания подсудимого, на минуту задумывается, какую брать меру пресечения, потом останавливается на «подписке о невыезде»...

. . . .

Часть третья

...За столом заплеванного кабака-ресторана, в дымном, пьяном угаре «Восторга» сидит тот же человек, которого утром сегодня допрашивали. Но здесь он дома. Повели-

тельный жест... «Эй, человек!.. Лети сюда моментальным образом. Почему музыка не играет?!»

— Сейчас... сию-с минуту... Не извольте... Музыкант передыхает малость, только что три фокса подряд отжарил, окромя того, днем он судебным следователем состоять изволил, тов. Филатов, может, слыхали-с?

(Центральное эффектное место кинокартины, узнают друг друга.)

— Ах он с... с... да это никак тот самый, что из меня сегодня на допросе всю душу вымотал. Эй, ты, катай дальше, судейская твоя душа, изобрази-ка мне «Цыганочку»!.. Н-нет, постой, лучше... Филаша, выпьем... Пей, дурак, когда предлагают, и нечего кочевряжиться, раз музыкантом зачислился, умей публике потрафлять. Я на тебя, миляга, за утреннее не сержусь, сам понимаю — служба.

Будет завтра утром лицо Филатова строгое и спокойное. Сядет завтра утром он опять в кресле своего кабинета. Будет смотреть пытливым взглядом на допрашиваемого:

«Признаете ли вы себя виновным?»

Нелепость поведения судебного следователя, экстравагантное музицирование которого давно уже не составляло в городе секрета, было доведено в фельетоне до совершеннейшего абсурда. Кое-кто намекал: Филатов дела так не оставит. Намеков всяких он слышал немало. Притерпелся. Тем более что чувствовал за собой крепкий тыл: газету.

Время шло. Филатов не подавал признаков жизни. «Шумит ночной Марсель» заслонили другие фельетоны и другие заботы, пока через месяц с лишним его не пригласили для «простых объяснений... со старшим милиционером 1-го участка, человеком весьма приятным в обхождении и обладающим недюжинными литературно-протокольными способностями...»

Узнал: Филатов подал в суд, обвиняя его в клевете и оскорблении личности.

И когда он в ноябре «в самом радужном состоянии» вернулся из Москвы, ему сказали в редакции: тут, между прочим, на его счет «повестка имеется». Он изумился:

«Какая такая может быть мне повестка, ежели Комтресту у меня сполна заплачено? Денежных переводов также не предвидится. Разве только если из Москвы аванс в счет будущего творчества выслали, но... это было бы уж слишком благородно».

Ему ответили: «Нет... дорогой товарищ. Повестка вам вовсе не по такому приятному поводу... А вызывают вас в Пролетарский суд 2-го участка на 13-е число сего месяца на предмет осуждения вас по 173 и по 175 статье Уголовного кодекса».

«И от этих слов, — признавался в фельетоне «Очередная повестка», — потемнело у меня в глазах, и если не лишился я чувств, то только по причине принадлежности к мужскому полу, а не наоборот.

— Товарищи, — говорю я, — за что же судить со строгой изоляцией, да еще по двум параграфам, безвинного человека. Я, может, и не виноват даже ни в чем...

— Врешь, — говорят мне, — не симулируй, пожалуйста... ибо они (уголовные параграфы) означают клевету через посредство печати против уважаемых личностей, и сколько раз тебя об этом самом предупреждали...»

Значит, пока он путешествовал, «уважаемая личность» времени зря не теряла.

Вмиг от радушного настроения ничего не осталось. Все же сел за стол, открыл папку, где хранились материалы, увидел письмо на свое имя с разными фельетонными подробностями. И дружескую приписку, сделанную уже в редакции: «Тов. Гайдар, пишите осторожней и без лишних фраз, потому что человек этот самолюбивый и вряд ли заметку стерпит».

Сделалось тоскливо. Взгрустнулось по тем далеким временам, когда все было ясно: если бой — сел на коня и в атаку. Или рванул с пояса и запустил гранату. Или дал на полную ленту очередь из пулемета. И никаких сложностей: по эту сторону окопа свои. По ту — враги. Чем меньше врагов, тем лучше своим. Кончил бой — вари кашу.

А тут иной раз если еще и не чистая контра, то все равно сукин сын: людям от него беда и хозяйству убыток. А шарахнешь фельетон — рикошетом в тебя ж.

И мало ему филатовской истории, за которую тянут в суд, он уже влезает в новую. А чем все может кончиться, если даже суд его оправдает, знал хорошо.

Одно время он часто бывал в пермской совпартшколе, сидел на репетициях «живой газеты» и даже писал для нее, пока знакомый паренек не принес ему несколько альбомов совпартшкольцев:

— Прочитайте, — попросил паренек, — и скажите, то это или не то, что было в ваше дореволюционное время...

Прочитал:

Ты любила до пяти,
Я же до пятнадцати.
Ты любила целоваться
Раз по девятнадцати...

Увидел: то. И, с улыбкой поведав в фельетоне «Альбомные стихи» о «днях... золотой молодости, безвозвратно исчезнувших в глубине умчавшихся времен», когда он даже пострадал от своей неспособности к альбомной поэзии, писал:

«Милые товарищи совпартшкольцы и комсомольцы! Я бывал у вас на вечерах, которые так непохожи на прежние чинные ученические вечеринки.

Я бывал на ваших собраниях, когда четкими, горячими словами вы искренне говорили о необходимости строить новый быт... Почему же такая разница и такое несоответствие между красивыми фразами о перестройке быта и затхлыми, затасканными строчками специфически «альбомных стихов», переходящих без изменения из поколения в поколение?»

Это был дружеский вопрос и дружеское предупреждение. Но когда вечером зашел в совпартшколу, на него набросились с упреками. Один преподаватель назвал его человеком, «подделывающимся под коммунистов», а другой поинтересовался, сколько ему заплатили за фельетон.

В редакции возмутились, однако новый редактор, Михаил Иванов, отказался выступить от имени газеты. Тогда протест в «Звезде» появился за несколькими подписями.

«...Считая такую выходку со стороны работников совпартшколы безобразной, мы, сотрудники «Звезды», товарищи Гайдара, заявляем свой протест и требуем, чтобы товарищи Тотмаков и Михальчук извинились перед ним...»

«Очень сожалеем, — ответили совпартшкольцы, — что газетные работники поторопились потребовать от нас извинения, так как, в сущности говоря, нам не в чем извиняться перед Гайдаром».

Это походило на новое оскорбление — он попал в больницу.

...И теперь, когда, с одной стороны, его вызывали на 13-е число в суд, а с другой — предупреждали: «осторожней и без лишних фраз» в новом фельетоне, даже растерялся.

Конечно, ничем, кроме нервотрепки, суд, по всей видимости, ему не угрожал, но это значило, что каждый фельетон теперь будет распахивать перед ним двери больницы.

«Нет... — подумал он, — писать об этом факте не буду. Пусть разделываются по профсоюзной линии как хотят, а что мне жизнь, в конце концов, надоела, что ли?..»

Но стоило так подумать — представил толпы злорадных, насмешливых, хохочущих, торжествующих, хихикающих, ухмыляющихся лиц, которые лавиной, не торопясь, движутся на него, и он также медленно пятится от них.

Вспомнил: трус, он умирает тысячу раз. Трус, он действует в моменты опасности глупо даже в смысле спасения собственной шкуры.

И решил: «Эх, мама, пропадай моя телега... Был... рисковым человеком, таким, видимо, и помирать придется.

Взял и написал».

По ночам после этого снилась всякая чертовщина: темница, плач, «скрежет зубовный и бряцание цепей».

Раля, просыпаясь, спрашивала:

«А ты чего не спишь спокойно?»

«Какой может быть спокойный сон, когда мне в глаза всякая чертовщина лезет».

«А ты, — успокаивала она, — спи, если у тебя спокойная совесть».

Удивился: причем тут совесть, ежели у него «факт в блокноте. И каждый раз — как только факт, так никаких душевных терзаний. Р-раз фельетон — и кончено».

13 ноября, как и значилось в повестке, состоялся суд. Филатов привел одиннадцать свидетелей, которые дружно показали, что «потерпевший» не курит (в первой части «киноэскиза» говорилось: «достает портсигар, закуривает»), не прикасается к спиртному (в третьей части «киноэскиза» Филатов «хватал» стакан) и к тому же прекрасный семьянин (о чем, кстати, говорилось во второй части), по каковому поводу «потерпевший» настаивал, что фельетон является «сплошной клеветой и выдумкой».

И дальше, уже теоретизируя, Филатов предлагал искать темы фельетонов в архивных делах, «не затрагивая злободневных тем», ибо «это может уронить авторитет не-

которых ответственных работников», имея в виду прежде всего «незапятнанность» своего собственного авторитета.

Однако, не очень полагаясь на одиннадцать хорошо отрепетированных свидетелей и заранее составленную речь, Филатов, как стало позже известно, запросил на служебном бланке копию его истории болезни. Это, конечно, было бы очень эффектно: «Фельетон, написанный журналистом, страдающим и так далее... Обвинение настаивает на экспертизе с целью установления...»

Но запрос Филатову ничего не дал.

Общественным защитником от газеты выступал заместитель редактора Александр Дмитриевич Павлов, человек интеллигентный, внимательный и мягкий, которого в «Звезде» любили и который немало доброго сделал для него.

«Цель фельетона, — ответил Павлов, — отнюдь не рыться в архивах, а вскрывать имеющиеся... язвы, бичевать виновных, привлекать внимание к недостаткам нашей работы и тем помогать их устранению.

Личность Филатова, — продолжал Павлов, — отнюдь неинтересна для газеты, и не его как человека хотела бичевать «Звезда» в фельетоне». Автор ставил перед собой задачу максимально выразительно указать на недопустимость совмещения работы в органах юстиции с увеселением публики в частном ресторане, в котором еще сохраняются старые нравы.

Он тоже выступил и говорил в том смысле, что ронять авторитет ответственных товарищей, разумеется, нехорошо, но если некоторые товарищи сами его роняют, да еще на виду у всего города, чего же они обижаются, если об этом говорят вслух?

И суд объявил приговор: «Именем Российской Социалистической Федеративной Советской Республики.

...Суд нашел: ...в означенном фельетоне автор его Голиков освещает два момента: 1-й — факт совместительства нарследователем Филатовым учрежденческой должности следователя с игрой в ресторане «Восторг», а во второй части этого же фельетона касается Филатова как личности, называя его «судейской душой», «Филаша, выпьем» и «дурак».

...Фельетон «Шумит ночной Марсель» в первой его части дает правильное освещение фактам... и читателям этот факт дан для оценки с точки зрения общественности и, по мнению суда, верен, в отношении нанесенного

оскорбления следователю Филатову ни на чем не основан.

Таким образом, суд... приговорил:

Гр-на Голикова Аркадия Петровича по ст. 173 УК подвергнуть лишению свободы сроком на одну неделю... заменив лишение свободы общественным порицанием на общем собрании сотрудников редакции «Звезды»... Меру пресечения Голикову избрать подписку о невыезде. Приговор окончательный, порядок и срок обжалования объявлены...»

Приговор прозвучал оплеухой. Ссылка на то, что «порядок и срок обжалования объявлены», звучала в этом случае издевательски. Смешно было апеллировать в Верховный суд или даже областной, прося о помиловании, если тебя приговорили всего-навсего к «общественному порицанию на общем собрании сотрудников...».

Обыватели дожили до своего праздника. Головотяпы, бездельники, воры, строители разваливающихся от ветра домов, ретивые администраторы и растратчики могли перевести дух и выпить под звуки бравурной музыки в прославленном теперь «Восторге» за судью Лифанова.

Если и раньше чуть не каждый день в редакции раздавался крик «обиженных» газетой, нетрудно было представить, что начнется теперь.

Несколько дней не выходил из дому...

Лишь через неделю, после ожесточенных дебатов в редакции, «Звезда» поместила сдержанную заметку «Дело тов. Гайдара», в которой, в частности, говорилось:

«Обвинение в клевете признано необоснованным, мало того, следователь Филатов привлекается сейчас к дисциплинарной ответственности за недопустимое совместительство. Клеветы в фельетоне суд не нашел, но подверглась суду еще самая форма фельетона...»

Заметка прозвучала негромко. Усилия товарищей оставались тщетными: редактор Михаил Иванов не имел ни малейшего желания взять его под защиту.

Тогда друзья организовали диспут о фельетоне, на который пригласили и судью Лифанова. Они хотели объяснить задачи, возможности и художественные средства жанра, высветив тем самым нелепость приговора.

Судья Лифанов пришел на диспут, но редактор Иванов неожиданно повернул разговор совсем в другую сторону: «Наши фельетонисты, — заявил Иванов, имея в виду его и другого сотрудника «Звезды», Михаила Черныша, —

деклассированные элементы, они совершенно неспособны отразить настроения рабочих и правильно подойти к теме».

Присутствующие онемели. Многие знали: всего лишь полтора года назад он был уволен из армии по должности командира полка. Отец его был полковым комиссаром, а мать, секретарь уездкома партии, посланная Центральным комитетом на борьбу с басмачами, сгорела от туберкулеза. Что касается Черныша, то член партии Черныш еще недавно был мотовилихинским рабочим.

...После суда и диспута, когда он все же собрался с силами («Нужно было жить и исполнять свои обязанности»), Иванов забраковал подряд несколько фельетонов. До этого за год с лишним ему возвратили на доработку всего два или три. А теперь редактор начисто забраковал целых пять.

И когда на утренней «летучке» кто-то сказал, что пора снять запрет с фельетонов Гайдара, поскольку они не хуже, а иные лучше тех, что уже напечатаны, Иванов вспылил:

— Это не ваше дело. Когда мне нужно будет узнать ваше мнение, я вас спрошу... — И, помолчав, добавил: — Фельетоны я считаю очень слабыми, и я надеюсь, что, поголодав недельку, Гайдар принужден будет написать хороший фельетон...

Иванов выживал его из редакции. (В короткий срок редактор сумел разогнать почти весь коллектив, который складывался годами, коллектив, который создал газету.)

И он при первой же возможности из Перми уехал.

Он жил в Свердловске, работал в областной газете «Уральский рабочий», где сразу напечатал, без единой поправки, все пять отвергнутых Ивановым «слабых» фельетонов и много других, когда «Правда» поместила статью Е. Двинского (Дмитрия Ершова) «Преступление» Гайдара».

«Гайдар, популярнейший в округе фельетонист пермской «Звезды», присужден к семи дням лишения свободы, замененным общественным порицанием...

Для газетного работника общественное порицание не легче семидневного заключения в исправдоме. Но, к счастью осужденного, общественного порицания не получилось. Наоборот, общественное мнение восстало против приговора суда. Общественное мнение оказалось на стороне Гайдара. Рабочие ряда крупнейших заводов, рабселькоровское окружное совещание, областная газета «Уральский рабочий» высказались в защиту Гайдара...

Почему же произошло такое резкое расхождение между судом и общественным мнением?.. Может быть, Гайдар возвел клевету и выдумку на пожаловавшегося суду следователя... Филатова, главного героя фельетона?..

Нет. Суд... признал, что «фельетон дал правильное освещение фактов»... И суд... все же признает «форму самого фельетона оскорбительной» и выносит автору общественное порицание...

Выходит, что фельетонную форму произведений надо изгнать из газет. Но под силу ли это сделать нарсуду 2-го участка города Перми?..

Может быть, нарсуд изменит меру пресечения? Может быть, вообще в согласии с общественным мнением суд найдет возможным пересмотреть свое, несомненно, ошибочное решение?..»

Обиженный следователь Филатов мог теперь с утра до ночи музицировать в кабаке «Восторг»: с государственной службы его уволили.

Судью Лифанова тоже.

И все же бой свой в Перми он проиграл: Иванов нанес удар «с тыла».

РАССКАЗЫ «СТАРОГО КРАСНОАРМЕЙЦА»

В Свердловске было хорошо. Большой, больше Перми, город. Новые люди. В «Уральский рабочий» сразу взяли на ставку. Можно было спокойно и вдумчиво работать: гонорар шел отдельно.

Он уверенно и крепко писал. Все, что писал, печатали. На газетных страницах у него было свое постоянное место: подвал на первой, реже на третьей полосе.

В «Уральском рабочем» с броской рекламой было опубликовано продолжение «Лбовщины» — повесть «Лесные братья» («Давыдовщина»).

Одним словом, здесь ему создали условия. Он оттаял немного душой, но... затосковал без друзей и вскоре перебрался в Москву.

Рали с ним не было. Она уехала к родителям в Архангельск. Оттуда в декабре двадцать шестого пришла телеграмма, что родился сын, «решила назвать татарским именем Темир». Счастлив был очень, а имя не

понравилось. С ближайшего телеграфа отправил восторженный ответ слов на сто пятьдесят, а в конце — что не хочет «Темир», хочет «Тимур — Гайдар».

Он еще помнил свое путешествие по Востоку. Кроме того, в сочетании «Тимур — Гайдар» была приятная его уху звонкость.

...В Москве первое время мыкался где придется: немного жил у Талки, немного — у родных одной пермской знакомой, пока не снял себе комнату в пригороде, в Кунцеве.

В Москве жил и Шурка Плеско, который снова работал заместителем редактора, только теперь уже в газете «Красный воин» Московского военного округа. У Плесок появилась квартира. Галя с девочками наконец-то смогла уехать из Перми.

Шурка пригласил его к себе в газету. Там уже работал выпускающим Степа Милицин, вытребованный из Перми: Шурка не любил работать без друзей.

«Красный воин» выходил каждый день на четырех полосах. Возможность иметь еще одного сотрудника, да еще с таким военным и журналистским опытом, как у него, всех устраивала, и он поступил на гонорар.

Он пришел в «Красный воин» в то самое время, когда вновь обострилась международная обстановка и вновь замаячил призрак возможной и близкой войны.

В конце мая 1927 года английская полиция совершила налет на советское торгпредство в Лондоне, произведя погром и обыск. Представителям печати было заявлено: полиция искала документ особой государственной важности, который, однако. не был найден. А через несколько дней Чемберлен заявил о разрыве торговых и дипломатических отношений с Россией, что не помешало Англии, равно как Германии, Италии и Голландии, продолжать у нас закупки хлеба и жмыха.

«Разрыв Англией дипломатических отношений с СССР, — заявил наркомвоенмор и предреввоенсовета республики Ворошилов, — означает приближение к войне. Но Англия еще не сорганизовала таких сил, которые она могла бы сегодня двинуть против нас. Однако война с империалистическими странами неизбежна, и мы должны быть к ней готовы».

Англия действительно еще не имела таких сил, которые она могла бросить против нас. Но действия Великобритании развязали руки мировой белогвардейщине.

«7 июня утром в Варшаве четырьмя выстрелами из револьвера» был убит «полномочный представитель Советского Союза в Польше тов. Войков. Убийца — русский эмигрант, белогвардеец-монархист. Убийство произошло на вокзале, где тов. Войков встречал проезжавшего из Англии в Москву тов. Розенгольца», бывшего полномочного представителя нашей страны в Лондоне.

На другой день после гибели Войкова в Ленинграде, в помещении Коммунистического клуба, неизвестными были брошены две бомбы. Взрывом ранило тринадцать человек. Одновременно были совершены налеты на советское посольство в Пекине и началась осада консульства в Шанхае.

В стране начался сбор средств на строительство эскадрильи «Наш ответ Чемберлену». Каждый нес что мог. Крестьянин Дворянченко из села Чесноково пожертвовал на строительство самолета свою лошадь. На снимке в газете лицо у Дворянченко было грустное. Отдавать лошадь, конечно же, было жалко, но крестьянин понимал: сегодня пожалеешь лошадь, а завтра пропадешь вместе с ней, поскольку мир капитализма вооружался.

Германская фирма «Юнкерс» сообщала о разработке конструкции «воздушного гиганта»: 12 человек экипаж, 100 пассажиров, 2 столовые на 36 мест каждая. Кухня. Ванны. Уборные. Общий полетный вес — 50 тонн, однако все понимали, речь идет о громадном бомбовозе.

Англия демонстрировала свой новейший танк: легкий, скоростной, маневренный, снабженный пушкой и малоформатной радиостанцией.

А наши танки, скопированные с английских времен мировой, были тяжелыми и неуклюжими. Нарком Ворошилов с трибуны XV съезда сказал, что у нас есть и танки собственной конструкции, но производство их весьма ограниченно. Даже автомашин в 1927 году было выпущено всего 500 штук. Только лишь планировалось строительство автозавода на 10 тысяч машин в год. А капиталистический мир уже имел 25 миллионов автомобилей.

Нашей армии не хватало и более простых средств вооружения. В «Красном воине» под рубрикой «Знающему бойцу танк не страшен» писалось: «Специальное противотанковое ружье, возможно, не все красноармейцы видели и знают его, но это не обязательно, оно устроено так же, как винтовка, только больше калибром. Мы ду-

маем, что, если нам придется иметь с ним дело на войне, стрелять из него мы сумеем...»

Случись завтра война, твердо рассчитывать можно было только на винтовку Мосина, пулемет «максим», пушки, танки образца начала века и стойкость красноармейца. Но красноармейца тоже надо было сперва воспитать и вырастить. По иронии судьбы в 27-м были призваны служить его сверстники — четвертого года рождения, — которые еще ничего не понимали в военном деле.

Часовой, например, спрашивал:

«— Товарищ командир, вы не пойдете отсюда никуда?

— А что?

— Постойте за меня, я схожу позавтракаю».

С наступлением тепла бойцы многих подразделений после ужина без всяких увольнительных уходили в соседние деревни на гулянку. А на стрельбах был случай, когда три нечищенные, приведенные в негодность винтовки разорвало...

И вот нужно было объяснить новобранцам, что такое приказ и почему он беспрекословен. Что такое винтовка и почему за ней нужен уход. Что такое смелость и кто может быть героем.

Он выступал в газете под рубрикой «Житье-бытье» как старый красноармеец (один очерк у него так и назывался «Рассказ старого красноармейца»).

...Возможно, потому, что на войну он попал мальчишкой, у него было особое, благоговейное отношение к оружию и лошадям. Он мог недоесть, недоспать, но не было случая, чтобы не напоил вовремя коня, не почистил карабин, не протер лишний раз маузер, не смазал салом шашку. В бою с ним бывало всякое, но ни разу не отказало оружие, не подводил конь. Не потому ли остался жив?..

Зато знал десятки случаев, когда люди погибали или чуть не погибали из-за того, что не берегли наган, швыряли как угодно винтовку, небрежно обращались с гранатой.

Громадный детина Сашка Комаров (это было в 361-м полку, на Кавказе) имел обыкновение лупить прикладом по чем попало: забивал в стенку гвозди, бил по обуху застрявшего в чурбане топора, колол орехи. И когда однажды в разведке наткнулся на белых и дернул затвор, все патроны из «магазинки» вылетели на землю...

Там же, на Кавказе, посланный на практику из школы «Выстрел», он «бесился и до хрипоты в горле доказывал, что снимать штыки с винтовок безумие. Ибо винтовка — машина выверенная, точная, ибо при снятом штыке перепутываются все расчеты отклонения пули при деривации».

А в довершение узнал, что недавно приданная его батальону «проклятая махновская рота уже почти не имеет винтовок» — красноармейцы спилили напильником все стволы, чтобы получился «карабин».

Он приказал всех построить «и начал речь с нескольких крепких, едких фраз. Говорил... долго, убеждал, доказывал всю нелепость уродования винтовок...». Под конец ему показалось, что речь имеет успех, но тут кто-то буркнул: «Что нам, впервой, что ли, как же так не попадает... Тут самое важное нацелиться».

Тогда он взял обрез, приладил его накрепко к пулеметному станку Виккерса, навел обрез «на большой расшибленный сук стоявшего в пятидесяти шагах дерева» и предложил бывшим махновцам убедиться, что самодельный карабин «направлен точка в точку в сук». Все по очереди убедились — он стал под этот сук и велел в него выстрелить.

Никто не соглашался. Тогда он приказал и нетерпеливо махнул рукой. Грянул выстрел — все окуталось дымом. От волнения и сам еще не понимал, попали в него или нет: бывает, что вначале не чувствуешь... А потом подчеркнуто спокойно направился к бойцам: «Ну что?»

Кто-то смущенно ответил: «Крыть нечем».

Истории с «карабинами» был посвящен его первый в «Красном воине» рассказ «Обрез». Он не хотел показаться редакции и читателям нескромным. И потому себя в рассказе превратил в простого очевидца, сделав героем бывшего своего помощника Трача, с которым служил на Тамбовщине...

И все-таки совсем уж дарить этот случай Трачу было обидно. И подписал «Обрез» так, как уже давно не подписывал ни одной своей строки: «Арк. Голиков», в надежде: вдруг кто из его бойцов прочтет и вспомнит, что было немного иначе.

Случайная работа в «Красном воине», прежде всего необходимая для заработка, неожиданно перевернула все его существование. Прошлое, о котором он старался по возможности не думать (воспоминания причиняли боль),

вдруг приблизилось и все целиком понадобилось снова. Он опять почувствовал себя командиром, которому предстояло подготовить к недалекому бою только что присланных необстрелянных бойцов. И он объяснял своим читателям то, о чем не писал ни один устав.

Пехотинец, говорил он, «должен заботиться о своих ногах, как шофер о машине и больше еще даже: машина испортится, починить можно... а ноги заменить нельзя... а иной растютюй... завернет портянки комом, сапоги толком от песка не вытряхнет, в соседнем ручье ног не вымоет, а потом, как пройдет с десяток верст, так и запоет — устал...».

День ото дня беседы с читателями становились все обстоятельней. Он поведал, например, четыре случая с Левкой Демченко, бойцом редкой отваги и еще более редкой находчивости, у которого, однако, в башке было много дури. «Другого бы на его месте давно орденом наградили, а Левку нет. Да и невозможно наградить, потому что все поступки его были какие-то шальные — вроде как для озорства».

Рассказал, как озорство другого красноармейца, Якова Берсенева, который, отправясь с секретным пакетом, вернулся, чтобы привести двух схваченных по дороге пленных, обернулось катастрофой: всю четвертую роту по ошибке расстреляла своя же артиллерия.

Вспомнил невероятную историю с ним самим, когда его послали с пакетом в Горлевку. И только он успел выполнить приказ, наперерез выскочил командир первого батальона:

«Стой... — приказал комбат, — лети на Моховой холм, передай командиру батареи: пусть откроет ураганный огонь по Горлевке...»

«Товарищ командир... Да в Горлевке сводный отряд... Я только оттуда».

Но комбат махнул как сумасшедший рукой, чтобы не рассуждал... и рванулся через канаву.

После мучительной внутренней борьбы он все же передал распоряжение. Оказалось, что сводный Григорьевский отряд, которому он отвозил пакет, изменил. Счастье, что батарея вовремя открыла огонь.

Лучшими рассказами тех дней стали «Бомба» и «Сережка Чубатов». В них он вложил свои раздумья о том, что́ в первую очередь обеспечивает победу на войне.

«Конечно, — говорил в рассказе «Бомба» Сережка

Чумаков, — от оружия никто его качеств не отнимает, но все-таки всякое оружие есть мертвая вещь. Само оно действия не имеет, и вся главная сила в человеке заключается, как человек себя поставит и насколько он владеть собой может. А иному дурню дай хоть танк, он и танк бросит по трусости, и машину погубит, и сам ни за что пропадет, хотя мог бы еще отбиться чем попало».

Сам Сережка однажды, контуженный, с расщепленной винтовкой, «отбился» бомбой, у которой «вовсе капсуля не было», и он «ее заместо кирпича в руке держал. Этакой бомбой кошку с одного раза не убьешь, а не то что враз троих человек». А Сережка этих троих еще в плен привел.

Но вся философия войны, как он ее понимал, была заключена в рассказе «Сережка Чубатов».

«— Помирать никому не охота, — сказал Чубатов. — Об этом еще в древности философы открытие сделали. Да и так, сам по себе, на опыте знаю. Но, конечно, тоже — смерть смерти рознь бывает. Ежели, например, подойдешь ты ко мне и скажешь: «Дай я тебя прикладом по голове дерну», — то, ясное дело, не согласишься, и даже очень...

Другое дело, когда война... Я, может быть, в гражданскую от одного вида белого офицера в ярость приходил, думаю, что и он тоже... Вот почему на фронте, хотя и не считал я себя окончательным храбрецом, — не скрою, и от пули гнулся, и от снаряда иногда дрожь брала, — а все-таки подавлял я в себе все инстинкты и шел сознательно: когда приказывали вперед — то вперед, когда назад — то назад. А заметьте еще одну вещь: трус чаще гибнет, чем рисковый человек. Трус, он действует в момент опасности глупо, даже в смысле спасения собственной своей шкуры...»

Много думал в ту пору о будущей войне, предупреждая, что «вообще война будет отчаянная... К войне этой нужно готовиться всеми силами», и не только «красноармейцам, а всему населению».

«Будут ли у нас теперь в войну партизаны, — писал он в «Двух письмах», — я не могу еще точно ответить. Но думаю, что таких партизан, как прежде, не будет, а если в тылу у противника и будут действовать наши части, то уже строго организованные, дисциплинированные и под руководством армии, а не так, сами по себе, без всякого плана, как часто бывало раньше...»

Его убеждение, что современная война будет иной,

нежели прежде, основывалось на многом. Правда, иные лихие рубаки, не замечая перемен в военном деле, продолжали утверждать: «Наша конница достигла высокой боеспособности и устоит, хотя бы против нее были самые твердолобые или даже совсем безлобые», забывая, что в виде «твердолобых» перед конницей могут появиться, допустим, танки...

Зато в других выступлениях сквозила мысль о том, что будущая война — война техники и стремительных согласованных действий всех родов войск.

В статье «К маневрам», написанной начальником штаба РККА Тухачевским (специально для «Красного воина»), говорилось:

«...Боевой устав артиллерии дает артдивизиону с момента получения приказа и до [момента] открытия огня всего 30 минут времени...

Быстрота действий, решительность, самодеятельность всех начальников являются основным залогом успеха боя. Быстрота действий должна быть доведена до крайнего предела...

Необходимо, — заканчивал Тухачевский, — организовать привлечение рабочих и крестьян к маневрам. Эти посещения принесут немалую пользу делу военизации страны...»

После выступления Тухачевского «дело военизации страны» становится главной темой его выступлений в «Красном воине».

Статья «К маневрам» была написана 7 сентября, а уже 9-го он публикует рассказ «Отпускники» — о том, что уволенные из Красной Армии бойцы должны обучать односельчан военному делу.

«Если военизировать каждый хутор, — замечал он, — каждое село, чтобы по всему Союзу, повсюду, как бы маленькие крепости были разбросаны со своим гарнизоном из населения, трудно тогда с нами справиться будет, и не посмеют сунуться к нам белые полки со всей своей техникой».

При этом все чаще заботила мысль о том, какую роль в будущей войне может сыграть молодежь, в особенности дети. Думал об этом, читая о создании «Польской военной лиги», куда сразу же записалось 400 тысяч, преимущественно молодые парни. Они обучались летному делу возле самых наших границ. Думал об этом, узнав, что «в Японии недавно состоялись маневры учащихся старших классов средних учебных заведений. На маневрах учащиеся, уже прошедшие курс военного обучения, были противопоставлены регулярным частям армии. Маневры продолжались два дня. По отзывам командования, школьники вполне справились с задачами, поставленными на маневрах...»

Подготовка нашей молодежи оказалась много слабей. «Военная игра комсомола» Москвы, проведенная 6 и 7 августа, в которой приняло участие полторы тысячи человек, выявила, по словам зампредреввоенсовета Республики С. С. Каменева, что «привычка к походу была слабой. Многие участники похода натерли себе ноги... Я считаю, — сказал в заключение С. С. Каменев, — что подобного рода военные игры надо обязательно в дальнейшем проводить».

Но комсомольцы — это завтрашние призывники. А дети — мальчишки того возраста, когда он сам рвался и даже убегал на фронт, — какова будет их роль в будущей войне?

Он колеблется. Он не знает.

Он хочет верить, что наша армия при всех трудностях сможет в случае войны обойтись своими силами, не призывая на передовую ни стариков, ни женщин, ни детей.

В рассказе «Проводы» пионер Васька спрашивает:

«А со скольких лет в эту военную школу принимают? А меня туда примут?.. Ну, вот заладил, маленький да маленький! Маленькому еще лучше, вон большие парни к Сычихе в сад за яблоками полезли, а сторож их враз заметил да по шеям наклал, а нам никогда даже, потому что мы незаметно в щель лазаем...»

«А ты, Васька, не горячись, — отвечает старший брат, — бегай себе в школу, учись, играй, авось и без тебя как-нибудь обойдемся. Твое время еще не пришло, а когда придет, то кто его знает, может, тогда и вообще-то воевать не с кем будет».

Очень хотел, чтоб было «не с кем», но от его желания мало что зависело, а перед глазами стояли события гражданской, когда такие вот Васьки (Жигана из «РВС», между прочим, тоже звали Васькой) порой спасали положение.

И на другой же день печатает рассказ «Ударник» — про то, как шел бой, сбился боек у нашего пулемета, послали за новым бойком «двадцатилетнего паренька Ми-

кошина», а доставил боек, чуть не потонув при этом в реке, маленький Ванька. «А Микошин раненый лежит», — объяснил Ванька.

И после немалых колебаний он приходит к выводу, что еще неизвестно, как в случае войны все может получиться. И ребята потому должны все уметь.

В рассказе «Два письма» комсомолец Сережка делает доклад «про газ». Слушать пришло полдеревни, «потому что дело новое, каждому хочется знать, как этого газа избежать, если возможно. На другой день ребята ходили в лес, к ключам, Бирюковские пещеры осматривать якобы для убежищ... Вообще, ребята неспокойны, достали в складчину винтовку, изучают...»

Конечно, дети остаются детьми. И не всегда разумными. И все же это не значит, что детям нельзя доверять. «Марье Беспаловой Мишка в печку патрон либо еще что бросил, так все горшки полопались, но за это хулиганство его из ихнего военного кружка выгнали в шею».

А вообще, говорилось в том же рассказе, «хорошо, что ребята делают у вас доклады про газ и про прочее. Этими докладами тысячи людей научатся, как себя сохранить, а врагу вред принести».

И неожиданно для себя пишет первое в своей жизни стихотворение для детей — «Наш отряд».

ПОВЕСТЬ В ТРЕХ ЧАСТЯХ

Возвращение

В Архангельск приехал в конце двадцать восьмого.

Собирался приехать много раньше. И еще в начале года послал в архангельскую «Волну» свою «визитную карточку» — рассказ «Обрез», который полюбил за простоту фабулы и за то, что «Обрез» напоминал ему многое такое, о чем не всегда расскажешь и что не всем объяснишь.

Рассказ напечатали. По отзывам из дому, приняли хорошо и ждали его самого, а он все не ехал: держали дела. Сначала так и недописанный «Маузер», потом повесть «На графских развалинах». И только сдав рукопись «Развалин», отправился на Север.

Наверное, все-таки «Маузер» имело смысл закончить в Москве. На новом месте, в новой газете, к повести будет

труднее вернуться, но он уже настолько от рукописи устал, что даже обрадовался своему решению бросить все дела и непременно ехать сейчас:

И вот он вышагивал по деревянным мосткам, вдоль деревянных заборов и домов. Всюду в глаза бросались лодки: лодки возле изб, лодки под навесом во дворах, лодки в распахнутых сараях. И всюду его преследовал запах рыбы.

Город вытянулся на много километров вдоль Северной Двины. И он долго шел в легкой, не по сезону и климату, шинели и жестких, не размятых еще сапогах, пока добрался до Костромского проспекта, а потом, свернув налево, очутился во дворе второго дома от угла. Здесь жили Соломянские. Здесь жила Раля (или, как он ее теперь называл, Лиля).

На пороге остановился. Сердце стучало гулко-гулко. От быстрой ходьбы и вообще.

Наконец решительно вошел и сказал давно придуманную фразу: что вот некто Аркадий Голиков, он же Аркадий Петрович Гайдар, прибыл «в ваше распоряжение для дальнейшего прохождения службы».

Но все были взволнованы. Шутка не получилась. Он добавил тихо и виновато: «Вот и я».

И тут увидел самого главного в своей жизни человека: Тимура Гайдара.

Почти двухлетний, круглолицый, под девчонку стриженный и в девчачьем платье, Тимур смотрел недоуменно и сердито. В первое мгновение ему показалось: похож только на Лилю, но, схватив Тимура на руки и подняв над головой, увидел: и рот, и разрез глаз, и широкий лоб под челкой — его. И сам себе изумился: «Как мог так долго сидеть в Москве?..»

Новая редакция

Лиля жила с родителями, работала в «Волне», заведовала Домом политпросвещения, а затем ее назначили редактором краевого радио, которое только что возникло. Она же ведала и радиоузлом на триста точек. Это было мало и немало, потому что к каждому репродуктору в часы передач (программа печаталась в газете) собирались толпы. И если даже плохо было слышно, один слушал и пересказывал остальным.

И когда он вечером того же дня наведался в малень-

кую студию, Лиля разбирала письма первых радиослушателей. Тут были просьбы, что передать, и жалобы на плохую слышимость, и первые рабкоровские вести.

Люди писали о неполадках на лесных биржах и лесопильных заводах, о плохом снабжении, о грубости мастеров...

Выбрал письмо работницы канатной фабрики, превратив его в острый, бескомпромиссный фельетон. Часа через полтора, когда подошло «эфирное время», сам же прочитал его у микрофона. Работа в Архангельске началась.

На другой день нанес визит в редакцию — в двухэтажное каменное здание на проспекте Павлина Виноградова. О нем тут уже ходили всякие легенды. Особенно поражало, что он в пятнадцать лет командовал.

Он тоже поразился: в редакции было полно мальчишек. Мальчишкой был Саша Семаков из отдела информации. Мальчишкой был только что принятый в цинкографию через биржу труда фотограф Калестин Коробицын, но моложе всех оказался репортер Коля Пантелеев, который давно уже работал в редакции, а ему только недавно исполнилось семнадцать.

Вообще коллектив подобрался интересный. Заместителем редактора был, например, Виктор Канер, матрос «Авроры», потом чекист. Канер сам много и остро писал, в основном на экономические темы. Рабкоровской же сетью ведал Саша Талашов, грузчик-браковщик, присланный для укрепления редакции. Саша был и главным консультантом по всем вопросам заготовки и обработки леса.

В «Волне» начал тоже с фельетона. Фельетонисты были нужны везде. И он снова, как выражался его бывший редактор Михаил Иванов, занимался «сенсационными разоблачениями... в отрицательном смысле».

Он писал о «профсоюзных испанцах» из фабзавкома, которые, получив в издевку присланное письмо, что уборщица общежития ведьма «и занимается колдовством», постановили: **«...что же касается колдовства, то поставить это ей** (ведьме. — **А. Г.) на вид».**

Писал о Попове из Пинеги, ответственном «человеке с инициативой», который платил кому сколько хотел. А если кому не хотел, то грозил: «Лучше сожгу, а... не дам». И верно — жег, не давал. Он обнародовал невиданную рационализацию губсоюза деревообделочников, который вынес на одно свое заседание сразу сорок вопросов.

«Мы горячо приветствуем, — иронизировал он, — игру, изобретенную президиумом союза деревообделочников. И мы надеемся, что, натренировавшись, деревообделочники покажут нам еще бóльшие достижения... Поднимется с места председатель и объявит: «Заседание считаю открытым. Докладчики имеют по три минуты. Выступления в прениях по 30 секунд и заключительное слово — одна минута. Вопрос первый — доклад тов. Иванова: «Проблема мировой революции и задачи нашего союза».

Странная вещь: хотя и теперь после его выступлений, по его материалам принимались меры: кому «объявляли», кого вообще гнали прочь, — фельетон не приносил уже былой радости. И выходили они все почему-то мельче тех, которые писал прежде.

Отчасти, конечно, это зависело и от материала, тут, естественно, была некоторая стихийность. Тем не менее...

Работая над фельетоном (три статьи в номер уже не писал) невольно ловил себя на том, что, воспроизводя шаржированный диалог, вкладывая в уста героя саморазоблачительное заявление (однако на строгих фактах), ставил в скобочках: «Не стенографически...» Или что-нибудь еще, тоже «защитное».

Пермское разбирательство по обвинению в «клевете», хотя за него заступилась даже «Правда», оставило куда более глубокий след, нежели мог предположить.

Он по-прежнему ничего не боялся: «Нужно было жить и исполнять свои обязанности». Просто чаще вспоминал, что болен. Давала знать о себе и сама болезнь. И как люди, посаженные на голодный паек, невольно становятся экономнее в каждом своем движении, так и он еще какое-то время невольно избегал всего, что могло привести к новому душевному потрясению. В остальном же себя не щадил. Тем более что время наступило горячее.

«Талантливые люди не имеют права болеть...»

Пятый съезд Советов объявил о начале первой пятилетки. Архангельск из областного центра превратился в столицу необозримого Северного края. И задача перед краем стояла одна — дать лес: дать его шахтам и фабрикам, дать на топливо и на экспорт.

За границу лес всегда шел главным образом через Север. Тем же путем вывозились пенька, лен, жмых для

скота и хлеб. Ежегодный экспорт шестисот-семисот миллионов пудов хлеба давал около полумиллиарда рублей золотом.

Но к 1929 году распахивалось лишь 92 процента прежних площадей (на чем страна теряла около 400 миллионов пудов зерна). Но и с той земли, что засевали, можно теперь было собрать лишь половину прежнего товарного хлеба.

Поэтому, с одной стороны, был брошен лозунг: «Деревня, вперед, к крупному, машинизированному, обобществленному хозяйству». А с другой — вывоз леса должен был возместить те несколько сот миллионов рублей золотом, которые мы ежегодно теряли, не имея пока возможности в прежнем объеме вывозить хлеб.

Ленин еще в 1921 году, анализируя первый «и превосходный» единый хозяйственный план, особо отмечал то место, где говорилось: «Увеличение заготовок леса и сплава его за границу могло бы дать при таких условиях *до полумиллиарда валютных рублей в год в ближайшее же время».*

«Ежегодная выручка за северный лес может в ближайшие же годы достигнуть величины нашего золотого запаса...»

В 1929 году эта задача из возможной стала конкретной. Сразу неизмеримо возросла роль «Волны». Переименованная в «Правду Севера», газета получила нового редактора Иосифа Шацкого, переброшенного решением Секретариата ЦК из Сибири.

Шацкий приехал не один, с группой работников. Это был заместитель редактора Исаак Ховес, ответственный секретарь Петя Кулыгин, литсотрудники Саша Фетисов, Митя Попель, Борис Шакин и еще несколько человек.

Повседневно дела редакции вершил тихий Петя Кулыгин.

Петя любил и требовал четкости. Если отдавал в цинкографию рисунок и говорил, что придет за ним сам, то минута в минуту приходил сам. Если говорил, что статья нужна к одиннадцати или к двум, это значило: она в самом деле нужна в одиннадцать. Или в два. «Авося» и «запасцев» не признавал.

Когда весной тридцать четвертого началась эпопея спасения челюскинцев, тихий, деликатный Петя, который без очков был беспомощней младенца, сдал, по договоренности с Каманиным, экзамен на авиамоториста и полетел

с Николаем Каманиным бортмехаником... Кулыгин стал единственным в мире журналистом, за сообщениями которого — с места событий! — следила Земля. И это ему, Пете Кулыгину, принадлежала радиограмма, ошеломившая мир: «...В бывшем лагере Шмидта уже нет ни одного человека. Все спасены».

А Шацкий был участником гражданской, и никакого систематического образования не получил. Но знал много. Мыслил реально и масштабно. Сам писал.

В июне двадцать девятого, в самый лесосплав, он заболел. Было все то же: последствия контузии, забвение наказов врачей о размеренной жизни, недопустимости волнений, необходимости регулярного питания и парного молока по утрам. В больнице ему было очень скверно, и кто-то из друзей принес записку:

«Дорогой тов. Гайдар! Не официально, а искренне, подружески — страшно огорчен вашей болезнью. Крепко надеюсь, что вы очень скоро поправитесь. Мне почему-то кажется, что все зависит больше всего от вас самих. Если вы сознаете, что в наше время талантливые люди не имеют права болеть, вы сумеете переломить себя. Жду с нетерпением вас и вашей работы.

4.6.29.

Ваш Шацкий».

К тому моменту, когда приехала сибирская группа, редакцию лихорадило от напряжения, которое отчетливее всего проступало в заголовках: «Не героический пробег, а пьяное вредительство», «Лесные головотяпы и вредители», «Очистим ряды партии от балласта», «Халатно-преступное отношение к лесозаготовкам», «Мы воруем золотую валюту у Советской страны».

Тут же можно было прочесть статью заместителя наркома РКИ СССР тов. Яковлева, напечатанную под заголовком «Нужно ли «жалеть» лес?», в которой говорилось: «...Мы практически... связали себе руки и ноги правилами «культурного» ведения лесного хозяйства... Но ведь совершенно законна, целесообразна, оправдываема всеми обстоятельствами... постановка вопроса о возможности производства здесь известного рода «займа» за счет будущих поколений».

Товарищ Яковлев ссылался на полезный опыт Америки, которая за несколько десятилетий взяла в десять-пят-

надцать раз больше леса, чем брали мы. «Правда, — скромно добавлял автор, — за то ей (Америке) приходится ныне лес импортировать...»

Несмотря на некоторую противоречивость рекомендаций, один решительный журналист здесь же делал вывод, что «надо перестать лжекультурно жалеть лес, откинуть близорукую боязнь «обидеть следующее поколение».

А он был «близорук». Он вырос возле леса. Почти в лесу. И не мыслил жизни без лесной прохлады, шума деревьев, галдежа птиц. Еще мальчишкой много раз видел, как извилистые овраги в два-три года покрывали обезлесевшие места. Как от лета к лету мелела оголенная дровосеками Теша, эта арзамасская Волга, тем более что город уже давно страдал от нехватки воды.

Он хочет знать, что делается в лесу под Архангельском и возле леса. Почему, испытывая нужду буквально во всем, мы «воруем золотую валюту» у самих себя. Он идет к Шацкому. Тот вызывает Ховеса и Кулыгина. Все трое обрадованно кивают головами. Газете нужна своя, сметливым глазом увиденная картина того, как обстоят дела с заготовкой и транспортировкой леса. Нужны не отдельные фактики, это могут сообщить и рабкоры. А нужно исследование.

Если угодно — разведка.

Когда приезжает корреспондент, начальство старается чаще всего показать достижения, а рабочие — недостатки. Поэтому и статьи получаются из двух половин: «Несмотря на имеющиеся достижения, нельзя не отметить имеющиеся недостатки». Или наоборот: «Недостатки заслоняют героическим трудом достигнутые результаты».

«Было б хорошо, товарищ Гайдар,— убеждал его Шацкий,— если бы вы даже поступили в артель на работу... Вам, конечно, по-прежнему пойдет оклад, кроме того, все расходы, связанные с командировкой, редакция тоже берет на себя».

Его это устраивало. Он любил поездки, неизбежные дорожные приключения, неожиданные встречи и проникновенные разговоры, ночевки в сараях, в стогах сена, в чужих избах, где можно обогреться и поставить сушить сапоги.

И после самой трудной командировки возвращался бодрым и поздоровевшим. Прибавлялись силы. Яснела голова. Он мог по многу часов в день сидеть за столом, прихватывая и ночь. И после поездок легко выходило то, что не получалось прежде.

А задание, которое теперь давал Шацкий, особенно устраивало. Должен был, как случалось в Сибири, на время забыть, кто он и что. Жить и работать со всеми. А там видно будет. В помощь ему Шацкий предложил молоденького Калестина Коробицына. Он согласился. Калестин тоже обрадовался: для начинающего фоторепортера это была чуть ли не первая поездка. И Калестин спросил: «Аркадий Петрович, куда едем и где встречаемся?» Ответил: «Обожди. Сначала поеду я один. Обживусь, потом приезжай ты».

И уехал на Пинежскую запань. Поступил на сортировку бревен. А поселился на хозяйских харчах в доме бригадира. Днем подавал бревна в станок ручной сплотки, а вечером за самоваром или бутылкой обсуждал с бригадиром дела и заботы на завтра, доискивался, почему неровна выработка, и прикидывал где, в какой конторе нужно посильнее бухнуть по столу кулаком, чтобы не обижали, снабжали рабочих как следует. А то брезентовых рукавиц и тех не допросишься, а про резиновые сапоги что и говорить.

Иногда за тем же столом собиралось несколько человек. Кое-что «кисленькое» приходилось выслушивать и бригадиру.

Интересовались, кто и откуда он. Отвечал по привычке, что служил в армии. Образование маленькое. Никаким стоящим ремеслом не владеет. Товарищи успокаивали: «Ничего, с такой ловкостью и силой не пропадешь». Когда ж приехал Коробицын и стал разыскивать «корреспондента Гайдара», отвечали: «Корреспондента у нас нет». — «Как нет, из редакции приехал!» — удивлялся Калестин.

— Да нет же, тебе говорят. Вон в бригаде работает какой-то Гайдар, так тот сплавщик...

Калестин все же его отыскал. А он попросил: «Ты никому ничего не рассказывай здесь: я просто работаю вместе с ними». В бригаде сообщил: «За мной приехал младший брат». Получил заработанное. Устроил отвальную.

А в редакции представил счет: «На проезд, прокорм и квартиру истрачено столько-то... На угощение для изучения рабочего класса — столько-то...» Бухгалтер возму-

тился. Побежал к редактору. Шацкий рассмеялся, наложил резолюцию: «Оплатить».

Получив командировочные, купил гармошку, запаковал ее в ящик и отправил своим недавним товарищам. А то им без музыки в лесу скучно.

В кабинете Шацкого собралась вся редакция. Рассказал об увиденном и узнанном. А писать ничего не стал. Статья бы здесь не помогла.

И уехал снова. Это была целая серия командировок, когда выдавал себя то за студента, что, увы, далеко не соответствовало действительности, то за стивидора, что отчасти походило на правду, потому что когда потерпел аварию, ткнувшись дном в скалу, французский пароход «Саид», то он, посланный газетой, ушел на спасательном судне к месту происшествия, вместе с водолазами перебрался на полуразрушенный, частично покинутый экипажем корабль. С помощью француза-радиста отправил в редакцию телеграмму: «Саид» сидит на рифе серединой. Произведенной отгрузкой для избежания перелома приподнята корма».

Телеграмма была написана латинскими буквами. Для объяснения с радистом припомнил все школьные и самодеятельные уроки французского.

И все же не было в его журналистской практике ничего сложнее и ответственнее того, чем он занимался теперь.

Простая арифметика

Шел пешком в район. По дороге встретил группу крестьян: направлялись за полторы сотни километров на заработки. В первой же конторе лесосплава мужикам с невиданной по тем временам щедростью выдали хлеб, сахар, рыбу, чай, табак, по десятке — деньгами, и все только авансом: на сплаве не хватало людей.

А вечером ему пришлось присутствовать на собрании в Тоемском сельсовете с участием секретаря райкома. Сельсовет должен был дать по меньшей мере 160 человек на Пинегу, где была «заготовлена основная масса древесины». До посева яровых оставалось две недели. И «никто не хотел уходить на далекую Пинегу».

Помещение было набито до отказа. После доклада предрика секретарь райкома сказал, что прямо сейчас надо набрать требуемую рабочую силу. «Сначала он просил, потом настаивал и наконец пообещал применить... меры экономического воздействия, то есть снять с кооперативного снабжения».

Мужики зашумели, достали измятые листы «Крестьянской газеты» и «Бедноты», где рядом с «новым законом о сельхозналоге жирным шрифтом были напечатаны статьи о необходимости увеличивать и улучшать посевную площадь».

Но как бы в ответ кто-то «вытянул» местную газету, где «горячая боевая статья призывала ни в коем случае не допускать недосплава и осушки с таким трудом заготовленного, дорогого леса».

На собрании столкнулись хлеб и лес. Он понимал: со стороны РИКа нужна была большая предусмотрительность, организованность и четкость, чтобы «не дать одному раздавить другое».

Однако не было ни предусмотрительности, ни организованности, ни четкости... В чем же дело? Попробовал разобраться.

«Верхне-Тоемский район, — подсчитал он, — имеет 11 485 га фактически засеваемой площади... Своего хлеба, конечно, не хватает, а кооператив дает с перебоями по норме три-пять кило в месяц на едока. Отсюда желание как можно больше заготовить своего хлеба. Тем паче что в соседних районах купить его негде».

Значит, хлеб нужен. И утверждение, что «в Северном крае главное — это лес, а не хлеб», неточно. А если неточно, то «голым административным нажимом» здесь «многого не добьешься». Надо считать. Нужно думать. И не только о том, что необходимо сегодня, но и о том, что может понадобиться буквально завтра.

Проведя самостоятельное обследование, пришел к выводу: грубейшая ошибка Тоемского РИКа — в некоторых деревнях имелась «избыточная рабочая сила», которую бросили на речонку Тойму, где работы всего на 15—20 дней. Когда ж всерьез понадобилась рабочая сила для Пинеги, «то принялись за всех остальных», то есть за тех, кто охотно пошел бы поработать по соседству на Тойму и справился бы со сплавом за пятнадцать суток, чтобы вернуться к посеву.

А в результате в Тойме хлеб и лес, «вместо того чтобы шагать рядом, озлобленно посмотрели друг на друга». Недоразумение? Случайная ошибка? Он изучает дальше и видит: райисполком ничего толком не сделал «для дейст-

вительной, а не формальной организации бедноты». Тем более что в этих местах издавна сложились «предпосылки для коллективизации». Люди тут никогда не работали в одиночку. Если человек уходил на сплав, его участок обрабатывал сосед. На следующий год менялись, то есть народ сам издавна нашел разумную форму кооперации, где не сталкивались ни хлеб, ни лес, где существовало товарищество и взаимопомощь. Местному руководству следовало только присмотреться, прислушаться и воспользоваться мудростью и опытом народа.

Проблемы коллективизации занимали его всерьез. Глубокой осенью двадцать девятого посетил недавно возникшую коммуну «Новый путь», посвятив ей очерк, который занял 7 ноября бо́льшую половину праздничной газетной полосы.

Живя в коммуне, посмотрел все: как работают, сколько инвентаря, что едят, как решают свои вопросы.

Ели по трудным тем годам хорошо: каждый день щи с мясом (в обед и на ужин). Кроме того, каши, треска, чай, сахар, хлеб (по килограмму на едока). Стоимость же всего питания — шестьдесят копеек на человека. Столько же стоил самый посредственный обед в столовой. «Выгоды общего стола, — замечал, — несомненны».

Пятьдесят шесть членов коммуны сняли урожай, который был на восемь процентов больше, нежели у единоличников-соседей. В только что отстроенном доме на семьдесят человек давалась одна комната на двоих, но после сбора урожая в коммуну пришло еще без малого сто человек. Дом стал тесен: «Кто знал, кто думал, что два семейства, объединившиеся в коммуну, разрастутся так скоро».

Сразу понадобилось «строить другой — на сто-двести человек». И одновременно скотный двор «по американскому типу», то есть с кормушками и вагонетками.

Тем временем на общем собрании определилось направление коммуны — животноводство. Единогласно вынесли решение: беременные женщины за счет коммуны получают отпуск (вещь в ту пору почти неслыханная). Это, впрочем, не мешало женщинам заявить коллективную претензию — им не выдали обещанные к празднику сарафаны.

Может быть, иные стороны коммуны были наивны, как наивна была сама форма коммуны вместо артели, но для людей, которые долгие годы не видели ничего,

кроме нужды, приход в хорошо налаженный коллектив, во главе которого стоял хозяйственный и вполне надежный человек Яков Шунин, был выходом, а по мере роста достатка труд и быт могли уже складываться по-иному...

«Я пишу главным образом для юношества»

Одновременно заканчивал книгу, начатую в Москве. Книга была мучительной: мало верил в себя.

«Дни поражений и побед» приоткрыли дорогу в литературу — и принесли много разочарований. Мечтал: будут зачитываться. А критики писали: «Ценный бытовой материал гибнет благодаря неумению». Он видел за страницами повести больше, чем сумел рассказать.

Неудачу свою переживал втайне. Попав в «Красный воин», старательно обходил все, о чем писал прежде. Хорошо чувствовал газетный объем. Легко вписывался в отведенный «строкаж», пока не заметил: всегда столь послушный материал перестал вдруг ему повиноваться. Что ни рассказ, то «продолжение следует». В трех номерах шло «Бандитское гнездо», в четырех — «Левка Демченко».

Воспоминания о войне, эпизоды солдатской жизни, которые он вроде бы даже и гнал от себя, оказывается, жили, зрели в нем и рвались наружу. И однажды изумился простоте самому себе заданно́го вопроса: а почему бы не рассказать о том, что случилось с ним, Гайдаром, на войне, с самого начала, но уже по-иному?

Новая книга, размышлял он, тоже будет автобиографической. Но сюжет острее. Неожиданностей и внезапных поворотов больше.

Взять, допустим, тот же маленький плоский маузер. Он достал его, когда уже началась революция. А можно бы написать — прислал с мировой отец, когда еще ни у кого из мальчишек оружия не было.

Его отец благополучно провоевал и мировую и гражданскую, а в книге отец погибнет.

Когда бывший приятель Федька попытался в реальном училище отобрать у него маузер, на помощь без всяких просьб пришли ребята из «параллельного» класса. А в книге можно сделать так: время сволочное, реакция торжествует. Сергей Горинов... или (чтоб их уже не путали), скажем, Борис Гориков, либо должен сдать маузер, подарок отца, предав его память, либо... либо бежать из

дома. Борис бежит. И в награду за верность маузер спасает его в поединке с другим подростком, который тоже бежит из дому, но к белым.

Одним словом, все события будут так или иначе связаны с револьвером. И он назовет книжку, как у Маяковского в «Левом марше», — «Товарищ маузер». Или просто «Маузер». И тогда ни один мальчишка, увидев слово «маузер» на обложке, не пройдет мимо.

План книги ясен. Уверен, что напишет за три-четыре месяца. И в июне двадцать восьмого заключает договор: что он, Гайдар-Голиков, «...предоставляет Госиздату исключительное право на издание и переиздание своего труда... размером 10 печатных листов».

Он в самом деле написал очень быстро — первую главу. Она вылилась сразу. А дальше все пошло куда медленней — в нем пробудился страх новой неудачи.

Пока обдумывал, писал, было интересно самому. Когда переписывал и как-то сами добавлялись и уточнялись подробности — тоже. Десятки раз обдуманное намертво ложилось в памяти. Привыкал, и уже казалось: «А кому это нужно?»

И когда ему случайно предложили сделать приключенческую повесть («Вы не могли бы что-нибудь из жизни беспризорных?») — тоже на десять листов и тоже в короткий срок, — он с облегчением и радостью, уговаривая себя, что соглашается только для «быстрых денег», чтобы кончить «Маузер», «Маузер» отложил, далеко не уверенный, что когда-нибудь вернется...

* * *

«Не вернулся к «Взрыву», «Синим звездам», «Глине», к повести про Бумбараша. Мог не вернуться и к «Маузеру». Что тогда б с ним было?...

* * *

Повесть «На графских развалинах» писал без терзаний и мук. А мысли все те же, что и в рассказах «старого красноармейца», — что такое мужество и как мужество воспитывать?

Двое мальчишек, Валька и Яшка, состязаются в том, кто сорвет голой рукой крапиву, «не сморгнув даже». Причем рвут «с целью»:

«Я страсть, — говорит Яшка, — как героев люблю! Вон безрукий Панфил-буденновец орден имеет. Как станет про прошлое рассказывать — аж дух захватывает».

А Валька интересуется: «А как, Яшка, героем сделаться?»

Яшка ответить, конечно, не мог, отвечал он всей книгой, где подвиг совершал беспризорник Дергач. «Все мальчишки, — с завистью говорил Дергачу Яшка, — будут табунами за тобой теперь ходить, потому что ты герой!..»

Сдав рукопись «Графских развалин», сразу продвинулся и в работе над «Маузером». Когда приехал в Архангельск, оставалась последняя, самая трудная часть — «Фронт».

В нее хотел вместить весь солдатский свой опыт — то, научиться чему можно только на собственных ошибках.

Вот Борис встречает Юрия Ваальда, тоже в ученической форме, тоже голодного и невыспавшегося. Вместе ловят гуся. Вместе съедают его полусырым, зажарив на костре. Борис думает о приятеле: «Хороший парень». А Ваальд — враг.

Вот Борис идет с Чубуком в разведку. Чубук кричит: «Бросай вниз бомбу!» Борис хочет бросить, а Чубук перехватывает руку: «Дура! Кольцо снял, а предохранитель оставил...»

Вот Чубук с Борисом, отвезя на пасеку раненых, остановились в шалаше в лесу.

«Теперь караулить друг друга надо... — говорит Чубук. — Я уже давно возле тебя сижу. Теперь прилягу маленько, а ты посторожи... Да смотри не засни тоже». А Борис отправляется купаться. «Никого нет кругом... — думает он. — Не успеет Чубук на другой бок перевернуться, как я уже и готов».

Но, во-первых, до речки много дальше, чем поначалу кажется Борису. Во-вторых, в тихой этой заводи, у ручья, Борис с ужасом обнаруживает тело зарубленного саблями Цыганенка (а ведь Цыганенка только вчера оставили подлечиться у верного человека — пасечника). В-третьих, не успевает Борис в испуге выскочить на берег — его тут же забирают мужики. «Голый человек, — предупреждал Чубук, — это не солдат. Голого всякий и с палкой забрать может».

И дальше он показывал: одна катастрофа на войне влечет другую. И даже очень большое мужество иногда мало что может поправить.

Попав к белым, Борис после первого приступа страха придумывает правдоподобный рассказ: он беженец... Но в сумке у Горикова находят документы Юрия Ваальда — и Борис вынужден играть Ваальда.

Белые принимают Бориса за своего. Теперь нужно дождаться удобного случая и бежать, но приводят Чубука, взятого в шалаше, когда Чубук спал. Борис изобретает дерзкий план: передать Чубуку вечером маузер — но Чубука на глазах Бориса расстреливают днем.

В родном отряде Борису все прощают: «С кем беды не бывает», а за ценные сведения о белых даже благодарят — но Чубук умер, думая, что мальчишка его предал. И Борис никогда не сможет Чубуку ничего объяснить. И му́ка эта на всю жизнь.

...Срок договора давно истек. Повесть была близка к завершению, а конца у нее все не было. Чем кончить — не знал. К тому же отвлекала газетная работа. И научился тогда сочинять и запоминать все, до запятой, на ходу — под ритм своих шагов или под перестук колес поезда. А в первом же доме, куда попадал и где был стол, садился и записывал. Он теперь никогда не расставался с тетрадкой. И даже если шел с кем по городу, не стеснялся остановиться, сесть на ступеньку чужого крыльца и записать. Или выправить за час перед тем написанное, потому что думал о повести все время, за любым делом.

Возвратясь из одной командировки, перепугался насмерть.

Комната, где они с Лилей жили, обставлена была небогато: трюмо, письменный стол из ящиков, покрытых широкой доской, цветной гофрированной бумаги занавески. Стол его, разумеется, всегда был завален, а он не позволял к нему прикасаться.

Но, готовясь к приезду «хозяина», Тимуркина няня, молоденькая Надя, прибрала и на столе, но, поскольку и книги и папки были в ровных красивых стопках, ничего Наде не сказал: она ведь старалась.

И только вечером, сев поработать, увидел, что кипа тетрадей с начатой повестью и большие исписанные листы — вся рукопись «Маузера» — исчезли.

...До сих пор не мог себе простить, что не сберег полевой сумки с военными дневниками. Сумка всегда была при нем, а после боя в тайге с Соловьевым пропала. Или отстегнулась. Или сорвало пулей.

Но то ведь в тайге. А тут почти готовая рукопись пропала со стола. Вор, тот скорее унес бы почти целые сапоги.

— Надя, — спросил он, — ты сегодня прибиралась?

— Прибиралась.

— Прибралась ты хорошо...

— Да, я думаю, неплохо — стены, окна, дверь обтерла, потолок обпахала...

— Стены-то стенами, а со стола все куда снесла?

— Какая посуда была, я все перемыла, да обратно в стол и поставила.

— А бумаги и тетрадки с моего стола ты что, тоже перемыла?

— Ой, Аркадий Петрович, голубчик, разве то были тебе годные?..

— Еще как годные, — зло ответил он.

— Но ведь ты уже не школьник — на что тебе тетради?

— А ты их брала?

— Прости, — упавшим голосом ответила она, — брала...

— И что же ты с ними сделала?

— Сунула в печку...

— И исписанную бумагу?!

— И бумагу...

— И все в печку?!!

— В печку... Да чего ты как побелел? — удивилась Надя. — Печка-то была холодная. Я подумала: жечь не буду — и переложила на всякий случай в корзину. Да ты не волнуйся — не больно-то они и помяты.

Сел, попросил Надю принести ему воды. Выпил целую кружку.

Бумаги действительно отыскались в бельевой корзине.

...В редакции знали, что пишет повесть. В «Литературном Севере» напечатали отрывок. Читал несколько глав на собрании Ассоциации пролетарских писателей, куда его приняли, но читал неровно, сомневаясь в каждом слове. И, получив с машинки всю рукопись, засомневался даже в названии. Повесть была о большем, нежели об истории с маузером.

И он вывел на чистом, теперь титульном листе:

Аркадий Гайдар
Обыкновенная биография
в необыкновенное время
Повесть в трех частях

Отправив рукопись в Госиздат, написал в «Октябрь». Перед отъездом на Север в журнале состоялся разговор. «Будет повесть — прочтем», — обещали ему. И он сообщал: повесть готова, но у него остался только третий, из-за плохой копирки «слепой» экземпляр. И было бы хорошо, если бы рукопись взяли на время в издательстве.

Теперь оставалось только ждать. Он стал свободнее, много ездил, писал, а внутри все было напряжено, словно прислушивался к тому, что говорят о повести в Москве.

Госиздат с ответом не спешил, и из «Октября» пришло письмо, которое долго не решался вскрыть.

Наконец вскрыл.

Развернул.

Редакция благодарила и просила извинить за то, что еще точно неизвестно, с какого номера начнут печатать.

А дней через десять из журнала пришло второе письмо (хранил его, как письмо Миши Слонимского, который извещал, что «Дни поражений» решено публиковать в «Ковше»).

«Дорогой Аркадий... — писали из «Октября», — не сетуй: «Обыкновенную биографию» начнем печатать с апреля (шел март — сетовать было нечего!). ГИЗу давно возвратил один экземпляр («А ГИЗ до сих пор не ответил»). Я тебя просил дать очерки о лесорубах («Когда? Какие очерки? Неужели забыл?»). Напиши, можно ли на них рассчитывать, а еще лучше пришли. Очень рад, что ты себя чувствуешь хорошо!.. С тов. приветом...» [1]

Впервые столичный толстый журнал брал его повесть.

Правда, не обошлось без нелепостей. Название «Обыкновенная биография в необыкновенное время» в редакции показалось длинным. Оставили только первую половину. А коль скоро «биография», то и сунули повесть по разделу мемуаров.

Когда пришли деньги за апрельский номер «Октября» (а всего «мемуары» шли в четырех номерах), сказал Лиле: «Собирайся... Едем в Ленинград». Теперь ему уже было не стыдно туда вернуться. А Лиля в Ленинграде вообще никогда не бывала.

Поездка получилась шальной. Старорежимный швейцар в «Европейской», глядя на фанерный баул у него в руке, вообще сначала не хотел их пускать. Он разозлился и потребовал «люкс» (27 рублей в сутки!) и открытый «линкольн» для поездки по городу. «Люкс» — это было несколько больших комнат и просторная ванная со стеклянной табличкой над кранами: «За пользование 3 рубля». Терпеливо наполнил ванну несколько раз. Потом сказал: «Ну вот, на сегодня мы жилье с тобой окупили...»

Изысканный обед заказал прямо в номер (много повидавший на своем веку официант недоуменно сравнивал обширность апартаментов с ситцевым сарафаном Лили), затем поездка по городу и рев открытого «линкольна»: «аыа-а, аыа-а», вечером ужин на крыше под открытым небом, ленинградская белая ночь. И прямо с крыши «Европейской» посланная в Архангельск телеграмма: «Тимур Гайдар кругом пожар в окно не лазь не безобразь».

Воздав должное роскошному образу жизни, на второй или третий день перебрались из «люкса» в общежитие к Галке. Деньги непостижимо быстро кончились, перевод из Москвы опаздывал. Ни Семеновых, ни Федина, ни Слонимского в Ленинграде не оказалось. И они с Лилей поселились у Николая Николаевича в его огромной комнате без мебели. Обстановку составляли груды книг, сложенных прямо на пол, циновки, на которых спали Галка и его воспитанник, мальчишка лет двенадцати.

Откуда взялся мальчишка, неизвестно. Галка растил, заботился о нем и посылал в школу, как своего.

О странной встрече пять лет назад они с Галкой не вспоминали. Встретились, как родные, и все. Галка снова растил чужого мальчишку, значит, он все тот же добрый чудак. Какие уж тут обиды?

Вернулись в Архангельск. Из «Октября» прислали последний, июльский номер. Ждал откликов. Их не было: снова не заметили?.. Снова «банальный сюжет»?

Поехал в Москву. Потолкался в издательствах. Один знакомый, между прочим, заметил: «Борис-то твой Гориков у тебя, Аркадий, ведь мальчишка?.. Так отчего бы тебе не напечатать «Обыкновенную биографию» в «Роман-газете для ребят»?.. Тираж у них большой. Раскупаются их выпуски мгновенно, а хороших рукописей не хватает...»

В редакции «Роман-газеты для ребят» его, оказывается, уже знали по «РВС» и журналу «Октябрь». И пока он объяснял, почему пришлось откреститься через «Правду» от «РВС» и как у них там на Севере, принесли отпечатанный на машинке договор. И будущий редактор

попросил только об одном: на внутренней стороне обложки они всегда печатают сведения об авторе. Он должен немного, три-четыре машинописных странички, написать о себе. И принести фото. Лучше какое-нибудь старое, где он мальчишкой в военной форме.

Смутился. Портреты его нигде, кроме пермской «Звезды», не печатались. Да и там только в заставках к фельетонам, как бы для большего юмора... А рассказывать читателям с глазу на глаз, не прячась за выдуманного героя, обо всем пережитом не доводилось тоже ни разу. Да и читатель особый — дети.

Когда ж ввалился домой, то есть на квартиру к Мише Ландсману, подумал: надо бы, наверное, объяснить ребятам: хоть он теперь и писатель, хоть и прошел гражданскую — был в их годы обыкновенным мальчишкой. И повезло ему только в одном: рос в небывалое время.

«Я пишу главным образом для юношества, — заканчивал он свою автобиографию. — Лучший мой читатель — десяти-пятнадцати лет. Этого читателя я люблю, и мне кажется, что я понимаю его, потому что сравнительно не так давно таким же подростком был я сам.

Я много путешествую, разглядывая жизнь такою, как она по-новому складывается, и в то же время всегда с большой теплотою вспоминаю огневые зори на вражьих фронтах — боевую школу, в которой прошли мои лучшие мальчишеские годы».

Нашел у сестры Талки фото: крепкий, высокий мальчишка в военном, спокойное, круглое, дерзкое лицо. Шашка и револьвер на поясе. Командирская звездочка на рукаве. На обороте пометил: «Арк. Гайдар, шестнадцать лет. Командир IV роты 303-го полка 34-й Кубанской дивизии. 1920 год. Кавказский фронт».

Короткую эту исповедь надо было как-то назвать. И он вывел крупными буквами: «Командир отдельного полка». Написал по привычке. По присвоенной, когда увольнялся, должности... Оставалось последнее: выверить и выправить текст повести. И тут он чуть не сорвался. И неизвестно, как все дальше получилось бы, не окажись рядом Миша Ландсман.

Миша был на три года старше. В пятнадцатом удрал из дома на фронт и стал сыном полка (помогли храбрость и великолепный рост!).

В революцию Миша оставил полк, вернулся ненадолго домой, в Новозыбков на Брянщине. Помог сколотить

комсомольскую ячейку и снова ушел на войну, теперь гражданскую. В составе кавдивизии прошел всю Украину, дрался с Махно.

Познакомились они с Мишей в Москве. Ландсман тоже поступал в академию. Его отвели, Мишу приняли. Однако Миша академию не кончил и был послан в Саратов, на работу в уголовный розыск, которую совмещал с учебой на вечернем отделении Саратовского института народного хозяйства и заочно — на филологическом Московского университета, сумев кончить там и тут. Кроме того, изучал языки, писал драмы, считая: революция — это не только социальные преобразования. Революция — это и духовное возрождение.

Он снова встретился с Мишей год назад в Архангельске, где Миша изучал проблемы экспорта леса.

Миша печатался в журналах. Мечтал создать революционную романтическую драму. А драма не давалась.

Страдая от литературных неудач (хотя внешне печаль эта не проявлялась никак), искренне радовался его успехам, следил за всем им написанным. Любил слушать неоконченное, даря мудрыми и тонкими советами: в Мише пропадал критик.

И когда он приехал теперь в Москву, то нарочно остановился у Миши, тем более что Мишину жену, Машу, знал еще по Архангельску...

Ему последнее время было неспокойно. Пять лет назад он пришел в литературу, ободренный на всю жизнь дорогими ему людьми, пока что мало оправдав их надежды. Лучшим из написанного оставался «РВС», сделанный еще там, в Ленинграде. И самое большое, чего он достиг, — стал известным в трех-четырех губерниях журналистом. Все свои надежды он связывал с «Обыкновенной биографией», но тоже ничего выдающегося не получилось. И об этом он тоже хотел поговорить с Мишей.

Ландсмана считали замкнутым. Знакомые, в особенности родня, обижались «за нелюбезность». А Миша просто видел и понимал больше того, что ему могли рассказать. И умел ответить одним словом там, где другие говорили бы часами.

Миша никогда никого не утешал. Не признавал даже «святой» лжи. Спорил беспощадно и резко. И когда через несколько лет Мишу обвинили «во вредительстве», он доказал, что произошла ошибка. Предъявленное обвине-

ние к нему не имеет ни малейшего отношения. И его освободили. Помогло достоинство, с которым он держался, и заступничество товарищей по военной академии.

В первый же московский вечер, который они провели вместе, Миша сказал: то, что он после Донбасса не возвратился в Ленинград, было малодушием и ошибкой. «Ты сам говорил: почти все твои ленинградские товарищи прошли войну: кто гражданскую, а кто еще и мировую. И они бы, конечно, тебя не осудили, что ты не написал «Взрыв», раз тебя снова свалила давняя контузия».

Еще Миша говорил: он много узнал и профессионально приобрел, работая газетчиком (и это еще очень пригодится), но как писатель он, видимо, столько же и потерял. В Ленинграде была литературная среда. Было окружение. Каждый нес на отзыв товарищам только что сделанное. И он, конечно, равнялся и тянулся. Потому «РВС», написанный в Ленинграде, хорош по сюжету, мальчишеским характерам, хорош по наивной и в наиве своем поэтичной интонации. И в первом этом рассказе есть уже умение. Даже какое-то мастерство.

А потом он почти все это растерял. И только теперь, в «Обыкновенной биографии», показал себя как сильный и мужественный талант. Жаль, что между двумя хорошими книгами пролегло пять лет.

Ему постелили на дырчатом фанерном диванчике. Он лег, растревоженный разговором, сожалея об упущенном, и в то же время радостно успокоенный.

Утром же, когда остался один в квартире, вчерашние сомнения проснулись вместе с ним.

Думал: Миша, который, конечно, никогда не соврет, мягко, но прямо сказал: он лишь теперь возвращается к тому, что было пять лет назад. И выходит, он отстал от самого себя, не говоря уже о других.

И потому хватит лезть в писатели. Он обыкновенный, провинциальный журналист. В этом обыкновенность его биографии. И если его так сильно тянет на повести и рассказы, то существует много раз выручавшая его газета, которая все стерпит. Он так все честно скажет и в издательстве.

И когда Миша вернулся с работы, увидел некоторое количество единолично опорожненной посуды и тихо спросил, много ли он за день успел, а он ответил, что вообще этой ерундой никогда больше заниматься не будет, Миша запер его на следующее утро на ключ, дав честное слово солдата, что не выпустит из квартиры, пока повесть не будет готова к переизданию. Если для этого понадобится месяц, он будет сидеть взаперти месяц. Если год, то год...

Каждый вечер теперь с карандашом в руках Миша перечитывал страницы «Обыкновенной биографии» с его правкой, изредка поправляя что-нибудь сам. Затем говорил: «Ну, арестованный, пойдемте, вам положена прогулка...»

Через неделю он отнес повесть в издательство. В редакции посмотрели, много ли помарок, разберет ли машинистка, и отдали в перепечатку. А еще через несколько дней повесть заслали в набор.

Они с Мишей зашли в приличную фотографию. Он уселся на стул, Миша стал рядом. Он прижался, чуть склонив голову, к Мише. Фотограф сказал: «Смотрите сюда!» На снимке получилось: рядом с высоким, сильным, строгим Мишей, доверчиво прислонив к Мише голову, — он. И по лицу его видно: ему сейчас спокойно-спокойно. Впрочем, так на самом деле тогда и было [1].

ПУТЕШЕСТВИЕ В «ДАЛЬНИЕ СТРАНЫ»

Взлет и падение

В Артек попали к ночи. Он постеснялся дать телеграмму, и потому добираться от Севастополя пришлось на подручных. На это ушел весь день. Последние километры от Гурзуфа брели уже пешком вдоль берега моря. Он думал, вдоль берега будет короче. Оказалось длиннее.

И Тимур, который сперва бодро заявлял, что нисколечко не устал и хочет помогать нести чемодан, все чаще повисал на чемоданной ручке: «Папка, почему одна речка называется речкой, а другая — море?» — «Подумай». — «А-а, понимаю, — обрадовался Тимур, — у моря другого берега нет?»

— Папка, — спросил Тимур через минуту, — а куда мы все-таки идем?

— Как куда?.. В дальние страны!

Тимур засмеялся:

— Я знаю, ты шутишь. «Дальние страны» — твоя книжка, какую ты пишешь... — и тут же с обидой: —

Папка, папка, ты бы меня хоть на руки взял. А то мы все идет да идем, а конца все нет и нет...

В Артеке его поселили в маленькой комнате пансионата для работников Цекамола. А Тимура зачислили в отряд к Соне Фрадкиной, которая, как потом выяснилось, не хотела его брать: «Напихаете мне в отряд малышей, — жаловалась она, — куда я с ними денусь?»

Путевкой в Артек ему послужила «Обыкновенная биография». Пошли письма. Появились статьи. Книгу сравнивали с «Семейной хроникой» Аксакова, трилогией Льва Толстого и «Разгромом» Фадеева.

Неторопливый Госиздат, узнав о предстоящем выходе книги в «Роман-газете», поспешил выпустить отдельное издание, переименовав повесть без спросу в «Школу». Название получилось невыразительным и пресным. Но нельзя же из-за всего писать в «Правду».

Он остался в Москве. Жил пока у Ландсманов. Перед самым приездом Лили с Тимуром снял номер в гостинице «Центральная» (бывшая «Дрезден») и, везя жену с сыном с вокзала, нарочно выбрал такой маршрут, чтобы Лиля увидела громадный плакат, протянутый через всю улицу:

«Обыкновенная биография», повесть Гайдара, скоро выходит в «Роман-газете для ребят».

Плакат был старый. Его позабыли снять.

Горничная открыла дверь в номер. Он пропустил гостей вперед, чтобы они сами обнаружили блюдо с миндальными пирожными на столе (их особенно любила Лиля) и почти настоящую железную дорогу посреди комнаты на полу. А рядом с железной дорогой — деревянный конь под седлом, с задранной мордой, деревянный грузовик, в кузове которого, если только не с ногами, мог поместиться Тимур. А он еще после обеда взял Тимура в Мосторг и купил белую папаху, красные сафьяновые сапожки, кавказский бешмет с газырями и наборный поясок с кинжалом. Тимур только сожалел, что кинжал попался, кажется, поломанный, потому что не хотел ни за что выниматься из серебряных ножен.

Жить в гостинице было хорошо, однако дорого. И он снова, как три года назад, снял квартиру в Кунцеве.

Из Архангельска малой скоростью доставили контейнер с мебелью: Тимуркин столик, Тимуркина кровать, два старых зеленых кресла. Все остальное — ящики: ящики для сооружения письменного стола, ящики, заменяющие кухонный стол, ящики, заменяющие буфет.

Жизнь в Кунцеве наладилась довольно быстро. По саду и дому бегал Тимур, которого он усаживал иногда на забор и говорил: «Птички летят!» Тимур взмахивал руками, терял равновесие и падал, а он его ловил, случалось, у самой земли.

Лиля работала на радио. Каждый день ездила в город. Изредка, скучая по недавнему мужскому братству, их навещал Миша Ландсман.

Самодельный стол его вытащили на веранду. Утром, когда все уходили на работу, на участке и в доме делалось тихо. И только слышалось топ-топ-топ Тимура.

Впервые за несколько лет ему не нужно было бежать в редакцию. Он мог сидеть и писать не статьи, не фельетоны — книги.

Взволнованный успехом, в особенности письмами, которые заканчивались одним и тем же вопросом: «Будет ли продолжение?» — принялся за вторую часть «Школы» — Борис Гориков приезжает из воронежского госпиталя. Дом. Встреча с ребятами — комсомольцами. А в целом замысел был таков: в первой книге он показывал, что такое фронт, что такое война и как опыт минувшего может пригодиться в будущем.

А во второй думал рассказать о комсомоле военных лет: комсомоле Арзамаса, комсомоле Украины, Тамбовщины, Сибири... Борис продолжает метаться по стране, но в книге он уже немного сбоку. А главное — что́ Борис видит и узнает о своих сверстниках.

Поначалу работа шла хорошо. Затем чуть замедлилась... и вовсе остановилась. Первые главы явно удались. За минувший год он особенно многому научился. И, перечитывая рукопись, видел: сделано добротно, крепко... Тем не менее даже в первых главах чего-то недоставало. Позднее понял чего: он не знал комсомола, не знал комсомольцев. В армии комсомольская жизнь была иной, нежели, допустим, в Арзамасе. В армии она сливалась с боями, с войной.

И вдруг ясно-ясно: «Писать нечего... Все... Выхлестнулся...»

«Молодая гвардия» и Госиздат продолжали пересылать письма: «Ув. тов. Гайдар, ответьте, пожалуйста, почитателям Вашего таланта...» А в это время «почитаемый талант», желтый от бессонницы, неутолимой душевной

боли и сознания своей никчемности, метался, как в клетке, по дому и маленькому саду.

Да, неудачи бывали, но чтобы сел и не написал — только однажды, когда не получился «Взрыв», когда не смог вернуться в Ленинград, и в том, что срыв наступал за взлетом, была пугающая цикличность.

Снова искал опору под ногами, пряча растерянность за шутливыми строками вроде беззаботных писем.

«Боренька, — писал Назаровскому. — За эти два года — что мы не виделись — постарел я также ровно на два года, и сейчас мне уже не больше и не меньше, как 26 годов и сколько-то там месяцев. Много за это время я ездил по Северу, а теперь вот уже полгода, как живу в Москве. Не работаю пока в газете нигде, но скоро буду работать — потому что долго без газеты скучно».

Скука здесь была другого рода... Правду ж писать не хотел: никто не любит неудачников. Кроме того, нужны были деньги. Поначалу из полученного за оба издания «Обыкновенной биографии», а также за «Графские развалины» что-то еще оставалось. И он твердо решил экономить, с точностью до копейки высчитывая расходы в пределах рубля, но затруднялся сказать, куда в короткий срок ушло несколько тысяч.

«На хлебушек» оставалась только Лилина зарплата, которая при его методе экономии не гарантировала материального благополучия.

Стал писать для «радиопионерской газеты», в которой работала Лиля. И для «Рабочей газеты». Ездил на Магнитку — первую грандиозную стройку, где довелось побывать. Его восхищал размах строительства. Он гордился самоотверженностью людей, которые в пургу и мороз работали в открытом поле, когда и в гостинице-то сидеть было холодно. Злила неразбериха, из-за которой срывались планы, а главное — срывался тот прекрасный ритм, в котором трудились люди. И он по обыкновению вмешивался.

Но поездки и статьи для газет были «отхожим промыслом». А новый и неожиданный поворот всей дальнейшей его работе подсказал драматический случай.

В нескольких километрах от Кунцева находился полигон. И однажды, перепутав дни стрельб, которые проводились трижды в неделю, ватага малышей отправилась на полигон за грибами, решив заодно посмотреть домики-мишени.

Разрывы снарядов застали ребят возле самых домишек. Перепуганные дети забрались в полуразрушенный блиндаж, который, к счастью, оказался поблизости. В блиндаже было темно. Земля от взрывов ходила под ногами. С потолка и стен осыпался песок.

Тогда, чтобы не было так страшно, ребята принялись рассказывать истории про смелых людей. А под конец даже запели «По долинам и по взгорьям».

Случай на полигоне взбудоражил весь поселок. Одних потрясло, что ребята свободно могли погибнуть. Других — самообладание детей. Когда ребята, бывало, не трусили в гражданскую, их к этому готовила обстановка. Они видели, что в похожих случаях делали старшие. А тут малыши, которые и родились-то после войны, попав под артиллерийский обстрел, вели себя по-солдатски находчиво и мудро.

Случаю на полигоне посвятил стихи. Переданные по радио, они вызвали поток писем: люди хотели знать подробности. И он написал «Четвертый блиндаж». Писал неторопливо, много раз переделывая каждую главку. После больших повестей было приятно работать над маленькой вещью.

Рассказ тут же напечатали отдельной книжкой, но никакой уверенности, что нашел себя в новой теме, не было.

...Вернулся из очередной командировки — и не узнал Кунцевского поселка. Весь тупик был занят «товарными вагонами и платформами. Горели костры, дымилась походная кухня, бурчали над кострами котлы. Ржали лошади. Суетились рабочие, сбрасывая бревна, доски, ящики и стаскивая с платформы повозки, сбрую и мешки».

Тихий дачный поселок превратился в громадную строительную площадку. По соседству же создавался колхоз. В домах шли разговоры: кто записался, а кто нет. И получалось даже смешно: он ездил, чтобы писать о строителях, в дальние-дальние страны, на Урал и в Сибирь. А такие же «дальние страны» начинались рядом с домом.

Жители поселка, избы которых попали в зону строительства, спешно переселялись в новые. И уже через несколько дней по тому месту, где стояла покосившаяся хатка, катил маневровый паровоз. И если даже у него, взрослого человека, с трудом укладывалось в сознании, как все это может быть, что́ при виде небывалого должны были испытывать дети?

И он задумал книгу о пятилетке, как ее мог понять и увидеть мальчишка, любой из тех, что день и ночь крутились возле рабочих. И сразу пригодился «Четвертый блиндаж» — вернее, интонация и тот наивный, из детства, взгляд, который был в рассказе.

Интонация — это был его камертон. И пока его камертон, понял он, будет в нем звучать, работа не прервется и не остановится.

Он писал про чуть смешных друзей Петьку и Ваську, про бывшего машиниста Ивана Михайловича, который всегда рассказывал «что-нибудь интересное про прежние годы, про тяжелые войны, про то, как белые начали да как их красные кончили», и еще про то, как нынешний колхозный председатель Егор (в войну — помощник машиниста) спас бронепоезд, когда Ивану Михайловичу оторвало осколком руку. Подвиг Егора должен был стать мерилом его человеческой ценности в последующих событиях...

Работал круглые сутки. То есть за столом несколько часов, но думал о повести даже во сне. Просыпаясь ночью, говорил Лиле: «Запомни: палатка и компас, компас и палатка». А утром нужна была абсолютная тишина, чтобы слушать, как чистый, не передаваемый никакими нотами звук внутри него отливается в живые слова — строки.

Но приходила усталость. Тогда опять начинал сомневаться — искал кому бы почитать. И в углу издательского коридора наизусть рассказывал только что законченное. И общее мнение было: «Дальние страны» — это «очень милая и грациозная повесть».

На беду пошли неприятные письма. Издательство напоминало о сроках, требовало представить рукопись, чтобы сдать на иллюстрацию, либо вернуть аванс, грозя взыскать его в «бесспорном порядке». Деньги были давно истрачены. Повесть же написана в лучшем случае на две трети. Сдавать художнику было нечего. Он же отвечал: все готово. Шлифует и отделывает. Его на время оставляли в покое, тем более что главы «Дальних стран» уже передавали по радио.

И никто не знал, что, увозя всякий раз в редакцию очередную стопку исписанных и исчерканных страниц (единственный экземпляр!), Лиля молчаливо спрашивала: будет ли продолжение?..

И если раньше нисколько не сомневался, то теперь

не знал и сам: работать в Кунцеве ему становилось все трудней...

И однажды Лиле в самом деле нечего было везти. По радио передали: «На этом мы пока заканчиваем чтение глав из новой повести Гайдара».

А без музыки внутри писать «Дальние страны» было нельзя. Это не «Лбовщина» и не «Графские развалины». Самое обидное, что и работы оставалось на несколько дней, но внутреннего покоя уже не было.

Давно приглашали в Артек. Можно было поехать и теперь, но Тимур?.. Ему сказали: «Берите и сына. Определим в отряд».

И вот он в Артеке. Кругом спокойно. До обеда все ребята на море. Или в парке в тени. Возле домика, где поселили его, их даже не видно. Сиди и работай. А ему не по себе.

«Шли, шли, — записал по приезде в дневник, — и пришли, наконец, в «Дальние страны».

Но надолго тяжелым пятном останется в памяти у меня отъезд в эти страны...» *

Лагерь у подножия Аю-Дага

В Артеке нравилось. Природа Крыма, воздух Черного моря и синих гор возвращали силы, но — заносил он в тетрадь: «Последние события в Москве — кожу мне сорвали. Пусть бы уж все началось двумя-тремя днями позже. Жалко, испортили хорошую книгу» *.

Постепенно московские впечатления смягчились: их заслонили работа и жизнь в лагере.

...Артек основал Зиновий Петрович Соловьев, который возглавил «службу здоровья пионеров». Как все настоящие партийцы, это был донельзя занятой человек: заместитель наркома здравоохранения, начальник военно-санитарного управления Красной Армии, председатель Российского общества Красного Креста.

Только романтик, не забывший собственного детства, мог выбрать для лагеря такое место, как Артек.

По замыслу, это был санаторий и лагерь по обмену опытом одновременно. Отряд приезжал со своим вожатым. В первое лето у подножья Аю-Дага стояли четыре большие американские брезентовые палатки. В старом потемкинском домике оборудовали кухню и бельевой склад. Там же помещалась пионерская комната.

Соловьева **он** уже не застал. Соловьев умер. Зато при **нем** еще работал первый директор и первый главный врач Федор Федорович Шишмарев, который прожил тридцать лет среди детей.

Шишмарев признавался **ему**: «Я не обращаю внимания и не слышу детского шума». Когда Федор Федорович появлялся в отряде, не останавливались игры и не прерывались песни, Федор Федорович сразу сливался с детьми.

Несмотря на отбор, или, наоборот, благодаря чересчур старательному отбору педагогов под стать Шишмареву в Артеке было немного. «Опытен, — писал **он** в дневнике об одном, — но опыт построен на изучении до тонкости техники воздействия на ребят, но не на понимании самих ребят. Похож на тореадора и на бывшего офицера. Культурник, — отмечал **он** тут же, — этот свой, ведет хорошо и непринужденно».

При **нем** палаточного городка уже не было. Стояли корпуса Верхнего и Нижнего лагерей. Ребят присылали уже не отрядами, а по одному и непременно (главное условие) за немалые ребячьи заслуги: за спасенный от крушения поезд; придуманный и построенный «очистительный завод», который умещался на двухколесной тележке, но позволял заправлять тракторы и машины в поле жесткой известковой водой; за выхоженных колхозных телят или подготовленных для Красной Армии коней; за успехи в художественной самодеятельности и техническом творчестве; за участие в пионерской работе, которая принесла всем зримые результаты...

Теперешним артековцам уже не приходилось самим носить из колодца воду, а в обед, вооружась поварешкой, разливать по мискам суп, но в Артеке сохранилась и развивалась главная его традиция: лагерь оставался школой всего, что могло пригодиться подростку, особенно в трудную минуту.

Артековца учили плавать и спасать утопающих, грести, ездить на велосипеде и (с преодолением препятствий) верхом, учили стрелять из мелкокалиберной винтовки, водить машину, фотографировать, работать телеграфным ключом, сигнализировать по-флотски флажками, ставить паруса.

Ребята окучивали виноградники, убирали камни с полей, поливали огороды, помогали собирать урожай. А самые первые артековцы еще и немало строили. И все это — с песнями от подъема до отбоя (с перерывом на послеобеденный «абсолют»).

В Артеке при строгом медконтроле была найдена мера физической и всякой иной загруженности, которая, кроме немалых практических знаний, давала подлинную физическую выносливость и закалку. Этому служило все, даже знаменитые артековские костры, когда вожатый объявлял: «Сегодня у нас костер, где он будет, не скажу. Кто его зажжет, не знаю. Знаю только, что зажжет его самый сметливый. К костру надо идти по дорожным знакам. Знаки укажут также, где спрятаны спички. Открывается соревнование на быстроту, сметливость и лучшее знание дорожных знаков...»

А кроме того: стенные газеты, кружки рисования, пения, танца, гимнастики, сдача норм на оборонные значки.

За тридцать-сорок дней, проведенных в лагере, артековец успевал научиться столь многому, что, возвращаясь домой, был уже не просто пионером — он был пионерским организатором.

Очень хотелось понять, что сумеют в жизни ребята, которые прошли школу артековского лагеря. И **он** внимательно присматривался ко всему, что удавалось увидеть в короткие часы роздыха.

«Прощальный костер пионеров, — помечал **он** в дневнике. — Разъезжаются. 24 приезжает новая смена. Запомнился пионер Колесников — угловатые плечи, жест рукой к земле. Говорил крепко и хорошо».

И тут же о другом: «Костер у вожатых — плохо. Ни чутья, ни политического такта...»

Возможно, в иных оценках бывал резковат, но в Артеке, по **его** убеждению, не должно было быть педагогического брака. Неудачный опыт, равно как и удачный, освещенный в душе подростка незабываемым отблеском моря и артековских костров, через месяц увозился во все концы страны...

«Однако торопят...»

Тимур жил в отряде, совершенно уверенный, что его «записали в пионеры»: спал в общей палате, выбегал на линейку и, вообще, вел себя, как гордый своим званием пионер. Тимур был самый маленький и забавный. И его любили.

Сам он первые дни был целиком предоставлен себе, избегал встреч с ребятами (не было душевных сил для бесед), завел строгий распорядок дня и старался ни о чем личном не думать, кроме «Дальних стран».

Просыпался очень рано. До горна. Шел к морю. С полчаса, верно, купался. И это время было, может, единственным, когда чувствовал себя свободным от рукописи. Однако едва успевал одеться, мысли возвращались к работе. У него еще не было под руками ни карандаша, ни клочка бумаги, но он уже думал о той сцене, том «куске», который должен быть сегодня написан. Он мысленно видел глухой полустанок и лес, немного похожий на кунцевский, но более глухой и мрачный. И в том лесу — заблудившегося Петьку, слышал тихий плач Петьки...

В столовой уже не замечал, что ел. В два-три глотка выпивал чай и быстрыми шагами направлялся в свою комнату. И когда наконец уже сидел за рукописью, слова не шли. А если шли, то не те.

Сердясь на себя, без конца обводил пером одну и ту же букву, пока она не вырастала до огромных размеров. Или рисовал смешные рожицы, хотя было не до смеха, рисовать же грустные не умел. Выходило что-то вроде «человека, который смеется».

К концу третьего или четвертого дня, совершенно измучась, бросил все к черту и пошел в Гурзуф смотреть дом Раевских, в котором в 1820 году останавливался Пушкин.

Увидел довольно облезлый «замок», в нижнем этаже которого, по преданию, и поселили Пушкина. Зато хорошо сохранился большой и запущенный парк. Рядом, за оградой, плескалось море. Оттуда доносились голоса. А здесь было тихо и пустынно. И запущенность парка создавала ощущение незыблемости и нетронутости, волнуя осязаемой близостью прошлого, словно Пушкин бродил этими дорожками и спускался к морю, быть может, еще вчера...

После прогулки в Гурзуф записал: «Работаю над концом «Дальних стран». Иногда же мысли о повести перебивались другими: «В давние годы, там, где теперь Артек, доживала дни своей бурной жизни графиня де Ламот, та, о которой писал Дюма («Чертов домик на берегу моря»)» *.

Знай он об этом раньше, сюда, к «чертову домику», можно было перенести действие «Графских развалин», припомнив Дюма, мушкетеров, заставив бандита Хряща искать драгоценности дерзкой графини, похищенные ею у самой Марии-Антуанетты...

Впервые за много лет дневник (в его манере: несколько слов, понятных ему одному) опять стал поверенным того, что не хотелось рассказывать другим. Сюда же заносились наброски эпизодов заключительных глав.

«Доканчиваю «Дальние страны».
— Петька.
— Стог сена.
— Усталость. Сказать или не сказать?..
— Иван Михайлович.
— Песня Ермолая.
— А ведь это Ермолай убил Егора.
— Похороны.

Однако торопят — телеграмма за телеграммой, да и нужны деньги. Мне очень жаль, что из-за последней истории я не смог ее (повесть) закончить в Кунцеве» *.

1 августа.

«Очень много работал над концом «Дальних стран».

Я твердо уверен, что, имей я возможность поработать над книгой еще две недели в спокойной обстановке, книга была бы намного лучше».

2 августа. «Очень много работал над «Д. с.» с утра до ночи».

3 августа. «Ночью я закончил наконец «Дальние страны». Итого получилось немного более пяти печатных листов. Я очень боялся за эту книгу. Мне сорвали работу над ее концом, и иногда мне хотелось отбросить ее в сторону. Но тогда скандал был бы огромный, потому что я заключил договор уже как на законченную и сданную книгу. Да и жалко было...

Так сумели сложиться обстоятельства...» *

Все это время старался жить по возможности неприметней. Очень много сил отнимали повесть и думы о том, «как теперь сложится жизнь, когда я вернусь в Москву... Возможно, — размышлял он, — не так, как нужно бы. И поэтому у меня только одно желание — работать и работать, чтобы сколько возможно успеть сделать все нужное и важное...» *

Но было еще одно обстоятельство, из-за которого не спешил близко знакомиться с детьми. Пока в лагере

почти никто не знал, что он писатель, и молчаливо считалось, что это какой-то работник Цекамола, он мог тихо, неприметно сидеть на кострах, на сборах, не выступая и не отвечая на вопросы: «Ну, как вам понравился костер?» Слушал, никого не смущая, рассказы ребят о самих себе. А если уставал или нужно было что записать, незаметно подымался и уходил.

Но долго продержаться в тени все же не удалось. Во-первых, познакомился со своими соседями по пансионату. Во-вторых, Тимур в отряде по разным поводам заявлял, что он Гайдар. И хотя ребятам в Артеке было не до чтения, в библиотеке вмиг расхватали его книги. Одному парнишке досталась «Обыкновенная биография» в «Роман-газете для ребят», с портретом и автобиографией, и несколько мальчуганов целый день ходили за ним, рассматривая и сравнивая.

Тимур впервые попал в коллектив. И его волновало, каков Тимур с другими детьми: не заносчив ли, не капризен ли, не хвастлив ли? Вожатая Соня Фрадкина говорила: «Ну что вы, Аркадий Петрович, он такой... он такой малыш». Но к восторгам он всегда относился недоверчиво, его, например, огорчало, что Тимур не любит мыться в ключе, а когда они шли с ним купаться, боялся выше коленей заходить в море.

Но одного он все же добился: обо всем, плохом ли, хорошем, Тимур ему рассказывал сам.

Конечно, не успевал Тимур напроказить, кто-нибудь уже мчался к нему со всех ног: «А вы знаете... А вы знаете...» Он выслушивал и спрашивал: «Ты думаешь, ябедничать на своего товарища по отряду хорошо?» И ждал вечера, когда Тимура можно будет ненадолго забрать из отряда, спуститься к морю, побросать камушки, половить крабов, спеть любимую песню:

Товарищи в тюрьмах,
В застенках холодных,
Вы с нами, вы с нами,
Хоть нет вас в колоннах,

а заодно поговорить о прожитом дне.

И если день получался так себе, Тимур долго тянул, тяжело, надеясь на сочувствие, вздыхал, глубокомысленно, якобы от тяжких дум, качал головой. Однако наводящих вопросов не следовало. И, еще немного повздыхав, Тимур говорил: «Папка, я должен тебе сказать...» И рассказывал: ребята лезли в сад за грушами. И он полез. А груши зеленые. Есть их нельзя — стали кидаться. И он кидался. И попал нечаянно в девочку. И она, конечно, плакала. Он просил прощения. Она простила, но и после прощения все равно плакала.

— Но ты понимал, что рвать зеленые груши, а тем более кидаться ими нельзя?

— Понимал.

— А слово вести себя как следует давал?

— Давал.

— Сдержал его?

— Нет...

— Все.

Возвратясь в лагерь, просил, чтобы Тимура за хулиганство перевели в другую палату.

Как-то (еще заканчивал повесть и каждое утро думал: «Сегодня-то уж кончу непременно», а конец работы, как заколдованный, все отодвигался) пришла другая вожатая, Валя Филиппова, и сказала, что приглашает его завтра от имени отряда в небольшой поход, так, километра три... Он был огорчен, что не удастся дописать книгу и сегодня, и ответил, что, к сожалению, никуда не сможет пойти. Однако перед обедом, перечитав написанное, увидел: получается крепко, хорошо. Решил: в поход пойдет непременно. И стал готовиться.

Всем ребятам не давала покоя кубанка, в которой он ходил. Ее примерил и поносил едва не весь Верхний лагерь, а частично и Нижний. И он выпросил в библиотеке старую подшивку и наготовил шапок-шлемов на весь отряд. Затем поднялся в горы и срезал в горах две ровные, упругие ореховые палки...

И когда на следующий день в условленный час санаторный отряд Вали Филипповой был уже построен — пришел с кипой краснозвездных шапок, двумя тугими луками и связкой ровных, оперенных стрел. Поднялся восторженный вой и визг, но он его решительно пресек, заявив: визжать так может лишь октябрятская мелкота, а они — бойцы особой революционной горнострелковой роты. Командир этой роты — он, комиссаром назначается Валентина, взводными — бывшие звеньевые, каждый из которых получает лук. Стрелы же понесут ординарцы.

В условиях нынешнего похода, продолжал он, особое значение приобретает санитарная служба. И если

кто по дороге начнет рвать и засовывать в рот грязными руками зеленый виноград, то получит три наряда вне очереди, поскольку немытые ягоды могут привести к заметному ослаблению боевой мощи...

Уточнили маршрут похода с таким расчетом, чтоб в удобном месте провести стрельбы по мишеням, не рискуя попасть в непрошеных гостей. И с песней: «Прокати нас, Петруша, на тракторе, до околицы нас прокати» — двинулись в путь. Однако спохватились, что в походе и песня должна быть попоходней. И, не допев «Петрушу», затянули «По долинам и по взгорьям», наверно, самую подходящую здесь, на извилистой горной дороге.

Состязание устроили на поляне, вывесив на ветках еще в лагере заготовленные мишени. Двое ординарцев, которые отстрелялись первыми, бегали по поляне и собирали стрелы. А он подсчитывал очки. Раза четыре довольно точно попадали в него самого, пока не разъяснил, что попадания в него не засчитываются.

Когда же очередь дошла до комиссара Валентины и она отстрелялась тоже, объявил, что комиссар обнаружила редкий глазомер, необыкновенную твердость руки и что-то там еще...

Валентина была польщена. Ребята ликовали, тем более что и сам он послал стрелы в середку мишени, в чем могли убедиться ординарцы. А на обратном пути сказал шепотом Вале:

«Шляпа вы, товарищ комиссар, никуда вы не попали, но я не хотел ронять ваш авторитет...»

Путь домой лежал под гору — однако ребята устали, попритихли. Песня тоже не получалась. Заметно было, что силенок у санаторников маловато. Он всех тогда остановил и тихо-тихо, почти шепотом: «Только что по радио получено донесение: лагерь захвачен белыми. Штаб противника вон в том доме. Задача пройти мимо штаба белых так, чтобы часовые никого не заметили. А через десять минут собраться под кипарисом у поворота».

Ребята рассыпались, расползлись, растворились меж камней. И хотя они с вожатой знали, куда движется их «горнострелковая рота», даже им было трудно приметить ребят. Только если среди серых камней мелькнет красный галстук.

Под кипарисами к сроку собрались все. И тогда, тоже

шепотом, отдал второй и последний приказ: «Наша дача занята противником. Нужно также неприметно к ней подобраться и по команде взять ее штурмом».

Ребята с криками «ура!» ворвались в свой корпус, к испугу нянечек, врача, медсестры и тех немногих малышей, которые не могли пойти в горы.

После похода ребята из Валиного отряда уже не отпускали его ни на шаг. Стоило только появиться на улице, мальчишки и девчонки облепляли его со всех сторон. И он ходил в обнимку по крайней мере с десятерыми. А те, кого обнять уже не мог — не хватало рук, — держались за ремень или гимнастерку.

Ребята доверили ему обременительную роль посредника во всех спорах между собой и вожатыми. И если поначалу эти разбирательства его просто-напросто утомляли то потом в них обнаружилось нечто занимательное для него. В каждом конфликте проявлялся характер и весь предыдущий опыт «истцов» и «потерпевших». И бывало, выслушав полупечальную историю какого-нибудь Баранкина и убедясь, что вина мальчишки значительно меньше, чем могло показаться, шел к Соне или Вале просить, чтобы они взяли наказанного, учитывая чистосердечность покаяния, на экскурсию или морскую прогулку.

Он все охотнее вникал в отрядную жизнь, задумываясь: а не написать ли после «Дальних стран» книжку про Артек? И даже сказал о своем намерении девочкам-вожатым, обещав: если сядет повесть такую писать, напишет и про них.

Иногда же возникали события, которые переворачивали всю отрядную жизнь. Так, в Валиной «роте» вдруг стали пропадать деньги, пока не обнаружилось, что их берет одна и та же девочка, умная, веселая, с косичками, на которую б никто никогда не подумал.

Когда ж это выяснилось и ее пригласили в пионерскую комнату, где были только он и вожатая, девочка во всем призналась и тут же сказала, что не знает, зачем брала, и даже не может объяснить, как это получилось. Ей тут очень-очень хорошо. Только теперь очень-очень стыдно. Она просит поскорее отослать ее домой, а деньги она вернет, потому что ни копейки не истратила.

Случай всему отряду был известен. Не разбирать его было нельзя. И, подготовив ребят, объяснив, как веж-

ливо они должны себя вести, провели собрание. Девочка повторила все, что сказала в пионерской комнате. Ребята ее простили. И тут началось самое драматичное: девочка не могла найти деньги.

Всего она взяла двадцать два рубля: у кого пятерку, у кого трешку, у кого рубль. И прятала в разных местах. А теперь забыла в каких. Он ходил вместе с ней, помогая искать. Пятерку и две трешки удалось найти быстро, а остальное — никак. Ребята исподтишка начали девочку дразнить. Она прибегала к нему плакать. Он объяснял мальчишкам, что дразнить ее нехорошо. Она совершила проступок, но проявила и большое мужество, когда созналась. Не каждого может на это хватить.

Спросил у Шишмарева, нельзя ли ему внести недостающие деньги. Шишмарев ответил, что нельзя, ради самой же девочки. Тогда, пойдя с нею в очередной розыск, подбросил рубль и две пятерки и дал девочке их найти.

...Если днем, до ужина, был занят в своих отрядах, то есть у Сони, где находился Тимур, или в «горнострелковой роте», в которой числился командиром, то вечером его приглашали в Нижний лагерь, к старшим ребятам.

Он рассказывал у костра о первых комсомольцах и арзамасском своем товарище Пете Цыбышеве, о друге-курсанте Яше Оксюзе, о разведчице Маше — Насте Кукарцевой. Если же спрашивали, будет ли про все это книга, отвечал: одна уже написана. И читал по памяти отрывки «Школы», а затем что-нибудь из «Дальних стран».

В каждодневных встречах с ребятами приходило ощущение наконец-то найденного пути. Оно рождалось не из того, как ему хлопали (народ тут был на знаки внимания щедрый), а из того, как слушали, хотя ребят набиралось много, какие задавали вопросы. И когда смотрел при отблеске затухающего костра на ребят — на их то серьезные, даже напряженные, а то улыбающиеся лица, — сомнения и собственные беды отступали куда-то далеко-далеко. Лишь по ночам, растревожась от собственных рассказов, видел во сне одни и те же повторяющиеся картины прошлого: вагон специального поезда, а он адъютант у Ефимова; киевские командные курсы, «случайно становлюсь комиссаром отряда... выше... выше... Срыв... и точка...» *.

Или: «Арзамас... Похороны Яшки... Зойка... Поезд командующего... Серпухов... У главкома... Срыв... больница» *.

Рано поутру шел к морю. Первая же волна, в которую нырял, смывала остатки ночных снов.

И впервые за две недели после того, как были закончены «Дальние страны», снова захотелось сесть за стол: припомнился эпизод, из которого мог получиться рассказ, а то и маленькая повесть. К тому же из «Молодой гвардии» неожиданно пришло очень теплое письмо.

В лагере прижился. Все — от Шишмарева до вожатых — просили, чтобы пожил у них подольше. Он не возражал. Центральное бюро в Москве тоже. Он мог остаться в Артеке до глубокой осени и начать новую книгу...

* * *

Записи в дневнике: «Пробовал работать — сорвано» *.

«Не могу работать» *.

«Хватит. Опять начинаю работу. Все расчеты, объяснения, разговоры — все потом» *.

Последняя запись в артековской тетради: «Сорвано. Выезжаем в Москву» *.

В Москве узнал: у него больше нет семьи.

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

Отступление

20 января 1932 года.

«Северный вокзал. 17 час. 55 мин. Я стою у ярко освещенного окна транссибирского поезда Москва — Владивосток. Гудок. Сквозь холодное толстое стекло я вижу, как самый хороший мой товарищ, мой маленький командир — Тимур Гайдар улыбается и поднимает руку, отдавая прощальный салют».

...В Москве не находил себе места. Мир оказался невыносимо тесен. Снова нужно было поскорее уехать. Но куда? Он уже не был настолько молод, чтобы ему было все равно куда. Да так никогда и не было: всегда тянуло к своим. В Ленинград поехал из-за Галки, в Пермь — из-за Коли Кондратьева и Шурки Плеско, в Архангельск...

В Архангельск можно было вернуться и теперь, но это было бы не легче, нежели остаться в Москве. Однако ему повезло. Секретарь Архангельского крайкома партии Сергей Бергавинов получил назначение на Дальний Восток, брал с собою в Хабаровск Шацкого. А Шацкий пригласил старых работников «Правды Севера». Звали и его.

Старые друзья на новом месте — это его устраивало.

Он выехал в тот же вечер и в Хабаровск попал двадцать восьмого. Дал телеграмму, но его не встретили. Плутая в темноте и не веря, что кого-нибудь застанет, отыскал приземистый каменный домик редакции. Там был дежурный, совсем еще мальчик, Витя Королев.

Витя нетерпеливее всех ждал его приезда. Особенно после того, как Петр Кулыгин дал ему прочесть «Школу». Зная об этом нетерпении, Шацкий поручил Вите его встретить, оставив дежурить машину и шофера, а Витя проспал...

Сколько мог успокоил парнишку и отправился в общежитие редакции, где ему было приготовлено место. Двери открыл другой парнишка, но постарше, который тут же нырнул обратно в постель, под груду одеял и пальто. Это был художник и сотрудник редакции Борис Закс, с которым судьба свела его надолго.

В редакции увидел всех своих: Кулыгина, Фетисова, крестника Кольку Пантелеева и, конечно, Шацкого, который тут же выставил всех из кабинета, чтобы расспросить, как самочувствие, что удалось написать после «Школы» и «Четвертого блиндажа». И еще спросил, есть ли деньги, а то можно дать. И велел занести в тетрадь приказов, что «Тов. Гайдар А. П. с 30 января с. г. назначается постоянным разъездным корреспондентом с окладом жалованья в 300 руб. в месяц. За эту ставку (300 руб.) тов. Гайдар обязан дать четыре полноценных очерка в месяц. За весь материал, даваемый сверх этой нормы, тов. Гайдар получает гонорар в общем порядке».

Итак, оклад его был хорош, а условия нелегки. За первые три недели не дал в газету ни строчки. А четыре материала за месяц сумел написать только в июле. Здесь была совсем иная обстановка, нежели, по-местному выражаясь, «на западе», то есть за Уральским хребтом, словно попал в другую страну.

«На полях Маньчжурии в течение уже трех месяцев гремят орудия, — писала 1 января 1932 года «Тихоокеанская звезда», в которой теперь работал. — Война в Маньчжурии — это зарница надвигающейся новой мировой империалистической бойни. В новом году мы ответим своим врагам на все провокации ростом социалистического строительства и героической борьбой за окончание пятилетки...»

По сообщению ДальТАССа, атаман «Семенов организует белые банды... План переброски корпуса белогвардейцев с Балкан в Маньчжурию прорабатывается в Париже и Мукдене». В других материалах говорилось, что Япония самовольно пользуется КВЖД для перевозки своих войск. Как писал один французский журналист, хотя Япония воюет с Китаем, главной целью этой войны является «прежде всего захват советского Дальнего Востока».

В Москве был задержан подданный европейской державы, который пытался совершить покушение на японского посла в Москве с целью втянуть Советский Союз в войну с Японией.

Если где-то в ближайшее время и должно было начаться, то в первую очередь здесь. Хабаровск делался чем-то вроде прифронтового города. И он, кажется, приехал вовремя.

Когда не ладилась вторая книга «Школы», с грустью думал, что придется снова пойти работать в газету. А теперь возвращение к журналистике было выходом. Сесть за новую книгу он пока не мог: не мог сосредоточиться, не мог оставаться один. Теперь же рядом были друзья, и он снова ощущал близость тяжелого, дымного, но боевого и, несомненно, героического времени.

Дорог был каждый оставшийся до возможного конфликта час, и он как газетчик обрушивался на все, что сегодня мешало строить, а завтра могло помешать воевать.

Он писал о некоем Пузанове, который вдруг закрывал инвалидную артель, присылая милиционера с приказом: «Удаляйтесь отсюда, инвалиды...» И все это, замечал он, «несмотря на постановление ВЦИК... о том, какие преимущества и льготы дарованы инвалидной кооперации».

Он сообщал о загадочном случае, когда вдруг закрывался продуктовый распределитель рабочих-полиграфистов. Было неизвестно, по чьему приказу. И краевой

прокурор тов. Андреев требовал «срочно сообщить, откуда получены вымышленные сведения об опечатании распределителя».

«Но кто же все-таки отдал распоряжение, которому не хотел верить тов. Андреев? — спрашивал он в фельетоне «Ничего не вымышлено». — Может быть, горпрокурор? Нет. Крайисполком? Нет. Нет и нет. Не кто иной, как сам тов. Андреев...»

Во всех его фельетонах речь шла «не о фонтанах» — о самом насущном, без чего не мог отстраиваться громадный, стремительно обживаемый край.

«На Артеме жалуются, — сообщал он: — «Не живут подолгу вербованные. Не нравится. Одни едут, другие уезжают. Беда с таким народом».

И он задался вопросом: «Отчего беда?» И ездил по станциям, где «в ожидании поезда разместились целые таборы со всем своим барахлом». Иные «с целой оравой ребят». С января по июль, замечал он, «больше чем на сто процентов сменилась рабочая сила на Артеме. Отчего уезжают, на что жалуются? Жалуются не на то, что вообще плохо, а на то, что порядка мало. А так как порядок зависит не столько от объективных причин, сколько от «распределителей», то едут туда, где, понаслышке, распределители опытней и лучше.

Возьмем, например, артемовскую столовую. Если на дворе солнце, то и в столовой сухо. Если на дворе дождь, то и в столовой дождь. Он падает по головам, мутные струйки стекают на столы, на хлеб, в суповые чашки. Обедай хочешь под брезентом, хочешь с зонтиком».

Некий Титов, поставленный руководить общественным питанием, считал: крышу должно чинить рудоуправление. Рудоуправление отвечало: «Десять раз вам предлагали: возьмите у нас со склада два-три куска толя и чините. Работы всего на полчаса».

И вот пока они уже не первый месяц препирались, «какой-нибудь Сергей Васильев, которому изо дня в день капает на затылок обеденный дождик, решает: «А что, елки-палки, не поехать ли мне с Артема на Сучан? Езды полсуток, а столовая, говорят, там лучше...»

При этом, показал он, администраторы, оргталантов которых не хватало, чтобы залатать крышу куском толя, были не в шутку озабочены тем, чтобы придать своему безделью вид бурной деятельности, дабы всегда можно было сказать: «Он просил, а ему не дали. Он искал и не обрел. Он стучал, и ему не ответили. Он заказал, а ему не сделали. И вместо того, чтобы найти выход из положения...», «совбур» торопился «снять», «сложить» или «переложить» ответственность на другого, запасаясь охапкой документов.

Техника была такова: «Телеграмма. Срочная. Союзтара. Шлите ящики, мешки, бочки. В случае несвоевременной отгрузки снимаю с себя ответственность и ПЕРЕКЛАДЫВАЮ ЕЕ НА ВАС».

Вверху на телеграмме пометка: «Копия: крайпрокуратура, секретарю крайкома, президиуму крайисполкома, ОГПУ, крайРКИ».

Получив такую телеграмму, «бюрократ из Союзтары на лету... подхватывал эту свалившуюся на него ответственность и перекладывал ее дальше примерно так: «Телеграмма. Срочная. Дальлеспром. Ускорьте отпуск лесоматериалов для заготовки тары. В случае запаздывания ответственность перекладываю на вас». Над телеграммой пометка: «Копии» и т. д.

Но «метание копий» не заменяло работы. Это, в частности, обнаружилось на выездной сессии крайсуда, где разбиралось дело руководителей строительства авторемонтного завода, который в случае военного конфликта приобретал особое значение.

Прикрываясь «объективными» причинами, руководство заставило пятьсот рабочих «стыть в дырявых бараках и мокнуть под проливным дождем». Причем в Дальстройтрест шли «лживые, самовосхваляющие рапорты о том, что основные недостатки устранены, несмотря ни на какие трудности».

А в это время за спиной «метателей» рапортов действовал некто Бондарь, он же Хохлыга, убежденный контрреволюционер, принятый на должность заведующего столовой по истрепанной справке, изготовленной в тюрьме, откуда он бежал. Обед у Бондаря-Хохлыги подавался «с хрустящим песком», суп — «из горького непромытого пшена», разбавленного крутопосоленной водой. И на все вопросы... «Почему это столовая № 23 кормит такой, точно нарочно приготовленной дрянью, — следовал всегда вразумительный ответ... что обед готовится из казенных продуктов, что за качество продуктов столовая не отвечает и что, наконец, каждый должен помнить о переживаемых трудностях...».

«Будет суд. Будет приговор, — заключал он статью

из зала суда, — но этого мало. Нужно, чтобы дело стройки № 5 стало последним сигналом, последним предупреждением всем тем, кто умышленно или неумышленно собственную бездеятельность, лень, головотяпство, барски-наплевательское отношение к нуждам рабочих прикрывает ссылками на трудности и тем самым замазывает действительную природу трудностей, возникающих в... процессе строительства социализма...»

Как-то раскрылась дверь кабинета Шацкого. Вышел редактор и высокий незнакомец лет сорока в сиреневом заграничном костюме, со скуластым, рябоватым лицом, в котором было что-то прирожденно-сибирское. И в то же время собранность и строгость.

Это был Елпидифор Иннокентьевич Титов, назначенный заведующим сектором международной политики с дежурным окладом в 300 рублей.

В свое время Титов закончил Иркутский университет. Объездил Китай, посетил Японию, но западнее Иркутска не бывал нигде. Титов знал в совершенстве японский, английский, немецкий, французский, неплохо китайский, итальянский, испанский, кроме того, языки наших северных народов, потому что считал: в нем течет тунгусская кровь.

Втроем — с Титовым и Заксом — они дружно жили в своей комнате. Дружно — и в бесконечных спорах, зная, что ни один из них не переубедит остальных, и заранее мирясь с этим. Зачинщиком большинства диспутов выступал он. Бывало, успешно вдвоем с Заксом атакуя Титова и видя, что Титов выдыхается, а спор грозит иссякнуть, он внезапным маневром блокировался с недавним противником и нападал на Закса, чтобы потом снова атаковать «Титкинса». Это была веселая дружеская игра, которая требовала немалого искусства полемики, а также знаний.

Спорили обо всем. Серьезно — о коллективизации, будущей войне, экономическом и военном потенциале Японии и западных стран. А с игрой и шуткой — об искусстве, например о Матиссе. Закс хорошо знал мировую живопись, потому что учился на художника. У Титова, в библиотеке на КВЖД, была редкая коллекция репродукций.

К чему относился вполне серьезно — это к совместным занятиям с Титовым французским. К его удивлению, помнил из школьного курса куда больше, нежели

можно было предположить, но произношение у него в самом деле было *нижегородским*. И тут уже ничего нельзя было поделать. Так они и беседовали: Титов на парижском, а он — арзамасском диалекте.

В полушаге от войны...

Из перехваченных секретных бумаг стало известно о вполне реальных планах нападения Страны Восходящего Солнца на Советский Союз. «Японо-советская война... — говорилось в этих документах, — должна быть проведена как можно скорее. Мы должны осознать, что по мере прохождения времени обстановка делается все более и более благоприятной для них...»

При этом Япония, понимая, что в одиночку с такой страной, как наша, не справиться, делала ставку на то, чтобы «вовлечь соседей и другие государства в войну с СССР».

Японские документы были опубликованы в нашей печати 8 марта 1932 года. А через три дня некто Штерн по заданию зарубежного центра в Москве средь белого дня ранил несколькими револьверными выстрелами советника германского посольства фон Твардовского. На суде Штерн признался, что принял советника за германского посла фон Дирксена и что цель покушения — спровоцировать войну с Германией.

Не прошло и месяца — белогвардеец Горгулов убил на книжной выставке в Париже президента Франции Думера.

«Парижский выстрел, — писали газеты, — попытка создать новое Сараево».

«Горгулов прямо заявил, что ставил себе целью вызвать войну между Францией и СССР».

А еще через неделю «Тихоокеанская звезда» сообщила о провокационных призывах японской газеты «Нихон» к нападению на Советский Союз.

Заметались по Хабаровску всадники на взмыленных конях. Шли по ночам по городу, растворяясь в темноте, только что прибывшие части. Толпились возле военкомата мальчишки, глядя на желавших записаться в добровольцы. В магазинах расхватывали все, что можно было купить без талонов.

Даже будничное воспринималось теперь сквозь призму происходившего на мировой арене. «Очень важное

постановление о мясозаготовках», — помечал он в дневнике. И через два дня: «Написал большой очерк о мясной проблеме. Вернее, не очерк, а памфлет о кроликах. Писал и подклеивал листы, получилось три аршина».

Он объездил все базы и питомники, понял, что реальные условия для разведения кроликов в условиях края есть. Нашел фермы, где кролиководством занимались с умом. И выступил с конкретной программой.

«Пускай Кроликоцентр еще не раскачался, — заканчивал он. — Пускай ЦРК возится около деликатесных огурцов... Ничего. Они заработают. А если не захотят, то их заставят работать теми темпами, которые требуются...»

Был резок, потому что передышка кончилась. На раскачку времени уже не оставалось.

«За последние дни, — писал в дневнике, — в Хабаровске спокойнее. Немного улеглись толки о возможности войны. А все-таки тревожно. Все чего-то ждут». Он ждал со всеми. Неизбежность войны была очевидной. Неясным оставалось одно: сколько продлится отсрочка: еще месяц? Три? Год?..

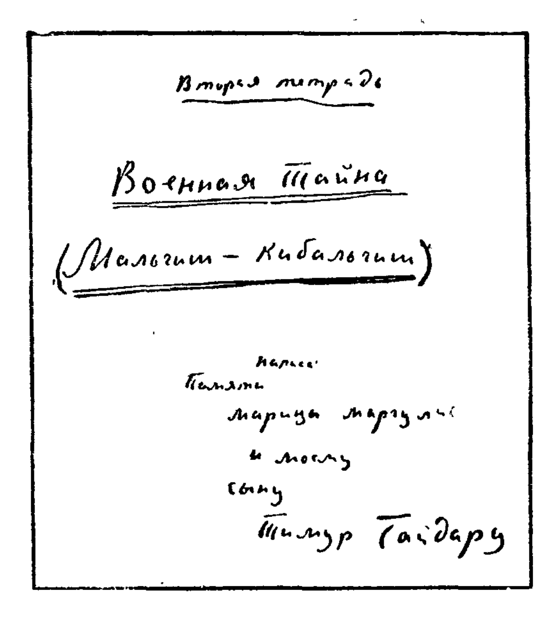
Японская армия в 1932 году насчитывала 250 тысяч. С резервистами — от четырех до десяти миллионов. А кто выступит против нас на западе, когда начнется тут, на востоке? Германия? Франция? Польша?..

Но, кто б ни выступил, он знал: для нас война будет всенародной. И занес в дневник: «Надо собраться и написать для М[олодой] Г[вардии] книгу: Крым, Владивосток, Тимур, Лиля, все это связать в один узел, все это перечувствовать еще раз, но книгу написать *совсем о другом»*.

Еще неясно представлял, что это будет за книга, но знал: то, что происходит теперь на его глазах, должно быть как-то связано с личной его бедой, с тем, что понял в Артеке.

Власть творчества

Пристальнее, чем всегда, вчитывался в столбцы газетных сообщений. И снова, как о прямом долге именно теперь: «Надо начать книгу...» Написал, подчеркнул и обвел. А работа не начиналась. Думал: книга будет о верности, о том, что видел год назад в Крыму, о том, что было в прошлом.



Обложка рукописи.

Пусть прошлое пройдет обрамлением, пусть прозвучит напоминанием. И, еще не вполне решив, что в обрамление отобрать, перечислил эпизоды, которые были горькой его радостью и гордостью...

«Во сне видел Котовского. В 1921 году на антоновские банды, ночью в Бенкендорф-Сосновку он прискакал с бригадой. Я командовал тогда сводным отрядом. Странно теперь вспоминать. Все это давно-давно было... помнится мне, что это было как раз в конце мая 11 лет тому назад.

...Помню Тухачевского — осенью в Моршанске я командовал, а он принимал парад.

...Меженинов — поезд командующего О.В.О. — я был дежурным и получил выговор. Он добродушный — огромный.

...Данилов — член РВС... «Только в революцию могут происходить такие вещи».

...Фрунзе. Я сидел в приемной РВС — он вошел, проходя к себе в кабинет...

Все как-то стирается и расплывается. Все это очень давно».

После увольнения из армии хронологически шел Ленинград, но история о том, как стал писателем, не нужна была в этой книге. И мысль шагнула дальше:

«Вспоминаю смутно Пермь. Голубой дом. Лильку — девчонку в ярком сарафане. Тени смутные, далекие, далекие...»

Эти воспоминания давали внутренний настрой, который был необходим для будущей повести.

Возможно, замысел книги дозрел во много быстрее, но послали в командировку во Владивосток и Сучан.

Поездка вышла продолжительной — и оставляла немного времени для себя. Ненадолго почувствовал себя путешественником, словно попал в чужую страну. «Трепанги, — заносил он в дневник, — матросская шутка. Судно «Совет»... Ночные переходы. Японское море. Буря. Перевал Сихотэ-Алинь. Татарский пролив — *впрочем, всего не перескажешь*. А в общем, вернулся из путешествия 29 июля».

То, что поначалу казалось перерывом в работе, стало ее продолжением. На открытой палубе корабля, когда в лицо дул тугой ветер, осыпая брызгами соленой, как в Черном море, воды, мысль невольно возвращалась на год назад, проясняя, «прорабатывая» те частности, без которых не мог решить основного.

Если повесть будет автобиографической, почему бы ей не стать продолжением «Школы»?

Начать тогда можно с отъезда из Москвы. С каких-то встреч в поезде. Потом Артек. Его замкнутость в ту пору и сдержанность Тимура можно объяснить совсем по-другому: более тяжелой, но и более гордой бедой... А потом что-то происходит в самом пионерском лагере, только круче...

Сюда можно перенести какие-то детали вредительства на стройке авторемонтного завода: кража, подделки документов, таинственные исчезновения обманутых и напуганных рабочих. И кончить тем, что он остается без Тимура. Как теперь. Только в повести все будет печальней... Много печальней...

А кроме того, в книге может быть еще один, полуреальный план, где он покажет, что война, которой еще нет, уже началась. Взрослые, конечно, ушли в бой. Дети остаются одни. И вот что делают дети...

Поскольку неизвестно, где может начаться война, у западных границ или восточных, — не станет ничего конкретизировать. Будущего врага обозначит условно.

...Всегда робел перед началом новой работы, перед чистым листом и необходимостью остаться в комнате одному. Робость эта не покидала его ни на день. Она лишь чуть «притухала», если работа успешно подвигалась, и вновь заявляла о себе, если в работе получался перерыв.

И потому каждый раз, перед тем как сесть за новую повесть, «сжигал мосты».

«Сегодня, — записал 1 августа, — даю телеграмму в Москву о том, что кончил писать книгу и через месяц приезжаю. И только сегодня начинаю писать эту книгу. Она вся у меня в голове, и через месяц я ее окончу, тем более что отступать теперь уже поздно. Это будет повесть. А назову я ее «Мальчиш-Кибальчиш». Каждая строчка этой книжки будет... [неразборчиво] Марице Маргулис и моему любимому сынишке Тимуру Гайдару».

Марица Маргулис это был шифр. Это была Маруся, которая, как Тимур, находилась далеко-далеко.

Пока была семья, пока он, и Лиля, и Тимур жили вместе, он тоже вспоминал Марусю, но, естественно, реже... А тут, когда перебирал свое прошлое, вспомнились не только Тухачевский и Котовский. Вспомнилось всё, что было на Тамбовщине. И первая их с Марусей встреча, которую он решил зашифровать. Встречу можно было дать, как сон.

Допустим: он едет по степи дозором и замечает что-то тревожное. Думает: «Белые!» А это беженцы. И среди них стройная, худенькая девчонка, которая во время их по-военному короткого и, как случается во сне, даже немного нелепого разговора вздрагивает под платком от холода и недавнего страха. И хотя Марица выходила немного похожей на Лилю и встреча должна была произойти не на Тамбовщине, а на юге, допустим, возле Балты, — знал: если Маруся прочтет когда-нибудь повесть, она поймет, какую встречу он имел в виду.

Возможно, потому, что перед глазами все время стояло: «...Прошлый год — черкеска Тимура и его красная матросская бескозырка. *Севастополь.* Тревога... нарастающая по часам, по минутам... тревога... не понятная никому, кроме моего родного мальченыша Тимуреныша» — повесть начал со сказки про то, как «среди гу-

стых садов да вишневых кустов» стоял домишко, в котором жил Мальчиш-Кибальчиш, да его отец, да старший брат Мальчиша, а матери у них не было. И как послышалось однажды Мальчишу, «будто то ли что-то гремит, то ли что-то стучит» и пахнет «то ли дымом пожаров, то ли порохом разрывов...».

Сказка у него в голове в самых общих чертах, действительно, сложилась вся. И он в первые же несколько дней, не думая об отделке, написал двадцать пять страниц. И был доволен. А потом как-то вечером «лег и стал перелистывать — а когда перечитал, то зачеркнул все, сел и снова написал всего девять страниц — стало гораздо лучше. Но сначала зачеркивать было жаль, и зачеркивал скрепя сердце».

Необходимость сесть и заново написать сказку чуть охладила его пыл: стало очевидным, что за месяц книгу, конечно, не кончить. В лучшем случае допишет к сентябрю одну только сказку.

А пока что, наученный кое-каким опытом («Не забывать о красной нитке. Если об этом забуду, то горя мне опять будет немало») *, отметил для себя все самое главное и набросал план книги.

Главным героем снова должен был стать Борис Гориков, который приехал на юг, чтобы по соседству со знаменитым пионерским лагерем провести отпуск с сыном Алькой. Время тревожное. Из отпуска могут сорвать телеграммой в любую минуту, поэтому оба дорожат возможностью побыть вместе.

Бориса в самом деле отзовут (но уже потом, под конец). А пока их все равно разлучают. В лагере авария (не исключено вредительство). Лагерь остается без воды. И Борис, как инженер (допустим, военный инженер), будет руководить аварийными работами. Но надо куда-то деть Альку. Борис отдает его в лагерь, в отряд. Таким образом, в книге появятся вожатая Натка, другие вожатые, Наткина отрядная работа и те пионеры, которые приехали в лагерь со всех концов страны.

И он пометил в тетрадке основные вехи, на которых выстроит весь дальнейший сюжет.

«1) Натке приводят Альку. 2) Инженер уходит в горы (указать на перебои в старом источнике)».

И уже отчетливо виден финал — то, к чему он приведет всю книгу:

«Смерть

Приказ

Дорога

Далекий поезд

Кто же был Мальчиш-Кибальчиш?»

Тут же обдумал, как введет сказку в будущую повесть. Одна сказка-сон у него уже была во «Всадниках неприступных гор». Повесть эту он, правда, не любил, но опыт пригодился, хотя случай теперь был другой: во-первых, он писал детскую книгу; во-вторых, придумал необычную сказку; в-третьих, наркомпросовские педагогессы усиленно гнали сказку из детской литературы, чтобы «не отвлекала» от революционной действительности. И, рассчитывая позднее к этому вернуться, набросал предполагаемый разговор Натки со старшим вожатым Алешей:

«Что это еще за сказка... — (недовольно говорит Алеша) рассказала бы им про пионера, который предотвратил железнодорожное крушение».

«Да не слушают, — (отвечает Натка). — Ну, шел, ну, увидел, что гайки развинтились... подумаешь, какое дело...»

Каждое утро появлялся в редакции. Готовил материалы по своему отделу. Не мог дождаться вечера, чтобы прийти домой и записать то, что десятки раз за день проносилось в голове. Когда же попадал наконец к себе в комнату, сразу наваливалась усталость.

И потом другое — никак не мог «отписаться» за поездку. Обычно очерки свои писал легко. За два предыдущих месяца дал восемь не худших своих материалов: «Метатели копий» (по фельетону было принято специальное решение крайкома), очерк «Бензин. Керосин. Лигроин», фельетон «Сережа, выдай...», три статьи с судебного процесса, распутал таинственную историю закрытия рабочего распределителя в фельетоне «Ничего не вымышлено», а из путешествия прислал «Речь не о фонтанах».

Теперь же все шло до странного медленно. Долго не вытанцовывался последний абзац. Когда же пришел утром диктовать машинистке, показалось, что листки в руках у него совсем не те. Досадуя на себя, выпрыгнул в раскрытое окно, благо здание редакции было одноэтажным.

На третий день попал в больницу, пожалуй, самую

грязную и заброшенную из всех, в которых ему доводилось бывать.

Хабаровская психобольница, писал он позднее, это было все, что угодно: «изолятор, инвалидный дом, школа самоснабжения, база для краденых вещей, тихий приют для бывших людей, но только не лечебница». Скупкой вещей у больных занимался даже завлечебницей Зонь.

Он разобрался в этом, придя в себя, когда его перевели к выздоравливающим и позволили гулять по больничному саду.

Бродить по аллеям, думая о том, сколько таких приступов у него еще впереди, было довольно грустно. Он позвонил в редакцию, попросил принести из дому две тетради в клеенчатых переплетах: одну почти исписанную, а другую чистую. Ему принесли.

Заодно крепко поговорил с заведующим больницей относительно размеров обеденных порций. Заведующий критики «снизу» не любил. Его тут же перевели в буйное, где он постарался незаметно спрятать под матрац обе тетрадки. А когда проснулся утром — замер от горя и бессилия: на столе валялась пустая обложка от общей столистовой тетради, которую соседи пустили на раскур.

Пришел в себя, лишь убедясь, что на цигарки разорвана чистая.

После этого был сдержан и осторожен. Чтобы вывести на чистую воду Зоня и других деятелей «душеспасительного фронта», надо было поскорей выздороветь и выписаться.

Сначала тихим, благонравным поведением добился того, что снова перевели наверх.

На другое же утро встал в четыре часа, на цыпочках, чтобы не разбудить приставленного для наблюдений санитара, пробрался в ванную, окунулся в холодную воду и сел работать.

Нужно было дописать план и приступать к повести. Болезнь всегда некстати. Теперь же она была особенно нелепа. И он твердо решил: не сдаваться.

10 августа: «Дела мои двигаются. Упорно работаю. Между прочим, лежу в психобольнице. Но это наплевать, все равно работаю. Настроение у меня очень хорошее, и на все можно мне наплевать, потому что голова моя занята только книгой.

Итак, что же сегодня дальше... Разговор о матери? — «У тебя есть мама?» — «Нет». — «Она умерла?» — «Нет». Дальше Натка не спрашивает и поэтому правды не узнаёт».

После этого пометил: «Доверчиво ИЗМЕНА (в большом глубоком смысле)».

«День опять солнечный. Падают первые листья. Много работаю и гуляю для отдыха в тихом, заросшем травой саду. Норма у меня — в день шесть страниц, но иногда даю встречный и делаю семь. В общем, книга будет написана. Сегодня 15 августа. Вспомнил прошлый год, это время. Я жил в Крыму и заканчивал «Дальние страны».

17 августа. «Сегодня в первый раз не выполнил нормы, то есть не написал шести страниц. Но зато у меня есть несколько страниц в запасе, это те, что я писал сверх нормы, — отчитывался он перед самим собой. — Кроме того, сегодня я разрабатывал наметку... и вся повесть лежит теперь передо мной как на ладони.

Стоят теплые, солнечные дни. Может быть, оттого, что именно в эти дни — ровно год назад — я был в Крыму, мне легко писать эту теплую и хорошую повесть. Но никто не знает, как мне до боли жаль, что он (Алька) в конце концов погибнет. И я ничего не могу изменить. Я могу только сделать, если это в моих силах, чтобы оставить крепкую память и горячую любовь к этому маленькому и Верному Человеку».

Работа двигалась стремительно. В дневниковой тетради продолжал еще разрабатывать план, а в новую заносил уже текст.

18 августа. «Солнце. Пишу быстро и уверенно. Удивляет молчание «Молодой гвардии». Впрочем, и на это мне пока наплевать... Сейчас главное — это писать.

Как я сейчас живу:

Весь в книге — весь около тени — Марицы Маргулис, около Альки и Натки. И страшные, бессмысленные рожи больных мне невидимы или безразличны.

Иногда подойдет какой-нибудь идиот — хуже всего, если из здоровых, фельдшер или фельдшерица... — Пишете? — Пишу. — Поди, стишки сочиняете? — Нет, не стишки... — А я, знаете, стихи люблю... У нас вот тоже один больной лежал, все пишет и пишет...

Очень хочется часто крикнуть: идите к чертовой матери! Но сдержишься. А то переведут еще вниз, в третье буйное, а там много не напишешь...»

Из персонала подружился с доктором Харченко (который подарил ему чистую тетрадь) и с фельдшером.

Мухиным, человеком деликатным и начитанным. Мухин однажды, как об очень постыдном, признался, что он... любитель-садовод.

Оказалось, что в Хабаровске таких несколько человек. Им удалось вывести устойчивые сорта фруктов, которых край совсем не видит. Это ему показалось столь диковинным, что он спросил: «Иван Степанович, а можно посмотреть ваш сад?»

Мухин смутился: «Можно. Только это не сад. Так, палисадничек... Как у всех».

В первый же день, когда позволили выйти в город («А то в этой больнице можно подохнуть с голоду. Дают только хлеб да вареную ячменную крупу»), зашел на Кавказскую улицу к Мухину. Иван Степанович был дома. И повел, пока светло, показывать свой «палисадничек».

...На каждом углу Хабаровска проворные торговцы бойко продавали стаканами кислую ранетку и мелкую желтую сливу: «Заплати рубль, подставляй пригоршню и скушай на доброе здоровье». Ничего, что у ранетки вкус, «будто бы ее целые сутки продержали в чану для дубления кожи. Ничего, что слива мелкая, толстокожая и толстокостная. Неприхотливый хабаровский народ платит и вкушает, совершенно напрасно утешая себя тем, что здесь не Крым и не какая-нибудь Тамбовская губерния с их пахучими антоновками...», потому что в саду Мухина рос крупный, сочный ранет и крупная, сочная слива.

Многому на свете уже обученный, он сам, с позволения Мухина, сорвал несколько слив и выбрал яблоко. Слива и ранет, выведенные в этом палисаднике, не уступали южным сортам.

И он попросил Ивана Степановича немного обождать...

Тем временем работа над повестью продолжалась.

20 августа. «Сегодня ходил в отпуск в город... Вернулся, устал и потому написал мало.

Что на завтра? Подготовка к костру. Иоська-Владик».

21 августа. «Сегодня много работал. Доктор Харченко достал мне еще одну полную клеенчатую тетрадку. Пишется хорошо. Написал уже немало — и по ходу повести видно, что кое-что в целом надо изменить... А вобщем я подряд еще не перечитывал того, что написал, все откладываю.

Итак, что на завтра? Сцена с телеграммой... Сказка... Подслушанный разговор. Крепкая дружба».

23 августа. «Сегодня я неожиданно, но совершенно ясно понял, что повесть моя должна называться не «Мальчиш-Кибальчиш», а «Военная тайна». Мальчиш остается Мальчишем, но упор надо делать не на него, а на «военную тайну», которая вовсе не тайна».

И здесь же обещание: «Выйду из больницы — шарахну... хорошенькую статью — поядовитей».

И запись от 28 августа: «Сегодня у меня рекорд — написал 12 страниц. работал с обеда до позднего вечера».

30 августа: «Написал только $2^1/_2$ страницы. Очевидно, немного устал. Надо чуть передохнуть. Сегодня выписываюсь из больницы...»

Из Артека минувшим летом его тоже сорвали в самом конце августа.

«Итак, год прошел. С огромным облегчением думаю об этом. Это был тяжелый и странный год. Но в общем ничего особенного не случилось, жизнь идет своим чередом, и в конце концов теперь уже видно, что не такое уже непоправимое было у меня горе. Москвы я больше не боюсь».

Одолев беду, написав новую повесть, он мог возвращаться. Оставалось только перед отъездом расплатиться «по векселям».

Через два дня после выписки напечатал фельетон «За высокой стеной», где жизнь больницы была рассмотрена им с разных сторон.

«Кем заполнена больница?.. — спрашивал он. — Там есть такие типы из «разочарованных», которые позанимали лучшие койки, лучшие места, — это бывшие люди, проходимцы и белые офицеры. Они живут припеваючи по многу лет. Они пользуются полной свободой. Ходят в город, как на заимку. Когда им угодно, идут в гости, на ужин с выпивкой или без выпивки, прирабатывают на стороне — но из больницы уходить не хотят...»

Лечение: «За последний месяц ванн больным не делали ни разу и только один раз сводили вымыться в прачечную. Трудовой терапии нет и в помине. О том, чтобы занять больных делом, позволить им плести корзины или что-либо мастерить, об этом Зонь не хочет и слушать: была охота возиться...»

Питание: из двух тысяч доставленных в лечебницу дефицитных яиц «больным, если и досталось, то всего несколько десятков. Есть у больницы много жирных свиней, но за все время было только один-два счастливых дня... это... когда однажды в пустой ячневый суп были положены мелко нарубленные свиные кишки. Но, как известно, свинья в основном состоит из мяса и жира... Кишки скоро вышли, а мясом, конечно, больных никто и никогда кормить и не собирался...

Надо сверху донизу, — решительно заявлял он, — просмотреть эту больницу...».

Последним его выступлением в «Тихоокеанской звезде» был очерк «Тарелка слив».

«Есть в Хабаровске такое тихое племя — садоводов-любителей. Это рабочие, служащие, железнодорожники... Они украдкой копаются в своих карликовых садах... Втихомолку, почти тайком, собираются они возле таких же невзрачных саженцев, пророчествуя им блестящую будущность...

Но вместо того, чтобы оказать этим людям помощь и поддержку... поставлены эти садоводы в условия дикие и бесстыдные. Совсем недавно чуть не затравили садовода Мухина — честнейшего работника, премированного ударника, человека, который в своем крохотном садике большими трудами и заботами вывел надежные сорта плодоносящих деревьев... те рентабельные, испытанные и проверенные сорта, которыми можно засевать десятки и сотни гектаров садов Дальнего Востока.

И вот человека, который без устали работал днем в больнице (он фельдшер), а вечером до поздней ночи копался в саду, — объявили на службе кулаком...

По этим издевательским бессмысленным фактам нужно резко ударить. Этому нелепому пренебрежению к работе трудящихся, любителей-садоводов должен быть положен конец... Необходимо легализировать, признать их труд. Произвести широкий смотр их достижениям... Выявить их опыт, премировать лучших».

А тем временем, отмечал он, потребительские общества засаживают десятки гектаров привозными крымскими сортами, которые, конечно, тотчас гибнут и вымерзают...

«Дальний Восток, — заключал он, — должен иметь и крупное промышленное и мелкое индивидуальное садоводство. К этому есть все возможности...»

Он еще продолжал ходить в редакцию, отвечать на письма, которые скопились в столе, правил чужие статьи, но мысленно был далеко от Хабаровска.

Перед самым отъездом выступил в редакции на литературном собрании. Долго говорил в последний вечер о том, что такое писательский труд, из чего он складывается и почему одних ждет удача, а к другим она никогда не придет. Еще он говорил о месте писателя в нашей жизни, упомянув и о том, что так уж повелось в России — писатель был всегда радегелем, и только тот, что радел за человека, остался в народной памяти и в литературе.

На улицу после собрания вышел с ребятами-комсомольцами, которые пробовали свои силы в журналистике. Печатались они в «Тихоокеанской звезде» и «Набате молодежи».

Вечер был душный. И все направились к Амуру.

«Аркадий Петрович, — спросил один из комсомольцев, — правда, что вы уезжаете в Москву?» — «Правда». — «И вам не жалко отсюда уезжать?» — обиженно спросил другой. — «Жалко. Дальний Восток, и Амур, и вот этот парк — все для меня уже не чужое. И я обязательно про Дальний Восток напишу...»

* * *

Не успел.

«ВОЕННАЯ ТАЙНА»

«Ильинское. Дом отдыха под Москвой, 28 октября 1932 года.

Два месяца не притрагивался к повести «Военная тайна» — месяц в Москве прошел как в чаду. Встречи, разговоры, знакомства, ссоры... Ночевки где придется. Деньги, безденежье, опять деньги. Относятся ко мне очень хорошо, но некому обо мне позаботиться, а сам я не умею. Оттого и выходит все как-то не по-людски и бестолково. Вчера отправили меня, наконец, в дом отдыха Огиза дорабатывать повесть.

«Сказка о военной тайне» выходит отдельно.

...А вообще, суматоха, вечеринки... и все оттого, что некуда девать себя, не к кому запросто пойти, негде

даже ночевать... В сущности, у меня есть только — три пары белья, вещевой мешок, полевая сумка, полушубок, папаха — и больше ничего и никого — ни дома, ни места, ни друзей. И это в то время, когда я вовсе не бедный и вовсе уж никак не отверженный и никому не нужный. Просто — как-то так выходит.

...Солнце яркое, теплое. Под окном — серебристая елка».

На третий день пребывания в Ильинском вынул тетрадки с повестью. В «Школе» он прослеживал, как судьба отца определила всю биографию Бориса Горикова. Здесь думал показать, как судьба Марицы отразилась на облике Альки, каким растил своего сына Борис[1].

С Алькой Борис дружил всерьез. Оба честно признавали свои ошибки. Отец первым показывал тому пример. И малыш Алька однажды имел повод великодушно заявить:

«Это ты ошибался... Это ничего... Помнишь, угром я был не прав и тоже сознался, сейчас ты не прав и тоже сознался. — И уже потом вскользь объяснил Натке: — Это у нас с ним договор такой: чтобы кто не прав, то сознаваться».

Отношение Бориса к Альке было в иных случаях по-военному суровым, словно Борис забывал, что перед ним пятилетний мальчуган.

Как-то ночью Борис верхом подъехал к Наткиному дому. Натка не спала и сидела у окна. «Вам телеграмма, — сказала Натка, — подождите, я сейчас посмотрю, она у Альки...»

— Зачем вам искать? Пусть он сам найдет, — сказал ей Борис. — Это хорошо. А я как раз жду телеграмму.

— Но он же спит, — с легким недоумением возразила Натка.

— Встанет, — сказал Борис. И Натке показалось, что слова эти он произнес холодно и резковато».

Но тут Алька просыпался сам.

«— Папка, — крикнул он, забираясь с ногами на подоконник и протирая рукою еще не совсем проснувшиеся глаза. — Папка. На, бери... Вот тебе телеграмму...»

Борис читал телеграмму, хватал полусонного Альку, сажал к себе в седло и уносился в ночь.

В чем-то резче и глубже рисовал он и Натку. Натка

мечтала прожить трудную, но яркую и героическую жизнь. Была требовательна к себе. Не прощала низости и слабости другим. Она потеряла навсегда уважение к умному, красивому Страшевскому, такому же вожатому, как она сама, когда увидела однажды, что в разговоре с крайкомовским начальством в лице Страшевского появилось что-то угодливое и заискивающее.

Перед Наткой каждый день возникало множество проблем: маленький Карасиков ругался дурными словами. Башкиров даже по ночам ел хлеб. А Толька с Владиком устраивали каждый день «аттракционы». Последний раз они учинили ловлю рыбы удочкой из аквариума.

Перед самым отъездом из Хабаровска, когда день и ночь думалось о повести, «неожиданно, — как отметил в дневнике, — выплыл Гейка». Воспоминание было навеяно давнишней встречей с бывшим бойцом, в котором «ничего... хорошего не осталось» *. Гейка должен был играть не последнюю роль в разоблачении шайки Дягилева. С Гейкой в книгу входили новые подробности боевого прошлого Бориса.

«Гейку Борис знал давно, знал еще в то время, когда голый Гейка... матрос днепровской речной флотилии, был найден раненым на берегу Днепра пониже Кременчуга. Перед этим Гейка... был схвачен григорьевцами и тяжело избит...» *

И вот, «к своему глубокому огорчению, — отметил он в дневнике в Ильинском, — перечитав впервые все то, что мною уже написано, я совершенно неожиданно увидел, что повесть... никуда не годится и надо переделывать ее с самого начала».

Это походило на катастрофу. Последние три месяца все горькие минуты его поддерживала мысль: как бы там ни было, он пишет, им написана небывалая повесть. И вот никакой повести еще не было. Имелся в лучшем случае самый первый ее вариант.

Два дня ничего не делал. Бродил по осеннему лесу, пока не темнело, пока усталость и голод не приглушали боль. И только на третий смог более или менее спокойно подумать, что ведь ничего неожиданного не произошло. В тех же рабочих тетрадях сохранились пометки: «Это была очень трудная глава, и ее надо будет хорошенько исправить и отшлифовать». Или: «На этом месте остановился и хорошо понял, что вся повесть должна называться «Военная тайна».

Дело опять-таки было не в новом названии, а в перемене замысла. Раньше тема «военной тайны», тема непобедимости советского народа и сил мирового пролетариата раскрывалась преимущественно в сказке. Теперь она становилась основой всей повести. Сказка — это проекция в недалекое будущее. Повесть — сегодняшний день. Нужно, чтобы сегодняшний день свободно проецировался в это будущее.

Так в Хабаровске, в ходе работы менялся замысел, а писать он пока продолжал по-старому, лишь пометив:

> Эта тетрадь начата 13 августа и окончена 28 августа 1932 г. *

> Пока писал, то передумал: повесть будет называться «Военная тайна».

Но за два месяца после Хабаровска он об этом просто забыл. В нем теперь жил идеальный преображенный образ книги. И, обнаружив в тетради лишь первый ее вариант, был удручен тем, насколько то, что ему виделось, отличалось от того, что пока получилось. Но ведь никто не мешал ему сделать книгу, какой он хотел.

Он вынул чистую тетрадь. Поставил число: «31 октября» и начал все с самого начала, то есть с той минуты, когда, «повесив трубку», Натка вышла из телефонной будки и попросила рядом, в буфете, «бутылку холодного квасу», а «пожилая грубоватая официантка... улыбнулась и хитровато спросила:

«— А ведь, наверное, жених по телефону что-то хорошее сказал?»

«Да, — весело созналась Натка. — Он сказал, что сейчас приедет сюда» *.

«Жених» оказался «седым стариком с орденом». Натке он приходился дядей, Борису — бывшим командиром. А фамилия его была Шебалов.

«... — Только знаешь... — говорил Натке дядя, — мне

кажется, что это у тебя просто дурь. Ну, скажи, пожалуйста, с чего это тебе вдруг захотелось быть летчиком?

— Дурь? — переспросила Натка... — Я, дядя, давно-давно когда-то знала одного сапожника, который, как говорила мать, тоже сдурел, надел офицерские хромовые сапоги, достал винтовку и ушел от нас сапожник, а вернулся командир в черной папахе, с простреленной рукой и блестящей саблей.

— Тогда война была, Натка, — улыбнувшись, ответил Шебалов...

— ...Вот и сидел бы ты при военных пошивочных мастерских да шил бы сапоги. Так нет...» *

Появление Шебалова открывало в повести неожиданные возможности.

Натка подмечала трагическую тайну в судьбе Бориса и Альки. Своя драма была и у Шебалова: «Он любил ее, эту кареглазую племянницу, потому что крепко напоминала она ему... дочь... Марусеньку, пробравшуюся к нему в отряд и погибшую на его глазах в то время, когда носился он со своим отрядом по полям грохочущей Украины — по границе пылающей Бессарабии...» *

И по мере того как в доме отдыха в Ильинском уточнялся новый замысел, иными выглядели главы, написанные в Хабаровской больнице: «Насчет «Военной тайны», — замечал в дневнике, — это все паника. И откуда это я выдумал, что повесть «никуда не годится» — хорошая повесть».

Но кончить книгу в Ильинском ему все же не удалось.

«Вчера начал работать. Передиктовывал. Какой огромный перерыв был в работе», — пометил он 27 декабря — и отложил повесть еще на полтора года.

В тридцать четвертом писал «Синие звезды». Повесть была готова едва на треть. Тем не менее «Пионер» начал ее уже печатать. А его вдруг потянуло к заброшенной рукописи. «Сегодня просматривал «Военную тайну». Может получиться хорошая книга», — записал в дневнике 19 мая.

В июне: «Военная тайна» будет хорошей книгой. «Синие звезды» пока отложил, пусть полежат».

Но чтоб «Военная тайна» стала «хорошей книгой», снова пришлось многое переделать.

Начать с того, что он умел дружить с детьми, но никогда в лагерях не работал. Давно интересовался пионер-

ским движением, много читал о нем, но это было знание «со стороны». И Борис как воспитатель Альки выглядел куда интересней воспитателя по профессии Натки. Чтобы личность Бориса и его «педагогическая система» не заслонили Натку, пришлось отказаться от многих дорогих ему сцен, а это меняло замысел и весь облик повести.

В опубликованной книге «Военная тайна» Борис Гориков стал Сергеем Ганиным, Шебалов — Шегаловым, написана повесть была по-иному, нежели «Школа». И был в новой книге свой особый секрет.

«Военная тайна» рассказывала о Натке, о жизни Артека, о встречах ребят с шефами, о драках Владика, о катастрофе с водоснабжением, но, пробегая глазами главу за главой, читатель ощущал, что это, кажется, не самое главное... Внимание читателя невольно останавливалось на загадочных сценах, его интересовал смысл оборванных фраз, что-то таинственное заключалось в словах и поступках Сергея, Альки, того же Владика. За внешним течением событий крылось еще одно, «подводное течение».

Читатель постепенно погружался в атмосферу гордой печали по замечательным людям, которые погибли в борьбе с врагом. Впервые эта печаль слышалась в голосе Шегалова: «Ну, до чего же ты, Натка, на мою Маруську похожа... Тоже была летчик!..»

Вслед за тем становилось известно о гибели гордой Марицы Маргулис. молдавской еврейки-комсомолки, в башнях Кишиневской тюрьмы. Образ Марицы на некоторое время сходил со страниц книги, но Натка все время ощущала какую-то печальную тайну в жизни Сергея и Альки, пока не обнаружилось, что «очень большая беда» Альки и смерть Марицы — одно и то же.

Судьба Марицы не была исключением. В политической тюрьме Варшавы томилась сестра Владика, польская коммунистка Влада Дашевская.

В жестоких муках погибал красный летчик, который выпрыгнул на парашюте из подбитого самолета и попал в руки к белым. (Эту историю Владик поведал Альке, Алька — отцу.)

Бесстрашно умирал Мальчиш из сказки. Тяжелый камень, пущенный вредителем, убивал Альку.

Но на смену тем, кто погиб, показывал о н, росли новые люди: на смену Марусе — Натка, на смену Владе — ее брат Владик, там, где погиб летчик, поставили вышку «и оттуда ребята с парашютами прыгают». Похожим на мать рос Алька. Смерть Альки пробуждала ненависть к врагам в душах пионеров огромного лагеря.

Настоящая книга, считал о н, должна быть незабываемой. Можно забыть имена, подробности событий, но должно быть в книге что-то, что не изгладится никогда. Поэтому в конце повести погибал Алька.

О н не знал, как это получается: законы искусства всегда становились сильнее е г о. Так же вот жалко было е м у бросать посредине пустынной дороги верного человека Жигана. И хотя все можно было «оправдать» — Жиган спас Сергеева, Сергеев берет мальчишку с собой, — это частное оправдание шло бы наперекор большой безжалостной правде.

И снова до боли было жаль, что Алька «в конце концов погибнет». Но когда ростовские пионеры прислали письмо, в котором просили, «чтобы Алька остался жив», о н написал своему редактору Софье Разумовской «Не правда ли, здорово? Насчет другого конца вы им не верьте. Это им не другой конец нужен — это им Альку жалко. А сделай я другой конец — и вся книга крепко потускнела бы. Мы-то с вами это хорошо понимаем».

Повесть «Военная тайна» вышла в 1935 году.

ОБИДА БОБА ИВАНТЕРА

«Здравствуйте, веселые люди!»

В Москве после бесприютных скитаний поселился на время у хорошего человека и хорошей детской поэтессы Ани Трофимовой.

Трофимову знал давно. «Прошлый год в это время, — сообщал ей из Хабаровска, — я писал «Дальние страны». Теперь урывками пишу другую, назову ее, вероятно: «Такой человек». Какой это человек? И кто этот человек? Это будет видно потом. Я работаю разъездным корреспондентом. Интересно очень. Как мы живем — об этом когда-нибудь позже. Живем весело. Не хватает только одного, хорошего такого человека — Тимура Гайдара. Но ничего. С ним-то мы еще встретимся...»

Когда вернулся с Востока, не покидало ощущение сиротства, возможно, довольно странное для человека под тридцать лет, силушки которого вполне хватало зажать



Фрагмент письма Гайдара Светлане Трофимовой. Публикуется впервые.

ладонью толстую водопроводную трубу, из которой только что вырвало кран.

И хотя в Москве, видя его неустроенность, многие искренне сочувствовали, Аня была единственной, кто сказал: у нее за перегородкой есть маленькая комнатушка. И если это его устраивает, он может до лучших своих времен поселиться там.

Он и сам, случалось, не в пустяках помогал людям. Но всякое внимание к себе почитал за чудо... и поселился.

У Трофимовой росли две маленькие девчонки: рыжая, при чужих первые две минуты тихая Светлана и темноволосая, с большими задумчивыми глазами Эра.

К девчонкам привязался сразу. С ними гулял, читал книги, играл в прятки, честно залезая под кровать. Если считал себя в чем перед ними виноватым, то становился в угол. Уезжая, начинал скучать. Присылал смешные открытки и письма.

«Море здесь такое большое, — сообщал из Артека, — что если хоть три дня его ведром черпать — все равно не вычерпаешь. Вот здесь какое море! А горы здесь такие высокие, что даже кошка через них не перепрыгнет. Вот здесь какие горы».

Если ж подолгу не приходил ответ, обижался: «Здравствуйте, плохие люди! Почему вы мне не пишете? Напишите про свою жизнь.

Я вчера ходил в лес. Медведя, волка и лисицу не видел, но зато видал на заборе живого воробья. У нас здесь живут люди с двумя ушами. По ночам они ложатся спать, а днем их кормят сырыми яблоками, вареной картошкой и жареным мясом. Мыши здесь ночью не ходят, потому что все заперто...»

Тимура при этом не забывал ни на день. «Видел замечательный сон-сказку, — писал в дневнике. — Будто бы я солдат не то какого-то полукаторжного легиона, не то еще кто-то.

Потом — подарок от волшебницы из сказочного дворца. Потом бегство на пароходе. Феерия и наконец пожар — я хватаю Тимура, а волшебница в гневе кричит: «Ан все-таки он тебе дороже, чем я!» Потом опять другой океанский пароход. Гибель Тимура. И потом я — весь в огнях, в искрах — огни голубые, желтые, красные — тут мне и пришел конец».

Тимура в Москве не было. Тимур жил с матерью в совхозе под Курском. И как только ему позволили дела, рывком, сразу, сначала поездом, потом машиной до «свертки» уехал в Ивню.

До Ивни с полуразрушенным дворцом графа Клейнмихеля, того самого, что у Некрасова: «Папаша! Кто строил эту дорогу?» — «Граф Петр Андреевич Клейнмихель, душенька», — добрался с приключениями. Но все дорожные

происшествия и километры жидкой хляби выглядели пустяком по сравнению с громким визгом, с которым выскочил навстречу и бросился ему на шею Тимур. Волшебница из сна была права «Ан все-таки он тебе дороже...»

В Ивне шла посевная. Он писал для политотдельской газеты «За урожай», вечерами допоздна беседовал с трактористами. Но «Пионер» ждал продолжения «Синих звезд». И он вставал по-деревенски рано, завтракал, отправлялся на короткую прогулку в парк, к дворцу, от которого остались только два боковых флигеля, и торопился за стол. А когда ненадолго отрывался от повести, то видел, как Тимур высаживает подснежники в консервную банку или возится у клетки с кроликом.

Закончив главу, тут же начисто ее переписывал, просил на утро себе коня и отправлялся верхом на почту — отсылать главу в «Пионер». Одна из поездок едва не кончилась печально: на резвой рыси худо подкованный конь его споткнулся, и он «дернулся» с седла вниз головой. Такого не случалось с ним давно. И когда поднялся, было здорово не по себе и в пору вернуться, благо и отъехал-то недалеко, но в «Пионере» ждали рукопись.

...И хотя из Москвы пришла телеграмма, что он премирован часами, его не покидала тоска по несделанному. Тем более что после возвращения с Дальнего Востока жизнь его при всей неустроенности резко переменилась к лучшему.

Раньше он существовал со своими замыслами и рукописями вроде как сам по себе. Если заканчивал работу — приносил. Не заканчивал — продолжал писать, получая напоминание о сроках. И вдруг...

Редактор «Пионера»

И вдруг в его жизни появился человек, всерьез озабоченный тем, чтобы он писал. Человек, который просил, заказывал, ждал, напоминал, настаивал, предлагая вперед в случае нужды деньги; человек, которому он мог отослать рукопись, уже не заботясь о дальнейшей ее судьбе. Этим человеком был редактор «Пионера» Бениамин Ивантер, Боб, как звали его друзья.

Всегда улыбающийся, немного полный, какими бывают единственные сыновья не в меру заботливых родителей,

с густыми, вьющимися, рано поседевшими волосами, одетый в зависимости от времени года в футболку или лыжный костюм, Боб всегда был увлечен или только что принесенными, свившимися в клубок на редакционном столе ядовитыми змеями, добытыми экспедицией герпетологов, с одним из которых здесь же, не отрывая взгляда от клубка, договаривался об очерке «Змеиный поход», одновременно подсказывая фотографу, с какой стороны клубок этот лучше снять; или беседовал с инженером, создателем экспериментального шаропоезда, у которого вместо колес шары. В каждом шаре по электромотору. И катится этот поезд не по рельсам, а по дну деревянного или бетонного лотка.

Ивантер находил, приглашал, уговаривал, убеждал сотрудничать в журнале всех, кто мог написать или хотя бы рассказать о чем-то необыкновенном или просто интересном.

Журнал рассказывал о дорогах Древнего Рима, о гибели Помпей, о скрипках Страдивариуса и Гварнери, об истории создания «Робинзона», о театре Шекспира.

«Пионер» писал о том, как Менделеев раскрыл тайну французского бездымного пороха, объяснял, что такое охота с фотоаппаратом, публиковал письмо смешного чудака инженера Гидролюбова, который утверждал: вода «самое нужное и интересное вещество на свете». Из номера в номер печатались очерки о том, какой станет Москва, когда построят метро, проведут канал Москва — Волга и воздвигнут Дворец Советов.

Когда мир был захвачен эпопеей челюскинцев и на вес платины шла каждая строчка о жизни на льдине и ходе спасательных работ, «Пионер» печатал рассказ капитана Воронина, переданный по радио из Уэлена по просьбе Ивантера.

Для «Пионера» писал Михаил Кольцов. Впечатлениями о поездке во Францию делился всегда медлительный в работе Исаак Бабель. Приезжая из Ленинграда в Москву, в редакции непременно появлялся академик Евгений Викторович Тарле. Собирали ребят. Тарле рассказывал о пиратах или французской революции. Беседу стенографировали, обрабатывали, и она появлялась в ближайшем же номере.

Очерком «Как я пишу» начиналось знакомство читателей журнала с Эдуардом Багрицким. Тут же была помещена «Дума про Опанаса». А уже в следующем номере

Багрицкий выступал с письмом Коле Копыльцову по поводу Колиных стихов.

Когда Багрицкий умер, то рядом с некрологом поместили и его «Песню четырех ветров». Настоящая поэзия, считал Ивантер, как и всякое искусство, доступна не только взрослым.

Для «Пионера» хотелось писать, хотя платили здесь меньше, чем в толстых журналах. Быть приглашенным в «Пионер» считалось за честь. И от приглашения редко кто отказывался. Когда перед ним, бывало, стоял выбор: толстый журнал или «Пионер» — предпочитал «Пионер».

Его дебютом в журнале был рассказ «Пусть светит», приуроченный к пятнадцатилетию комсомола, история двух комсомольцев, Ефимки и Верки, которых поздно вечером подняли по тревоге (наступали белые!), но в бой не пустили — поручили спасать беженцев. И ребята спасли.

Но глубокой ночью, когда еще никто не знал, удастся ребятам спасти беженцев или нет, произошел у Ефимки разговор с матерью:

«— Мне сорок седьмой пошел, — жаловалась мать, — ...я тридцать лет крутилась, вертелась. И вдруг что же... Погас свет. Зажужжало, загрохало. И не успела я опомниться, как на, возьми, — шалаш, лес...

— Вот погоди, — успокаивал Ефимка, — отгрохает война — и заживем мы тогда по-новому. Тогда такие дома построят огромные... в сорок этажей. Тут тебе и столовая, и прачечная, и магазин... Почему не веришь? Возьмем да построим. А над сорок первым этажом поставим каменную башню, красную звезду и большущий прожектор... Пусть светит!» Это была глава из второй, неосуществленной части «Школы».

Писал увлеченно. Любил возвращаться к старому. Когда ж прочитал «Пусть светит» на журнальных страницах, огорчился. Сюжет, характеры, отдельные выражения — все было взято как бы напрокат у самого себя. Разочарование было столь велико, что потом не включал «Пусть светит» ни в одну свою книгу.

Зато удачно переписал рассказ «Патроны», почти десять лет назад напечатанный в пермской «Звезде». И по особой просьбе Ивантера принес маленькую заметку о себе — «Обыкновенная биография в необыкновенное время».

В ней коротко поведал о детстве, о службе в армии, о первых книгах. Тут же признался в запоздалой немного любви к «Пионеру»: «В журнале «Пионер» печататься начал я недавно. Это, конечно, моя ошибка. Нужно было начать раньше. Журнал веселый, боевой, с крепким читательским активом. По высказываниям ребят, по письмам в редакцию очень и очень полезно бывает проверять свою работу...

Устроила редакция «Пионера» мой творческий вечер, — тоже было неплохо, и услышал я для себя немало важного и полезного...»

Обыкновенная биография Боба Ивантера

Ивантер прочитал заметку — и расхохотался.

Оказалось, они ровесники (Ивантер на полгода моложе).

Летом девятнадцатого Ивантер поступил на Харьковские командные курсы, которые тут же перевели в Киев.

В те жаркие августовские дни, когда он стал командиром курсантской роты и за пять суток из ста восьмидесяти бойцов у него осталась едва половина, они с Ивантером воевали где-то совсем рядом...

Ивантер считал, что потом ему крепко не повезло: на Южном фронте Боб заболел тифом, в боях больше не участвовал. И это мучило его все годы. Болезнь избавила Боба от многих тягот войны, а он хотел, как все в ту пору, «оказаться достойным опасностей, встретить лицом к лицу голод, и усталость, и пули, и, если придется, допросы в контрразведке».

Так, наверное, думал Ивантер, во всяком случае, так написал в отличной своей повести «Четыре товарища», рассказывая о том, какие мысли пронеслись в голове недавнего гимназиста, красноармейца Миши, когда Мише предложили вместо фронта тихую должность в политотделе.

Повесть эту Ивантер написал несколько позже, когда он оставил журнал и у него появилось много свободного времени для собственной литературной работы.

В повести четверо красноармейцев, которые отбились от своих, заняли удобную позицию вблизи расположения белых и, выкрав у белых пулемет, голодные, в снегу, под

открытым небом, подсчитывая после каждого залпа оставшиеся патроны, продержались, несмотря на атаки, трое суток, пока не приспела помощь.

Ивантер, конечно, не знал его рассказов «старого красноармейца», десять с лишним лет перед тем напечатанных в «Красном воине». Тем поразительнее, что их с Бобом мысль «старых солдат» работала в одном направлении.

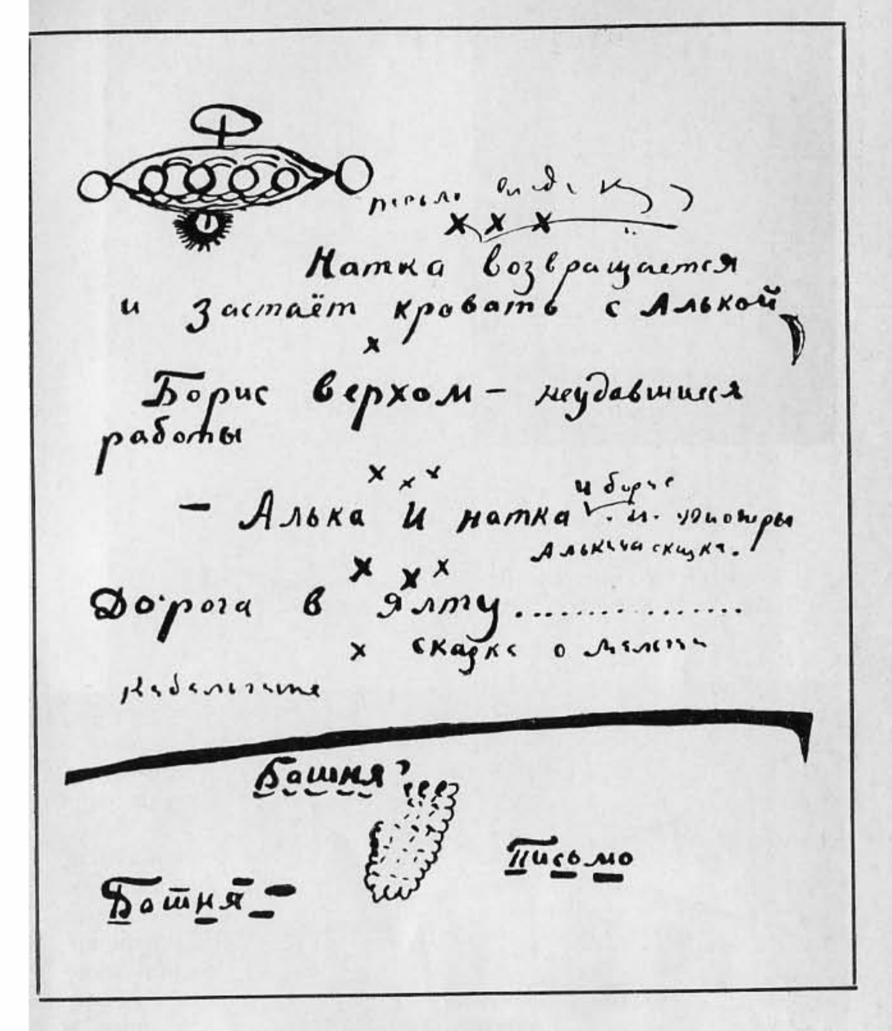
...В двадцать первом, после армии, с тоской по несовершенным подвигам, посланный учиться в Москву, Ивантер отнес документы в Государственные Высшие режиссерские мастерские Всеволода Мейерхольда. Здесь был творческий конкурс. Ивантер его выдержал. И Мастер (как звали Мейерхольда), трудный в повседневном общении человек, который работал лишь с теми, кого «замечал», Ивантера «заметил», сделав у себя в театре помощником режиссера (и позднее дав рекомендацию в партию).

Но студенты мейерхольдовских мастерских никакой стипендии не получали. Больше того, им приходилось еще самим делать небольшие взносы. Ивантер, чтобы прожить, поступил хроникером в РОСТА, потом в газету «Труд». Писал агитпьесы.

Но требования Мейерхольда к своим ученикам были громадны. Ивантеру начало казаться, что его актерские и режиссерские способности недостаточны, и все же, поступив весной двадцать пятого на штатную должность в «Пионер», сделав тем самым выбор между журналистикой и сценой, продолжал совмещать обязанности секретаря редакции с обязанностями помощника режиссера в театре Мейерхольда.

Может, это шло от характера или от уроков, полученных в мастерских, только, глядя в редакции на Ивантера, трудно было представить, что он журнал делает. Скорее он в журнал играл. Ивантер никогда не выглядел задерганным, никогда никого не встречал с той миной важности, которая ложилась на чело иных главных редакторов. В отличие от последних Ивантер был еще и прекрасно доверчив, печатая с обещанием «Продолжение следует» первые главы еще не законченных вещей, не сомневаясь, что к нужному сроку будут и остальные.

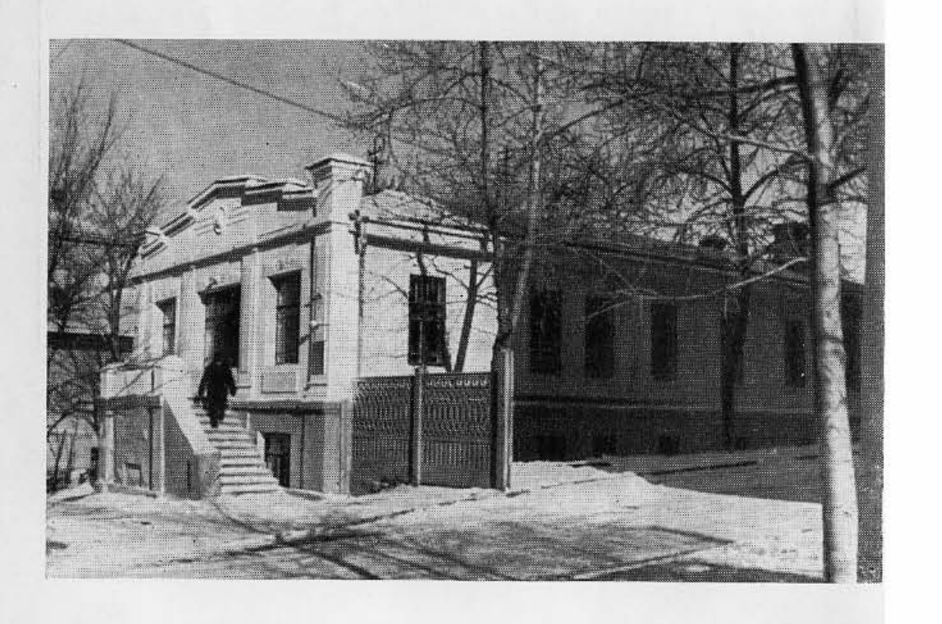
Подвели Ивантера один только раз. И подвел Боба он.



В Хабаровске в 1932 году задумал новую повесть. Она должна была стать продолжением «Школы».



Хабаровск. Улица Калинина. Здание редакции газеты «Тихоокеанская звезда», где работал Гайдар.

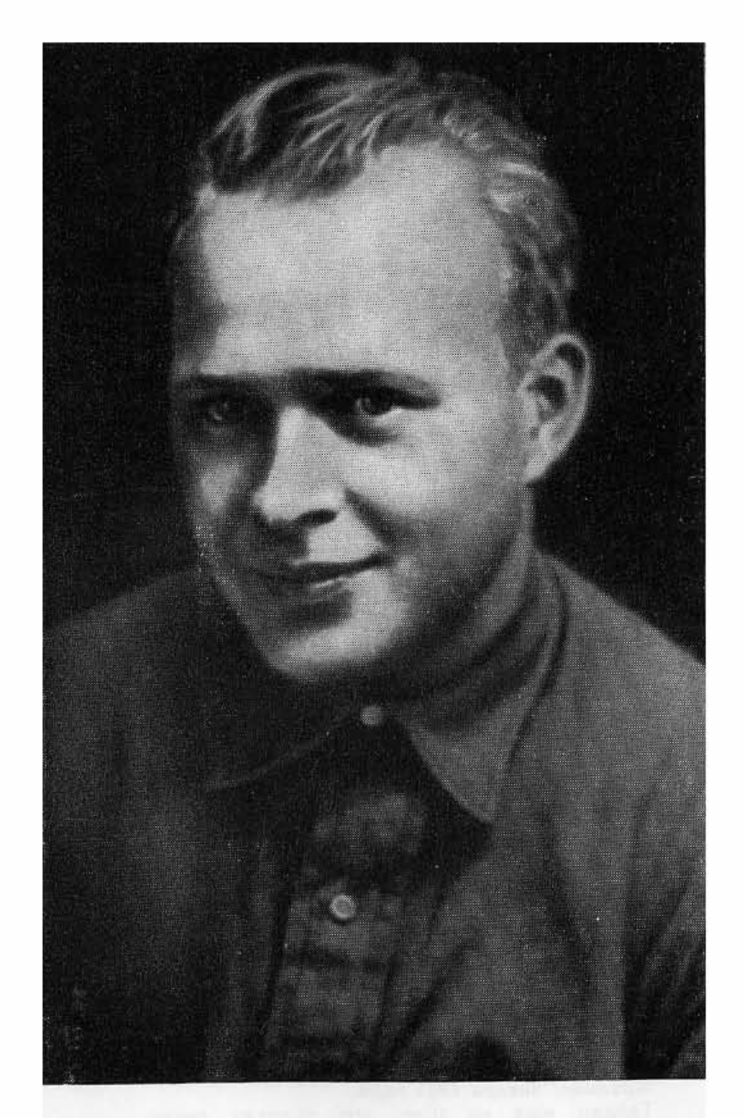




«Я работаю разъездным корреспондентом. Интересно очень...» (Из письма Гайдара Анне Яковлевне Трофимовой.)



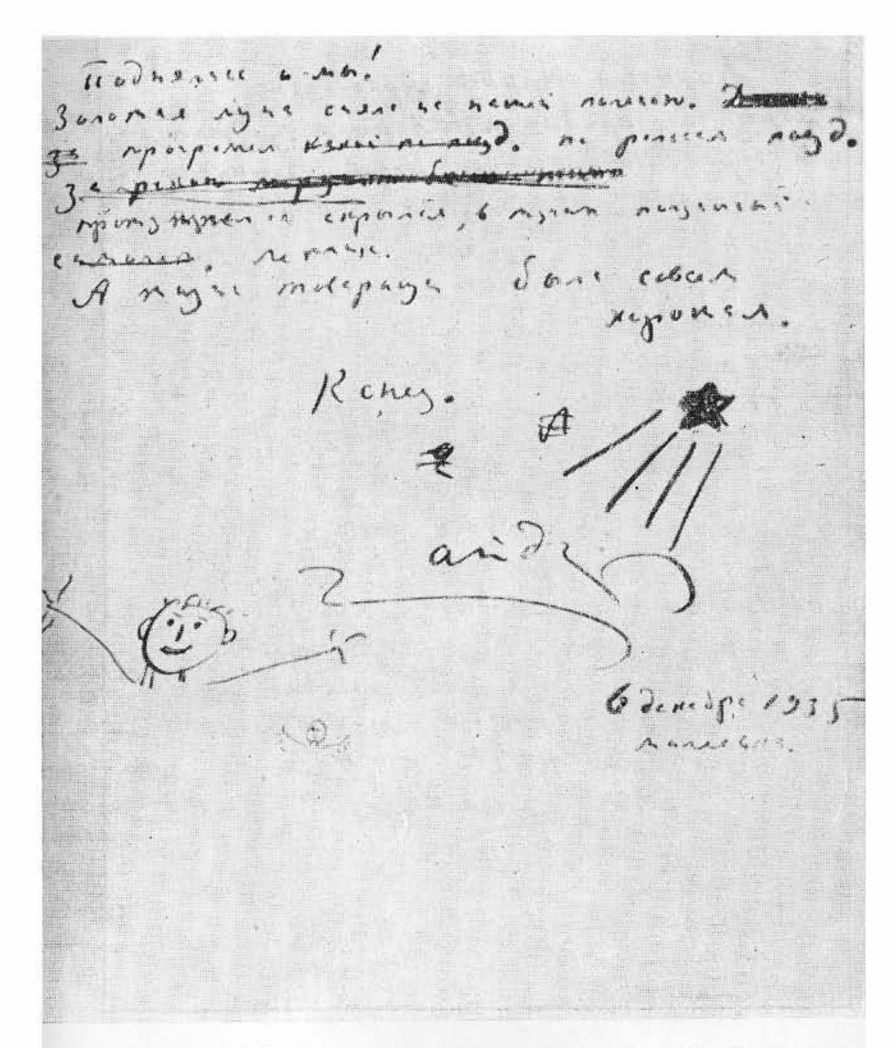
«Меня с Гайдаром связывала большая дружба... мы читали друг другу только что написанную страничку, требовавшую обсуждения или товарищеского совета. Бывало, что литературные споры продолжались на скамейке Тверского бульвара или просто на ходу. И вот в одну из таких прогулок, в мае 1933 года, дурачась, мы сфотографировались подряд у десятка уличных фотографов...» (Писатель Степан Павлович Злобин. Снимок публикуется впервые.)



1935 год.



Арзамас. Январь 1935 года.
Гайдар еще не знал, что приехал писать «Голубую чашку».



Конец.

6 декабря 1935

Последняя страница черновой рукописи рассказа «Голубая чашка».

1

Дорогая Ирина Аркадьевна!

Через час приблизительно я уезжаю в город Новороссийск, Азово-Черноморского края. Вероятно к тому времени, как вы начнете вашу учебу, вернуться я еще не успею. В таком случае искренно желаю вам всяческого успеха при начале занятий в этом учебном году, — который был бы безусловно для вас труден — если бы не ваши исключительные способности.

Прошу ~~вас~~ передать привет вашей сестре и уверить её в том, что я всё также отношусь к ней с любовью и уважением как и к вам.

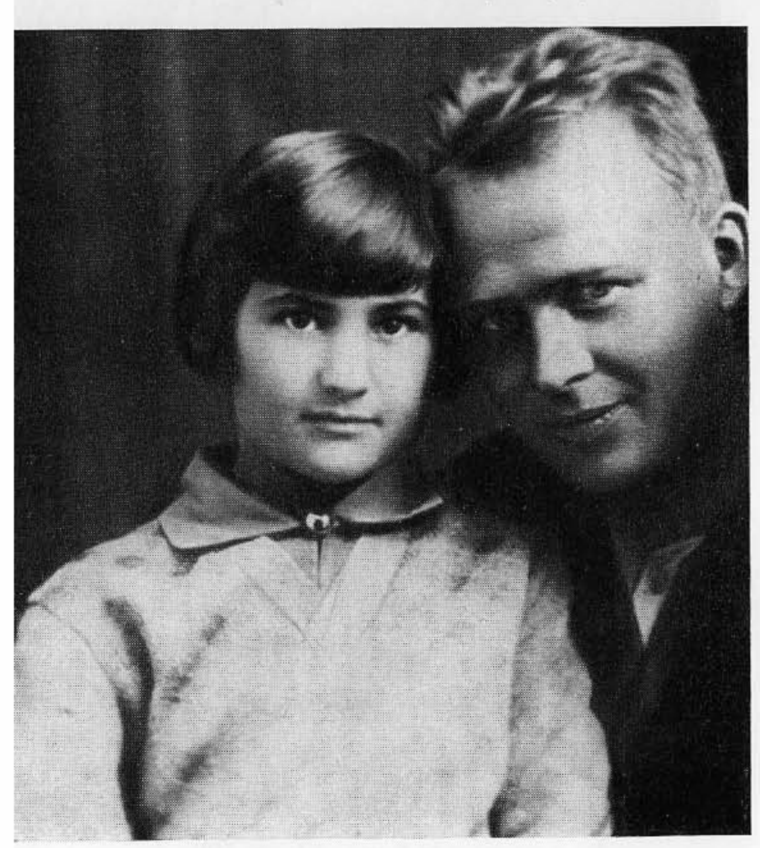
Арк. Гайдар

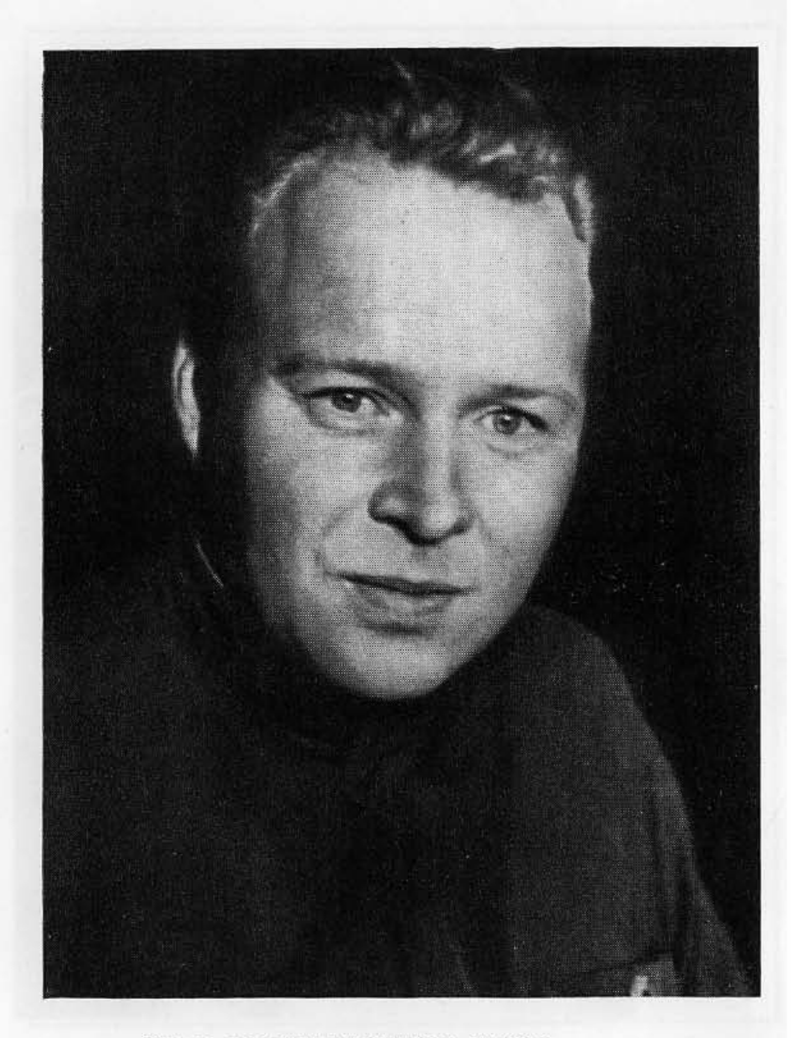
16/VIII 36

Азчеркрай.

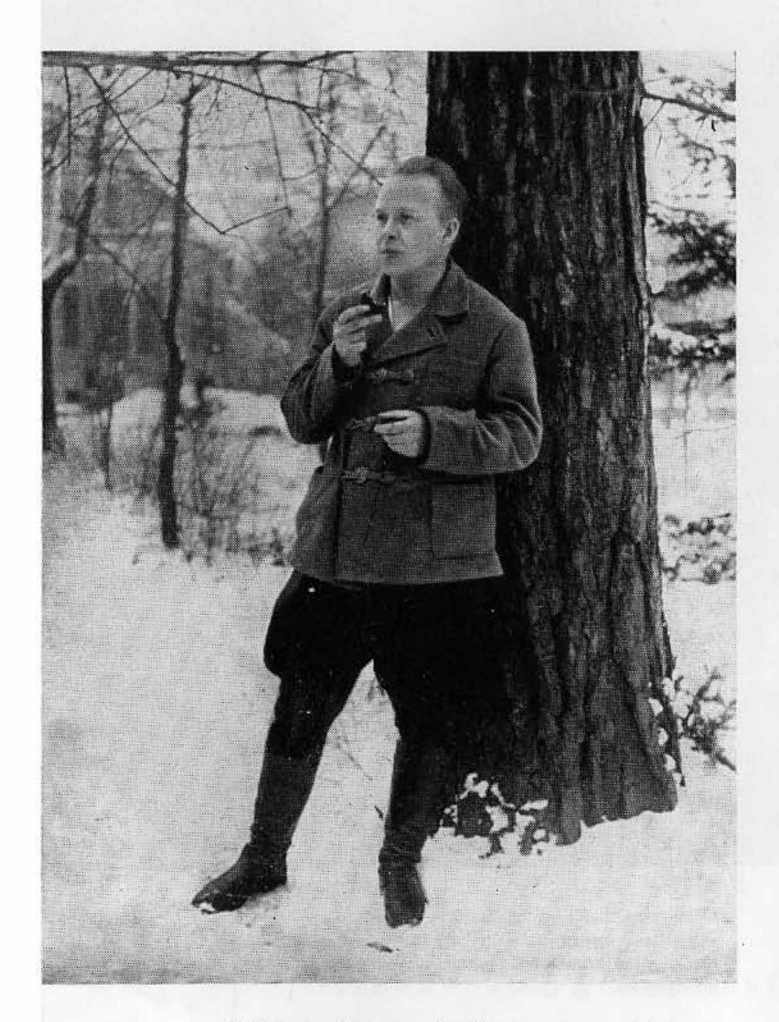
Письмо Ире Трофимовой. (Публикуется впервые.)

...С Ирой Трофимовой.





«...Откуда эта легкая ранимость и часто безотчетная тревога?» (Гайдар. Дневник.)



1937 год. Санаторий «Сокольники». «Вылечиться нужно во что бы то ни стало...» (Гайдар. Из письма А. Я. Трофимовой.)



1939 год. «Надо работать, над чем — еще не решил...» (Гайдар. Дневник.) Рождался замысел книги «Дункан и его команда».



С сыном Тимуром. 1939 год. На обороте фотографии, подаренной племяннику, Леве Полякову (автограф публикуется впервые), Гайдар написал: ▶



1939 март. "Сокольники"

Здесь уселась рядом пара
Два товарища — Гайдара

Интересно б знать каков
Ростом Лёва Поляков?
Сколько Лёва весу весит?
Много ль Лёва куролесит?
Много ль маме с ним мучений
Каково его ученье?
Вобщем ждем его портрета
и толкового ответа. Гайдар

1939 год.



Редактор журнала «Пионер» Бениамин Абрамович («Боб») Ивантер. (Снимок прислан с фронта в 1942 году незадолго до гибели.)



Аркадий Петрович Гайдар и Рувим Исаевич Фраерман. 1940 год. (Снимок сделан на Птичьем рынке.)





«Он был жизнерадостен и прямодушен, как ребенок...»
(Самуил Яковлевич Маршак.)

Продолжение «будет напечатано позже»

«Синие звезды» начали печатать «с продолжением», когда «продолжения» едва хватало на следующий номер. Но ни Ивантера, ни его это не тревожило.

Напротив, для него это был верный способ не «увязнуть» в повести, как увяз в «Военной тайне», тем более что весь сюжет «Синих звезд», со всеми характерами и конфликтами, ясно и четко сложился в голове. Оставалось, как всегда, «только записать». И он писал. Правда, немного длинновато. Зато в самом деле быстро.

Писал о том, как во время аварии на заводе убило Кирюшкиного отца, и рябой кузнец Матвей, которого посылали в помощь недавно созданному колхозу, взял Кирюху с собой, а то мальчишка уж очень тосковал... В колхозе этом сперва в ледоход случилось наводнение. А потом вообще стали происходить непонятные вещи. Кто-то сбил замок на колхозном амбаре. Кто-то поздно вечером залез в чужую баню. Кто-то остановил подводу, которая возвращалась с ярмарки.

Он, без сомнения, закончил бы в срок начатую повесть, тем более что писалось ему легко, но случилось непредвиденное: загрустил без Тимура, поехал, прихватив рукопись, в совхоз «Ивня», окунулся в полную трудностей совхозную жизнь, и то, что повседневно видел, стало медленно подтачивать и подмывать так здорово придуманный в городе сюжет...

Впервые ощутил недовольство сделанным как раз в тот день, когда отвозил на почту накануне законченную сцену в заброшенной церкви. Он даже упрекнул себя в дневнике, возвратясь: «Надо писать смелее, а я все чего-то побаиваюсь». А побаивался двух своих недавно сделанных открытий.

Первое заключалось в том, что «Синие звезды», если взять сюжетную схему, в чем-то повторяли «Дальние страны», где главным препятствием на пути создания колхоза были враждебные действия кулаков.

Второе, и, может, самое главное, открытие заключалось в том, что, хотя классовая борьба в деревне действительно шла и у колхозов имелось немало противников, основная трудность все же таилась в организационных сложностях.

Колхозы возникали на голом месте. Опыта ведения артельного хозяйства у вчерашнего малоземельного еди-

ноличника не было. Техники не хватало. Тракторы, как он писал в незаконченном очерке, поступали нередко «потрепанные, разномастные, к тому же без запасных частей и почти без ремонтного инструмента» *. И чтобы соседняя МТС, у которой инструмент был, приняла в починку «чужой», то есть не ее зоны, трактор, нужно было «просить, грозить, требовать» *, обращаться «наверх»...

Колхоз или совхоз получал технику, которой не было у единоличника, помощь людьми и деньгами, на которую не мог рассчитывать единоличник, а давало коллективное хозяйство нередко значительно меньше, нежели могло дать.

Потом сомнения как будто отступили. «Отослал письмо Ивантеру, — помечал он в дневнике, — с просьбой прислать тетрадь. Работаю ровно».

«Мне тридцать лет — года не старые, но и не малые. Скорее, скорее надо кончать повесть».

Отправил вчера телеграмму Ивантеру, письмо ему же... А также кусок «Синих звезд».

Но уже не было внутреннего покоя, недавней уверенности и ровности.

«Вчера у меня — день отдыха. Вечером играл в волейбол. Ночью был в лесу. Сегодня просматривал «Военную тайну». Может получиться хорошая книга». Сам еще того не сознавая, искал повод прервать работу над «Синими звездами».

Поводов нашлось достаточно. Поездка с Иваном Халтуриным в Ростов, возвращение в Москву, отъезд на дачу в Клязьму.

В Москве, в «Пионере», поделился своими сомнениями по поводу сюжета «Синих звезд».

— Значит, конца «Синих звезд» не будет?

Он впервые видел растерянного Ивантера. Но ничего не мог с собой поделать. Старый сюжет повести рушился. Новый еще не сложился, хотя он и продолжал над ним думать.

На него насели всей редакцией, убеждая написать еще немного до любого замыкающего эпизода, чтобы создать иллюзию законченности если не всей книги, то хотя бы второй ее части. Написал. И последний отрывок появился в тринадцатом номере за 1934 год с коротким пояснением от редакции:

«Арк. Гайдар занят сейчас переделкой третьей и последней части, поэтому она будет напечатана позже.

Ребята, писатель ждет ваших пожеланий и советов. Как должна закончиться повесть? Что будет с Фигураном? Кто открыл дверь в церкви? Что за незнакомец повстречался с Сулиным? Арк. Гайдар и редакция ждут ваших писем».

На даче в Клязьме принялся за «Военную тайну». И «Синие звезды» пока отложил. Думал: «Пусть полежат». Верил: еще вернется. И зимой тридцать пятого, отправляясь в Арзамас, взял первые страницы третьей части с собой.

Однако старый сюжет и наметки нового не смыкались. Новый к высохшему дереву старого не прирастал. Прошло некоторое время, прежде чем он шутливо написал о том, что его совсем не веселило:

«Жан, — писал Ивану Халтурину, — устрашай Боба Ивантера. «Синие звезды» загораются уже иным светом. Кирюшка больше не сын своего убитого отца, это только так сначала кажется. Сулин не умный, скрытый враг, а просто бешеный дурак. Костюх ниоткуда не бежал. И вообще, никаких кулацко-вредительских сенсаций. Довольно плакать! Это пусть Гитлер плачет. А мы возьмем и посмеемся, похохочем... Хотя и не до истерики...»

Ни единой строки «Синих звезд» больше не написал. Боб, он был добрый человек и потому простил, но он-то долго очень помнил, что был сильно перед Ивантером виноват...

КОНОТОПСКИЕ ПИРОЖКИ

Самовар имени товарища Цыпина

После истории с «Синими звездами» в отношениях с «Пионером» на короткое время наступил холодок. «Военную тайну» печатал уже в «Красной нови». Старейший советский «взрослый» журнал впервые публиковал детскую повесть, что было особо отмечено критикой со всякими лестными аналогиями, но в оказанном ему почете он ощущал и некий горьковатый привкус. И вообще, ему было очень скверно. А могло быть еще хуже, не случись к тому времени «Конотопов».

Родились «Конотопы» нечаянно — с детиздатовских чаепитий, которых сначала, разумеется, тоже не было. Просто в детиздатовском коридоре с утра до вечера толк-

лись люди. Один только вчера вернулся из поездки. Другой ждал — вот-вот — выхода книги. Третий каждый день приходил сказать, что непременно завтра сядет за работу.

Переполненные впечатлениями или устав от застольного одиночества, люди искали общения. Издательский коридор становился филиалом писательского клуба. И тогда директор Детиздата Цыпин, умница и человек большой культуры, велел поставить в коридоре стол и самовар.

К чаю с сахаром подавались еще и баранки. «Гонять чаи» можно было целый день. Угощение было простым, но за него ни копейки не брали. Угощало издательство.

Немало писателей, чьи дела оставляли желать много лучшего, были особенно благодарны этой скромной щедрости. Когда ж не в меру энергичные финагенты протестовали, Цыпин арифметически доказывал, что чай с баранками вполне окупается отличными книгами, замыслы которых нередко возникают за самоварным столом.

Это была чистая правда. За тем же столом, участвуя в общей беседе, сидел обыкновенно и кто-нибудь из редакторов. А иногда присаживался и Цыпин. Его появление не вызывало почтительного фурора. Цыпин наливал себе чай. Разламывал горчичную баранку, прислушиваясь к дискуссии или спокойной беседе. Иногда, попив чаю, молча подымался и уходил. Или, заинтересованный, вмешивался в беседу, а под конец кому-либо говорил: «А вот на такую книгу мы бы, пожалуй, заключили с вами договор». (У Цыпина была редкая интуиция и редкий дар видеть книгу задолго до того, как ее начинал видеть сам автор, нередко увлеченный другим, куда менее значительным замыслом.)

И если писатель, случалось, отказывался от предложения, полагая, что не справится, да и нет у него такой возможности, чтобы надолго сесть и писать, Цыпин добавлял:

«Я уверен, что именно у вас должно получиться... Но, может быть, вам нужны деньги? Мы вам дадим. Пожалуйста, работайте, не беспокойтесь, мы вас всегда поддержим».

И человек, забежав в издательство «на одну только минутку», уходил с договором, авансом и легким обалдением в голове — от радости и ответственности, которые сваливались на него за чаем с довольно твердыми баранками.

Помнил, как Цыпин, узнав о его намерении написать «Дальние страны», заключил с ним договор, как на готовую рукопись, чтобы он мог работать, не отвлекаясь и не думая, где достать несколько сот рублей.

Тот же Цыпин, зная его привычку устилать путь от кассы издательства до дверей дома билетами государственного банка, предложил заключить дополнительное соглашение о том, что он, Цыпин Григорий Евгеньевич, обязуется выплачивать ему, Гайдару Аркадию Петровичу, за переиздание таких-то и таких-то книг с января по январь две тысячи рублей ежемесячно.

Получалось, что он в Детгизе вроде как на жалованье. Чаще всего «до получки» все равно не хватало. Но, во-первых, в таком случае ждать нужно было не так уж долго (максимум месяц), а во-вторых, если настойчиво попросить, то кое-что можно было получить тут же. Он просил. Ему давали. Правда, после двух-трех просьб хорошо продуманный график выплат срывался, но Цыпин тут уже не был виноват.

Бывало, они и ссорились, если вдруг казалось, что Григорий Евгеньевич к нему недостаточно внимателен, поскольку раз или два отказывал послать редакционный мотоцикл в прачечную за его бельем. Белье он, конечно, мог принести и сам. Посылать мотоцикл было не обязательно, однако он таким способом проверял отношение Цыпина к себе.

И если его смешные споры с Цыпиным возникали нечасто, то в издательском коридоре споры вспыхивали каждый день. И когда «присутственное время» в Детиздате кончалось, а дискуссия о какой-нибудь недавно обруганной или, наоборот, старательно и незаслуженно расхваленной книге еще только разгоралась и никто не хотел поступиться своим мнением, все, продолжая спорить, двигались в сторону Большой Дмитровки.

Фраерман и Паустовский шли в ту сторону потому, что жили в одном доме. Он шел потому, что жил в доме напротив. Роскин шел потому, что жил, по сути, у Фраерманов, спасаясь у них от своего одиночества и грустно шутя, что приехал, как Рудин, на три часа, а остался на три месяца.

Чаще всего к этой компании присоединялось еще несколько человек. И поскольку дороги от Малого Черкасского до Большой Дмитровки, двадцать, чтоб доспорить,

тоже не хватало, подымались к Фраерманам. И здесь уж оставались до глубокой ночи...

Так, согретое теплом цыпинского самовара, под гостеприимной сенью квартиры Фраерманов складывалось литературное братство, душой которого стали Паустовский и Фраерман.

ВТОРАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ ШКОЛА

Он познакомился с Паустовским и Фраерманом только в Москве. Они же встретились за десять лет до этого (когда он еще гонялся по тайге за Соловьевым). И мало кто в пору «групповых драк» и «борьбы оскорбленных амбиций» дружил, как эти двое.

...Детство и юность Фраермана прошли под Могилевом, где Рувим из-за ценза несколько лет не мог попасть даже в реальное. Об этой поре он рассказывать не любил.

В гражданскую войну Рувим, недоучившийся студент, оказался в партизанском отряде в Николаевске-на-Амуре. Участвовал в уличных боях с японцами.

Однажды Рувима вызвали в штаб: «Вот что, паря, ты человек все ж таки образованный, но, конечно, ты все ж таки штатский. И мы тебе поручаем: выйди звериной тропой на Охотское море, организуй там Советскую власть. Выбери Советы. И действуй по своему усмотрению. Будет у тебя военрук, будет проводник. И снаряжение — сколько унесешь».

Позднее, корреспондентом РОСТА, Фраерман переехал в Батуми. Занимался хроникой. Ходил по учреждениям и заводам. Забегал в «Батумский рабочий». Оклада не полагалось: платили за строчку. Платили хорошо. А новости «экстра» передавали в Москву.

Главная информация добывалась в порту. Здесь-то Рувим и встретил Константина Паустовского, который, прежде чем стать журналистом, побывал в недоучившихся студентах, работал трамвайным кондуктором и вагоновожатым, служил санитаром (это уже в мировую) полевого госпиталя, был рабочим-металлургом и рыбаком, а в Батуми редактировал крошечную газету «Маяк».

«Маяк» был газетой порта. И жил Паустовский в порту, в крошечной комнатке бордингхауза.

Это была его редакция. Сюда приходили к нему моряки. Здесь рассказывали о товарищах, о кораблях, реже — о себе. Он сразу же, с их слов, делал заметки для своей газеты.

По словам Рувы, Паустовский был уже в ту пору изумительный работник. Он сам писал. Сам набирал. Сам выпускал.

Рувим тоже начинал уже писать, но неуверенно, несмело, иногда рассказывая Паустовскому «сюжеты».

«Да поймите же вы, черт возьми, — сердился Паустовский, — это же интересно! Дальний Восток — край совершенно незнакомый». И помогал в журналистике.

Паустовский по складу своему был романтик. Фраерман тоже. Это их сближало. Оба мечтали о книгах. В Паустовском Рувим видел уже мастера. И добродушно сносил шутки и пародии, которые Коста (как звали его близкие друзья) сочинял по поводу начатого «Васьки-Гиляка».

Когда, по рекомендации Емельяна Ярославского, Рувим переехал на работу в Москву, сюда же вскоре переехал и Паустовский. Как и Рувим, поступил в Российское Телеграфное Агентство. И с первых дней поразил всех.

Телеграммы часто приходили такие, что в них нельзя было ничего понять. Другие редакторы подобные телеграммы отбрасывали. Коста же разбирал любую путаницу молниеносно.

Паустовский добивался, чтобы телеграфные сообщения писались кратко, языком выразительным и точным, притаскивая на каждое собрание охапки наиболее анекдотических сообщений, которые зачитывал под общий хохот.

Он же настаивал: телеграммы должны строиться так, чтобы в случае нужды их можно было бы сокращать по абзацам. Большая газета, если захочет, поместит все. Маленькая — один лишь факт. И надо, чтоб без вреда для общего смысла можно было остановиться на любом абзаце.

...Он познакомился с ними, когда Рувим успел уже напечатать «Ваську-Гиляка» и «Никичен», написанные с такой тонкостью, словно Фраерман родился не в Могилеве, а в гиляцкой, с земляным полом, юрте, построенной на маньчжурский манер и потому называемой фанзой.

А Паустовский в это время входил в славу, опубликовав свой «Кара-Бугаз». В отличие от тех, кому известность кружила голову, Коста, невысокий, с неможожавым

уже лицом, скромно одетый, везде, кроме самого близкого друга, держался неприметно и тихо, будто стесняясь самого себя. Но стоило Косте начать рассказывать — преображался и делался замечательно красив.

Когда после выхода «Кара-Бугаза» со всех сторон посыпались предложения писать и сотрудничать, Паустовский скромно отвечал: «... Когда я чем-нибудь занимаюсь, я ухожу в эту работу весь и ничего другого делать не могу».

«Почти каждый вечер...»

Среди постоянных посетителей дома Фраерманов был Миша Лоскутов, артистически талантливый человек, с внешностью французского актера: серо-голубые глаза, легкие, стремительные движения. Одевался тщательно и со вкусом, не признавая неряшливости ни в чем. Держался застенчиво, хотя был насмешлив.

Лоскутов жил недалеко от Фраерманов, однако не так уж часто оседал в Москве, много путешествуя, особенно по Средней Азии. И потом откуда-нибудь из Каракумов присылал свои репортажи об автопробеге, который мало походил на пробег, ибо машины то и дело увязали в песке.

Почти всегда у Фраерманов бывал Александр Роскин. Чуть полное лицо, крупноватый нос. Небольшой, почти с детскими губами рот. Глаза внимательные, чуть настороженно прищуренные. Биолог по образованию, Роскин обожал театр. Был вдохновенным музыкантом, а связал себя на всю жизнь с литературой. Первой книгой его, которая привлекла внимание, были «Караваны, дороги, колосья» — об академике Николае Вавилове. Здесь образование биолога пригодилось Роскину в полной мере.

Роскин прозвал сборища у Фраерманов «Конотопами», отказываясь объяснить почему, пока случайно не догадались, что повинны в этом блинчатые пирожки, которые к каждому заседанию пеклись женой Рувима Валей и напоминали те, что традиционно продавались на конотопском вокзале, где поезд стоял несколько минут и успеть схватить хотя бы один пирожок считалось делом доблести каждого уважающего себя пассажира.

Вообще, Роскин, по общему мнению, был большой выдумщик. В Доме творчества писателей в Ялте в опровержение пословицы, что «половины работы не показывают», Роскин предложил каждый вечер прочитывать

друг другу написанное за день. И коротко поговорить о каждом куске. Вечерние собрания привились. Их прозвали «американками».

На «Конотопах» каждый читал что хотел. Он — отрывки «Военной тайны» (которые нравились неодинаково). Зато «Синие звезды» были приняты безоговорочно.

Паустовский рассказывал, затем читал о Колхиде, однажды передав свой спор с Горьким. В «Колхиде» в одном месте было сказано, что герань и кисейные занавески — признак мещанских домов. А Горький сердито настаивал: герань — цветок рабочих окраин, любимый цветок ремесленной бедноты.

Наездами из Ленинграда бывал на «Конотопах» известный историк Евгений Викторович Тарле.

Попав впервые в общество «ученого гостя», они с Иваном Халтуриным поначалу робели, что не смогут поддержать с ним беседу. Но страхи оказались напрасными. Халтурин всегда много знал. Он тоже кое-что в своей жизни прочел и кое над чем подумал. И когда вышли на улицу, Халтурин говорил что-то о том, что, мол, «ты, Аркадий, поразил меня сегодня своеобразием суждений, образностью речи и даже эрудицией».

Друзья хвалили его не так часто, тем более Халтурин, который считал, что образование его недостаточно (увы, это было справедливо), и не раз предлагал: «Вот получишь деньги, станешь богатым, давай пойдем вместе по книжным магазинам и купим все, что тебе хочется».

Речь шла о книгах, которые он давно мечтал иметь дома. Особенно энциклопедии и разные словари, которые любил читать «насквозь».

Деньги время от времени появлялись, но обыкновенно уходили на ерунду: на пир в «Метрополе», на игру в «миллионеры», когда покупал все, что видели глаза, и грузил в машину, а то и две. но почти никогда не довозил до дому. Потом, правда, было о чем вспомнить, однако, снова довольно скоро обеднев, жалел, что эти игры не обходятся чуточку дешевле.

Как бы там ни было, первая встреча с академиком Тарле прошла благополучно. Никому ни за кого не пришлось краснеть. И, бывая в Ленинграде, Халтурин привозил от Евгения Викторовича приветы. Тарле спрашивал: «Что делает Гайдар? Где он? Что с ним?»

Валя ему тоже говорила: «Звонил Тарле. Он остановился в «Метрополе». Просил: «Если на «Конотопе»

будет Гайдар, непременно скажите мне. Я сейчас же приду. Я его крепко люблю. Он умеет из будничного сделать праздник».

Тарле на «Конотопах» рассказывал не только о малоизвестных событиях истории, но и о мало кому известных подробностях истории литературы, целыми главами наизусть читая Достоевского.

Уставая спорить, шли в комнату Вали. Там стоял великолепный, всегда настроенный «Беккер». И Роскин играл отрывки «Хованщины». Или каждому, кто что закажет.

Паустовский просил из «Пиковой дамы», Тарле — из Бетховена и Вагнера, он — «Жаворонка», «Мой костер в тумане светит» и «Умер бедняга в больнице военной». Или тоже что-нибудь из Чайковского.

Лишь в пятом или шестом часу, спохватясь, что светает, все с видимой неохотой поднимались. И Тарле, у которого была сахарная болезнь и которому был предписан строгий режим, смеясь, говорил, что опять швейцар в «Метрополе» вежливо упрекнет: «А вы, профессор, снова где-то загуляли».

После катастрофы на войне и после больниц он, солдат и писатель Аркадий Гайдар, больше всего на свете боялся пустоты вокруг себя. Именно поэтому мог позвать с собой обедать незнакомого, первого встреченного на улице человека, лишь бы не сидеть за столом в ресторане одному.

А в квартире пятьдесят два по Большой Дмитровке, двадцать собиралось не просто «приятное общество». В беседах рождались и уточнялись еще не до конца проясненные замыслы. И многие вопросы литературной техники. Рукописи проходили здесь самую первую и самую беспощадную «обдирку».

«Конотопы» нередко тоже рождали теоретические споры, которые возникали из каждодневной практики. И практикой же проверялись. И он ничего не написал на один раз.

Когда нужны были деньги, «чинил» чужие сценарии, выписывая диалоги за известных киноавторов, которые делать этого не умели, продавал той же студии право экранизации своих рассказов и повестей. Из всех лент он любил только «Думу про казака Голоту», поставленную Игорем Савченко по «РВС».

До самого последнего времени кино было его «отхожим промыслом». Там были свои мастера. Он себя мастером кино не считал. Его мастерской была литература.

Работа

Это становилось ритуалом. Он приходил к Рувиму рано утром. Выбритый. В чистой белой рубашке. «Позволь,— просил,— принять ванну». Рувим позволял. Он наливал горячую, какую только мог терпеть, воду, чувствуя, как с теплом в него вливаются силы и появляется та прозрачность и четкость мысли, которые всегда служили признаком готовности к работе.

Он торопливо натягивал брюки и рубашку и спешил домой, едва успевая перед уходом сказать, что вернется с новой вещью. И не появлялся, пока не приносил рассказ или вполне законченный отрывок. И, вынув свернутую в трубку тетрадь, начинал читать на память. И Рувим, который знал такое множество стихов, что ему бы мог позавидовать любой сказитель, всякий раз удивленно спрашивал: «И как это у тебя так получается?»

Когда же очередное изумление Рувима проходило, он слышал первое мнение, которому доверял. И уже твердо знал: продолжать работу или бросить. Вот почему его всегда беспокоила проблема лета. С одной стороны, летом нужно было отдыхать и ездить, что он и делал. Но, с другой, прерывались, «рассыпались» «Конотопы». И где бы он ни был, писал Паустовскому и Фраерману, спрашивая, едут ли они в Солотчу и можно ли туда приехать ему.

Солотча была недалеко от Рязани, в краю «омшар», таинственных Мещорских болот, которые были не чем иным, как зарастающими на протяжении тысячелетий озерами. У Паустовского и Фраермана в том краю был снят на несколько лет небольшой, в два этажа, обнесенный глухим забором дом, который принадлежал в прошлом одному из лучших русских граверов, Пожалостину. Однако для работы, кроме дома, снималась еще обшитая тесом изба, бывшая баня, которая к осени до самых окон стояла запорошенная листьями. И эта баня манила его к себе, куда б его ни занесло.

Он писал Фраерману с юга: «Всех я хороших людей люблю на всем свете. Восхищаюсь чужими домиками, цветущими садами, синим морем, горами, скалами и утесами. Но на вершине Казбека мне делать нечего — залез, посмотрел, ахнул, преклонился, и потянуло опять к себе, в Нижегородскую или Рязанскую.

Дорогой Рува! Когда вы едете в Солотчу? Какие твои и Косты планы? Тоскую по «Канаве», «Промоине», «Старице» и даже по проклятому озеру «Поганому» и то тоскую...

Дорогой Рува! Когда я приеду в Солотчу, я буду тих, весел и задумчив. К этому времени у меня будут деньги. 100 000 рублей я заплачу́ Матрене, чтобы она за мой долг не сердилась, 50 000 — старухам, 250 рублей отдам Косте, которые я ему должен, 5 рублей дам тебе, а с собой привезу два мешка сухарей, фунт соли, крупный кусок сахару, и больше мне ничего не надо».

Он селился в Солотче у какой-нибудь старухи, которая уже на второй день начинала косо на него поглядывать, потому что горячая вода, налитая с вечера в термос и поставленная в холодный погреб, к утру не остывала, а пустые, из одной капусты, щи, которые она варила по его просьбе и в которые он незаметно бросал бульонные кубики, внезапно обретали такой вкус и запах, будто в них сварили большой, килограмма на два, кусок говядины, да еще с хорошей мозговой косточкой. И, осенив себя троекратно крестом, старуха спрашивала: «А вы, Аркадий, случаем, не колдун?..»

И хотя он клялся, что не колдун, объясняя законы физики, а также показывая жестяную коробочку с бульонными кубиками, приходилось менять квартиру.

Но это все, конечно, было чистое баловство. Главным в Солотче становилась работа. И если ему даже снимали отдельный дом, то писали все трое в Пожалостинской бане.

Построена была она отлично: с предбанником, а кроме того, имелась еще и ванная комната с сооружением вроде самовара, где вода нагревалась углями.

Паустовский занимал ванную, Рувиму отдавали предбанник, а его селили в самой бане. Но оконца во всех апартаментах были маленькие. Главное же — в баньке быстро темнело. И они, сами сколотив, поставили на улице небольшой столик. За ним обедали, но служил стол преимущественно тоже для работы.

Самым большим тружеником был Паустовский. За немалые деньги Коста купил переносную пишущую машинку и печатал на ней, чего ни он, ни Рувим делать не умели.

У Косты в голове все было уже придумано, сложено. И писал Коста легко, как поет птица. Наверное, пока не садился за машинку, а только еще думал и ждал, когда вырисуется образ или сюжет, ему тоже было непросто. Однако наружное впечатление было именно таким: только сел — сразу затрещала машинка. Коротенькая пауза. Снова продолжительный треск, похожий на длинную пулеметную очередь. За нею другие. Только короче. Снова пауза. И опять треск...

Они с Рувимом так не могли. Рувим вообще трудно писал. Он редко если что выдумывал. И подробно мог рассказать о людях, которые под другими именами попали в его рассказы и повести. Рувим помнил каждую черту, каждый шрам на лице, каждый шов в меховой одежде. Обо всем, не останавливаясь, мог говорить часами. Казалось, Рувиму ничего не стоит все это сесть и записать. Но одно дело, полагал Рувим, рассказывать, другое — писать.

Рувим на сто ладов выпевал одну и ту же фразу. Причем самой трудной была именно первая, интонация которой определяла интонацию всей вещи.

Лишь однажды, к изумлению всех, Рувим написал книгу очень быстро. Это была «Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви».

Много раз, приходя с занятий литературного кружка, который он вел во Дворце пионеров в переулке Стопани, Рувим пересказывал беседы с ребятами-старшеклассниками. Все они сочиняли: кто прозу, кто стихи. Большинство стихов, разумеется, было о любви. И когда Фраермана спрашивали, почему он написал «Дикую собаку Динго», отвечал, что мысль об этой книге возникла в беседах с кружковцами. А перенес он все события на Дальний Восток потому, что издавна любит этот край. В нем есть особая романтика, которая ему, как писателю, близка.

И это была чистая правда. Только не вся. И лишь самые близкие друзья знали, что за событиями повести «...о первой любви» стоит большая беда и большая радость самого Рувима, который в гражданскую войну, в круговерти событий потерял из виду жену и малень-

кую дочь и только в тридцать седьмом повстречал свою дочь снова.

Нора жила с матерью в Риге. До сорокового года Рига была заграницей. И когда отец и дочь встретились, Рувим был уже не так молод, а Норе исполнилось восемнадцать...

Он увидел их обоих на улице, приехав из Болшева на два часа в город. И тут же увез к себе на дачу.

Нора была очень хороша: длинные вьющиеся волосы, серые, все понимающие, чуть печальные глаза, нежный, слегка удлиненный овал лица — и мягкий, уступчивый характер Рувима.

И весь день, что он их видел, они ходили, пристраивались в лесу на пеньке и сидели за столом только рядом и только вместе. На них было радостно и грустно смотреть.

У Норы кончалась виза. Пора было возвращаться. Ни Рувиму, ни ей этого не хотелось. И еще, наверное, думалось: он, Рувим, даже не видел, как из маленькой девочки она стала почти взрослой. Норино ж детство прошло без отца. И конечно, в тоске по отцу. Но никто не был в этом виноват. Так повернулось или не довернулось для них колесо истории.

Долгое время после отъезда Норы Фраерман не находил себе места. Больше прежнего стал задумчив. Начав говорить, внезапно замолкал, словно вспоминая давно забытое или пытаясь понять то, что понять можно только однажды.

И вдруг, это случилось через год, уехав на месяц в глухую деревню, вернулся с готовой, за месяц же и написанной повестью.

В книге все было осмыслено по-иному. Личные переживания послужили материалом. События происходили, разумеется, на востоке. Стройный, вежливый, чуть холодноватый полковник совсем не походил на Рувима. «Настоящий человек» Филька был просто выдуман. И только в славной девочке Тане угадывались милые черты уже уехавшей к себе домой Норы.

Лишь большой поэт мог обрисовать полный неясных ощущений и предчувствий мир подростка, да еще девочки, в тихую жизнь которой внезапно врываются радость, недоумение и боль от встречи с далеким, откуда-то «с запада» прибывшим отцом — и первая любовь.

Наверное, потребность в такой повести была очень велика, если в библиотеках за ней выстраивались очереди. И были эти очереди одинаково длинны как в библиотеках для детей, так и в библиотеках для взрослых.

Пастернак сказал, что эта повесть — как распахнутое окно, из которого повеяло свежим, бодрящим ветром. А на спектакле «Первая любовь», поставленном по «Дикой собаке Динго», Фадеев, забыв обо всем, не таясь, плакал.

Но все это было позже, а пока была баня Пожалостина в Солотче, треск пишущей машинки Косты, тягучее, как мусульманская молитва, чуть смешное выпевание Рувима и его, наверное, не менее смешное вышагивание и бормотание, словно он колдовал вместе с Фраерманом.

Он мог, конечно, писать и за столом, как было написано большинство его книг, но с годами приемы работы менялись. Раньше он за три-четыре ночных часа успевал сделать для газеты рассказ. Утром диктовал машинистке и почти без поправок сдавал в набор.

Теперь большинство старых своих рассказов не хотелось даже перечитывать. И в тот альбом, куда он вклеивал фельетоны, очерки, статьи, которыми дорожил, вошло не так уж много. Он увидел разницу между в один присест написанным и выношенным.

Писать быстро, как прежде, давно уже не мог. Зато любил и, прислушиваясь к себе, терпеливо ждал то удивительное состояние, когда после многих неудачных попыток написать страницу, выстроить сюжет, представить близкий, но еще размытый по контурам образ все вдруг медленно прояснялось, обретая четкость и стройность.

Это могло произойти, когда бывал занят другим совсем делом, или принимал гостей, или читал книгу, которая не имела ни малейшего отношения к тому, что он пробовал или только собирался писать. Иногда же это случалось на улице, когда в лицо дул ветер. И тогда в движении, на свежем воздухе, все начинало складываться особенно быстро и хорошо. И он, боясь растерять ту расстановку слов, которая внезапно пришла, ту неожиданную интонацию, торопился к любому столу: круглому домашнему, или залитому чернилами на почте, или залитому пивом в шумной забегаловке.

Он не любил крошечные записные книжки и носил на этот случай в кармане шинели до плотности водопроводной трубы скрученные общие тетради. Это тебе не блокнотик с трамвайный билет. В тетрадь можно записать все.

После какой-нибудь особо счастливой находки писать хотелось дальше — долго и много, но чаще всего «дальше» не получалось. Он впустую просиживал за столом, обводя по многу раз каждую букву написанного; если дело происходило дома, вставал, начинал ходить по комнате, сердясь, сомневаясь и нервничая. Нервный ритм шагов попадал в какой-то новый внутренний ритм. И словно что-то в нем будил. И то, на чем он остановился, вдруг получало продолжение. Он снова торопливо записывал и опять начинал ходить.

Так сложилась его привычка работать. Так же работал, по воспоминаниям, Маяковский. Так же сочинял и Некрасов. С той лишь разницей, что Некрасов и Маяковский сочиняли стихи. А он — прозу. Вообще, кто как работает, он всегда интересовался. И, узнав об одной дельной книге, записал в дневнике:

«Достать Горнфельда «Муки слова». Хвалил Горький».

Про свои «муки слова» он почти никому ничего не писал. Кто далек от литературы, тому это неинтересно. А кто пишет сам, хватает собственных мук.

Техника же работы, которая у него сложилась и которой он очень дорожил, была, если коротко, довольно проста.

Он ходил, придумывал, обдумывал, подбирал, пока не складывалась или не отыскивалась строчка. Он несколько раз вполголоса, проверяя на слух, ее произносил, как бы со всех сторон разглядывая и взвешивая. Если строчка годилась, а тем более нравилась, оставлял, то есть запоминал. И думал над следующей, которая вот так же разглядывалась и выверялась по ритму, по интонации и даже по длине. А потом произносил вслух первую и вторую, примеряя, каковы они в соседстве. Если попадались близкие по звучанию слова или рифмовались окончания — делал замену. И опять проверял на слух обе строчки. И если убеждался: «Годятся!..» — принимался за следующую. И пока, бывало, допишет одну страницу, успевает выучить наизусть.

В той же Солотче он сотни раз до обеда успевал пройти мимо окошка, откуда трещала машинка Паустовского, был виден в крошечном проеме и сам Паустовский. Он искоса и чуть сердито заглядывал в это окно, потому что редко — если за день ему удавалось вышагать больше двух-трех тетрадных страниц, записанных для того, чтобы дать немного отдохнуть голове.

«Если бы я мог вот так сидеть за столом, — с грустью сказал однажды Паустовскому, — я бы уже написал целое собрание сочинений. Честное пионерское слово!»

А когда, радостный, приносил новую, только из печати книгу, Коста, память которого всегда была удивительной, напоминал, листая страницы:

«Вот эту фразу ты говорил, когда дожевывал яблоко. Штрифель».

«А эту, — в тон Паустовскому отвечал он, — я придумал, когда синица висела вниз головой на ветке клена, заглядывала к тебе в окно и хотела своровать семена настурции. Они сушились у тебя на подоконнике. Помнишь?»

Так они могли строка за строкой вспоминать всю историю придумывания им книги.

Конечно, когда новая вещь по первому разу была уже написана и он принимался писать по второму и третьему, многое менялось и придумывалось, то есть *выхаживалось*, по-другому. И снова по одной строке, к которой потом прибавлялась еще одна...

Но что-то сразу найденное оставалось потом в книге и памяти насовсем. И, читая друзьям, он редко сбивался, а если сбивался, то краснел от гнева и щелкал пальцами. Зато когда доходил до особо любимого места, то, прищурившись, следил за тем, какое это производит впечатление.

Раза два завзятые спорщики Роскин и Паустовский заключали с ним пари: они будут следить по книге, а он — читать наизусть. И когда они проспорили ему «американку», то есть выполнение трех любых его желаний, а он для начала потребовал от них подвесной лодочный мотор, Роскин и Паустовский честно поклялись, что никогда больше не усомнятся в исключительности его памяти, за что он растроганно обещал не подавать заявления ко взысканию с них проигранного пари.

Шутливые пари и ловля рыбы, пожалуй, были единственным отдыхом там, в Солотче. Остальное время и силы отнимала работа. Никто из них нигде так интенсивно не писал, как на Рязанщине. Попав как бы в равные условия, они вступали в молчаливое соперничество, хотя победитель был известен еще на старте — Паустовский.

Коста для него и Рувима оставался образцом и укором, потому что если мог существовать на свете идеальный писатель, для которого не существовало ничего, кроме литературы, то это был Паустовский. И если мог быть на свете писатель, для которого девиз «ни дня без строчки» был не мишенью для шуток, а бытом, то и это был тоже Паустовский, который выглядел больным в те дни, когда почему-либо не садился за стол. Для Паустовского работа сделалась уже не привычкой и даже не призванием, а, как сказал бы Роскин, физиологией. Косте легче было не есть, не пить и не спать, чем не писать.

В той же Солотче, возвратясь однажды к обеду с прогулки, он увидел на столе возле бани увесистый булыжник, а под ним телеграмму: «Солотча Рязанской писателю Константину Георгиевичу Паустовскому».

Сам писатель К. Г. Паустовский трудился в своем кабинете, то есть в ванной. И по нерушимому соглашению — пока дневная работа не закончена, никто никого никуда не зовет и ничем не отвлекает — телеграмму эту в ванную никто не относил и через окно молча тоже не показывал.

За тем же столом, поглядывая на ту же телеграмму, сидел задумчивый Рувим. Телеграф в Солотче был свой, но аппарат часто ломался. Телеграммы на почте в подобных случаях принимали по телефону. И каждое слово, прежде чем его записать, криком повторялось не менее десяти раз, так что содержание депеши Паустовскому знало по меньшей мере пол-Солотчи. Но Рувим продолжал сидеть за столом, глядя на придавленный камнем листок и не притрагиваясь к нему.

— Это чужая телеграмма, — строго сказал ему Рувим, едва он сел за тот же стол, — и читать ее нельзя.

— А ты думаешь, что я ее прочту?

— Я не думаю, — ответил Рувим, — я даже знаю, что ты это сделаешь, а меня потом будут мучить угрызения совести.

— Так что же, — серьезно спросил он, — мне пропадать из-за твоей дурацкой совести?

Он взял и развернул телеграмму. Киностудия просила разрешения на экранизацию рассказа Косты, любезно сообщая, что аванс в размере 5000 рублей уже выслан.

— Что ты скажешь? — спросил он Рувима.

— Очень хорошо... — ответил Рувим. — Если Коста получит деньги, то одолжит, наверно, и нам: ты сидишь без денег, я сижу без денег...

— Хорошо-то хорошо,— согласился он.— Но давненько я что-то не получал таких телеграмм.

Сказал, вздохнул и ушел. И до позднего вечера не появлялся.

— Аркадий,— набросился на него, когда он вернулся, Рувим,— где ты был, что с тобой?!

— Да ничего... Просто думал, что вот я никого не убил, не зарезал, а душа болит ужасно...

— Да ты никак завидуешь, что Паустовскому пришла телеграмма?

— Да, завидую...

Он завидовал все же не телеграмме. Или, если быть точным, не только телеграмме. Он лишний раз убедился, что есть вещи в писательской профессии, которые для него недостижимы. Он не мог каждый день сидеть за столом, как Паустовский. А писать хотелось много и крепко. И это невозможно было совместить и примирить. Оттого ему и было грустно.

Одна, малая часть его «работала» на литературу. А другая рвалась к впечатлениям, которые вряд ли когда могли пригодиться, хотя тот же Коста утверждал: «Ничто, даже самая малость, не проходит для нас даром».

Он сам себе удивлялся: детское в нем даже с возрастом не исчезало. Если он писал, если к нему обращались за помощью или он сам попадал в трудную ситуацию, в нем пробуждался весь его прошлый «взрослый» опыт.

Во многих же иных случаях, возможно, потому, что детство для него кончилось слишком рано, ему хотелось «доиграть». И однажды он понял, что Коста прав: «Ничто, даже самая малость, не проходит для нас даром», потому что из игры родилась «Голубая чашка».

«ГОЛУБАЯ ЧАШКА»

Поездка в детство

После истории с незаконченными «Синими звездами» долго не мог приняться за новую работу. Возможно, разумнее всего было бы сесть и написать «Синие звезды» заново и совсем по-другому, как эта книга смутно виделась е м у теперь. Ведь бывало ж: скажем, у Рувы отдельно существует журнальный вариант «Васьки-Гиляка». Отдельно, сильно отличаясь, — книжный.

Но к «Синим звездам» больше не вернулся. Запасать сюжеты впрок тоже не умел. Закончив повесть, очень медленно от нее отходил, еще медленнее подыскивал тему и принимался за новую.

А тут не было даже того чувства облегчения, когда рукопись, слава богу, закончена и сдана. «Синие звезды» сидели в н е м, как мелкий осколок: и снаружи вроде не видно и прикоснуться больно.

В конце концов начал подумывать, что хорошо бы на время уехать из Москвы, пожить в маленьком городке, в комнате с цветами на окнах, где так славно пишется в ясное морозное утро или в ночной тишине.

Знал: для н е г о на свете есть только один такой город — Арзамас. Там никто не станет говорить, что «Гайдар после «Школы» ничего стоящего не создал, а одну книгу в своей жизни может написать каждый...». Там не будет тревожного ощущения: «Все кругом что-то успевают. Только я топчусь на месте». В Арзамасе для многих о н на всю жизнь просто Аркашка.

Родной город встретил его тишиной. В Москве звенели трамваи, стучали отбойные молотки, гудели автомобили. А здесь было тихо-тихо. Только взвизгнули, проносясь мимо, когда вышел на привокзальную площадь, пошевни.

Чтоб никого не обременять, снял комнату в Доме колхозника и отправился к Похвалинским. Они жили в том же доме двенадцать по улице Карла Маркса, где жил, возвратясь с войны, отец. После его смерти мачеха, Лидия Павловна, попросила дать ей квартиру поменьше. И поселилась с двумя детьми, Маюшкой и Петей, в переулке возле бывшего реального.

По обыкновению телеграмм о н не давал. В Арзамасе е г о не ждали. И соседка по квартире сказала, что Нина и Митя на работе. Дома только сыновья.

...Нина Бабайкина была подруга е г о детских игр; жили в одном дворе на Новоплотинной. Нинин отец, дядя Коля, был водовозом. И на маленькой, с раздувшимся брюхом лошаденке, которую дядя Коля позволял иногда отвести к прудам на водопой, о н учился ездить верхом.

А с Митей Похвалинским познакомился в Моршанске. Познакомил их Коля Кондратьев. Коля и Митя — оба служили у н е г о в 58-м полку. Полк-то ведь был Нижегородским.

...О н вошел в комнату. Двое сыновей Мити и Нины ожесточенно дрались, как о н выяснил, из-за конфеты. Предложив им на время отложить драку и покараулить е г о сумку, спустился в магазин, принес два больших кулька и отправился побродить по городу.

После ужина Нина с Митей ни в какой Дом колхозника е г о, конечно, не отпустили. И с первого дня е г о как-то по-хорошему завертело.

«Я уже встретил здесь многих знакомых детства, — радостно сообщал о н Трофимовой.— Никуда в официальные учреждения не хожу и не хочу — несмотря на приглашения...» *

О н приехал не как официальное лицо. Даже не как писатель. О н приехал, чтоб вернуться — пусть ненадолго — в свое детство.

«...Я был у некоторых папиных знакомых, а больше у знакомых и друзей мамы»,— сообщал о н в другом письме. В каждом доме делал маленькие подарки, а «одной старушке», Марии Васильевне, подарил что-то «вроде здешнего джемпера и всякое то да се. Все они были страшно поражены и рады. Это, Нюра, не то что подарить кому-нибудь в Москве. Например, Мария Васильевна долго и горько плакала — а мать моя была когда-то с ней подруга» *.

Нелегко было представить, что мама, которую помнил всегда молодой, даже по их последней встрече в Алупке, могла сейчас быть такой же...

«...Ростовские денежки, — продолжал о н, — я уже почти истратил. А к Лидии Павловне еще не ходил, потому что тут нужно (и совестно было бы) не подарить ей джемпер, а просто деликатно предложить руб[лей] 200. Это в Арзамасе мой последний долг, и мы

выполним его, когда получим деньги из «Красной нови» *.

Но кроме этого, нравственного долга, его мучал еще один. «Зайди к Рувиму, — просил он, — поклонись ему в ноги и скажи ему, что я свинья, как только-только я получу деньги из «Красной нови», я ему сейчас же остаток долга пришлю. Он добрый, хороший, и он простит. Очень прошу тебя зайди сама и скажи так честно, чтобы не путать человеку голову» *.

...Мачеха Лидия Павловна прожила с его отцом очень недолго. Отец рано умер. И те несколько лет, что он сначала уговаривал выйти за него (Лидия Павловна была значительно моложе), и те, что прошли у них вместе, были для нее лучшими. И она дорожила всем, что было связано с отцом. Всякий раз, встречаясь с ним, она изумленно произносила:

«Боже мой, Аркадий, как ты похож на папу!»

С двумя детьми жилось ей нелегко. И, бывая в Арзамасе, он всегда находил предлог оставить ей немного денег, то ссылаясь, что хотел купить ребятам костюмчики и сандалии, да не знал размеров, то еще на что-нибудь.

Когда же вместо ожидаемого перевода из «Красной нови» пришли деньги и запечатанные пачки с авторскими экземплярами «Военной тайны», тут же отправился к Лидии Павловне, но попал неудачно. Лидия Павловна стирала. Была ему рада, но жалко было оставлять с трудом нагретую воду.

Он отдал ребятам гостинцы (маленький круглолицый Петюшка был удивительно похож на него), вынул из сумки «Военную тайну» с красным всадником на обложке, а когда Лидия Павловна отвернулась, сунул под подушку несколько бумажек, обещав, что зайдет в ближайшие дни.

И в один из вечеров приехал на извозчике.

— Что же ты — до Похвалинских и на лошади? — удивилась Лидия Павловна.

— Ничего, мы и на извозчике хорошо доедем, — успокоил он.

Он любил кататься на лошадях и договорился с извозчиком Юрловым, что Юрлов будет подавать свой экипаж в любое время дня и ночи.

— Лидия Павловна,— робко попросил он, когда отъехали от дома,— расскажите что-нибудь о папе.

Рассказала: как болел и все не могли понять, что с ним. И очень ждал писем от него. А их не было. И отец, особенно последнее время, из-за этого расстраивался.

— Он очень любил тебя,— продолжала Лидия Павловна.— Помню, вернулся как-то из командировки в Нижний. «Представляешь, — говорит, — иду Покровкой, смотрю — книжка: Аркадий Голиков «В дни поражений и побед». Папе было очень приятно, он с гордостью об этом рассказывал: «Смотрю — книжка: Аркадий Голиков...» Последнее время папа все хотел сам тебе написать, да не знал куда... И никто не знал. Где ж ты был в то время?.. [1]

— У меня случились разные невеселые обстоятельства в Перми... Редактор браковал подряд все фельетоны — выживал из газеты. А город маленький. Куда уйдешь? Хорошо, пригласили в Свердловск... Потом переехал в Москву.

Думал: вот обоснуюсь на новом месте — тогда сяду, напишу. А так что же писать? Одно расстройство. Я ведь знаю, папа очень переживал, пока я был после армии без работы.

В Москве встретил Шурку Плеско. Зашли в столовую. Вдруг Шурка говорит:

«Аркадий, выпьем за упокой души прекрасного человека... твоего отца».

«Ты что — с ума сошел?! Отец у меня такой здоровый — переживет нас с тобой».

Шурка вынимает из кармана газету — а там извещение.

...У Похвалинских прожил недолго. Неловко было стеснять. Кроме того, ждал Нюру Трофимову с девочками. И потому снял две небольшие комнаты в доме у стариков Кондратьевых, родителей Николая.

Сам Николай вместе с Плеско работал в газете в Севастополе.

В домике у Кондратьевых решено им было до весны обосноваться крепко. Обе комнаты были вымыты, вычищены. Ему по его просьбе оставили только кровать с периной. Остальное, что могло понадобиться, думал купить.

То, о чем мечтал, покидая Москву, сбывалось. В чисто вымытой комнате без мебели чуть потрескивали пере-

сушенные обои. Керосиновая лампа отбрасывала огромную тень. Тишина потрясающая — как у них в доме на Новоплотинной, когда отец в отъезде, сестры спят, мама на дежурстве, а он в ожидании того часа, когда можно будет, свистнув Каштанку, пойти маму встречать,— один, с книгой.

И читать ему теперь хотелось только то, что читал в детстве, дома. Зайдя днем в библиотеку, сразу выбрал знакомый синий томик. И в этой непередаваемо родной тишине неторопливо, строка по строке перечитывал любимые страницы, учась «страшному простому мастерству Гоголя».

«Дорогой Рувим,— писал он недели через две. — Все на месте. Кончил устраиваться... В пяти минутах базар, в трех минутах широкое поле, на столе — керосиновая лампа, а на душе спокойно...

Послезавтра оклею обоями комнаты, тогда буду совсем свободен, и можно будет подумывать о работе. Что-то близко вертится, вероятно, скоро угадаю...»

Но что вертелось — угадать было трудно. В ушах звучали детские голоса. Перед глазами всплывали то смеющиеся, то нахмуренные детские лица. Думалось: «Это может быть забавным поворотом. Мальчишку жалеют, за него хотят заступиться, а сам он, оказывается, еще хуже виноват...»

Но чьи это были голоса, чьи лица, к чему был этот «поворот» — не знал еще сам. На всякий случай записывал. И носил для этого большой блокнот.

Бывало, сидят все за столом: Нина, Митя, Нюра, Лидия Павловна. Разговаривают. Он вынимает незаметно, чтоб не позабыть, свой блокнот и на колене начинает писать. А вокруг сразу становится тихо. Сперва думал: отвлекается и потому не слышит, пока не заметил: все замолкают или начинают говорить шепотом.

Он быстро дописывал и возвращался к беседе. Никто ни о чем его не спрашивал.

Он еще не начинал всерьез работать. И не торопился начинать. Ему хотелось задержаться в прошлом, продолжить игру в детство, как это бывало всегда, когда он приезжал в Арзамас, и как было в ту зиму, когда впервые приехал в отпуск с Марусей. И дурачился от счастья, от переполнявших его сил, когда казалось забавным и нестрашным побороться в обнимку с медведем...

Сейчас, в Арзамасе, он делал все то, что любил в детстве.

Он звал Юрлова, сажал к нему в санки Маюшку, Петю, знакомых детей, которые встречались по дороге, и возил по городу. Возок делался похожим на переполненную грибную корзину. И однажды на раскате сани занесло, обо что-то ударило. Возок стал на ребро, все «грибы» посыпались в снег, и они с Юрловым тоже.

К счастью, никто не ушибся.

Юрловский рысак в этот день побегал на славу. И, угостив ребят апельсинами, пирожками и бутербродами с сыром — тем, что нашлось в ресторанном буфете,— развез детей по домам.

Другой раз устроил катание на санках с Троицкой горы. Ребята приволокли из дому разномастные салазки, один мальчуган — даже выдолбленное корытце, а для себя он нашел в соседнем дворе легкие санки-пошевни. И устроил поезд: его пошевни спереди, остальные салазки сзади.

«Поезд» благополучно выкатился на лед недалеко от того места, где тонул Колька Киселев. А он полез Киселева спасать.

На земле было немало рек, равнин, пригорков, лесов, поворотов, лощин, где по законам войны и всяким другим законам он вроде должен был навсегда остаться. И помнил их все.

Когда Рувим Фраерман сообщил ему, что вместо Арзамаса решил отправиться на Кавказ, ответил:

«...На перевале в Тубан я был в 1919-м — дорога туда зимой очень нелегкая, хотя красоты неописуемой. Когда лошадьми будешь проезжать станицу Ширванскую (а ее ты никак не минуешь), то увидишь одинокую, острую, как меч, скалу, под этой скалой, как раз на том повороте, где твои сани чуть уж не опрокинутся, у меня в девятнадцатом убили лошадь».

Воспоминания детства были неразрывны с воспоминаниями о войне. И трудно сказать, по какой ассоциации ему захотелось поиграть еще и в снежную крепость.

Он пригласил ребят во двор к Кондратьевым. Первыми пришли Юра Похвалинский и Майя. Потом подоспели остальные. И он сказал: пока весенние каникулы, неплохо бы провести военную игру, но для этого сначала надо построить крепость.

Разделил ребят на бригады. Одна изготовляла из сне-

га кирпичи, другая кирпичи подносила, третья возводила стены. Проследил, чтоб первый ряд был уложен ровнее, и вернулся в дом, предоставив ребятам работать самим. Вскоре за ним пришел Юра и позвал смотреть. Снежная стена стояла буквой «Г», открытая с двух сторон, да и кладка была низкой.

Он помог сделать одну стену почти в свой рост. Ребята уже сами достраивали остальные. После этого оставались только «пороховые погреба», снежные гранаты — и можно приступить к игре.

Набежало ребят достаточно. Он разделил их на два отряда: одни крепость защищали, другие должны были взять ее штурмом с непременным условием: никакого оружия, кроме снежков. И крепость не ломать.

Защитники и нападающие находились примерно в одинаковых условиях. Крепостные стены, конечно, лучше защищали, зато кидать снежки через бойницы было не особенно удобно, пока обороняющиеся не догадались: двое или трое, кто пометче, устроились на чурбаках и кидали поверх стен. Остальные им снежки готовили и подавали.

Потом армии поменялись.

Он в обоих случаях принимал участие на стороне атакующих (чтоб никому не было обидно), только старался не очень сильно кидать снежки. Зато «противник» опять-таки в обоих случаях целил по преимуществу в него. И он выглядел тоже сделанным из снега. А тут кто-то из девчонок, Света или Эра, залепили снежком ему прямо в рот. Он побежал в дом за подкреплением, привел всех взрослых, кого только смог вытащить на улицу,— тут уж крепость быстро сдалась...

«Черновик моей любимой книги»

В мае, когда подсохло и начало зеленеть, переехали на дачу в Заречное, в нескольких километрах от Арзамаса. Он снял на лето пятистенок, достаточно просторный, чтобы не было тесно и он мог бы работать, потому что в Арзамасе за целую зиму не написал ничего. И это начинало его тревожить.

В небогатом Заречном был свой уклад. И после прошлогодней поездки в Ивню, которая закончилась тем, что оставил на полдороге «Синие звезды», он с особым вниманием вникал в подробности деревенской жизни.

Он подружился с хозяином, приветливым и мудрым Михаилом Рябовым, искусным плотником и колхозным бригадиром. С ним делился мыслями о жизни новой деревни — и всегда было любопытно, что Рябов ответит, ибо суждения бригадира были всегда неожиданны и точны. И он ласково прозвал хозяина «Солнышком».

По совету Рябова знакомство с Заречным начал с колхозного детского сада, который был тогда большой новостью. В Горьковской области в ту пору имелись деревни и позажиточней. Зареченский же колхоз считался отстающим, однако первый колхозный детский сад создали здесь.

Пришли туда с Нюрой. Нюра читала ребятам детские стихи, сначала других поэтов, потом и свои. Он рассказал «Сказку о Мальчише». И пока оставался в Заречном, детский этот садик на колхозном бюджете не выходил из головы. И уже перед отъездом подарил детсаду на всякое дополнительное обзаведение пачку облигаций «золотого займа».

Изо дня в день жил теперь, по выражению Рябова, в «куче народа». В нем не затухала жадность общения. Если рядом вертелись мальчишки — играл, уходил удить рыбу или в лес с мальчишками. Видел стариков — степенно подолгу беседовал со стариками. Или вдруг хотелось песен — приглашал в дом всех, кто пел.

Приходили мужики. Приходили бабы. Ставил угощение: вино, орехи, сласти. Пели ему старинные народные. Пели и духовное. Если нравилось — просил: «Спойте, пожалуйста, еще...» Пели. «Еще раз, пожалуйста, спойте...» И всегда напоследок, уже зная, что любит, — «Песню цыганки»:

Мой костер в тумане светит,
Искры гаснут на лету...
Ночью нас никто не встретит;
Мы простимся на мосту...

Ночь пройдет — и спозаранок
В степь, далеко, милый мой,
Я уйду с толпой цыганок
За кибиткой кочевой...

Песня напоминала ему арзамасский дом, где ее часто пела звонкоголосая Катюшка, и Марусю, когда они слушали Катюшку вдвоем. Для них с Марусей было в

этой песне что-то от кочевой солдатской жизни с кострами, обозами и мимолетными свиданиями. И когда писал в «Военной тайне» о встрече с Марицей Маргулис — писал о «ярких кострах», «целом таборе» беженцев, о «худенькой, стройной девчонке, вздрагивающей под рваной» и по-цыгански «яркой шалью».

И горькой горечью здесь, в Заречном, в нескольких километрах от Арзамаса, звучали слова той же песни:

Кто-то мне судьбу предскажет?
Кто-то завтра, сокол мой,
На груди моей развяжет
Узел, стянутый тобой?..

После «Песни цыганки» ничего уже больше слушать не мог. Угощал певцов. Давал гостинцы с собой и выходил на воздух немного успокоиться.

В голову лезло разное. Вспомнил, как Рябов, когда пошли купаться, спросил:

«Аркадий Петрович, что это у вас за шрамы на груди?»

Объяснил: «Это я встретил хорошего человека — сердце хотел показать...»

Конечно, шутил. Шрамы остались от другого — от ранений. Но он в самом деле готов был любому хорошему человеку показать свое сердце, и странно, что самые добрые помыслы его нередко оборачивались во что-нибудь нелепое. Или из-за него самого. Или из-за неожиданных обстоятельств. Он потом годами терзался, теряя дорогих ему людей, как потерял Марусю.

...Время работать пришло. И когда Рябов по обыкновению предложил что-то заманчивое, рассеянно ответил: «Солнышко, достаточно... У меня созрел план. Мне надо писать. Ты меня, пожалуйста, не тревожь. И не мешай...»

Он заперся в маленькой комнатке, которая хозяевам служила полукладовой, получуланом, а сейчас была вычищена, вымыта и вполне годилась под кабинет. Он сидел там безвылазно, никого не видя, ничего не слыша по многу часов. И еду ему подавали тоже в чулан.

Писал он на больших листах, еще не зная что: повесть или рассказ. Одно ему было ясно: он должен сохранить в рукописи то озорство возврата в детство, которое позволял себе здесь. И то наивное удивление перед всем, что окружает нас, которое у взрослых обычно пропадает.

Правда, у него никогда не пропадало. Всякий раз, уезжая из Москвы, писал домой Эре и Светлане открытки и письма, полные шутливого удивления перед самыми обычными вещами.

«Видели мы, — сообщал девчонкам, — немало всяких чудес. Видели мы дерево толщиной чуть ли не с нашу комнату. Видели мы камни вышиной с наш дом, видели мы рыбину длиной с наш коридор, видели мы и золотых рыбок, которые на солнце так сверкают, что даже глаза зажмуришь; видели хитрую лисичку, доброго ежика и злющую змею, которая ползет под кустами, и все ее, проклятую, боятся; лишь один ежик нисколько не боится и даже может ей так наподдать, что она сразу сдохнет».

В той же интонации начал и новую вещь:

«Мне тогда было 27 лет, а сыну Димке пять. Летом я получил отпуск, и мы уехали на дачу. Однажды вечером мы с Димкой сидели на крыше сарая и приколачивали большущую вертушку.

«Вот, — думали мы, — подует ветер, вертушка зажужжит, закрутится: жжу-жжу! То-то будет весело. А завтра утром и еще что-нибудь интересное придумаем. Или в саду под бугром пещеру выроем. А может быть, плотину на ручье построим...»

Только что полез я в карман за гвоздями, вдруг Димка дернул меня за рубашку и потихоньку говорит: «Ой, папка, посмотри, кто-то сюда идет. Наверное, это мама из города уже приехала. И как бы нам с тобой не попало...»

Поглядел я, вижу: правда, идет наша Маруся...» *

(Каждое имя несло для него определенный образ. Из женских всего милей было это.)

«Здравствуйте, — говорит она. — Вы зачем, негодные люди, на крышу залезли [уже совсем ночь]? Димке давно спать пора. А вы обрадовались, что меня дома нет, и вздумали самовольничать...

— Маруся, — отвечаю я, — мы не самовольничаем, мы вертушку приколачиваем. Ты подожди [еще] немного. Нам только осталось четыре гвоздя заколотить да завязать веревкой...» *

Что писать дальше, не знал, то есть знал, что Димка с отцом (хотел отца назвать Николаем, но брать себе чужое имя было неприятно, и потому не назвал никак) обидятся на Марусю, уйдут из дому, подбродят где-ни-

будь целый день и вернутся, но этому путешествию пока что не хватало «пружины» и разных неожиданных поворотов...

С сожалением покинув свою камору, не возвращался в нее, пока не вспомнил случай.

В Крыму, в Артеке, в семье одного из сотрудников жила приемная дочь, пионерка Герда. Родилась она в Германии, но «пришло, — писал он дальше, — на Германию фашистское время. Кого в тюрьмы, кого на каторгу, а всех евреев из Германии гнать стали... Только не тех, что богатые, а тех, что обыкновенные» *.

Выгнали и Герду с дедом, но дед ей сказал: «Не плачь, глупая. Еще не все плохо. Мы не поедем с тобой ни в город Франкфурт к тетке, ни в город Гамбург к дядьке. Потому что и оттуда фашисты нас гонят. А поедем мы с тобою в хорошую Советскую страну. Там русские [и татары] и евреи и все рабочие люди одинаковые, только буржуи не одинаковы. Из них каждого гонят оттуда почем зря» *.

Судьбу деда Герды и остальных близких он не знал. Девочку удочерила семья старого большевика. Герда подружилась с местными мальчишками. И как-то во время игры один из мальчишек, проигрывая, по глупости Герду обидел, а другой за нее тут же заступился. И в рукописи появилось сразу три новых персонажа: немецкая девочка Фридка (которую по созвучию с Гердой назвал позднее Бертой) и двое мальчишек: Санька Карякин и Пашка Букамашкин.

Но первый же столь долгожданный сюжетный поворот заставил его кое-что поменять. Отец с Димкой, разумеется, должны во всю эту историю вмешаться. Но тогда выйдет, что маленький Димка, словно театральный резонер, станет судить (и осуждать!) поступки других, старших мальчишек?

И Димку пришлось убрать. Вместо него в рассказе (он уже видел — выходит рассказ) приколачивала с отцом вертушку, пряталась от Маруси и мечтала о путешествии рыженькая Светлана, по странному совпадению сильно похожая на ту, что носилась под окнами рядом и в кое в чем могла посостязаться с любым мальчишкой. Он даже обрадовался, что в новой вещи у него появится Светланка, в которой он не чаял души, хотя и жалел, что о многих ее проделках написать на этот раз не удастся.

Поначалу в рассказе (назвал его «Хорошая жизнь») появлялись знакомые интонации «Сказки о военной тайне». Пашка, например, говорил о Саньке:

«Вот идет подлый белогвардеец Санька Карякин... Он ждет не дождется, чтобы пришли фашисты. И тогда они купят ему на свое проклятое золото... черный крест, [черную] новую рубашку да ременную нагайку. Не хнычь, палач, вытирай нос да радуйся» *.

Светланкин отец тоже считал: людям, которые кричат «жидовка», место только в «фашистском царстве». «И если бы, — укорял Светланкин папа, — был твой отец генерал или кулак, а мать белогвардейская принцесса... то и то не так обидно было бы, когда ты рабочий человек, Санька, а как настоящий фашист трудящуюся девчонку обидел...» *.

Обида Фридки — Берты обретала социальное звучание. Больше того, классово непримиримое, потому что «рабочий человек» не может поступать «как настоящий фашист». И только милое заступничество Светланы, которая высказала предположение, что, может быть, Санька никакой не фашист, может, он просто дурак, смягчало конфликт, перенося его из области высокой политики в разряд бытовых недоразумений.

...Тех двух крымских мальчишек, воспоминание о которых помогло ему достроить сюжетную канву, не забыл. И по прошествии нескольких лет, в мае 1939 года, пометил в дневнике: «Выслать книгу — Ялта, Черноморский пер., 1, кв. 7.— Вильвовскому Лене, Данцеву Виктору. Это ребята, которые дали мне «Голубую чашку».

Ребята в самом деле «дали» ему «Голубую чашку» (до конца работы она еще называлась «Хорошая жизнь») — путешествие «куда глаза глядят» обрело столь необходимый и совершенно неожиданный поворот. И он бы мог, мило обыграв ссору ребят, прибавив еще один-два смешных эпизода из тех, что могли приключиться с «пилигримами», изящно закончить рассказ, тем более что обида Светланы, которой Маруся не позволила приколотить вертушку, выглядела игрушечной по сравнению с обидой Фриды — Берты. А ведь и Саньку простили.

Но сложность замысла состояла в том, что, кроме обиды Светланы, была еще обида отца, вроде бы со Свет-

ланой общая, а на самом деле нет. И в этом заключалась «военная тайна» его новой вещи.

Обида отца на Марусю, которая вечером не позволила им со Светланой доиграть, а сама утром, никому ничего не объяснив, уехала в город, была подобна невидимым трещинам на фарфоровой чашке, когда и чашка вроде цела, а прежнего мелодичного и чистого звука уже нет. И люди (он-то знал!) теряют друг друга без видимых причин. А потом, бывает, жалеют всю жизнь.

Так получилось и у него с Марусей, но ни один человек не пришел к ним на помощь. А сами они не сумели справиться с бедой, потому что были очень молоды. Ему двадцать. Ей того меньше, хотя у обоих за плечами было то, что было не у многих: война, нежность, родившаяся на войне. И верность, которую они оба пронесли, несмотря на беспрерывные разлуки.

И он нашел второй сюжетный поворот — разговор о летчике...

В каком месте будет начат разговор, точно еще не знал. Зато решил для себя два других вопроса: начнет разговор Светлана. И отец расскажет о первой встрече с Марусей.

В «Военной тайне» тоже писал о первой встрече, но в тяжелом, утомленном сне Сергея, где многое трансформировалось и сместилось. А в «Хорошей жизни» твердо решил поведать все так (или почти так), как и случилось на самом деле: вот он едет в дозоре, мелькает тень, он думает: «Белый разведчик!» — а это девчонка, Маруся...

Конечно, если бы рассказывать все-все, то нужно было бы рассказать и почему расстались. И может, если достанет сил, напишет когда-нибудь и об этом. Но пока он писал не просто рассказ, а полусказку. А в полусказке, как и в большинстве сказок, должен быть хороший конец.

Собственная беда его должна была помочь другим. И «Хорошая жизнь» должна была поведать о том, как люди могли потерять друг друга, но не потеряли, потому что крепко любили и крепко верили. «Хорошая жизнь» должна была стать вещью о надежности: надежности человека и человеческих отношений, вещью о доверии; человек, верный долгу на войне, верен долгу и во всем ином...

Когда план рассказа уже совершенно прояснился и ему требовалось одно: чтоб его только не тревожили в каморке,— получил известие, что в первых числах июня, то есть буквально через день-два, в детской секции Союза писателей в Москве состоится дискуссия о «Военной тайне». Одновременно сообщали, что повесть нравится далеко не всем. И лучше всего, если бы он смог приехать сам...

Он собрался в полчаса и уехал защищать книгу.

Обсуждение было жарким. К спорам о книге примешивались и личные отношения. Кое-кто пытался, пользуясь удобным случаем и кивая на мнимые и подлинные недостатки повести Гайдара, заодно свести счеты с Детиздатом.

Что касается «Военной тайны», то его обвиняли в подражательности, сентиментальности, незавершенности и отсутствии «лобовой» ясности.

Все же немало народу за книгу заступилось. Обсуждение в целом прошло благополучно, о чем он дал телеграмму в Заречное и, обвешанный покупками, приехал сам.

Но радовался он раньше срока. Дискуссия выплеснулась в печать и в особенности на страницы журнала «Детская литература». Здесь полемика затянулась ровно на полгода. То, что о нем писали, было типично «дамской критикой»: все с большим чувством, все категорично — и все абсолютно бездоказательно.

О нем писали: один «из самых крупных современных детских писателей», а всерьез принимали только «Школу».

Успех его книг объясняли так: все его повести и рассказы, начиная с «РВС», — «надклассовый детектив».

О нем говорили: «После ряда шатаний Гайдар нашел свой путь в советской детской литературе».

Но он никогда не «шатался». Он искал и пробовал. Кроме того, популярное словечко «шатание» намекало на некие идейные зигзаги. А их у него тем более не было. Он печатал вещи более удачные и менее удачные, но все они были написаны с одной позиции — позиции человека, в неполных четырнадцать лет ушедшего бороться, как он говорил в «Школе», «за светлое царство социализма».

Это не значило, что в повести «Военная тайна» нет недостатков. Но когда его «Военную тайну» сравнива-

ли с книгами Чарской и Бичер-Стоу, он мог только развести руками, «Хижину дяди Тома» в самом деле когда-то читал, потом ее навсегда заслонили «Том Сойер» и «Приключения Гека Финна». Но из романов Чарской точно не мог дочитать ни одного.

Лидия Чарская была кумиршей институток и гимназисток — любительниц поплакать. Он плакать не любил. И еще в четвертом классе всем «Княжнам Джавахам» предпочитал, помимо Гоголя, Жюля Верна и Марка Твена, «Обрыв» Гончарова, «Анну Каренину», «Короля Лира», статьи Писарева, книги Дарвина, а также «Историю цивилизации Англии» Бокля.

В одной статье говорилось: в «Военной тайне» совершенно не удались образы взрослых. В другой, если в книге что и хорошо, то это, конечно, образ Сергея. Зато многих дружно поражало, что Алька в повести назван «хорошим человеком». Знатоки детских душ, видимо, считали, что ребенок человеком быть не может.

Общий же итог был такой: «Военная тайна» — «средняя книжка о советских детях, тепло написанная, с большими литературными недостатками...»

Допустим, все это так: к чему же было полгода ее обсуждать, полгода трепать ему нервы? Ведь люди-то все не чужие... Все знакомые.

От всех переживаний, связанных с полугодовым спором, снова попал в больницу [1].

Урок Маршака

Лечили хорошо. Выписался в ноябре. Истосковался по работе. И сразу переехал в Малеевку. С наступлением холодов в Доме писателей всегда оставалось мало народу. И он надеялся быстро закончить «Хорошую жизнь», с которой его торопили.

Уже было объявлено, что с января 1936 года тонкий двухнедельный «Пионер» станет «толстым» ежемесячником. И Боб Ивантер, который на него больше не сердился, хотел получить рассказ для январского программного «толстого» номера.

Он тоже хотел поспеть к январскому номеру, во-первых, чтобы окончательно помириться с Ивантером, а во-вторых, нужны были деньги.

План работы у него сначала был такой: начисто перепишет в конторскую книгу то, что уже сделано. А затем пойдет дальше. Думал: будет беловик, но не выходило ни одной неправленой строки. Вместо беловика получился еще один черновик.

Зато сразу обнаружились просчеты композиции. Например, «что за человек наша мама?». Светлана спрашивала в самом начале путешествия, когда читатель к этому еще не мог быть готов. И чтобы проверить себя, набросал на последней странице конторской книги, в какой последовательности расположатся эпизоды:

«Первая песня Светланы

Полусказка

«Что за человек наша мама?»

Мы идем навстречу Фриде

Мы встречаем собаку Полкана-Великана

История пастуха и Полкана.

Вторая песня Светланы. Мы ей простили. Болото... Черт» *.

И тут же, чтоб не забыть, пометил, каким будет финал: «Возвращение... Вертушка» *.

В этом перечне имелось уже все, только вразброс. И когда это увидел, то составил другой, как думал, окончательный план.

«1. Поле движется.
2. Плохо дело фашистам.
3. Полкан-Великан, пастух.
4. Первая песня Светланы к цветам.
5. Болото — черт.
6. «Что за человек наша мама?»
7. Дальше небо печальное («Что ж, — говорю я, — может быть, мы простим ее?»).
8. Домой и вторая песня Светланы.
9. Встреча» *.

Редко ему бывало все так ясно, как теперь. И он работал быстро: две-три страницы большого формата в день, каждый вечер с удовольствием отмечая, что чистых страниц в конторской книге остается все меньше, а конец работы — все ближе.

В Малеевке отдыхали жена и дочь Ивантера (у маленькой Лены обнаружили что-то с легкими. Врачи срочно послали ее «на воздух» — и каникулы для Лены с мамой начались задолго до Нового года).

И он читал им «Хорошую жизнь». Проверял. Понравилось обеим. Тогда уже стал читать другим: любил

читать, если вещь выходила. Это всегда поддерживало рабочее настроение и... помогало править.

Отзывы были только восторженные. Его поздравляли. Да и сам видел, что рассказ получился. И, выведя последнюю строчку, пометил: «6 декабря 1935 г. Малеевка» *. А на первой странице зачеркнул «Хорошая жизнь» и написал «Голубая чашка».

В «Пионере» ждали. Сообщил, что рассказ готов. Оставалось только передиктовать и выправить после машинки. Он уехал в Москву. В двух-трех местах читал там. И с удивлением узнал, что в литературных кругах ползут слухи. Его снова обвиняли «в сентиментальности», в том, что полугодовая дискуссия его, мол, ничему не научила. Правда, делали это пока лишь втихомолку, исподтишка, «создавая мнение».

Не понимал, кому и зачем это нужно. Он не перехватывал чужие темы. Не перебегал никому дорогу. У него не было, если опять заболеет, ни рубля в запасе. Писал он мучительно, мало и, если верить критикам, чаще всего «средние книжки». И все же то немногое, что писал, не давало кому-то покоя. И какова бы ни была цена этому «исподтишковому мнению», оно не проходило для него даром. Просыпаясь, вдруг утром спрашивал себя: «А что, если они правы?»

От покойного состояния снова не осталось и следа. Ему нужно было, чтобы хоть один человек, авторитету которого он безусловно поверит, сказал бы правду. Любую. Он, слава богу, еще не стар. В промежутках между приступами болезни у него достаточно ясная голова. И если он в самом деле заблуждается на свой счет, еще не поздно, по всей видимости, попробовать работать по-другому.

Он едет в Ленинград, к Маршаку. Большего авторитета в детской литературе нет. Как Маршак скажет, так и будет.

Маршака знал еще по первому своему приезду в Ленинград.

Потом встретились в тесном и шумном коридоре «Молодой гвардии», редакция которой помещалась в старом доме на Новой площади, и он спросил:

— Узнаете? Только теперь я не Голиков, а Гайдар. Аркадий Гайдар.

И, шагая по коридору, стал рассказывать Маршаку

о книгах, которые успел написать, и о тех, которые еще напишет. И читал наизусть целые страницы.

Затем виделись еще несколько раз. И Маршак однажды сказал ему:

«Вы человек талантливый, пишете хорошо, но не всегда убеждаете. Убедительные детали у вас не всегда. Логика действия должна быть безупречной, даже если действия эксцентрические...»

Поговорить всерьез им, конечно, не дали. И Маршак пригласил: «Хотите подробнее поговорить — приезжайте лучше ко мне».

— Ладно, — сказал он, — я приеду в Ленинград.

И бог знает, когда бы выбрался, не случись истории с «Голубой чашкой».

То ли потому, что это снова был город, где он начинал, то ли потому, что встреча с большим мастером всегда как бы школьный экзамен, волновался очень. И на мгновение мелькнуло даже: «А может, не показывать?..»

Но Маршак встретил его так приветливо и приезду так обрадовался, что всякие сомнения тут же отпали.

Он остановился в гостинице. Маршак обещал, что придет к нему, благо издательство (все тот же дом с глобусом) и гостиница рядом. И пришел. И они засели в номере с рукописью «Голубой чашки».

Как десять лет назад, когда он еще совсем ничего не умел, Маршак выверял на слух вместе с ним каждую строчку. Он восхищался каждым вместе найденным словом и той стремительностью и легкостью, с которой Маршак работал. И они переписали весь рассказ.

Думал: «Эх, живи я поближе к Маршаку...»

Целый день ходил по Ленинграду успокоенный и восхищенный. Потом, перед тем как отдать на машинку, все перечитал и ужаснулся: «Это не мой почерк...» Было такое впечатление, что кто-то очень талантливо пересказал «Голубую чашку» своими словами. Это походило на хорошо отретушированный портрет: вроде бы и ты, а лицо пугающе чужое...

Тем временем Ивантер оборвал в гостинице телефон. Кончался декабрь. Давно подготовленные материалы январского номера нужно было засылать в набор. А в редакции не только не было «Голубой чашки», под которую был сделан макет и заказано все оформление, но и сам он тоже сидел еще в Ленинграде.

После истории с «Синими звездами» подводить Боба Ивантера второй раз не мог. Но и оставить рассказ в «отретушированном» виде тоже не мог. И, опасаясь, что смалодушничает и отошлет в «Пионер» выправленный Маршаком вариант, схватил рукопись, в которой восхищался каждым вместе найденным словом, порвал на мелкие клочки и выбросил.

После этого не оставалось ничего другого, как только сесть и написать все заново.

В конце концов он приехал не для того, чтобы «Голубую чашку» написал Маршак. Он приехал *спросить*, можно ли так писать, как пишет он, не с точки зрения критики, мнение которой сегодня может быть одним, а завтра совсем другим, а с точки зрения настоящей литературы..

И Маршак ответил: «Можно». Правда, с некоторыми оговорками. Самуилу Яковлевичу, например, совсем не нравилась «Сказка о Мальчише», но за многое и хвалил. В том числе и за то, что в «Голубой чашке», произведении для детей, он на полном серьезе говорит о проблемах семьи, о заботах и тревогах взрослых.

И он снова, уже один, сел за стол. И не выходил из комнаты несколько дней.

«Мне тогда было тридцать два года, — решительно писал он, подсчитав, что через месяц, в январе тридцать шестого, ему в самом деле будет тридцать два, — Марусе двадцать девять, а дочери нашей Светлане шесть с половиной...

Мы со Светланой думали ловить рыбу, купаться, собирать в лесу грибы и орехи. А пришлось... сразу подметать двор, подправлять ветхие заборы, протягивать веревки, заколачивать костыли и гвозди...

Только на третий день, к вечеру наконец-то все было сделано. И как раз, когда собирались мы втроем идти гулять, пришел к Марусе ее товарищ — полярный летчик».

Приезд полярного летчика, из-за которого Маруся с легкостью отказывалась от их общих планов и который почему-то стал лишь Марусиным гостем, — вот что он делал завязкой рассказа.

С досады взялись они со Светланой мастерить вертушку. А Маруся, поздно возвратясь, их еще и обругала... Они надеялись: «А может быть, завтра с раннего утра сядем в лодку, — я на весла, Маруся за руль, Светлана пассажиром».

Но утром Маруся, во-первых, не поверила, что никто из них не разбивал в чулане голубой чашки, а во-вторых, «после завтрака... вдруг собралась и отправилась в город».

Внимание ребят, полагал он, должна привлечь история с вертушкой и разбитой чашкой, но взрослый читатель поймет, что события с первой же страницы разворачиваются круто. Отец со Светланой уходят из дому не в шутку. Чтобы это подчеркнуть, ввел сцену с молочницей, у которой отец со Светланой не берут молока.

— Вернетесь, так пожалеете, — обижается бабка.

«А где ей догадаться, что мы далеко уходим и, может быть, не вернемся?..»

Удивительное дело: как только резко обострился «подводный сюжет», все естественно и свободно стало на свое место. Смягчился и чуть грустнее сделался юмор. Сами к месту добавились подробности, а многие детали, наоборот, «осыпались».

Он не любил работать в чужом месте, но за все семнадцать лет в литературе ему нигде не писалось так раскованно и легко, он никогда так не верил в себя, в свои возможности, как в пустой гостиничной комнате, номера которой не знал никто, кроме Маршака, а Маршак, уверенный, что свое сделал, больше не приходил.

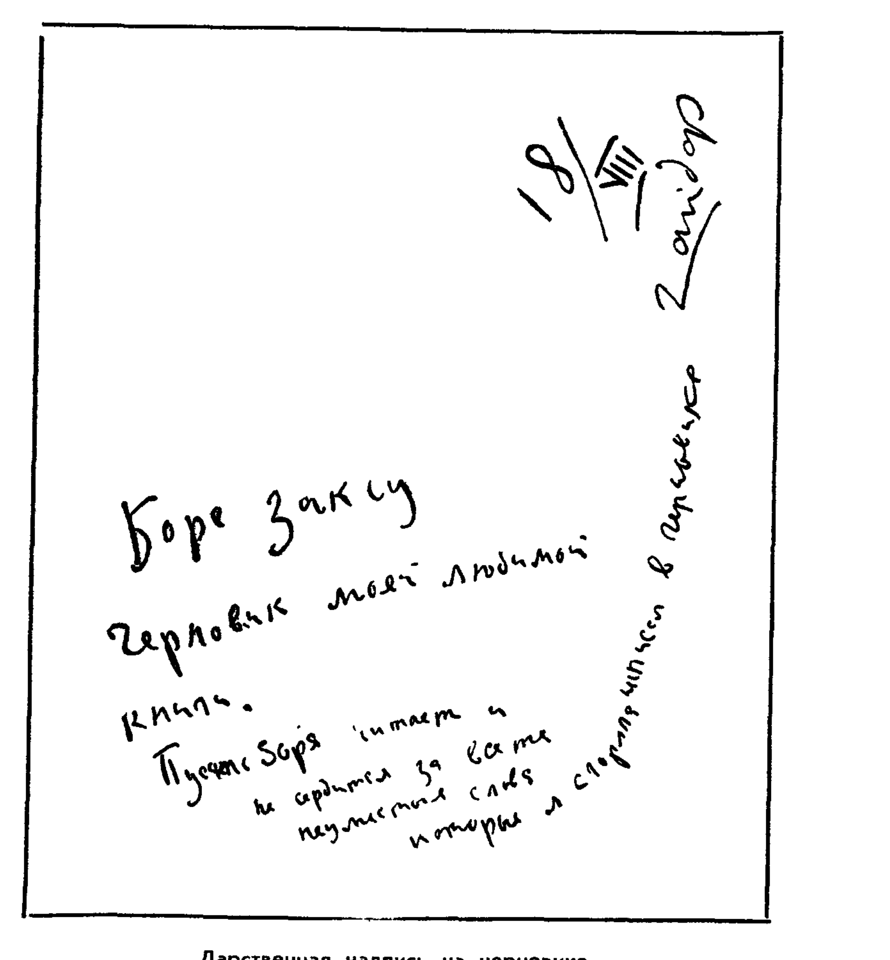
Самуил Яковлевич преподал блестящий урок мастерства. Дальше он должен был работать сам.

А в «Пионере» царила глубокая тревога, почти паника, быть может, чуть меньшая, нежели в тот день, когда он пришел сказать, что продолжения у «Синих звезд» не будет.

И в последний раз, твердо обещав по телефону уже изверившемуся, но еще уповавшему на чудо Ивантеру, что «Голубую чашку» для январского номера «Пионер» получит, он не двинулся с места, пока не поставил последнюю точку.

Тут уже времени больше не оставалось ни на что. Позвонил Маршаку: «Я все сделал заново». И перед самым отъездом принес показать.

Маршак остался очень доволен. Маршака особенно порадовало, что у него «появилась забота об убедительных деталях». И хотя Самуил Яковлевич тут же поморщился, вспомнив «отвратительного Мальчиша», он не обижался.



Дарственная надпись на черновике «Голубой чашки».

Прямо с вокзала повез рукопись Ивантеру. Январская книжка «Пионера» была подписана к печати лишь 28 декабря, но. получив «Голубую чашку», в редакции на него уже не сетовали.

А он продолжал думать о рассказе и жалел: когда «Голубую чашку» можно было сделать настоящим шедевром, так не вовремя прижало со сроками.

Уехав в Подмосковье, писал домой:

«Пусть Боб Ивантер ни в коем случае не вздумает напечатать ту главу, где мы (сам не заметил этого «мы») встречаемся с батареей. Глава совершенно не сделана и не имеет значения без главы, которую написать я не успел. Пусть вычеркнет все лишние слова, которые я и сам бы вычеркнул» *.

Терпеть не мог, когда редакторы самовольничали на страницах его рукописей. Но Ивантер — это было совсем другое дело.

Теперь не оставалось ничего иного, как сидеть и ждать. И он дождался.

То был удивительный номер...

Маршак прислал «Песни английских детей». Пришвин дал рассказ «Антипыч», Лоскутов — «Рассказ о говорящей собаке». Здесь же можно было прочесть: «Правда ли?» — ответ писателя Бориса Житкова на вопрос о том, как пишутся рассказы; «Обжигающее слово» — очерк А. Югова об академике Павлове, его открытиях и лабораториях в Колтушах и сенсационное сообщение о том, как у нас в стране впервые в мире, в присутствии многочисленных зарубежных ученых «через десять минут после смерти оживили собаку. «Сейчас даже трудно представить себе, — писал журнал, — что будет означать такая победа науки над смертью».

«Пионер» публиковал рецензию на фантастическую кинокартину «Космический рейс», поставленную режиссером В. Журавлевым. События фильма происходили в Москве в 1941 году, когда академик Седых с помощью созданной им ракеты совершал полет на Луну и обратно.

Одним словом, хотя от первого «толстого» номера многого ждали, журнал буквально ошеломил.

И открывался этот номер, знаменовавший взлет не только «Пионера», но и всей нашей литературы для детей, немного грустной, немного смешной историей о кем-то разбитой голубой чашке...

УТРАЧЕННЫЙ «ТАЛИСМАН»

«Шел солдат с похода»

«Книгу я одну — «Талисман» — все-таки еще, вероятно, напишу, потому что было взялся за нее крепко — но когда напишу, где напишу и чего она мне будет сто-

ить — это все для меня сейчас сплошной туман» *, — писал он весной тридцать шестого, хотя начало года никакого особенного «тумана» не предвещало.

«Голубая чашка», напечатанная в «Пионере», почти сразу вышла отдельной книжкой в Детиздате. У нее тут же, разумеется, появились противники. И на этот раз полемика затянулась почти на два года. Но он был закален уже и в литературных битвах и к новой дискуссии отнесся почти спокойно.

Его корили, что «настроения ревности, которые проскальзывают по всей книге, совсем недопустимы в детской книжке», заодно объясняя, что «этот психологизм не нужен детям».

Его вразумляли: «Эта книга для взрослых. Возмутительно преподносить такую вещь ребятам...»

Но «у нас, — разумно отвечали «блюстителям нравственности», — совсем нет книг о быте, о семье. Ребята участвуют в семейных неурядицах, видят дома часто очень неприглядные картины». А «Гайдар правильно рисует семью. Семейные неполадки даны им так мягко, овеяны настроением нежной грусти и получают разрешение в глубокой радости».

Насколько он понимал, «Голубая чашка» вышла примерно такой, какой он и хотел ее написать. И он мог быть доволен.

А до всей этой полемики произошло еще вот что.

В январе все того же тридцать шестого по предложению Сталина издание всей детской литературы «из сферы ОГИЗа» было передано Центральному Комитету комсомола. ЦК ВЛКСМ по этому случаю созвал Первое совещание по детской литературе. От ЦК партии на совещании выступил А. А. Андреев. От ЦК комсомола — А. В. Косарев. «Правда» публиковала большие выдержки из выступлений А. Толстого, М. Ильина, К. Чуковского, С. Маршака, А. Барто, Л. Квитко.

Там же с большим рабочим докладом выступил Боб Ивантер. К его удивлению, немалая часть доклада была посвящена ему. Говоря, например, о том, что среди ребят еще очень заметно влияние Ната Пинкертона и романов Чарской, которые сильны «нашей слабостью», Ивантер отмечал, что «такая книга, как «Школа» Гайдара, конечно, оставляет далеко за собой любую «Княжну Джаваху» *.

Ивантер напомнил: повесть о Борисе Горикове «написана добровольцем Красной Армии, человеком, который в 17 лет был командиром полка; она так горяча, что кажется, автор, слезши с коня, сразу сел за письменный стол и одним духом ее написал. А эта книга — плод настоящей биографии и большого труда» *.

Но выступление Ивантера было замечательно еще и тем, что Боб коснулся наболевших нужд тогдашней детской литературы, в частности, отметив, что жилищные условия двадцати из тридцати пяти детских писателей Москвы «не дают им возможности продуктивно работать... Я могу, — продолжал Ивантер, — назвать фамилии товарищей: это тов. Житков... Это — Гайдар, Кассиль, Смирнова...» *.

После совещания у него появилась вполне реальная надежда получить квартиру, в которой, возможно, будет и маленькая комната для работы. А пока что, прежде чем сесть за работу, приходилось каждый раз искать подходящее место.

Перед самым маем в расчете пописать в тиши приехал в Дом творчества в Голицыно. И ужаснулся той издевательской неустроенности, с которой его встретили. О том, чтобы сесть за стол, нечего было и думать. Хотел «зашвырнуть ключ и уехать... в Москву или... куда-нибудь... Но куда уедешь? — спрашивал он в письме к Трофимовой. — А главное — что напишешь? А написать за это лето книгу мне совершенно необходимо...» *

Он замыслил «солдатскую книгу». На улице, у друзей, дома всегда напевал теперь старинную солдатскую песню:

Шел солдат с похода,
Зашел солдат в кабак,
Сел солдат на лавку,
Давай курить табак...

Новая повесть, как все его книги, была навеяна собственными, «сиюминуточными» обстоятельствами, осмысленными, разумеется, совсем по-иному.

Он задумал повесть о переменчивости солдатского счастья и человеческой судьбы, которая порой зависит от мелочей и непредвидимых случайностей.

...Перед самой войной Семен Бумбараш начал строиться. Уходя в солдаты, наказал старшему брату забить окна, двери, сохранить гвозди. В том же селе осталась

у Семена невеста, Варя Гордеева, которая обещала ждать. И может, вернулся бы Семен как ни в чем не бывало в свой пятистенок и к Варе, не случись нелепости.

Дали Бумбарашу пакет. «Иди до околицы, — сказал офицер, — там свернешь вон на эти три звезды: две рядом, одна ниже. Дальше иди прямо, пока не наткнешься на саперный взвод у переправы».

А Семен потерял «путеводные звезды». «Он пошел назад и через час нарвался в упор на головную заставу австрийской колонны».

Трудно счесть, сколько раз и потом, после плена, повисала на тонком волоске жизнь отставного солдата Семена Бумбараша, пока не отыскался для него особый «талисман», с помощью которого он всегда и всюду видел над головой свои три путеводные звезды.

В повести действовал и мальчишка Ванька, тот самый, что придумал себе новое, не попом данное имя — Иртыш — Веселая голова. И роль Иртыша в книге была особой.

Новое поколение ребят, наглядевшись фильмов вроде «Красных дьяволят», начитавшись книг, среди которых были «Школа» и «РВС», наивно полагало: участвовать в гражданской войне, записаться в Красную Армию мог любой мальчишка побойчее.

На самом деле все было не так просто. Это ему и хотелось объяснить на примере Иртыша. Неугомонный Иртыш получался, правда, развитее деревенских ребят той, уже давней поры, но он писал повесть, а не историческое исследование.

...Едет в Ялту, в Дом творчества. И пишет там неторопливо, по страничке в день, но впервые — уже вполне готовые странички. Все четко, стремительно, емко, ни одного случайного слова.

Он помнил последний урок Маршака. Много дала и правка сценариев, которой занимался в последнее время. В Доме творчества почти ежедневно действовала заведенная Роскиным «американка». Каждый нес на суд дневной свой «урок». Он носил тоже. И видел, что даже на фоне отличных вещей «Талисман» выглядит неплохо.

Писал он плотно: гражданская война. Белые. Зеленые. Красные. И такие вот, как Бумбараш, который устал еще на мировой. И хочет жить просто так. Сам по себе: «А плевал я на красных, белых и зеленых!» — думал Бумбараш.

Раньше бы ему, чтобы ввести в курс тех или иных событий, понадобилась бы глава. В лучшем случае страничка. А теперь достаточно было двух-трех коротких, почти рубленых фраз.

С Детиздатом на повесть «Талисман» заключил договор. Рукопись следовало представить к 1 апреля будущего, тридцать седьмого года. Время, думал, есть. Можно особенно не торопиться, хотя не стоит и затягивать.

«Военную тайну» он начал писать четыре года назад. «Синие звезды» не дописал. «Голубая чашка» — счастливый, однако все же эпизод. «Талисман» поспевает как раз вовремя...

И все же работу над повестью он сам внезапно прервал.

«И мы бы хотели в те грозные дали»

В начале тридцать седьмого неожиданно предложили сделать сценарий детского фильма. О чем будет фильм, предоставили решать самому. Условие было только одно: в кинокартине должна прозвучать тема интернационализма. И обязательно, пусть даже вскользь, — «испанская тема», то есть борьба республиканцев и помощь им советского народа.

Он сразу же отказался. О том, что происходило в Испании, знал лишь по газетам. Вот если б его самого послали в Испанию, как других! Но его не посылали. А «Талисман» был сделан почти наполовину. Выйдет ли сценарий, еще неизвестно, а что повесть получается, и, по отзывам, получается хорошо, знал точно и не собирался бросать ее.

Но случилось такое, чего он меньше всего ожидал. Воображение и память, как бы помимо его желания, начали работать на будущий сценарий. Он еще не имел ни малейшего понятия о том, что это будет, но чувствовал: идея совсем рядом. И не очень удивился, когда понял, что ведь это может быть «Военная тайна», только сделанная по-другому.

Когда повесть вышла, испытывал острое недовольство тем, что книга получилась бледнее замысла. Кое-что подправил во втором издании, но в принципе это ничего не меняло. Да, наверное, уже ничего и нельзя было из-

менить. А сценарий позволял, возвратясь к прежним героям, написать новую вещь, в чем-то исправляя и в то же время не трогая книгу.

Можно оставить прежнее место действия — Крым, прежних персонажей: Натку, Альку, Владика, Сергея. Но за время после выхода повести мальчишки подросли, Натка чуть больше повзрослела, Сергей еще сильнее возмужал. Это те и уже не те герои. С ними могут происходить те же и другие события.

Пионервожатая Натка. Ей мало одной только вожатской работы. Хочет прыгать с парашютом, но в последнюю минуту, на вышке, пугается, не прыгает. И сознание своего слабодушия потом ее мучает...

Сергей Ганин. Инженер. Но теперь уже отчетливо — военный инженер.

Алька. В сценарии ему не четыре с половиной, как в повести. Ему уже одиннадцатый год. Он многое может.

Владик. Характер тот же, но проявляется по-иному. Целенаправленный.

Существенную перемену в общий строй вещи внесет Шегалов, Наткин дядя. Шегалов по-прежнему бывший командир Сергея, но не сотрудник Генерального штаба — капитан дальнего плавания. Действия Владика должны быть как-то связаны с этим новым обстоятельством.

Сценарий увлек. Он все охотнее отрывался от «Талисмана», но это его не пугало. Сценарий не книга. Времени много не займет. К тому же материал весь «размят». Характеры хорошо и давно известны.

Но прежде чем целиком уйти в работу над сценарием, отдиктовал машинистке готовые главы «Талисмана» — подвел черту под первым, самым трудным этапом работы. Теперь им уже точно был найден стиль. И еще, между прочим, заметил, что из «Талисмана» легко будет сделать сценарий.

Итак, события в будущем фильме, как и раньше, произойдут в Артеке. И схематически в картине проступят три линии.

Алька. Он становится не только одним из главных персонажей — он становится *героем.*

По-прежнему трагична судьба Марицы Маргулис. Для Альки напоминанием о подвиге матери служит песня, которую поют в лагере (и которую он написал специально для фильма):

Ты в плену. Окончен бой
Под тюремною стеной
Ходит мрачный часовой.
Стой! Стой! Стой!
Стиснув губы, милый брат,
Ты не выдашь свой отряд.
Кто с тобой плечом к плечу
Шел, — не скажешь палачу.
Крикнешь ты, глядя в упор,
Что ни пытка, ни топор,
Ни железо и ни кнут
Нас не сломят, не согнут...

Алька с другими ребятами тайно строит к празднику в полуобвалившейся крепости танк. Взрыв в горах (Сергей дает лагерю воду!), обвал в крепости. Ребята в ловушке. Вылезти в узкий лаз может только самый маленький из них, Алька.

Алька боится: лаз выходит прямо к пропасти. Но мать, которая ему снится, слова песни:

Стиснув губы, милый брат,
Ты не выдашь свой отряд... —

подсказывают Альке, что делать.

Тема мужества и трусости, вернее чисто психологическая тема: как победить трусость в себе, становится в сценарии одной из главных.

Натка мучается оттого, что побоялась прыгнуть с парашютной вышки, но когда понадобилось прыгнуть с высокой скалы в море на помощь Альке — прыгнула она. Эпизод этот переломный в ее характере. Натка умеет переступить через страх.

Владик. Он по-прежнему ждет письма, но уже не от сестры — от отца, который находится в Интернациональном батальоне в Испании.

Вообще, испанская тема входит в сценарий так: Шегалов встречает племянницу в лагере. «Мое судно, — говорит он, — стоит в порту. Разгрузимся. Быстро погрузимся — и в Испанию».

Натка *(жалостно):* «Дядя, дядя, как мне хочется с тобой в Испанию».

Капитан: «Ну, дорогая... Это не тебе одной хочется. Сейчас всем хочется».

Но если другие только «хотели», Владик сделал все возможное, чтобы на пароход попасть. Владик столкнулся со всем тем множеством препятствий, которые ждали бы любого мальчишку на его месте. И в каждой неожи-

данной ситуации обнаруживал мужество, находчивость и дерзость.

Сценарий получался. Но было одно обстоятельство, которое его смущало: у фильма в сравнении с книгой, он видел, будет другой конец.

Когда он задумал повесть «Военная тайна», мир жил еще в напряженном ожидании войны.

Когда завершал сценарий, война уже шла. В Испании дрались интернационалисты и фашисты многих стран. В наши дома неизвестно откуда поступали официальные уведомления о том, что «ваш сын» или «ваш муж» героически погиб «при исполнении служебного долга...». Люди догадывались, на какой далекой земле исполнялся этот великий «служебный долг». И было бы нелепо, если б Алька в фильме погибал от удара камнем.

И он нашел выход: сценарий оборвется задолго до того, как обрывались события книги. Натка, Сергей и Алька еще останутся в лагере. Сергей еще ничего не успеет сказать Натке. Еще не придет срочный вызов военному инженеру Ганину. Книжного конца в сценарии не будет, но все еще за кадрами фильма сможет произойти...

Он всегда невольно обманывался относительно сроков задуманной работы. Всегда казалось: если план сложился, то вещь ничего не стоит написать. Так вышло и теперь. Работа над сценарием затянулась, захватив немалую часть лета, но он не жалел: только хотелось кому-нибудь сценарий показать.

И он отправился на дачу к Борису Заксу. Когда-то Закс и Титов в холостяцком их общежитии в Хабаровске слушали отрывки из повести «Военная тайна». И сейчас ему было важно выслушать дружеское мнение человека, знающего книгу.

Закса сразу удивило, как легко он схватил самую «суть работы для кино» и что даже «сама система образного мышления стала иной». Характеры Альки и Владика здесь проявились неожиданно и сильно. Если б переделать сценарий обратно в повесть, предложил внезапно Закс, «то получилась бы, пожалуй, книга весьма мало сходная с первой».

— Вообще, — заметил Закс, — ты, Аркадий, далеко ушел вперед.

По-видимому, наступала зрелость.

Сдав сценарий, уехал в Солотчу. Пора было возвращаться к «Талисману». А когда приехал осенью в Москву, узнал, что в журнале «Красная новь» опубликована повесть Валентина Катаева «Шел солдат с фронта».

Конечно, два писателя порознь не могут написать две одинаковые книги. Тем не менее у него с Катаевым получилось много совпадений.

У него был Семен Бумбараш, у Катаева — Семен Котко. Бумбараш в начале революции возвращался домой из плена, Котко — с позиций. Бумбараш, уходя на войну, оставил невесту Варю. Котко, уходя, оставил невесту Софью. Бумбарашу, когда вернулся, пришлось бежать из села: его предупредила об опасности Варя. Котко тоже пришлось бежать из села: его предупредила Соня. Бумбараш поначалу думал: «А плевал я на красных, зеленых и белых». И Котко, когда ему предложили остаться в Красной Армии: «Домой надо. Сеять».

Бумбараш после долгих мытарств должен был прийти в Красную Армию. И Котко возвращался на батарею в аккурат к своему четвертому орудию.

Такое не приснится и в тяжелом сне. А сны он перевидал всякие...

Напрасно Паустовский и Фраерман уверяли, что «Талисман» написан ярче и крепче, что проблемы им поставлены глубже, что немалого стоит один только Иртыш — Веселая голова. Он слушал. Со многими соглашался. А вернуться к «Талисману» не мог. Не писала рука.

Сценарий «Военная тайна» вдруг тоже не пошел. Гражданская война в Испании продолжалась, но поражение республиканцев было очевидно. «К сожалению,— объяснили ему, — сценарий не соответствует историческому моменту».

Он оставил, почти бросил на студии сценарий[1]. Не прикасался к «Талисману» — ждал, пока пройдет боль, пока при упоминании, при мысли об этой повести внутри перестанет каждый раз что-то обрываться.

* * *

Шли годы. Он все еще надеялся к «Талисману» вернуться.

«Детский писатель, орденоносец А. Гайдар, — гово-

рилось в одной газетной заметке, — автор повестей «Дальние страны», «Школа», «Военная тайна», только что закончил сценарий детского фильма «Дункан и его команда» и заканчивает книгу «Счастье Семена Бумбараша».

...Тоже не успел.

СУДЬБА БАРАБАНЩИКА

Когда киностудия отвергла сценарий, а повесть Катаева «торпедировала» его «Талисман», он бы скорей всего опять заболел, если б к тому моменту не была почти готова еще одна книга — повесть «Судьба барабанщика».

Он задумал ее в мае тридцать шестого под Москвой, в Голицыне, когда со всех сторон поступали тревожные сведения: хулиганили ребята. Хулиганские действия подростков начались сперва на окраине Москвы, а затем и на центральных улицах. В разговорах замелькало слово «безотцовщина».

А он думал о том, что ведь ребенок, пока растет, непременно должен чем-нибудь гордиться: заводной игрушкой, книжкой с картинками, из лучинок склеенной моделью самолета, но больше всего ребенок гордится родителями: должностью матери, профессией отца, именным пистолетом деда, фотографией, где отец верхом на коне с саблей наголо, большим, первого выпуска орденом с чуть треснувшей эмалью на праздничном пиджаке в гардеробе или снимком в газете: где-нибудь сбоку (с трудом-то и разглядишь) родное, до слез знакомое лицо, а в первом ряду — на весь мир прославленные люди...

И он задумывает повесть о внезапно осиротевших детях, на которых падает позор ни в чем не повинных отцов. Он говорит о своем замысле Льву Кассилю, когда они встречаются возле издательства и после долго сидят за кружкой пива в каком-то заведении общепита. Он говорит об этом Рувиму и Вале Фраерман осенью все того же тридцать шестого. Валя тогда работала заместителем Ивантера и предложила прийти утром прямо в редакцию. Все будут на месте. И они спокойно все обсудят.

Он пришел. В кабинете Ивантера, кроме Вали Фраерман, сидели Миша Лоскутов и художественный редактор «Пионера» Моля Аскенази.

— Вот Аркадий хочет посоветоваться относительно новой своей книжки, — сказала Валя.

— Какой? — живо спросил Ивантер.

Тогда, не объясняя, стал читать. У него на бумаге не было записано еще ни строки, но все сложилось в голове. Начало было почти таким же, каким потом и осталось:

«Когда-то мой отец воевал с белыми, был ранен, бежал из плена, потом по должности командира саперной роты ушел в запас. Мать моя утонула, купаясь на реке Волге... От большого горя мы переехали в Москву. И здесь через два года отец женился на красивой девушке Валентине Долгунцовой...»

В дом к ним начали приходить гости. Они пили чай. Иногда вино. Подолгу засиживались, и было в словах, движениях, смехе этих людей такое, что настораживало Сережу. Был во всем этом какой-то «смысл, до которого я не доискивался. А доискаться, как теперь вижу, было совсем нетрудно».

Но уже тогда у мальчика появилось ощущение, что люди эти опасные для отца, хотя отец был большой и сильный, а эти люди какие-то суетливые и мелкие. И с той поры «тревога — неясная, непонятная — прочно поселилась... в нашей квартире. То она возникала вместе с неожиданным телефонным звонком, то стучалась в дверь по ночам под видом почтальона или случайно запоздавшего гостя, то пряталась в уголках глаз вернувшегося с работы отца.

И я эту тревогу видел и чувствовал, но мне говорили, что ничего нет, что просто отец устал. А вот придет весна, и мы все втроем поедем на Кавказ — на курорт».

Пришла весна — и отца забрали. Валентина скоро опять вышла замуж. И в «наставники» Сереже на смену отцу, который был «старшим другом, частенько выручал из беды и пел хорошие песни», отцу, который «носил высокие сапоги, серую рубашку... сам колол дрова... и даже зимой распахивал окно, когда мимо нашего дома с песнями проходила Красная Армия», пришел сосед по двору, прощелыга и бездельник Юрка, который, как бы в насмешку, тоже делал вид, что любит Красную Армию, особенно авиацию.

И беззащитный Сережа, который мог теперь только вспоминать, как «на этой земле мы были (с отцом) людьми самыми дружными и счастливыми», покатился по лесенке: от «мелкого мошенника» Юрки к «крупному наводчику», «брату Шаляпина»; от «брата Шаляпина» — в общество «старого бандита» дяди Якова и профессионального шпиона «брата Валентины», который был настоящим врагом народа еще тогда, когда отец в гражданскую командовал ротой саперов.

На всех, кто был в кабинете Ивантера, прочитанные отрывки произвели большое впечатление. Долго молчали. Наконец Ивантер сказал:

«Я тут подумаю, посоветуюсь».

...В законченном варианте «Судьбы барабанщика» оставалось ощущение тревожного и драматичного времени.

«Прощай! — думал я об отце. — Сейчас мне двенадцать, через пять — будет семнадцать, детство пройдет, и в мальчишеские годы мы с тобой больше не встретимся...»

Тревожность чувствовалась и в той пустоте, которая образовалась вокруг Сережи, когда не стало рядом отца. Эту пустоту не могла заполнить равнодушная забота вожатого Павла Барышева, который передавал свои указания Сереже через дворника или, в лучшем случае, оставлял записки в почтовом ящике. Пустоту подчеркивала и отчужденность Платона Половцева, который дорожил «своим честным именем».

Сережа мужественно «ходил по пустым комнатам и пел песни. Ложился, вставал, пробовал играть с котенком и в страхе чувствовал, что дома... сегодня все равно не усидеть». Мальчик мчался в парк, в свою странную компанию: ведь без людей человек не может жить.

А вскоре Сережу начала преследовать уже иная мысль. Прочитав (после отъезда с «дядей» из дому) объявление в газете: «Разыскивается мальчик четырнадцати лет, Сергей Щербачов...», Сережа представлял, как его всюду ищут и как о нем говорят: он, «вероятно, будет плакать и оправдываться, что все вышло как-то нечаянно. Но вы ему не верьте, потому что не только он сам такой, но его отец осужден тоже».

Однако он не снимал ответственности и с самого Сережи. Мальчик был виноват в том, что сразу уступил нахальному напору Юрки Карякина, в том, что, зная, с кем имеет дело, купил у Юрки фотографический аппарат, который, конечно, оказался хламом, но стоил Сереже больших денег. Аппарат стал «капканом». В одиночку Сереже было уже не выпутаться. И возврат к тому, «как живут все», оказался для мальчика не прост. А мог бы не состояться и вовсе, если бы не отец, который дал Сереже силы вырваться из темного омута примером всей своей прежней, незабываемо и прекрасно прожитой жизни.

Когда Сережа увидел из укрытия, что «дядя» и Яков собираются бежать, с облегчением подумал: «Пусть уйдут!» И в то же мгновение «кто-то строго спросил Сережу изнутри»:

«А разве можно, чтобы бандиты и шпионы на твоих глазах уходили куда им угодно?.. Выпрямляйся, барабанщик! — повторил... тот же голос. — Выпрямляйся, пока не поздно»...

— Хорошо! Я сейчас, я сию минуточку...

Но выпрямляться... не хотелось.

«Выпрямляйся, барабанщик! — уже тепло и ласково подсказал... все тот же голос. — Встань и не гнись! Пришла пора!»

Сережа Щербачов «сжал браунинг. Встал и выпрямился...».

«Барабанщик», как он его называл, писался быстро. Когда летом тридцать седьмого журнал «Детская литература» попросил его дать автобиографию, непременно указав, над чем работает, сообщил:

«Сейчас я заканчиваю повесть «Судьба барабанщика». Эта книга не о войне, но о делах суровых и опасных...»

«Барабанщик» на время заслонил для него сценарий с «испанской темой» и отодвинул «Талисман» — «о войне».

Он пишет «Судьбу барабанщика» летом под Москвой. Потом, как ему кажется, наверняка уже «заканчивает» осенью в Солотче. Работает «каждый день регулярно».

«Жизнь здесь сейчас глухая, — сообщал он, — дачников нет. Летают огромные стаи птиц, осыпаются листья, и время для моей работы самое подходящее...»

Поэтому, возвратясь в Москву, тут же уехал дописывать «Барабанщика» в Головково.

«Живу тихо, глухо, одиноко, — жаловался Фраерману 9 января 1938 года. — Взялся за работу. Выйдет ли чего — не знаю! Вернусь, закончив повесть, к первому, из пяти листов оставлю, кажется, полтора-два. Остальное чушь, белиберда. Все плаваю поверху, а нырнуть поглубже нет ни сил, ни уменья...»

К счастью, печальное это настроение длилось недолго. Возвратясь в феврале в Москву, диктует и правит повесть, а затем отдает ее сразу в Детиздат и «Пионер». Отзывы о «Барабанщике» поступают одобрительные. Одесская студия предлагает, не откладывая, ставить по «Судьбе барабанщика» фильм. Едет в Одессу. Оттуда сообщает: «Я сижу. Крепко работаю. Меня хвалят».

Наступила осень. «Барабанщик» готовился к парадному своему шествию: готова была верстка в Детиздате и «Пионере». Ивантер не возражал, чтобы он дал отрывок в журнал «Колхозные ребята». В Одессе начинали съемки фильма, а «Пионерская правда» 26 октября поместила на первой странице:

«Ребята, на днях мы начинаем печатать большую новую повесть. Какую? Это вы скоро узнаете. Следите за газетой...»

Он сам следил за газетой нетерпеливее ребят, пока 2 ноября на первой странице все той же «Пионерки» не прочитал:

«Ребята! Сегодня мы начинаем печатать большую повесть А. Гайдара «Судьба барабанщика». Читайте начало повести на 4-й странице».

Под отрывком стояло: *«Продолжение следует».*

Продолжения не последовало.

В «Пионере» верстку сразу сняли. Отдельное издание, полностью подготовленное, приостановили.

Он пошел в Детиздат — главный редактор его не принял, тогда он открыл двухкопеечной монетой французский замок и вошел в кабинет сам. Но и в кабинете главный редактор ничего толком объяснить не мог.

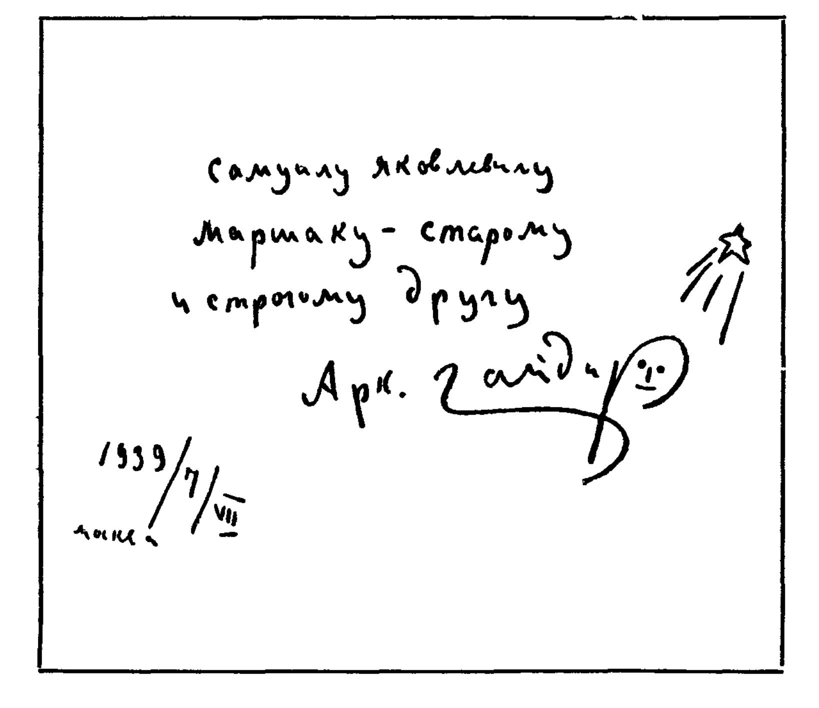
...А началось все, по разговорам, с того, что он оставил отрывок повести в журнале «Колхозные ребята». Журнал был маленький, поэтому отрывок, который принес, был тоже невелик. В редакции же сказали, что «по отрывку судить трудно и надо прочесть всю вещь». Этого оказалось достаточно, чтобы поползли слухи, «будто повесть запрещена».

Раза два по привычке зашел в библиотеки. Принимали его смущенно. Книг своих на полках уже не видел. Правда, ему объясняли, что все на руках.

Он передумал наново всю свою жизнь, начиная с мальчишеских лет. Кроме ошибок, совершенных по молодости и по глупости (за них расплатился сполна!), да еще вдобавок под влиянием болезни, он ни в чем ни перед кем не был виноват. И готов был это заявить кому и где угодно...

Награда

Первого февраля 1939 года, вынув утром из ящика газету, прочел на первой странице Указ: 172 писателя «за выдающиеся успехи в развитии советской литературы» награждались орденами. Орден Ленина получили



Автограф на книге «Судьба барабанщика».
Публикуется впервые.

Асеев, Вирта, Катаев, Твардовский, Фадеев, Шолохов, из детских писателей — Михалков, «Трудовое Красное Знамя» — Зощенко, Вс. Иванов, Макаренко, Паустовский, Федин, из детских — Л. Квитко.

Себя нашел в числе награжденных «Знаком Почета». Вместе с ним этот орден получили совсем еще молодые Барто и Кассиль.

На другой день с поздравлениями пришел Борис Закс. Заставил Борю нарисовать «Знак Почета». И вообще, все никак не мог поверить. Закс убеждал, что теперь для него многое переменится. Он отвечал в том смысле, что сломать его, конечно, нелегко. Он еще поработает.

И попал в больницу.

...Напечатать «Барабанщика» предложила «Красная новь». Детиздат сделал новый набор. В коротком интервью по поводу награждения он, между прочим, сравнил орден с волшебным талисманом, который многое дает, но и ко многому обязывает.

А в дневнике от 29 марта занес: «Очень тепло. Работать нельзя никак: мешают. Прошлый год в это время я уезжал в Одессу и пробыл на юге до 21 июня. С этого дня и начались все мои несчастья. Проклятая «Судьба барабанщика» крепко по мне ударила».

«ДУНКАН»

«...Я и Дора»

В июле тридцать восьмого приехал погостить к старому приятелю Семену Ниловичу в Клин. (Тот снимал комнату в доме на Большевистской). Увидел старшую дочку хозяев, Дору Чернышову, крепкую, спокойную, с чуть широким, очень приветливым лицом. И сразу решил, что вот на ней он и женится.

Пригласили с приятелем Дору к своему чисто мужскому столу. Она поблагодарила и отказалась: «Спасибо, но мне некогда...»

Ближе к вечеру, когда стирала Дора в корыте в саду, подошел, сел рядом на скамеечку, сказал негромко:

«Дорочка, выходите за меня замуж...»

Она засмеялась, ничего не ответила. Выплеснула воду из корыта, налила свежей и продолжала стирать. Он немного подождал, тихо поднялся и ушел.

Когда же Дора назавтра появилась в саду опять, снова подошел и попросил:

«Дорочка, выходите за меня замуж».

Она снисходительно улыбнулась, как улыбаются не новой шутке.

Тогда он добавил: «Я не плохой человек... Верно, я не плохой...»

Она отшутилась в том смысле, что и шутить об этом не хочет. И тут же ушла.

Дня через три (Дора была в этот вечер свободной) усадил ее на лавочке и попросил: «Расскажите про себя».

Рассказала: и сколько классов кончила, и кем теперь работает. И что развелась с мужем. Дружили еще детьми. А теперь вот осталась с Женькой.

Он также поведал про себя, начиная с Арзамаса.

«А теперь, — подытожил, — живу в своей новой комнате один... Выходите, Дорочка, за меня замуж».

Только тут она впервые поняла, что это всерьез.

— Как же так, — растерялась, — сразу?

— Если вам со мною будет плохо, оставлю комнату, а сам уйду.

— Но мне ведь не комната нужна. Мне и Женьке, если серьезно говорить, человек нужен.

— Женьку я удочерю... А человек я не плохой.

Они поселились в его комнате на Большом Казенном, дом восемь. Обстановка — вешалка, круглый стол, кушетка и удачно купленный по случаю письменный стол, который он сразу очень полюбил.

С Дорой в его жизнь вошла маленькая белобрысая Женька. (В анкетах теперь писал: «Семья — жена, дочь... сын...») И наконец после многолетних скитаний понял, что такое, когда есть свой дом.

Вместо гимнастерки, которую Дора зашивала и утюжила весь вечер, перед тем как ему получать в Кремле орден, появился элегантный серый костюм, накрахмаленные рубашки, легкие туфли. Не мог дождаться тепла, чтобы выйти нарядным на улицу, — так в детстве должен был всем показать новую игрушку.

Дора терпеливо сносила его мальчишеские проделки. Молча оплачивала счета за телеграммы в 300 слов (однажды за месяц это составило 500 рублей), а в гонорарные дни — кучи расписок, которые он давал официантам и шоферам такси, если не было денег (платить по распискам полагалось, естественно, больше).

А когда приходили его друзья, Дора была приветлива и гостеприимна. И спешила накрывать на стол.

Командир отдельного полка

Большие замыслы рождаются редко. До глубокой осени тридцать девятого не мог ничего придумать. И в начале октября уехал в Старую Рузу.

«Дора, — писал оттуда 2 октября, — только что приехал... День сегодня солнечный, тишина здесь как на кладбище, — во всем доме отдыха вместе со мной всего трое... работающих. С непривычки даже страшно. Постараюсь всей головой уйти в работу...

Работа передо мной очень большая...» *

Через неделю: «...Несколько дней я прожил в большой тревоге. Никак не мог подойти к работе. Брало отчаяние, хотелось бросить и вернуться в Москву — а зачем, не знаю. И только сейчас в голове прояснилось — работа показалась и важною и интересною.

Трудно предсказать — но, вероятно, и на этот раз с работою я справлюсь хорошо. Материально много она мне не даст. Но я об этом сейчас не хочу даже думать. Бог с ней, с материей, — было бы на душе спокойно. Я вернусь с чистой совестью, что сделал все, что мог...»

Только много позже обрисовался масштаб того, что начал в Старой Рузе.

...Прошло ровно пятнадцать лет после увольнения из армии, а он по-прежнему чувствовал себя военным человеком. Следил за всем, что имело отношение к армии и к возможной войне.

«Рувим! — писал год назад из Одессы. — На земле война. Огонь слепит глаза, дым лезет в горло, и хладный червь точит на людей зубы...»

Пока что «хладный червь» точил зубы в стороне, однако не очень далекой.

Прочитав рецензию на книгу Николая Шпанова «Первый удар», отметил в дневнике: газета «...хвалит Н. Шпанова за повесть о будущей войне. Но статья дивизионного комиссара что-то подозрительна, ибо цитаты он приводит очень неудачные».

Неудачной была и вся книга, в основе которой лежала ошибочная концепция, что в случае затеянной Гитлером войны первый же удар нашей авиации по фашистской Германии мог бы мгновенно изменить соотношение сил в нашу пользу (а Халхин-Гол показал: все не так просто!).

Он следил за военной литературой, внимательно изучив книгу генерала Аллео «Воздушная мощь и сухопутные вооруженные силы», опубликованную Воениздатом в 1936 году. В ней крупнейший французский военный теоретик (в преддверии близкого столкновения Франции с Германией) последовательно разбирал главнейшие военные доктрины.

Касаясь модной теории, что «будущая война неизбежно найдет свое решение в воздухе», генерал Аллео отвечал, «...что это невозможно, если государство, подвергшееся агрессии, не пренебрежет самыми элементарными мерами предосторожности, которые сейчас напрашиваются более, чем когда-либо прежде, если народы хотят жить».

Суждения французского генерала заслуживали внимания еще и потому, что Аллео имел в виду возможного противника не только Франции, но и Советского Союза — поскольку именно фашистская Германия в первую очередь проповедовала «короткость» своих будущих войн.

Заключенный в августе тридцать девятого договор о ненападении он считал простой, возможно, недолгой отсрочкой. Внимательнее, чем когда бы то ни было, перечитывал, подчеркивая красным карандашом свой том Клаузевица. Изучал «Историю древних германцев», пытаясь уяснить для себя истоки прусского, почти «биологического» военного духа.

И опять от исторических и теоретических трудов обращался к «практическим пособиям». Одним из них служила книга майора французского генштаба Армана Мермэ «для военных переводчиков», работающих на разведку. Здесь содержалось много ценных мыслей и практических советов применительно к разведывательной службе, действующей против германской армии.

Видел: война неизбежна. Думал о своем месте, когда все начнется, заново переживая подробности былой своей биографии, особенно если что-то напоминало о ней.

Не так уж давно — пятнадцать лет назад — он по-мальчишески дерзко мечтал стать прославленным полководцем. Чаще других из персонажей далекой истории перед глазами вставал один «крепко любимый человек — это тот самый, о котором писал Стендаль...».

Но теперь о полководческой своей судьбе ему думать уже не приходилось. Ему оставили один только полк — полк его читателей. Возможно, самый большой из всех, которые когда-либо существовали, но и самый необученный. И хотя никаких мандатов и предписаний ему при этом не вручалось, он принял его со всей ответственностью.

Не для красивого же словца сказал он на Первом совещании по детской литературе в 1936 году: «Пусть потом когда-нибудь люди подумают, что вот жили такие люди, которые из хитрости назывались детскими писателями. На самом деле они готовили краснозвездную крепкую гвардию...»

...Давно следил за тем, что́ писалось о военной подготовке детей. Ему всерьез была интересна история возникновения бойскаутизма, движения, созданного умом и волей Роберта Бадена Пауэлля, британского генерала-разведчика, печально прославленного в колониальных войнах.

Подобно тому как скаутизм воскрешал некоторые «из рыцарских правил старого времени», в Японии ту же роль играл Бусидо — кодекс древних самураев, который входил в практику воспитания японских детей.

«Пионер» поместил фотографию: японские мальчишки в военной форме, с короткими карабинами, в походной колонне под командой унтер-офицера.

В газетах мелькали снимки: другие мальчишки, только уже в немецкой форме, разбирают винтовку, стреляют из пулемета, ходят на лыжах, кидают гранаты, носятся на мотоциклах, лезут по трубам на второй этаж.

Он думал, что в будущей войне, которая скоро начнется, нашим детям все же не придется воевать.

Для этого есть взрослые. Есть армия. Но ребята, он точно знал, не захотят сидеть без дела. И дело это им нужно дать.

Мысль о книге, которая должна была научить такому «делу», и не давала ему покоя в Доме творчества писателей в Старой Рузе.

«Если бы ты знала, сколько мук доставляет мне моя работа! — жаловался в те дни жене. — Ты бы много поняла, почему я подчас бываю дик и неуравновешен.

И все-таки я свою работу как ни кляну, а люблю и не променяю ни на какую другую на свете».

Какие бывают игры!

В новой рукописи появлялся мальчишка — Дункан. Вообще-то звали его Володя, Вовка. Но в повести все будут звать его по фамилии — Дункан (как в других книгах у него были Чубук и Жиган, Бумбараш и Фигуран).

В повести появлялись также две сестры — Оля и Женя. Их знакомые Василий и Варя. Для чего могли понадобиться Варя и Василий, точно еще не знал. Но почему-то казалось, что особое место в книге займет символика. Пометил:

«...и опять появляется красная звездочка» *.

Ему пришлось немало погулять по лесу, чтобы сделать следующую запись: «Теперь картина ясней. Ольга ждет Василия. — Устраивается вечеринка. — Василий приезжает вместе с Варей (или Варя приходит тоже). На вечеринке он получает повестку...» *

После этого «Бабка прощается с сыном», то есть Василием. «Вечером возникает ★» *.

Тут же сделал другие наброски:

«Коля Колокольчиков: «Давайте в нее (то есть Женю) кинем камнем» *.

«Дункан: «Я, Дункан, у телефона... Режь провода»,— это когда Женя начнет трезвонить.

«Человек должен быть честен» (это скажет Дункан).

«Ночь... Женя лезет... на чердак — зажигает свечу и вызывает Дункана... Трубку берет дядя. Она хочет повидать... отца... Следовательно, Женя ждет отца. И в тот день, когда Ольга в Москве, приходит телеграмма: стучится почтальон. Никого нет. Расписы-

вается в получении телеграммы сосед и опускает телеграмму в форточку... Женя перед этим ожидает телеграмму...» *

Тогда же придумалась сцена между Женей и отцом, которая стала для него самой любимой в повести:

«Деталь... Женская.

«У тебя уж билет есть?»

<Отец>, едва улыбнувшись: «Есть».

— В мягком?

— В мягком...

— Эх, я бы с тобой тоже поехала» *.

А полковника Александрова, отца Жени, ждал бронепоезд...

С высоты уже сделанной работы основное в этих набросках уже было. И теперь, конечно, не составило б ни малейшего труда найти всему место, но там, в Рузе, все эти детали, подробности, загадочные символы никак не сплавлялись воедино, не отливались в сюжет.

«Работа застопорилась, вернее чувствую, что мотор работает вхолостую» *.

Чтоб отвлечься, читает: «12 <октября 1939 г.>. Солнце. Читал вчера Куприна: «Штабс-капитан Рыбников». Вещь сырая» *.

«14. Отправил Доре письмо. Тревожные сны по схеме № 3. Интересно: в путешествии Яна Стрейса он часто упоминает о том, что его «объял страх», а между тем поведение его показывает как бы обратное. «...Меня объял превеликий страх, схватив дубину, я начал колотить разбойников» *.

Позднее заметил: все время думает о природе и сущности мужества. «Страх» Яна Стрейса — не что иное, как храбрость, ведь «трус, он действует в момент опасности глупо, даже в смысле спасения собственной своей шкуры».

То, что ему хотелось написать теперь, тоже было о мужестве, но другом: когда человеку, еще не взрослому, нужно отстоять свои убеждения перед взрослым.

Итак, «работа застопорилась».

«Где ошибка? — спрашивает сам себя. — Вероятно, Василий и Варвара не нужны. А нужны Ольга и дядя» *.

Ольга и дядя — это конфликт, столкновение характеров, и потому «Нужно — резко все заново» *. Однако

предостерегает себя: «держать темп» *. Не уходить в побочное. Не терять из виду главное.

«Кто такая Ольга? Ольга, грубо говоря, хорошая советская девушка... которой надо выходить замуж» *.

В чем разойдутся они с дядей, пока не решил. Зато четко обозначился конфликт Дункана с дядей.

<Дядя>: «Мне кажется, что ты дружишь с хулиганами».

<Дункан>: «Нет, не то. Я — испытываю свой характер».

«Спор, в течение которого дядя преображается».

«Конечно, — продолжает он размышлять, — надо сначала дать характеры... «Стоишь?» — «Стою» *.

Это уже относилось к Дункану, к одному драматическому эпизоду, которым он очень дорожил.

...Интересно, как мысль его работала «волнами». Сначала просто думал, что символика сведется к таинственному появлению звездочек на тех домах, куда будут приходить повестки... Женя (командирская дочь!), прикрепив к своей кофте звездочку, увидит заботливое отношение к себе совершенно незнакомых мальчишек.

Но потом он находит, что романтическое в повести может быть гораздо шире. Стоило об этом подумать, как воображение заработало «на романтику». Прежде он, бывало, за целый день придумает две-три строки, обведет их рамками, наставит уйму точек. Теперь же едва успевал записывать.

О дяде: Дункан-старший будет играть в самодеятельности. Репетируя роль старика, дяде придется гримироваться. «Зритель увидит, что это тот же человек, тогда, когда старик выкатит на мотоцикле» *.

В голову пришло удачное название — «Дункан и его команда».

Записал.

«Возвращение Жени — звезда над домиком» *.

«Ночные тени... Рассвет... Выстрел... Старуха ахнула... Рассказ старухи... Старуха идет на дачу к Дункану... Старуха принимает дядю <в гриме, с наганом> за разбойника» *.

Еще недавно по поводу начатой книги были только общие мысли, штрихи, наброски, реплики. Мысли вроде неглупые. Штрихи, наброски неожиданные, но все это в голове было как-то «свалено» в одну большую кучу. Однако стоило добавить совсем немного из того «ящи-

ка», где запрятано именуемое «романтикой», — и все вдруг ожило, словно опрысканное живой сказочной водой.

«Значит, поправка начинается с того момента... когда Женя на столе на даче <Дунканов> находит кучку красных звездочек и прикалывает одну из них к своей груди.

Дальше утро — Женя видит записку <«Девочка, когда будешь уходить, захлопни крепче дверь...»>. Она проходит в соседнюю комнату... под газетой большой старинный револьвер... Она берет его... целится в настольное зеркало... Спускает курок — довольна, спускает опять — грохот — выстрел — в страхе бежит она прочь» *.

После этого шел перечень почти двух десятков эпизодов. Были среди них драматические: Ольга «убеждена, что Дункан — это хулиган. И Жене строго-настрого запрещает с ним видеться. Но у Жени чужая тайна, и сказать правду о Дункане она не может» *.

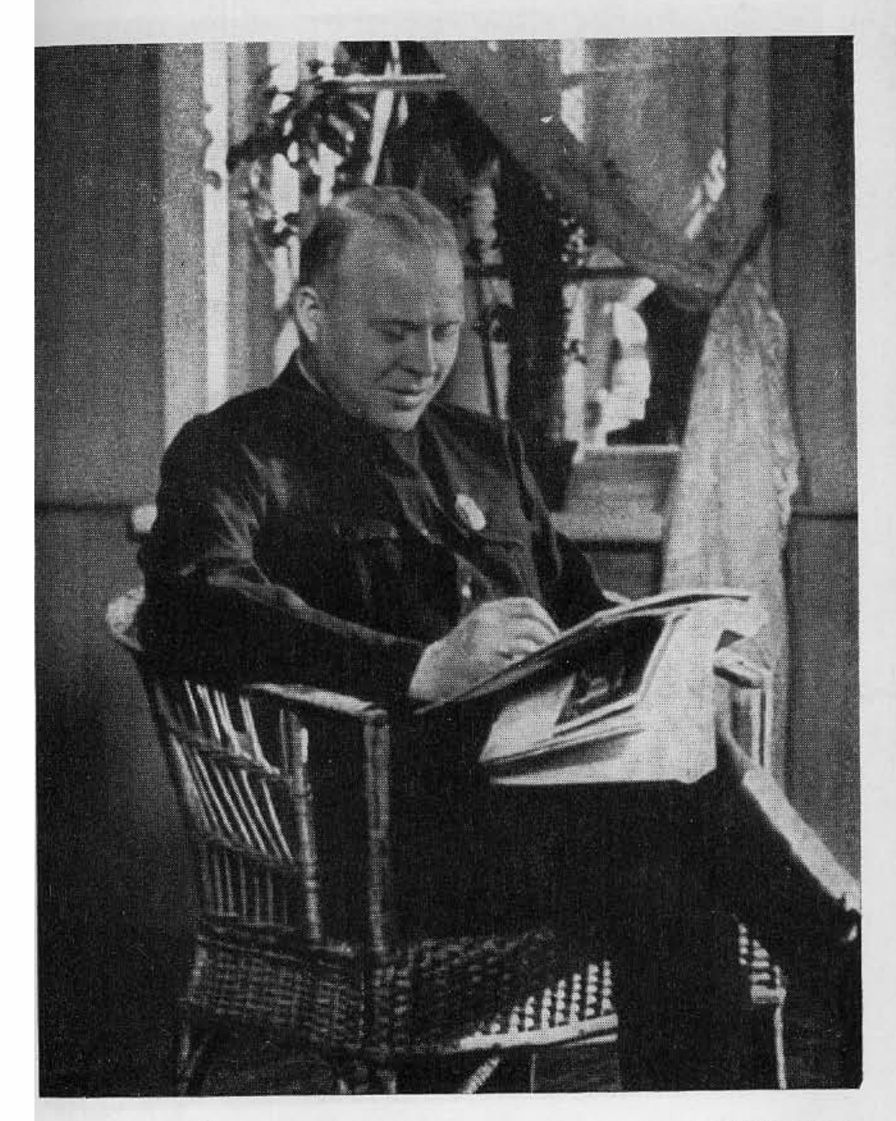
Были и смешные: «Между прочим, будет место, когда Женя хитро приколет звездочку Ольге, когда та пойдет на вокзал, и там с ней приключатся два забавных случая» *.

* * *

«Как я живу? — писал домой. — Я встаю, с полчаса до завтрака гуляю по лесу. Лес желтый, но и зелени еще много. После завтрака сразу же сажусь за работу, за час до обеда кончаю, немного погуляю, сыграю партию в бильярд. После обеда очень тихо, и я с наслаждением читаю. Вечером, после ужина, я опять работаю, но уже немного. Вчера пошел в лес, зажег костер, сидел и грел руки...»

* * *

Он писал о Дункане, которого выдумал, и команде Дункана, какой на свете еще не существовало. Правда, ему случалось собирать ребят, давать им важные поручения, но постоянной команды не знал ни одной. Зато надеялся: когда ребята книгу его прочтут — соберут такие же. Или даже лучше. Но сначала пусть хотя бы



Кадр уникальной кинопленки, которая идет на экране 38 секунд (пленка сохранилась у дочери Гайдара — Евгении Аркадьевны Гайдар.)

С женой Дорой Матвеевной под Москвой, в Клину, где дописывалась повесть «Тимур и его команда». Лето 1940 года.

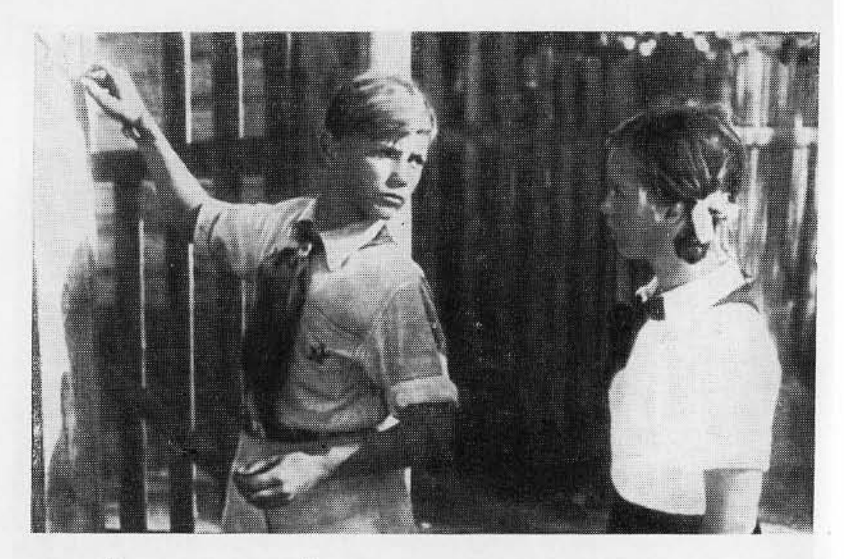


Рабочий стол.

1 декабрь.

Прошлый год в это время после поездки в Рязань я взялся за работу над Тимуром. Позапрошлый в декабре кажется писал „Чук и Гек" время для меня было крутое.

Дневник от 1 декабря 1940 года.



Кадр из фильма «Тимур и его команда».



После читательской конференции по книге «Тимур и его команда» в одной из детских библиотек Москвы. Май 1941 года.



В Болшеве под Москвой вместе с режиссером Львом Владимировичем Кулешовым Гайдар завершал работу над сценарием фильма «Комендант снежной крепости». Май 1941 года.

А 24 июня 1941 года, на третий день войны, в том же Болшеве и снова с Кулешовым Гайдар работал над новым оборонным сценарием — «Клятва Тимура». Сценарий был завершен в рекордный срок — к 6 июля.





Последний штатский снимок, сделанный фотокорреспондентом Сергеем Васиным в редакции «Комсомольской правды». 19 июля 1941 года.



На Курском вокзале, за несколько минут до отхода поезда, Гайдар зашел в моментальную фотографию... 20 июля 1941 года.



КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА

Орган Центрального и Московского комитетов ВЛКСМ

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФО...

Пионерская ПРАВДА

ОРГАН ЦК и МК ВЛКСМ

В ДОБРЫЙ ПУТЬ!

РЕБЯТА!

Беспрестанно гудят паровозы Уходят длинные эшелоны. Это ...

В добрый путь!

Этот суровый, грозный год покажет, кто из вас действительно трудолюбив стоек и мужест...

товарищей всю черную и непарадную работу.

В славе у нас всюду те честные, скромные ребята-труженики, пионеры-тимуровцы, которые по...

2 Пионерская ПРАВДА

НА ФРОНТАХ ОТЕЧЕСТВЕН...

АРКАДИЙ ГАЙДАР

Война и дети

Тыловая железнодорожная станция на пути к фронту. Водонапорная башня. Два прямых старых тополя. Низкий кирпичный вокзал, опоясанный густыми акациями.

Воинский эшелон останавливается. К вагону с кошолками в руках подбегают двое поселковых ребятишек

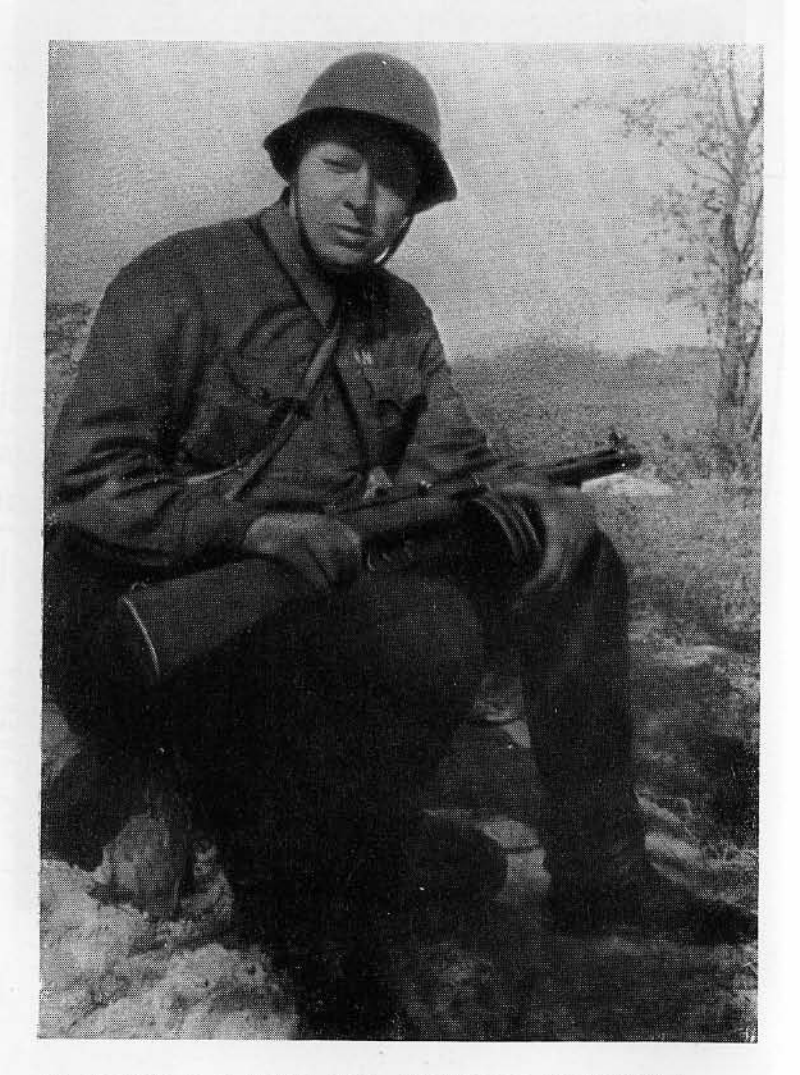
братишку за руку и, шагая к тронувшимся вагонам, протяжно и снисходительно ему об'ясняет:

— Они знают! Они шутят! Это такой народ едет... веселый, отчаянный! Мне один командир за стакан смородины бумажку трехрублевую на ходу подал. Ну, я за вагоном бежал, бежал, но все-таки бумажку в вагон сунул.

вытягивает из-за пазухи завернутый в клеенку комсомольский билет. И, не будучи вправе рассказать что-либо больше, облизывая потрескавшиеся, запыленные губы, он ждет жадно и нетерпеливо.

Я смотрю ему в глаза. Я кладу ему в горячую руку обойму. Это — обойма от моей винтовки

Очерки, которые Гайдар присылал в «Пионерку» и «Комсомольскую правду», — это была лишь малая часть увиденного и узнанного на войне...



«А писатель-то в нашем деле, оказывается, грамотный...»
(Из отзыва о Гайдаре солдата-разведчика.)

Новомир (Норик) Гарцуненко — бывший Тимур Центральной команды Киева. 1946 год. (Публикуется впервые.)



В 1941 году о киевской тимуровской команде много писали. На снимке: обращение Гайдара, написанное по просьбе Норика Гарцуненко, «Листки из дневника» самого Норика, статья о женщинах-патриотках, которые открыли пошивочную мастерскую при тимуровском штабе в Киеве.

РЕБЯТА!

Арк. ГАЙДАР.

ЛИСТКИ ИЗ ДНЕВНИКА

ДЕНЬ СТОЛИЦЫ

НЕОБЫЧАЙНЫЕ ТИМУРОВЦЫ

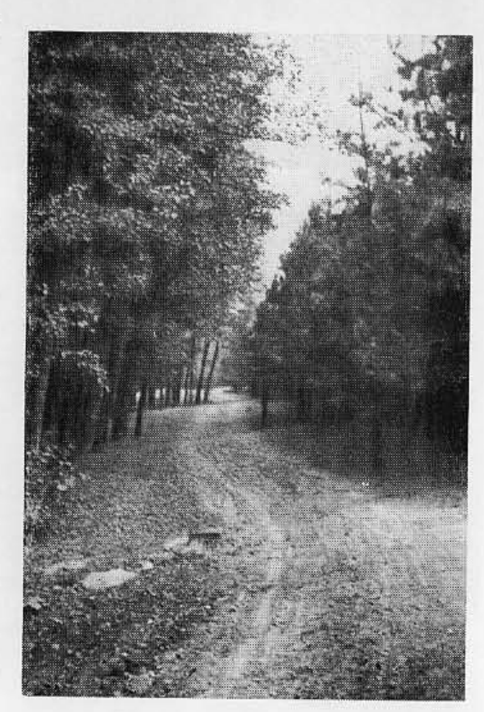




Последний приезд в Москву. Август 1941 года.



Село Леплява. Вид из камышей со стороны старого партизанского лагеря.



Этой дорогой вечером 25 октября 1941 года Гайдар и еще четверо партизан шли из Прохоровского леса.



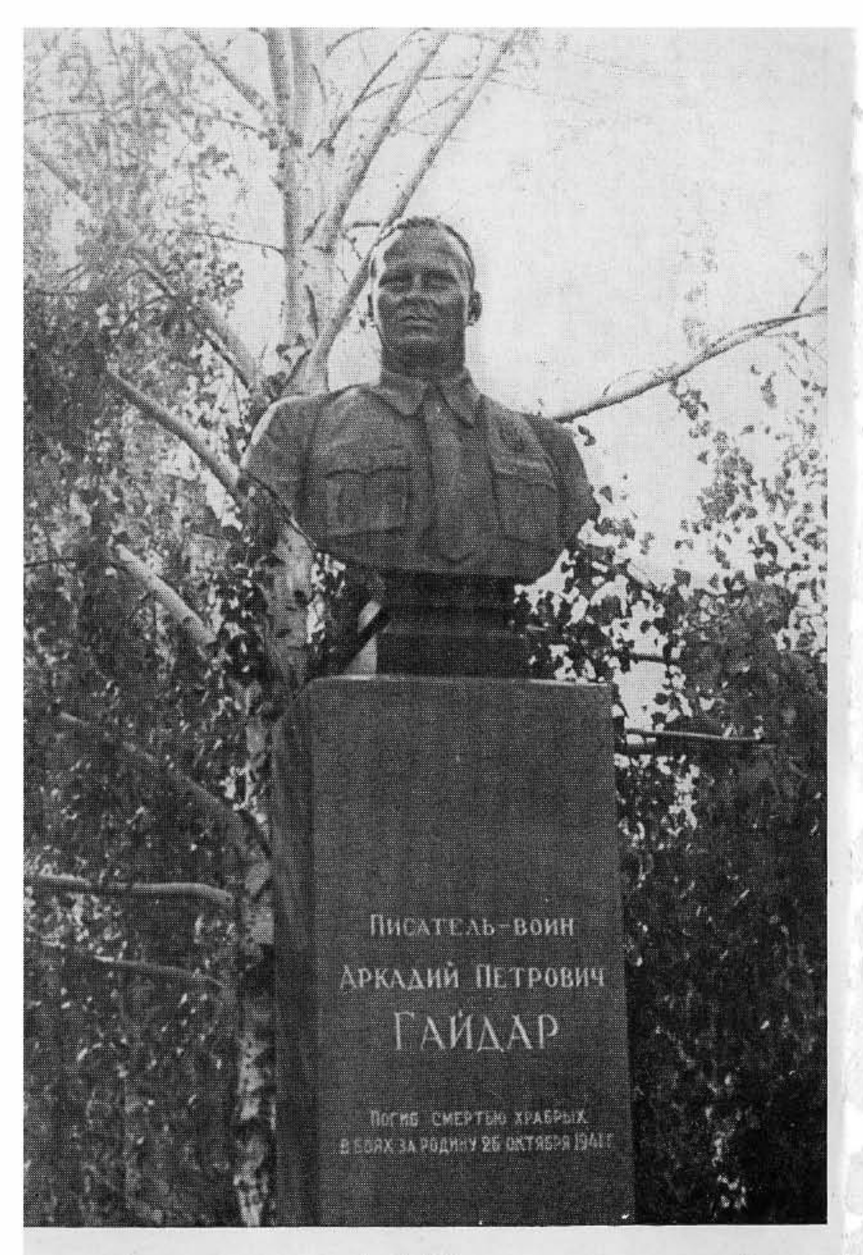
Отсюда, с насыпи, Гайдар вдруг увидел: засада! Здесь погиб, чтоб спасти...



Когда в Лепляву в 1943 году пришла Советская Армия, на том месте, где был похоронен Гайдар, виднелся чуть приметный холмик...



В 1947 году прах Гайдара был перевезен на другой берег Днепра и похоронен в городском парке, в центре Канева.



Памятник на могиле А. П. Гайдара в городском парке Канева.

такие же. А для этого дела и поступки Дункана и его товарищей должны увлекать.

Еще совсем недавно ребята играли в разбойников. Если это были хорошие ребята, они играли в добрых разбойников. За два десятилетия после революции ребячий мир переменился. Мальчишки (да и девчонки) стали играть в челюскинцев, папанинцев, в Чапаева и Анку-пулеметчицу. Парнишка в фильме «На границе» (интересно, видел «На границе» Валерий Павлович?) говорил: «Я буду как Чкалов».

Но, к сожалению, убеждался он, многие до сих пор «думают, что кругом разбойники» *. За «разбойника» поначалу примут Дункана, «за разбойников» скорее всего примут ребят, которые станут играть «в Дункана». (Обо всем этом, может быть, с горьковатым юмором, но придется сказать в повести.)

А пока что он придумывает Дункановой команде песню:

Мы не шайка, мы не банда!
А без шума, не под гром,
Мы, веселая команда,
Людям делаем добро!.. *

Дункан и его товарищи станут тайно опекать семьи красноармейцев, будут воевать с квакинцами и придут на помощь к тем, кто будет в их помощи нуждаться. Но ребята из команды будут и ссориться, делать глупости. В их поступках будет «низкое» и «высокое».

Отчетливее всего это проступит в характере Дункана.

Женя, запуская игрушечного парашютиста, нечаянно посадит его на какой-то провод. И начнет провод трясти. Мальчишки из команды, не зная, как отогнать ее от штаба, не придумают ничего умнее, как запустить в нее ком земли. В то же мгновение от удара подоспевшего Дункана на землю опрокинется Гейка. Произойдет ссора:

«А вы что — трусы?.. Пятеро на одну девчонку?» (это Дункан).

«Я, кто меня тронет, тому спуску не дам, — грозит Гейка. — У меня отец командир конной разведки. Вот кто!..»

«А у меня отца нету. Вот что — (передразнивает Дункан). — И за его спину я не прячусь... Меня хоть привяжите к дереву — а другого слова от меня не услышите».

«Гейка презрительно: «Ой, и долго бы ты устоял под деревом?»

«Долго. Сколько скажу сам».

«А сколько ты скажешь — три минуты?»

«Говори ты... — <обращается к Гейке Дункан> — не ошибешься».

Гейка зло и вызывающе: «На два часа скажешь?» Дункан: «Четыре».

«Гейка, быстро и злорадно ловя на слове: «Стой!» Дункан, спокойно протягивая руки: «Давай!»

Один из мальчишек сомневается: «Четыре много. Два ладно» *.

Но спор заходит слишком далеко. «Дункан становится *около ствола толстого дерева*: «Ну, завязывай».

Ребята уходят, однако оборот, который принял спор, их все же пугает.

«Ты, брат, — <говорит, оборачиваясь, Коля Колокольчиков>, — не того. Это ты ведь сам. Мы тут будем... около».

«Уходите, — отвечает Дункан. — Я больше не разговариваю».

«Идут ребята, прошли кусты. Молча и вопросительно смотрят на Гейку. Гейка угрюмо:

«Черт с ним. Пусть стоит. Через час мы его развяжем».

«Стоит Дункан у дерева. Прислушался. Старые круглые часы над башенкой. Хрип цепей. Стоит Дункан у дерева... лицо его спокойно. Он даже слегка улыбается. А глаза его глядят прямо, честно и открыто» *.

А ребят задержали. Они помогали разгружать грузовик. За это их должны были подвезти, а машина сломалась.

«Выпрямился Дункан и смотрит. Никого нет. Удивление на лице Дункана...» * Увидела привязанного Дункана чужая бабка, закричала: «Караул!» Примчалась на крик Женя. «Узнал ее, обрадовался Дункан и говорит: «Девочка, подойди, развяжи мне руки».

Стоит, опустив букет, охваченная страхом Женя.

— Подойди скорей. Что же ты стоишь?

— Да, но я боюсь.

— Подойди, тебе говорят, и развяжи быстро, или я напишу, какой ты трус, твоему папе.

— Ты?.. Папе?.. Куда?..

— ...Да, в Ленинград, твоему папе.

— Ты, в Ленинград? Но кто ты?

— Ты меня знаешь — я Дункан» *.

Конечно, его могли обвинить, что он проповедует «нездоровую рахметовщину», а «команда» его — «обыкновенные разбойники». Но это не имело значения. Для него было важно, что в действительно жестоком эпизоде ссоры проявлялся характер Дункана. Такому командиру можно верить. «Я не боюсь, — говорил Дункан Гейке, — ни тебя, ни себя »*.

Ум и воля Дункана объяснили стойкость и убежденность мальчишеского командира в спорах с дядей, неплохим, однако недалеким человеком.

«Где ты пропадаешь ночами? — спрашивал дядя. — Кто вчера вылез от тебя через окошко? Почему, когда я вернулся, на углу сада, на черемухе, горел зеленый фонарь?»

«Это... это значит, все спокойно. И все могут спать».

«...Так... Однако я фонарь снял, потушил — и все равно все спали спокойно».

«Нет, не все. Я не спал. Дядя! Мы никому плохого не делаем. Я вам не говорил, мы играем. Ну, что вам, обидно или завидно?»

«Это не игра! Играют днем. Возьмут футбольный мяч или идут в лес. Прыгают, скачут... *(Смотрит.)* Почему у тебя синяк возле глаза?»

Мальчик, запнувшись:

— Мы... мы вынуждены были отколотить несколько мальчишек. Ну, а они, конечно, не стояли сложа руки. И вот получилось...»

«Мы! Да кто это мы? Покажи мне их, сделай милость. — Иронически кричит: — Эй, «мы», где вы? Покажитесь, откликайтесь!»

Вдруг лицо его настораживается. Он слушает... на стене звякнул колокольчик...

«Это они?» *

Повесть «Дункан и его команда» становилась вещью для него очень личной. Это был его ответ уже покойному сэру Бадену Пауэллю, японскому микадо и германскому фюреру, которые, эксплуатируя влечение к роман-

тике, лишали детей детства, растя маленьких солдат. Это был также его ответ «знатокам» детей и детской литературы.

Он был военным человеком, солдатская судьба которого не сложилась, но он мог бескомпромиссно анализировать то, что ему было известно. И говорил в своих детских книгах о том, что его по-взрослому тревожило.

Еще в набросках у него было:

«Что — война?»

«Нет... Война далеко» *.

Но по мере того, как писал, война приближалась. Новую повесть начинал с того, что Женя и Оля едут на дачу. У газетных киосков — очереди. Шелест страниц и одно только слово: «Тревожно»...*

Но его тревога была глубже той, о которой пока сообщали газеты. И он прямо говорил в повести о том, что не давало ему покоя.

«Дядя Дункан — не профессиональный актер. Он инженер и актер-любитель... Роль ему не удается» *, — писал в черновике.

«Кого вы играете?» — спрашивает дядю Ольга.

«Я играю старого инвалида-партизана, который уже немного не в себе. Он живет близ границы <И сердце его сжимается при мысли>. И он боится, что враги перехитрят и <нападут> проберутся оттуда, откуда их не ждут смелые, но молодые красноармейцы... Знаете... тревожно... Тревожно... Он стар, но он много видел. Они же молодые... Смеются. После караула в волейбол играют... Девчонки там у них разные...

Поет:

За тучами опять померкнула луна.
Я третью ночь не сплю в ночном дозоре.
Ползут в тиши враги,
Не спи, моя страна.
Я стар... Я слаб...
О горе мне... О горе...

Меняя голос и подражая хору:

— Старик, спокойно... Спокойно...

«Что значит спокойно?» — взволнованно спрашивает Ольга.

— ...А это значит, спи спокойно, старый дурак. Бог весть, что тебе втемяшилось в голову. А все бойцы и командиры давно уже на своем месте... *

Но тема тревоги, вроде бы приглушенная хором, в конце повести возникает снова — в другой арии того же старика, исполняемой дядей:

Я третью ночь не сплю.
Мне слышится все то же
Движенье тайное в угрюмой тишине.
Винтовка руку жжет.
Тревога сердце гложет,
Как двадцать лет назад
Ночами... на войне...

«Дела с кино»

Когда уже стало очевидно, что книга получается, опять начались «дела с кино». Ему предложили, не дописывая повести, сделать из «Дункана» кинокартину. А книгу выпустить потом.

Резоны были такие: сценарий, как только он будет готов, запустят сразу в производство, потому что ставить нечего. Фильм в короткое время увидят несколько миллионов. Тем более такая тема, дорог каждый день. И потом сценарий обещал заметно больше «злата и серебра», обстоятельство немаловажное.

Он согласился.

И довольно скоро пожалел.

После того как подал заявку, долго не приходило никакого ответа. Работа над повестью прервалась. А над сценарием не начиналась. «Очень жаль, — писал он домой, — что я ничего не знаю о своих делах в кино — это несколько сбивает мои планы» *.

Но вскоре в Комитет по кинематографии пригласили его и режиссера Александра Разумного, который вызвался ставить этот фильм, и сказали: «Заявка одобрена. Кинокартина должна получиться довольно интересной. В воспитательном отношении весьма полезной. Только вот... неудачное... название. То есть в принципе хорошо: «... и его команда». В этом что-то есть. Но Дункан... Хороший советский мальчик. Пионер. Придумал такую полезную игру и вдруг — «Дункан». Мы посоветовались тут с товарищами — имя вам нужно поменять».

Он готовился к трудному разговору, готовился к тому, что придется защищать игру Дункана, чуть озорное понятие ребячья «команда» вместо привычного «класс» и «отряд». Наконец, если придется, собирался отстаивать право ребят на собственную тайну, которая, естественно,

долго не может оставаться тайной. И подбирал, придумывал свои ответы и доводы.

Но когда все свелось к одному — единственному пожеланию дать Дункану другое имя, — растерялся. Невозможно было в огромном кабинете с плюшевыми шторами, залитым глазурью бюстом и большими портретами, в кабинете, предназначенном для решений проблем развития всего киноискусства, объяснять, что имя героя — это лицо, интонация, походка и что со всем этим сживаешься, как с собственным именем и лицом.

Ждал, что заступится Разумный, но Разумный неожиданно сказал: «Не то...»

«А разве лучше будет, — взволнованно спросил он, — Вовик — или Петя — и его команда?»

Ему ответили, чтобы он не волновался. В сущности, его просят о столь малом...

Из кабинета вышел опечаленным. Ему трудно было судить. Возможно, «Дункан и его команда» название в самом деле не лучшее, но он с ним сжился.

Менять требовалось быстро. А он ничего не мог придумать, пока однажды на улице его не осенило. Он ворвался в квартиру к Разумному и крикнул с порога:

«Есть название... «Тимур»... «Тимур и его команда».

Долго не мог привыкнуть, что теперь у него два Тимура. Один тот, что подрос и часто прибегал к нему, а как-то приехал даже на такси, за что он его отругал, хотя бранил нечасто. Они любили остаться вдвоем и поговорить. Или где-нибудь на просторе попеть настоящие, солдатские песни. Очень хотел, чтобы Тимур вырос настоящим человеком.

А второй Тимур — Гараев — был им придуман. И на Тимура Гайдара мало похож. У Гараева не было отца. Осталась в другом городе мать. А сам Тимка, немного в общем-то одинокий, жил с дядей, который его плохо понимал.

В марте уехал в Цхалтубо. Вскоре к нему приехал Разумный — можно было приступать к режиссерскому сценарию.

2 апреля. «...Вечером вчера отработали кадры — «Поимка шайки Квакина».

3 апреля. «...Вчера вечером много работал. Поставили на место главную сцену — «Выходной день в роще».

6 апреля. «Вчера вечером закончили основную разработку режиссерского сценария. Таким образом, вещь сделана».

Вернулся в Москву. На студии сценарий его размножили и разослали по всяким педагогическим учреждениям. Он любил учительское «племя», однако отзывы писали люди, для которых «педагогическая практика» давно свелась к бумаге и «теории». В отзывах на сценарий замелькало: «Такие ребята, как Тимур, не бывают...», «ничем не обоснованный вымысел автора», «писатель уводит внимание ребят в сторону от учебного процесса...»

Тогда ему и Разумному предложили заручиться «поддержкой общественности» и провести публичное обсуждение сценария в детской аудитории.

Он сам и в Доме кино, и в Союзе писателей не раз участвовал в обсуждении рукописей, но впервые киносценарий детского фильма для решения его судьбы выносился на обсуждение в детскую аудиторию.

Сам по себе разговор с детьми его нисколько не пугал. Наоборот. Он верил в ребят: в их ум и ко всему хорошему чуткое сердце. И он был бы совершенно спокоен, если бы разговор шел о повести: не побоялся же он оставить в Ростове для обсуждения *во всех* детских библиотеках черновую тогда еще рукопись «Военной тайны». Но разговор теперь должен был пойти о сценарии, то есть жанре в литературном отношении более скучном.

Хватит ли у ребят терпения дочитать? И потом, взрослому можно объяснить: сценарий — это 60 страниц. И многое, только помеченное в тексте, режиссер позднее развернет в кадре, а детям такие пояснения неинтересны.

После долгих консультаций, где провести, остановились на Дворце пионеров в переулке Стопани. Несколько специально отпечатанных экземпляров кинопьесы лежало в библиотеке дворца. Каждый перед обсуждением мог прийти и прочесть.

Народу в зале набилось тьма. Возле сцены, за маленьким столиком, пристроились две стенографистки: материалы обсуждения сценария детьми должны были потом обсуждаться взрослыми тетями и дядями.

После вступительного слова руководительницы литературного кружка, которая, между прочим, отметила, что

только в нашей стране известные писатели-орденоносцы, а также известные кинорежиссеры приходят к своим читателям и зрителям посоветоваться и даже попросить помощи, поднялся один мальчик.

Преодолевая робость, однако все же достаточно громко, мальчик сказал, что сценарий прочел. Ему очень понравилось, потому что Квакин «лучше всех».

В зале стало очень тихо. И тут поднялся второй мальчик. Он тоже сказал, что «Квакин лучше всех». А третий прямо заявил:

«Мне про Мишку Квакина было потому интереснее читать, что таких, как Мишка, я часто встречал. Один летом на даче даже отнял у меня удочку. А таких, как Тимур, ни разу».

Стенографистки по очереди выводили иероглифы в своих согнутых пополам тетрадях. По залу прошел легкий шелест, будто со всех сторон зашуршали газетами. У Разумного сделалось растерянное лицо. Он же весь напрягся, словно перед прыжком.

Шелест перешел в шум, какой бывает в классе, когда посреди урока вдруг уходит учитель. Ребята спорили между собой. Кричали что-то недавним «ораторам». И судя по всему, никто не собирался выступать.

И тут он заметил во втором или третьем ряду маленькую девочку, которая тянула руку. Девочку знаками пригласили на сцену. И когда зал с трудом утихомирился, девочка сказала:

— Есть такие ребята, как Тимур... Один живет даже в нашем дворе. Только его зовут не Тимур. Его зовут Сашка. Ему, наверно, уже четырнадцать лет. Он каждый день помогает одной больной старушке из третьего подъезда, совсем ему чужой. То комнату ей уберет, то в магазин сходит...

Он захлопал. Это получилось даже неприлично. Но он хлопал не тому, что девочка заступилась за «Тимура». Он хлопал от радости: что вот он Тимура взял и придумал. А придуманные им Тимуры, оказывается, давно живут в чьих-то дворах.

Обсуждение во дворце было первым. За ним последовали другие. При этом «педагогическая общественность» дружно настаивала, что это невозможно: Тимур Гараев, на которого должны равняться наши дети, ходит с какими-то синяками под глазом, дает своим друзьям затрещины, а друзья в ответ устраивают ему средневековые пытки с привязыванием у дерева.

Михаил Квакин затрещину дать может. Это понятно. Квакин, как следует из произведения, — неисправимый хулиган. По нему давно милиция плачет. А Тимур, судя по всему, из хорошей семьи. Дядя у него инженер, поет в самодеятельности.. Только что это за старик, роль которого играет дядя, и что могут подумать наши дети, услышав странные песни этого старика?..

После каждой встречи с «проницательными читателями» из сценария что-то приходилось убирать. Это ему советовал редактор. Об этом просил режиссер.

Однажды не выдержал:

«Зачем вам сценаристы?! Зачем вам писатели, если у вас есть «обсуждатели»?! Они, как я вижу, лучше меня все понимают. Наверное, лучше меня и умеют, — пусть они вам вместо меня и пишут!..» — и хлопнул дверью.

За ним побежали. Перед ним извинились. И ту сцену — «Пожалуйста, кто же спорит?» — ему оставили. Но к сценарию у него теперь было такое же отношение, как в свое время к первому изданию «РВС», когда чужие руки вписали в его текст всякую отсебятину.

Но отказаться теперь от сценария, как отказался от «РВС», не мог. «Тимур» слишком много значил. И не только для него. И он нашел выход: пусть журнал «Пионер» публикует литературный сценарий. Пусть Разумный начинает съемки, но до того, как выйдет фильм, он допишет и опубликует повесть. Это будет первое и одновременное исправленное издание, то есть с прежним названием и теми «ненужными» подробностями, без которых эту вещь уже не мыслил.

14 июня <1940 г.>. «Было немало. Сижу в Клину... Сегодня начал «Дункан», повесть...»

Однако слегка поостыв, размыслил: как бы ни был после всех сокращений испорчен сценарий, в главном фильм не должен разниться от книги, чтобы ребята не терялись в догадках, почему в кинокартине — Тимур, а в повести — Дункан. Почему на экране Женю от кулаков разъяренной команды спасает Тимур, а в повести

на помощь привязанному к дереву Дункану придет Женя.

Ведь он пишет не просто повесть. И на экраны выйдет не просто фильм. Это программа, что делать детям, когда начнется война. Это приказ, который войдет в силу по боевой тревоге. А приказ не должен противоречить сам себе.

29 июля. «Пишу «Тимур и его команда», работа идет неровно, рывками... Разумный снимает картину на Волге».

27 августа. «Сегодня закончил повесть о Тимуре — больше половины работы сделал в Москве за последние две недели».

Писал без особой радости, почти на голой технике. Вдохновение предполагает легкость, взлет, внутреннюю свободу, а он не мог в сюжете повести ни на шаг отступить от испорченного сценария, но виноват был сам: нужно было сперва дописать книгу.

Повесть отнес в Детиздат и «Пионерскую правду», 27 августа она была завершена, а 5 сентября «Пионерская правда» начала ее печатать.

И если в «Пионере» литературный сценарий «Тимура» прошел в основном спокойно, то появление повести в газете неожиданно стало сенсацией.

Началось с того, что ребята со станции Косино, которые начали читать «Тимура» в «Пионерской правде», не захотели ждать «целых два дня» следующего «куска» и приехали в Москву, в Детиздат. Такого еще не бывало. Его поздравляли.

«Комсомолка» 10 сентября поместила статью М. Васильева «Правда о наших детях». Васильев писал, что публикация повести в «Пионерской правде» еще не закончилась, а во многих дворах уже возникли свои команды». Гайдар, отмечал автор статьи, «открывает ребятам глаза на самих себя».

И вдруг 2 октября очередной отрывок в «Пионерке» не появился. Кто-то где-то заметил, что повесть вредная, пропагандирует какие-то подозрительные команды, когда существует пионерская организация.

Печатание в газете, уже начатые Центральным радио передачи, отдельное издание «Тимура», а заодно и еще не отснятый фильм — все повисало в воздухе.

Он жил за городом — его вызвали в редакцию. После недавнего успеха он сиротливо сидел в коридо-

ре, выслушивая бесполезные сочувствия и терпя любопытные взгляды.

К счастью, редактор «Пионерки» Андреев, взяв рукопись «Тимура», пошел прямо к Емельяну Ярославскому, который при всей своей занятости на другой же день прочитал повесть, не обнаружил в ней ничего вредного.

Наоборот, похвалил — и печатание возобновилось.

А рецензии шли своим чередом.

«Команды Тимура», может быть, в действительности и не было, — читал он в статье «Воспитание романтикой», — но она могла быть. Гайдар увидел ее в настроении наших ребят... И эту подслушанную им романтическую форму детской инициативы он, в свою очередь, подсказал детям».

«Новая повесть Гайдара, — говорилось в другой статье, — еще не напечатана отдельной книгой, а уже во всех дворах носятся ребята с «тимуровскими» красными звездами на груди».

Тем временем был закончен фильм. Разумный прислал телеграмму:

«Картина принята дирекцией хорошо <секретарем ЦК ВЛКСМ> Михайловым прекрасно поздравляю успехом».

Он не разделил этих восторгов: «Смотрел «Тимура», — применение на практике т. н. «советов профессора Кронфельда», — пометил в дневнике.

Ничего, кроме горечи, применение «советов» у него не вызвало. А над фильмом продолжал думать.

«Ошибка «Тимура», — записал он. — Ольга сразу берет неправильный тон. Пленники очень плохо выходят при освобождении. Но это мелочи».

Что же не мелочи?

«Засорен диалог. Надо впредь работать лучше. Перестроить всю манеру (актерскую) разговора. Надо проще».

Это он делал рабочие выводы для себя.

Из всех исполнителей ему больше всего понравилась Катя Деревщикова: Женя получилась у нее такой, какой он Женю себе и представлял.

«Картина, — отмечал, — прошла с успехом, но много в ней недостатков».

* * *

В канун сорок первого «Комсомолка» провела анкету среди своих читателей «о лучших произведениях года». Были названы три вещи: «Тихий Дон», «Маяковский начинается» Н. Асеева, а из книг для юношества — «Тимур».

ИСПЫТАНИЕ СЛАВОЙ

Понимал: война неизбежна. Немцы продвинулись вплотную к нашей границе. «Война гремит по земле, — заносил в дневник. — Нет больше Норвегии, Голландии, Дании, Люксембурга, Бельгии. Германцы наступают на Париж. Италия на днях вступила в войну».

А к нему пришла известность. Он с удивлением вдруг обнаружил, что стал нужен всем на свете. Ленинградская «Смена» просила «принять участие в обсуждении материалов «Новое в школе», помещенных в нашей газете...» *.

Московская фабрика «Диафильм» предлагала ему сделать монтажные листы к лентам «РВС» и «Чук и Гек».

ЦК комсомола Белоруссии оповещал об условиях пересоюзного конкурса «на создание лучшей детской песни и пьесы», предлагая удлинить срок, если ему это будет нужно.

Курьер из Союза писателей приносил папку и письмо: «Уважаемый тов. Гайдар. Пишу Вам по поручению тов. Фадеева, который просит Вас взять на отзыв две небольшие рукописи...» *

Одесская киностудия приносила свои извинения: ему ошибочно была послана телеграмма с напоминанием о сроке сдачи сценария «Зимняя сказка». «Спокойно продолжайте работать...» * — умоляла студия.

Разом вспомнили о нем все журналы.

«Дорогой Аркадий Петрович! Давно, давно Вы ничего не давали в «Затейник». А между тем сей журнал относится к Вам с большой душевной теплотой и рад был бы дать возможность своим читателям прочесть Ваш новый рассказ...» Письмо заканчивалось обещанием: «Гонорар будет оплачен немедленно и щедро» *.

17 лет тому назад — „и пока не придут со сменою, не уйду я сам с поста. Не нужны ценой измены мне ваши ложь и красота!"
Глупо, но искренно. Оттуда же. — „Все прошло. Но далят потрясая славная рокота бурь вдали. Все ушли от Гайдара теперь. Дальше, дальше, вперед уходи.

Запись в дневнике.
Декабрь 1940 года.

«Мурзилка» жаловалась: «Читатели нашего журнала часто напоминают нам и спрашивают, почему мы перестали печатать рассказы Гайдара в «Мурзилке». Но мы в этом, ей-богу, не виноваты...» *

Артистка Ленгосэстрады Диевская, готовя к чтению с эстрады «Чука и Гека», задумала сделать по рассказу сценарий и просила разрешения на экранизацию.

Дважды перечитал глубоко тронувшее его письмо режиссера В. Легошина. «Из всех картин, — писал Легошин, — которые делаются сейчас у нас на студии, по-настоящему значительными и интересными я считаю только «Свердлов» и «Тимур и его команда»...

Глубокая идея и огромное воспитательное значение этой лучшей Вашей повести будут вполне оценены лишь через некоторое время. Это мина замедленного действия на фронте идей, решающих судьбу нашего молодого поколения...» *

Видимо, все это называлось славой, хотя он всю жизнь представлял ее себе иной. Он мечтал о славе, только что начиная писать, но прошло семь лет, пока выпустил «Школу». И еще семь, пока вышла «Голубая

чашка». Потом еще через три с половиной — «Барабанщик» и за ним «Чук и Гек». А наибольший успех выпал «Тимуру» — вещи, в художественном отношении куда более слабой (а ведь и «Тимура» думал написать не хуже «Школы» и «Барабанщика»).

Как бы там ни было, он имел полное право чуть-чуть погреться в лучах редкой гостьи — славы. Имел и мог бы...

Однако повесть в «Пионерке» начали печатать 5 сентября 1940 года, а 8 сентября он уже сообщал домой из Старой Рузы:

«...Третий день сижу и работаю. Не написал еще пока ни одной связной строчки, но исчертил и разрисовал уже почти всю Женькину тетрадь. На этот раз я работаю несколько иначе, чем всегда. Я сижу, обдумываю заранее сюжет, положения, события. Все еще пока туманно, но за этим туманом уже слышны и звон, и крик, и неясная музыка».

«...Сегодня 13-е, уже ночь. Только что кончил работать...

Работаю я много. Сегодня и вчера работа идет с колоссальным трудом, чего-то не выходит. Но это бывает, и я духом не падаю.

Погода стоит хорошая. Ходил недавно в Рузу, починил сапог...»

Он работал над «Комендантом снежной крепости». Пока был дописан и опубликован «Тимур», произошло немало событий. И самым важным из них явились события на Карельском перешейке. День, когда заключили мир, особо отметил в дневнике: «С Финляндией... война окончена». Через два дня: «Наших в боях погибло 50 000. Ранено 150 000. Финнов — всего около 300 000».

Он видел причины столь ощутимых наших потерь в том самом «шапкозакидательстве», которое было присуще писателям типа Н. Шпанова. И не только им, потому что на перешейке мы столкнулись с обученной, стойкой армией, приспособленной к войне в любых условиях и оснащенной всем, что производил капиталистический мир.

И киносценарий «Комендант снежной крепости» начинался сценой: в штабе артиллерийской части раздается телефонный звонок. Капитан Максимов берет трубку.

«— Итак, вы опять отступили? Печально... Товарищ командир дивизии, вы генерал, я же только капитан. Но я осмелюсь напомнить, что неоднократно предупреждал: дисциплина в ваших войсках хромает на обе ноги... Ваши подразделения лезут по сугробам без лыж... кроме того, вы штурмуете крепость без плана, без подготовки, кулаками, штыками и саблями, и, конечно, противник бьет вас самой новейшей техникой. Генерал, я высоко ценю ваше личное мужество и вашу храбрость, но одного этого в современной войне для победы — увы! — никак недостаточно... Прошу извинить за прямоту...»

Лишь в следующем эпизоде становилось понятно: капитан Максимов разговаривал со своим сыном, командиром мальчишеской «дивизии».

7 ноября ему принесли телеграмму: «Поздравляю праздником уверен новый сценарий будет так же прекрасен как «Тимур»...» Писал Разумный, который должен был ставить и «Коменданта снежной крепости».

К началу декабря киноповесть в целом была завершена. Он спешил передать в новом сценарии опыт короткой карельской кампании, который стоил, однако же, многого. Ребятам, полагал он, надо быть готовыми к любым неожиданностям, которые может принести война.

В «Коменданте» снова действовали Тимур и его команда. За год Тимур вырос. Ему исполнилось четырнадцать. Как все мальчишки, он не пропускал ни одного выпуска кинохроники. И снова начал игру — только в снежную крепость. Поставил крепость в чужом дворе. Возник конфликт. Родились две армии. Мальчишки, чей двор, хотели крепость захватить и разрушить. А Тимур с товарищами ее защищали.

И все же сооружение не простояло бы и дня, если бы Тимур не ввел в своей армии военную дисциплину.

«— С сегодняшнего числа часовые у крепости будут сменяться через час, днем и ночью.

— Но... если которых дома не пустят?

— Мы подберем таких, которых всегда пустят».

Стоять на посту ночью и днем значило выполнять приказ. Стоять на часах, не боясь ни мороза, ни ветра, ни тьмы, значило закаляться и телом и духом.

24 декабря. «Все дни много работал — вчера начерно окончил второй вариант. Крепс и Разумный живут в гостинице...»

25 декабря. «Несколько тревожат меня настроения А<лександра> Е<фимовича> и Крепса. (Разговор

о картине и оловянных солдатиках.) А. Е. отрицает, но у меня смутное подозрение, что в новом сценарии он и я видим не совсем одно и то же...

20 января. «Все переворачивается куда-то к черту. А. Е. ставить мой сценарий не хочет. По-видимому, ему мешают. Мне звонок от Храпченко о «Государственном заказе». «Комендант» пошел в Комитет. С чем же вернется он оттуда? С удовольствием уехал бы. Надо хоть на короткое время голове отдохнуть, потому что опять близка работа — какая, еще не решил».

Разбор «Коменданта» в Комитете по делам кинематографии все время откладывался. Он ни за что больше не принимался, чтобы потом не отвлекаться.

«Комендант» вернулся из Комитета почти без всяких замечаний, но кончилась зима. И если павильонные съемки можно было начинать летом, то «батальные сцены» у снежной крепости, бой капитана Максимова могли быть отсняты, когда выпадет новый снег.

Зато ставить фильм теперь должен был Лев Владимирович Кулешов, крупнейший наш режиссер, судьба которого сложилась блистательно и грустно.

Кулешов вырастил Эйзенштейна и Пудовкина, создал знаменитую творческую «группу Кулешова», которая писала: «Кинематографии у нас не было — теперь она есть. Становление кинематографии пошло от Кулешова... Мы делаем картины — Кулешов сделал кинематографию».

Творчество Кулешова было экспериментально. Как Станиславский потратил не один год, чтобы уяснить, что лежит в основе актерской игры, так и Кулешов «много лет бился над вопросом, что является главным и присущим только кинематографу», пока не пришел к открытию «эффекта Кулешова», то есть киномонтажу.

То, что еще экспериментально (порой удачно, порой нет) Лев Владимирович делал в своих лентах, тут же подхватывали ученики. И трудно сказать: не будь монтажного «эффекта Кулешова», был бы «Броненосец «Потемкин» Эйзенштейна со знаменитой детской коляской на еще более знаменитой одесской лестнице...

Кулешов посвятил себя прежде всего исследованию технических возможностей кино и средств его выразительности — критики обвинили Кулешова в формализме.

Льву Владимировичу было особенно трудно, пока не поставил фильм «Сибиряки».

И в этой работе Кулешов экспериментировал. В фильме снимались дети, но писаных ролей для них не было. Им ставилась сценическая задача. А текст они придумывали свой. В кино это делалось впервые.

Когда фильм вышел, «Правда» отметила: «Здесь проявили большое мастерство постановщик фильма — один из старейших кинорежиссеров Л. Кулешов и оператор М. Кириллов».

После «Сибиряков» Кулешова числили по ведомству детских фильмов. Так Лев Владимирович стал режиссером «Коменданта».

Срок ему с Кулешовым установили самый жесткий. Работать договорились в Болшеве. Рано утром Кулешов заехал за ним на своей «эмке». Рядом со Львом Владимировичем сидела его жена, известная киноактриса Александра Сергеевна Хохлова, исполнительница всех главных женских ролей в кулешовских фильмах.

Лев Владимирович объяснил: «Мы всегда с женой работаем вместе. И если вы, Аркадий Петрович, не возражаете, то будем работать вместе и теперь». Он не возражал, но был настороженн. На студии его предупредили, что «Кулешов — «зазнавшийся барин» (потом узнал: чушь сказали и о нем Кулешову: кто-то «шутил»).

К его радости, Кулешовы оказались милыми, деликатными и очень веселыми людьми. А главное — сразу двинулась работа. То, что считал важным он, признавал важным и Кулешов. То, что нравилось ему, нравилось в сценарии и Кулешовым.

После нескольких часов работы, когда голова была уже не так свежа, отправлялись гулять. Рассказывали. Он — о литературе и, естественно, о себе. Они — о кино. И тоже немножко о себе. Однажды переоделись. Кулешов в его шинели и кубанке сделался похож на казачьего атамана. Он же в шляпе, шарфе, шитом на заказ пальто выглядел весьма импозантно, напоминая европейского дипломата.

Встречаясь с мальчишками, демонстрировал им самый любимый их номер: мальчишки стреляли в него из жестяного нагана. Он с трудом делал как бы последний шаг-другой и падал. Иногда прямо в грязь.

А Москва торопила, напоминала, спрашивала, успеют ли в срок. Отвечали расплывчато. Когда же все закончили на две недели раньше, припомнили «шуточку» и отправились на почту. Там дали две телеграммы:

«Москва Лихов переулок Союздетфильм... Ничего не выходит зпт скучно тчк Кулешов».

«Москва... не могу работать зазнавшимся барином Гайдар».

А через день приехали и положили на стол сценарий.

И вот сообщение по радио:

«...Теперь, когда нападение на Советский Союз уже совершилось...»

«ЧЕСТЬ СТАРОГО И СЕДОГО КОМАНДИРА»

Знал еще в двадцать седьмом: война будет, и «будет отчаянная». Писал в двадцать девятом: «Тот год и день, когда напряженную тишину тысячеверстной западной границы разорвут первые залпы вражеских батарей... этот год, и день, и час не отмечен еще черной каемкой ни в одном из календарей земного шара. Но год этот будет, день возникнет и час придет...»

31 декабря сорокового «Правда» провела анкету «Наши планы на 1941 год». Народный артист Хмелев рассказывал о предстоящей постановке «Чайки» в Театре имени Ермоловой. Академик Тарле написал: «Я буду занят окончанием второго тома «Крымской войны». Скульптор Меркулов сообщил, что продолжит работу над стометровой статуей Ленина для Дворца Советов...

Спросили и его. Он ответил заметкой «Тимур готовится к войне»:

«Только что (в первом варианте) я закончил сценарий фильма «Комендант снежной крепости». Тимур во время войны настоящей готовится сам и готовит своих товарищей к войне будущей. Этой работы на весну мне хватит. Над чем работать дальше — подскажет сама жизнь».

Кончилась весна — и жизнь подсказала...

В полдень 23 июня раздался звонок со студии, что есть указание «создать условия» ему и Кулешову и немедленно отправить в Болшево.

— Зачем?!

— Делать вторую серию «Тимура и его команды» с учетом нынешних обстоятельств. Сценарий должен быть готов через пятнадцать дней.

— А как же «Комендант»?

— Пока подождет.

Утром 24-го на той же «эмке» снова втроем ехали

в Болшево. Шел еще только третий день войны, а в Доме творчества, всегда переполненном, было пусто.

Вскоре начались тревоги. Трудно было разобрать, настоящие или учебные. В подвале кинотеатра оборудовали бомбоубежище. Как только завывали сирены, няньки соседнего детского сада вели строем в убежище малышей. Примерно каждая пятая пара несла с собой эмалированный ночной горшочек. Эту деталь потом вставил и в сценарий «Клятва Тимура».

...Не случись так внезапно давно ожидаемая война, он бы все равно этот сценарий написал.

После выхода «Тимура» — фильма и книги — возникли тысячи команд. Но когда мальчишки хотели быть Тимурами, а девочки мечтали походить на Женю, когда взрослые с изумлением наблюдали, сколько полезного делают их дети, он думал о том, что движение тимуровцев — это хорошо. Через месяц-два команд возникнуть может еще больше, но все новое и увлекательное со временем становится привычным и даже скучным. Так может случиться и с игрой в Тимура, поэтому ребята должны понять: игра, которую он предложил, — не только игра, но и дело, которое не должно зависеть от настроения или от того, что кому-то просто надоело...

Это была та мысль, которая легла в основу сценария.

Он писал в своей комнате до полудня. Затем обедали. Гуляли. Лев Владимирович брал у него утренние страницы и сразу делал по ним режиссерский план. Во время прогулок говорили все больше о сводках и о войне. Кулешов считал: «Это на три-четыре месяца». Он качал головой: «На несколько лет».

Сценарий «Клятва Тимура» был закончен в первую же декаду июля. Тут же утвержден, но возникло непредвиденное: ребята, которые снимались в «Тимуре», а теперь нужны были для «Клятвы», эвакуировались. Чтоб их вернуть, требовалось специальное разрешение. Он написал письмо военному коменданту города генерал-майору Ревякину:

«Уважаемый товарищ Ревякин!

Я — писатель — автор книг «Школа», «Военная тайна», «Тимур и его команда» и ряда других.

По повести и кинофильму «Тимур и его команда» возникло большое пионерское движение помощи семьям ушедших на фронт бойцов Красной Армии.

Десятки тысяч детей уже принимали в этом благородном деле самое горячее участие.

Сейчас мною закончен, и фабрика «Союздетфильм» приступает к съемке второго оборонного фильма «Клятва Тимура». Это о том, что должны делать и чем могут помочь взрослым дети во время нынешней Отечественной войны.

Для этого нам необходимы четверо московских ребят, игравших в первой картине главные роли...

Они эвакуированы сейчас в Уфу. Прошу Вашего разрешения на их возвращение в Москву, так как без них эта оборонная кинокартина снята быть не может.

С товарищеским приветом:

Арк. Гайдар.

14 июля 1941 г.»

Но вернуть ребят не удалось. Будь то взрослые — другое дело. А насчет детей приказ был неумолим: вывезти всех из Москвы.

Постановка «Клятвы Тимура» — это было единственное, что еще удерживало его в Москве. Предоставив дальнейшие хлопоты Кулешову[1], занялся неотложным и давно намеченным, о чем сказал словами полковника Александрова в конце киноповести:

«Когда ты услышишь эти мои слова, я буду уже на фронте. Дочурка, начался бой, равного которому еще на земле никогда не было... А может быть, больше никогда и не будет...

Женя! Я смотрю тебе сейчас в глаза прямо, прямо... Я клянусь тебе своей честью старого и седого командира, что еще тогда, когда ты была совсем крошкой, этого врага мы уже знали, к смертному бою с ним готовились. Победить его обещались. И теперь свое слово мы выполним...»







„...И связь со мною будет прервана“

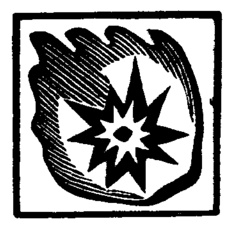
Помирать никому не охота... Об этом еще в древности философы открытие сделали. Да и так, сам по себе на опыте знаю...

Другое дело, когда война. Там с этим считаться не приходится...

Аркадий Гайдар

КАТАСТРОФА

После боя



Все так же стоя в полный рост на вершине приземистого холма, Гайдар выпустил в серые спины убегающих последнюю, на весь остаток ленты, очередь. С сожалением опустил пулемет. Спрыгнул в окоп и осипшим от крика голосом сказал своему «второму номеру»:

«Теперь, Миша, беги... Я за тобой...»

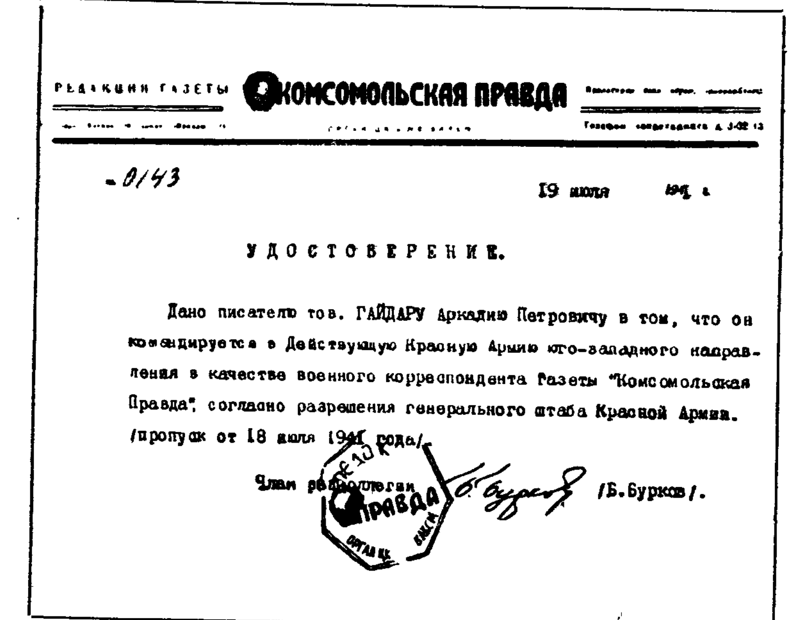
И они побежали: вниз с холма, меж иссеченных пулями и осколками деревьев, через весь брошенный уже лагерь к переправе — толстой, перекинутой через болото сосне, пень от которой служил Гайдару креслом.

К переправе с Мишей Тонковидом пришли последними. У сосны, явно нервничая, их ждали командир отряда Горелов и еще трое партизан. Аркадий Петрович тяжело дышал. Возбуждение боя проходило. Перебираясь по стволу через трясину, Гайдар дважды оступился, но всякий раз нога упиралась в ветку или сук, и он лишь обрызгал сапоги.

Километра через полтора сделали привал. Кто закуривал, кто перематывал набухшие, грязные портянки, кто выжимал мокрую шинель. Изредка доносились автоматные очереди: немцы прочесывали лес, но здесь, на опушке, где собралось пятнадцать-двадцать человек, эти очереди никого уже не тревожили.

Аркадий Петрович поудобней устроился на чуть скошенном пеньке, передвинул на колени тяжелую противогазную сумку, с которой никогда не расставался, а ложась спать, клал под голову или возле, хотя, кроме рукописей и кое-какой дребедени, то есть вещей, на войне почти бесполезных, в ней ничего не было; переложил из брюк в карман шинели трофейный «вальтер», найденный в кобуре убитого им оберста — коменданта Переяслава. Слегка откинулся (спина ощутила крепкий, широкий ствол) и «распустил», расслабил, сколько мог, мышцы.

Он бы многое сейчас дал за возможность вздремнуть, но спать было негде. Осень в этом году наступила рано. Нынешний октябрь на Украине вышел не теплее декабря. Хорошо, Горелов догадался выдать зимние вещи.



РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА»

№ 0143 19 июля 1941 г.

УДОСТОВЕРЕНИЕ.

Дано писателю тов. ГАЙДАРУ Аркадию Петровичу в том, что он командируется в Действующую Красную Армию юго-западного направления в качестве военного корреспондента газеты "Комсомольская Правда", согласно разрешения генерального штаба Красной Армии. /пропуск от 18 июля 1941 года/.

Член редколлегии /Б.Бурков/.

К тому же пора было трогаться: искать ночлег, еду, узнавать, что происходит в окрестностях, и думать о том, как жить после нынешней катастрофы.

В бою отряд потерял немногих (немцы оставили куда больше), но рассыпался. Здесь, на опушке, с Гореловым сидели все больше окруженцы: лейтенант Абрамов со своими понтонерами, лейтенант Вася Скрыпник, тоже понтонер, Миша Тонковид — «лейтенант в кожаной куртке», Никитченко из Сквирского райкома, Александров из НКВД.

Но и те, что собрались теперь на опушке (Горелов бодрился: «Ничего... остальные скоро подойдут...»), имели один автомат с неполным диском, несколько винтовок, пять-шесть гранат, небольшой запас патронов, в карманах — пистолеты. (Скрыпник, тот не расставался с обшарпанным своим наганом.) И больше ничего.

И все-таки самым тревожным было не отсутствие оружия и провианта (оружия кругом полно, а иные тайники с продовольствием знает один только Горелов), а то, что некуда теперь было деться. Но об этом пока думать не

хотелось. Больше всего за нынешний день у Гайдара устала голова.

Аркадий Петрович поправил на коленях сумку и задумался о доме. Он позволял себе это очень редко. Мысли о доме расслабляли, но они же и успокаивали. Так, во время сильной качки на корабле нужно видеть перед собой неподвижный предмет, чтоб не потерять равновесие и устоять на ногах.

Последний раз Гайдар был дома два месяца назад. Точнее: месяц и двадцать два дня, потому что уехал 30 августа. Но эта поездка в Москву с передовой — для отчета! — была теперь далека, словно детство...

«На тот случай, если бы я был убит»

О том, что едет на фронт, решил сразу, как только услышал воскресное сообщение. Уезжая в Болшево с Кулешовым, оставил заявление Фадееву. 2 июля послал из Дома творчества Фадееву телеграмму: «Закончив оборонный сценарий вернусь Москву шестого не забудьте о моем письме оставленном секретариате. Гайдар» *. А возвратясь, начал хлопоты.

Он ходил из одного кабинета в другой, пока его, рядового, подлежащего призыву по состоянию здоровья в последнюю очередь, не переосвидетельствовали, пока медики не позволили ехать на фронт хотя бы журналистом.

«Комсомолка» согласилась послать его своим корреспондентом. Генеральный штаб выдал пропуск. В редакции отпечатали удостоверение: «Дано писателю тов. Гайдару... в том, что он командируется в действующую Красную Армию...»

В тот же день, 19 июля, «Пионерская правда» начала печатать «Клятву Тимура». Он очень ждал этот номер. А когда прочел, усмехнулся: полковник Александров в «звуковом письме» Жене говорил: «Когда ты услышишь эти мои слова, я буду уже на фронте...»

Выходило все как по писаному.

В магазине на Арбате купил рюкзак с карманами, полевую сумку, бинокль, фляжку. Привел в порядок дела и бумаги.

На книжке «Мои товарищи» написал: «Милая Дора, что бы люди ни говорили, они всегда говорят одно и то же. Они говорят о своем горе и <своих> радостях И я с тобой говорил всегда о том же. Твой Гайдар» *.

На отдельном листке по пунктам перечислил всякие распоряжения:

«1) Документы военные старые разделить на две части — запечатать в разные пакеты.

2) В случае необходимости обратиться: в Клину к Якушеву. В Москве — сначала посоветоваться с Андреевым («Пионерская правда»)...

3) В случае если обо мне ничего долго нет, справиться у Владимирова... или в «Комсомолке» у Буркова.

4) В случае еще какого-либо случая действовать не унывая по своему усмотрению.

Будь жива, здорова!
Пиши, не забывай.
Твой Гайдар».

Написал еще одно письмо. Начиналось оно так:

«В партбюро. Дорогие товарищи — на тот случай, если бы я был убит, обращаюсь с просьбой...» [1]

Доре не читал, но объяснил: письмо про нее, если будет трудно — чтоб не постеснялась, отнесла. Конверт заклеил. На конверте: «В партбюро Союза советских писателей — от Арк. Гайдара».

Женьке на том же Арбате купил книгу сказок и вклеил страничку со стихами:

Едет папа на войну
За Советскую страну...

. . . .

Женя книжку прочитает
И о папе помечтает.
Он в далекой стороне
Бьет фашистов на войне!

Все. Теперь можно было ехать...

Дора с Женей хотели идти провожать — не позволил. В переулке, у самого парадного, непонятно как проведав, стояла толпа знакомых дворовых мальчишек и девчонок, с которыми играл, ходил фотографироваться, которых водил в кафе кормить пирожными. Ребята вышли тоже провожать.

С Дорой и Женей простился у парадного. Пожал руки ребятам и, не оглядываясь, пошел чуть вниз, мимо дома,

где жил Валерий Павлович Чкалов, на улицу Чкалова — и повернул направо, к Курскому вокзалу.

С Тимуром простился незадолго перед тем: Тимур эвакуировался в Чистополь.

Возвращение в юность

Когда проснулся утром, поезд шел уже украинскими степями. Белые хаты. Желтеющая рожь. Золотистые подсолнухи, синее небо — от всего веяло покоем, но покой был обманчив. Он знал по минувшей ночи, когда эшелон простоял несколько часов в тупике, пережидая воздушный налет на Москву.

Знал и по девятнадцатому году, когда ехал той же дорогой, а их курсантский эшелон чуть не пустили под откос. И сейчас еще в колесном перестуке можно было уловить ритм курсантской песни: «Прощайте... матери... отцы... прощайте... жены... дети... Мы победим... народ... за нас... Да здравствуют...»

И вот он снова был в Киеве. А Киев снова был фронтовым городом.

Поселили его в фешенебельном «Континентале», а он тут же отправился на передовую и помнил испуг на лицах мальчиков-лейтенантов, недавних его читателей, которые упрашивали его не лезть туда, где, по их мнению, было всего опаснее.

«Есть, есть!» — отвечал он, шутливо беря под козырек подаренной ему каски. И в самом деле не лез — до следующего раза.

Он снова попал в окопы, снова был на передовой. И снова это случилось под Киевом.

Признайся он в том лейтенантам, его бы сочли за сентиментального, стареющего чудака, но он чувствовал себя здесь необыкновенно молодым. И верил: куда бы ни сунулся, что бы ни делал — с ним ничего не случится. Это было чисто детское ощущение: ведь только дети верят в свое бессмертие.

Он хотел сразу все увидеть, во все вникнуть: времени на долгосрочные курсы повышения былой квалификации не было. Ведь он только «из хитрости» назвался журналистом, как «из хитрости» стал детским писателем. На самом деле он всю жизнь был солдатом. И сюда приехал прежде всего воевать.

Он смотрел, как глубоко выкопаны и насколько обжиты окопы, прикидывал, далек ли передний край противника, проверял, выдерживают ли его нервы удары снарядов и кошачий вой мин.

К удивлению, выдерживали. Он много раз проверял это в батальоне Прудникова — того самого, который еще 22 июня, у Буга, отбросил на своем участке немцев — с их танками и мотоциклами — за линию границы, двое суток не давая гитлеровцам продвинуться ни на метр, пока не приказали отойти.

Прибыв в батальон старшего лейтенанта Прудникова, он сразу насел на комбата со своими вопросами. Прудников отвечал, правда, вид карандаша и бумаги комбата чуть сковывал: перед каждым ответом Прудников делал маленькую паузу.

Во время интервью вошел командир взвода разведки Бобошко и доложил: «Взвод к выполнению задания готов...»

И тут он, робея, как минуту назад перед ним робел Прудников, попросил комбата, глядя прямо в глаза: «Товарищ старший лейтенант, позвольте... вместе с ними?..»

«Стоит ли рисковать, — растерялся Прудников, — товарищ писатель?..»

Понимая, что сорвалось и досадуя на себя («Разве бы сам он, будь Прудниковым, отпустил?..»), устало ответил:

«Я могу писать только о том, что сам видел, сам испытал...»

«Что ж, — неожиданно согласился комбат, — раз вы считаете, что так надо, пусть так и будет...»

Прудников дал ему свой планшет с картой, шепотом, он слышал, наказал разведчикам «сберечь писателя, чего бы это ни стоило». И они тронулись.

Поначалу вышло на редкость удачно: унтера взяли бесшумно, однако немцы его быстро хватились. Открыли стрельбу. Шальная пуля угодила в командира взвода. И он почти всю дорогу нес Бобошко на себе.

Когда вернулись в батальон и сдали унтера, сказал, чтоб сделать приятное Прудникову:

«Ну вот, теперь мне есть о чем писать...»

А Прудников поблагодарил его: кто-то из бойцов сказал комбату: «А писатель-то в нашем деле, оказывается, грамотный... Это он подсказал, где у немцев боевое охранение и где нужно брать «языка». Там и взяли».

Начавшийся бой застал его на командном пункте.

И он расположился рядом с Прудниковым, понимая, что недаром с этим насмешливо-спокойным в любой ситуации человеком связывает солдатская молва непобедимость второго батальона. С доброй завистью старого командира наблюдал за быстрыми и четкими распоряжениями Прудникова, видя и понимая, как много изменилось в армии за двадцать лет.

А наутро, когда немцы двинулись в «психическую», он, не выпуская из рук бинокля, глядел, как приближались вражеские цепи: хмельные, в расстегнутых мундирах с закатанными рукавами.

По команде «Огонь!» вместе со всеми бил из трофейного автомата, а поднявшись с батальоном в контратаку, подобрал винтовку со штыком и пошел в рукопашную...

И когда вечером, после боя, ординарец комбата Кудряшов спросил: «А вот скажите, товарищ Гайдар, откуда у вас такая, знаете ли, боевитость?» — спокойно ответил:

«В 1919 году в этих же местах и тоже летом проходил петлюровский фронт. Здесь дралась наша бригада курсантов».

Последний раз он увидел Прудникова в ночь прорыва из кольца, когда оборона немцев внезапным ударом была прорвана и батальон уходил в эту брешь, а разрывом мины Прудникова опрокинуло и ударило о землю. И комбат потерял сознание.

Кроме него и ординарца Кудряшова, поблизости уже никого не оставалось. Они подхватили комбата и понесли, но вдвоем по кочковатому полю нести было неудобно. И он велел Кудряшову: «А ну-ка помоги мне взять комбата на спину...»

— Вы знаете, сколько в нем весу?!

— Давай!

И понес. А мины лопались все ближе и ближе...

«Киев, Крещатик. Штаб Тимура»

Когда издерганный и утомленный бессонной ночью, в которой оказалось значительно больше событий, нежели бы ему того хотелось, он попал наконец в гостиницу, у дверей номера сидели какие-то мальчишки.

Заметив его еще в коридоре, они встревоженно пошептались и бросились навстречу. Их прислала городская тимуровская команда, ребята которой «очень-преочень» хотели с ним встретиться.

О киевских тимуровцах ему недавно рассказывал поэт Александр Безыменский, который случайно наблюдал их работу. И, пообещав непременно быть, он простился с ребятами.

...Он не думал, что детям придется воевать. Не случайно в повести и фильме Тимур Гараев говорил: если «раньше мальчишки всегда на фронт бегали», то «теперь крепко-накрепко всем начальникам и командирам приказано гнать оттуда нашего брата по шее».

Но война оказалась суровее, чем ожидал даже он. На немалой части нашей земли вчера еще глубокий тыл стал фронтом. И там, где это случилось, понадобилась помощь всех, даже детей.

Встретив мальчишку, который попросил: «Дяденька, дайте два патрона», — он положил ему в горячую руку «целую обойму».

Беседуя с парнишкой, случайно в поисках коровы побывавшим в трех шагах от фашистских командиров, «которые долго разговаривали о чем-то, держа перед собой карту», он спросил:

— Погоди! Но ведь ты слышал, что говорили их начальники, это же для нас очень важно...

— Так они же, товарищ командир, говорили по-немецки.

— Так ты же должен был хоть что-нибудь понять из их разговора...

Вчерашний тыл стал передовой. Детям приходилось быть солдатами. В Голосеевском лесу он встретил двух мальчишек-разведчиков, которые не случайно и не за коровой ходили на немецкую сторону. И на вопрос: «А ты не боишься?» — один из мальчишек горько усмехнулся:

«Я там был. Я еще раз двадцать туда-обратно пойду. Я буду ходить сколько велят... Оружия только брать с собой не разрешают. И подбирать тоже... А то бы...»

Как-то с двумя ребятами, братом и сестрой Сашей и Мариной, отправился в разведку сам.

Это произошло на реке Ирпень, когда они с оператором Козаковым приехали в штаб в горькую минуту: из дивизии требовали сведений, а разведчики, возвратясь на рассвете, сообщили очень мало. Или не везло, или по неумению, только натыкались они всюду на дозоры, потеряли двух человек, а проникнуть в глубь немецкой обороны им так и не удалось. Нужен был проводник, который бы хорошо знал тот берег.

Тогда и вспомнили про Сашу и Марину; у них на том берегу Ирпеня осталась мама. Разведчики обещали ребятам при случае отвести их домой, а теперь сами нуждались в помощи.

Были и сомнения: все ж таки дети. И начальник штаба спросил:

«А вы что думаете, Аркадий Петрович?.. Это ведь, кажется, по вашей части?»

«Думаю, могут...» — ответил он, вспомнив других ребят, которых встречал.

И когда приглашенные в штаб Саша и Марина робко согласились помочь разведчикам, решил, что пойдет вместе с ними.

Он сам готовил Марину и Сашу к ночному рейду на тот берег. До вечера оставалось время. И, устроясь под деревом, он еще раз объяснил ребятам, в чем будет состоять задание, а потом прутиком на земле показал, как обозначать в донесениях танки, пулеметы, пушки и как вообще рисовать планы.

Он хорошо сделал, что пошел: Саша в последнюю минуту испугался. Марина и разведчики уже перебрались на другой берег, а Саша ступил в воду и замер. И слышно было, как стучали его зубы. Он тихонько подтолкнул мальчишку — тот не двинулся с места. Тогда быстро снял с себя и повесил на детскую тонкую шею трофейный автомат. Оружие, знал по себе, всегда придает уверенность. Саша изумленно посмотрел на него — и зашагал по воде.

Неприметными тропинками ребята провели бойцов к своей деревне. По дороге условились, где будет тайник. И потом каждый вечер разведчики пробирались на другой берег. Они приносили тетрадные, в косую линейку, страницы с неумелыми планами и перечнем, сколько и где чего стои́т. Все совпадало.

О ночном том рейде написал позже очерк «Ракеты и гранаты». Только о Марине и Саше не писал ничего... Берег...

И все же тогда, в Киеве, ни одно событие не взбудоражило так его душу, как утренний разговор в кинотеатре «Смена».

Детский кинотеатр «Смена» (по-украински «Зміна») был тимуровским штабом. Еще издали они с Безыменским увидели два больших объявления: одно о том, что здесь принимают подарки на фронт. А второе — о тимуровском детском саде. Прочесть толком ни то, ни другое не успели: навстречу в парадной пионерской форме выбежали ребята. У каждого на груди, кроме повязанного галстука, была приколота красноармейская звездочка.

Их провели в фойе. Он думал: будет много народу. А ждало их человек тридцать, не больше. И Норик Гарцуненко, который еще на улице смущенно отрекомендовался: «Тимур команды», уловив минутное его недоумение, сказал, как бы принося извинения:

— Нас мало сегодня... Все в разгоне. Много очень работы... Конечно, ребята, посланные в наряд, будут жалеть. Но вы не думайте, мы им все расскажем...

— Еще как расскажем! — подтвердили его товарищи.

Он пожалел, что собралось так мало. И порадовался: если б занимались ерундой, прибежали б все.

С той минуты, как ребята вышли ему и Безыменскому навстречу, он ощущал на себе десятки жадных, любопытных, восторженных глаз, которые рассматривали, почти ощупывали его лицо, чуть великоватую, налезавшую на уши пилотку, выгоревшую, однако ночью выстиранную гимнастерку, орден, сумку, автомат на плече.

Один мальчуган осторожно, едва касаясь, провел ладошкой по его рукаву. Он ласково и благодарно погладил мальчонку по теплой белобрысой голове.

Расселись. Стулья были поставлены полукругом. И два — для гостей — отдельно. А он с начала встречи не проронил еще ни слова. Не мог. И, оттягивая время еще немного, снял автомат и, вынув на всякий случай диск, повесил автомат на спинку стула.

Дольше молчать было нельзя. И он заговорил. Медленно, тихо, с трудом одолевая волнение. Начал по обыкновению издалека — с того, что вот когда он еще только приступил к повести про Тимура и его команду, то в глубине души, конечно, надеялся: многие ребята, прочитав книгу, наверное, тоже захотят, чтобы и у них были свои команды. И все-таки не думал, что они, сидящие вот здесь, в зале, и другие ребята, которые не смогли прийти, в первые же недели войны успеют столько сделать. И он не только рад — он счастлив и горд сегодняшней встречей.

Девочки и мальчишки, поначалу смущенные его присутствием, радостно заерзали на стульях. А он продолжал:

«Когда ваши связные ждали меня в гостинице, я как раз только что вернулся с передовой. Я видел, как герои-

чески сражаются, защищая прекрасный ваш город, ваши отцы, ваши братья. Но в свободную минуту, если такая выдается, они очень много думают и беспокоятся о своем доме, о своих семьях. И надо, чтобы вы за многими неотложными своими обязанностями не позабыли, что забота о семьях ложится и на вас. И что от вашей заботы зависит спокойствие и уверенность бойцов там, в окопе.

А теперь рассказывайте, как вы тут», — закончил он.

Ребята переглянулись. Вскочили с мест. И заговорили все разом. Поднялся такой галдеж, что он, задыхаясь от смеха, с трудом проговорил:

«По очереди... по очереди».

Ребята поняли, остановились, тоже рассмеялись. И стали рассказывать по очереди. Они рассказали, что у них четыре звена. Первое — для помощи семьям командиров и красноармейцев. Второе собирает деньги в фонд обороны, металлический лом и подарки для бойцов. Третье — это разведка. Раньше командиром звена разведки был Норик Гарцуненко. Но ему трудно было руководить звеном и быть Тимуром. Звеном теперь командует Шуня Коган.

Последнее, четвертое звено занимается школами и больницами. Наших ребят все управдомы боятся. Особенно у которых на чердаках всякий мусор и хлам...

— А мы трех шпионов поймали, — не удержался тот самый белобрысый мальчуган, который осторожно погладил его по рукаву. — Одного фотографа. Одного деда, который с палочкой ходил и все притворялся, что слепой. И парня. Здорового. Почти дядьку. А его прямо вот здесь, в кино, поймали...

— Как же ты узнал, что это шпионы? — удивился он.

— Это не я, — печально вздохнул мальчуган. — Это вот они. — И показал на старших ребят.

— Пусть Норик расскажет!.. Норик, расскажи! — попросили с мест.

Норик, когда назвали его имя, вспыхнул и встал.

Был он лет пятнадцати. Худ и невысок. Густые волнистые волосы, открывая широкий лоб, зачесывал назад. Толстогубое лицо его выглядело красивым и смелым, но мальчишеское мужество и умение владеть собой соединялись с чисто девчачьей деликатностью и застенчивостью, которых Норик, в свою очередь, тоже стеснялся, как он в его возрасте, да и позже, стеснялся маминых ямочек на

пухлых щеках, полагая, что ямочки подрывают его командирский авторитет.

— Дежурили мы тут в кинотеатре, — начал Норик, — чтоб ребята хорошо себя вели, ногами во время сеанса не топали, семечки не грызли и малышей не обижали. А то хоть сейчас и война, а многие все равно не понимают...

И пока Норик рассказывал, как они поймали прямо здесь, в кинотеатре, одного парня, которого, оказывается, уже задерживали на передовой, но, поверив слезам, отпустили, а парень собирал секретные сведения, и шифрованные записи обнаружили у него в картузе;

пока Норик, боясь приписать что-либо себе одному, называл и представлял ребят, принимавших участие в операциях;

пока Норик говорил, что они отвечают на каждое письмо с фронта («У нас только разборкой почты и самими ответами занимается двадцать человек в день»), а письма такие: «Помогите найти семью... Я почему-то думаю, что она проехала через Киев...» Или: «Я не успел заготовить дров, а ближе к зиме с дровами будет хуже...» Или: «Очень прошу тимуровский штаб помочь эвакуировать мою семью...» И ребята бегали по всем эвакопунктам, сотни раз просматривая регистрационные списки, и, если не могли кого обнаружить в Киеве, поручали дальнейший поиск своему филиалу в Харькове, куда направлялись эшелоны из Киева, а другие тимуровцы в это время шли в исполком («Просьбу насчет дров мы выполняем в два-три дня, самое трудное — транспорт»). И пока одни ребята оформляли эвакодокументы, другие в это время паковали вещи, помогали собирать в дорогу час назад еще незнакомых малышей, а потом сажали всю красноармейскую семью в поезд («Самое тяжелое — втиснуться в вагон»). А на передовую на листке с рисованной звездочкой и подписью «Тимур» уходило сообщение о сделанном.

И лишь однажды у Норика и его товарищей недостало духу написать все, как есть: это случилось после поездки в Бровары («Я давно не получаю писем из дому, а раньше мне писали каждый день...»), когда на месте двухэтажного строения обнаружили только большую воронку, на фронт же написали, что квартира пуста; по рассказам соседей, все эвакуировались (возможно, то была даже правда: никаких соседей ребята не обнаружили тоже);

...пока он все это слушал и даже кое-что записывал, он думал о своем, то есть о том, что вот рядом с ним

стоит и негромко рассказывает о команде живой Тимур. И для этого Тимура придуманное им дело давно уже не игра.

...Собрала команду Мария Теофиловна Боярская. Он много о ней слышал, но повидать и поговорить с нею не удалось. По рассказам, Мария Теофиловна была молода, очень хороша, всегда весела и необыкновенно талантлива. За полтора-два года, став директором, Боярская сделала «Смену» любимым кинотеатром детей, куда приходили не только посмотреть фильм, но и поиграть, почитать, послушать концерт или разучить новую песню.

В команде Тимура, которую Боярская в первые же дни войны создала при «Смене», поначалу было двести человек. Мария Теофиловна, видимо, сама рассчитывала руководить всей работой, потому что Норик, когда его выбрали Тимуром, одновременно стал и командиром звена разведки. Но получилось так, что у Боярской нашлось много других дел. В кинотеатре она появлялась все реже. И повседневное руководство принял на себя Норик Гарцуненко.

Вскоре тимуровцы были уже повсюду. Команды возникали во всех районах, при большинстве школ и почти на каждой улице. Иные возглавили ребята из окружения Норика, чаще команды выбирали своих, «местных» командиров, которые приходили в кинотеатр за советом или помощью.

Команда при «Смене» стала центральной. И Норик со своими помощниками планировал и координировал всю деятельность ребят в масштабе прифронтового города. И не только ребят.

В штаб пришли женщины. Они тоже хотели помогать команде. Через горком партии получили швейные машины. И родился свой пошивочный цех, который работал для фронта. А кроме того, был и свой детский сад. Отправляясь на работу, мамы приводили сюда своих малышей. Здесь малышей кормили, с ними играли, в случае тревоги уводили в убежище.

На что способны команды, выяснилось, в частности, в тот день, когда с фронта прибыло сто тысяч писем. Почта работала уже с перебоями. Тимуровцы эти сто тысяч писем разобрали, распределили по районным филиалам и в два-три дня без ущерба для прочих дел разнесли по домам.

Сколько киевских ребят стало тимуровцами, никто сказать не мог. Их не считали. Находились дела поважней, но одно было несомненно: их много тысяч. Может, десять, может, пятнадцать. А то и больше. Если же брать филиалы в других городах, то много больше.

И всеми ими изо дня в день руководил пятнадцатилетний Норик, который сам, между прочим, больше двух-трех часов в штабе не сидел и на все важнейшие задания ходил сам. Однако жизнь в штабе на это время не замирала. И Норика ждали только те дела, которые не могли быть завершены без него.

Сын командира фронтовика, Норик руководил уже не тимуровской командой. Сам того не ведая, он командовал тимуровским полком, если не тимуровской дивизией, подразделения которой, как в свое время его пятьдесят восьмой полк, были разбросаны на немалой площади.

И он поразился совпадению. Ведь он тоже в пятнадцать лет здесь, под Киевом, получил под свое командование взвод, полуроту. Затем роту в сто восемьдесят человек. Потом батальон. Потом полк...

И вот другой пятнадцатилетний мальчишка два десятилетия спустя тоже получает под свое начало сперва двести человек — таких же, как он сам, подростков — и справляется. Команда растет, обязанности делаются сложней — Норик все равно справляется. И пусть никто из тимуровцев не сделал еще ни одного выстрела — разве фронт только там, где стреляют?

Работая над «Тимуром», писал: «А теперь крепко-накрепко всем начальникам и командирам приказано гнать...»

Оказалось, что ошибся. Всех мальчишек гнать еще рано. (Это хорошо поняли и в штабе истребительного батальона, давая задания тимуровскому звену разведки...)

И еще: когда его спрашивали, как это он, такой молодой, а уже... — отвечал: «Обыкновенная биография в необыкновенное время...» И вот Норик, буквально мальчишка с улицы, которого полтора месяца назад никто не знал, вдруг тоже «такой молодой, а уже...». Тысячи там, в окопе, не видя Норика в глаза, писали: «Киев. Крещатик. Штаб Тимура», вверяя мальчишке судьбу своих близких. И мальчишка ответственность эту на себя принимал.

Когда Норику нужно было посоветоваться — шел в райком комсомола или в райком партии. Когда становилось совсем плохо с транспортом — отправлялся в горком. И никто не удивлялся, что мальчишке только пят-

надцать. И мало кому было известно, что там, на фронте, где воевал отец Норика, узнав, что «киевский Тимур», который помог семьям многих бойцов полка, — сын старшего лейтенанта Гарцуненко, была выстроена вся часть. И командир объявил старшему лейтенанту Марку Григорьевичу Гарцуненко благодарность за такого сына.

И внезапно подумалось: «А что, если неповторимое повторяется?»

И когда они вышли с Безыменским из кинотеатра, сказал:

«Ради таких минут стоило каторжно работать. Ради таких минут стоило жить».

* * *

Через несколько дней республиканская газета «Советская Украина» под общим заголовком «Тысячи тимуровцев помогают своей стране одержать победу над подлым и хищным врагом» напечатала целую полосу, посвященную деятельности киевской команды.

Здесь же были помещены «Странички из дневника» Норика Гарцуненко.

«5 августа, — писал Норик. — Большая радость. Вся команда взволнована. На линейку пришел писатель Аркадий Гайдар — автор «Тимура и его команды». Он только что вернулся с фронта. У него есть трофейный немецкий автомат. Как я ему завидую.

В «Пионерской правде» печатается «Клятва Тимура». Это и о нас» [1].

А рядом газета поместила обращение самого Гайдара, в котором он давал четкую программу действий в условиях тыла и фронта:

«Ребята, пионеры, славные тимуровцы! Окружите еще большим вниманием и заботой семьи бойцов, ушедших на фронт. У вас у всех ловкие руки, зоркие глаза, быстрые ноги и умные головы. Работайте безустанно, помогая старшим. Выполняйте их поручения безоговорочно, безотказно и точно. Поднимайте на смех и окружайте презрением белоручек, лодырей и хулиганов...

Мчитесь стрелой, ползите змеей, летите птицей, предупреждая старших о появлении врагов — диверсантов, неприятельских разведчиков и парашютистов. Если кому случится столкнуться с врагом, — молчите или обманывайте его, показывайте ему не те, что надо, дороги. Следите за вражескими проходящими частями. Смотрите, куда они пошли. Какое у них оружие.

Родина о вас позаботилась, она вас учила, воспитывала, ласкала и часто даже баловала. Пришел час доказать и вам, что вы ее бережете и любите...»

Самое трудное было — объяснить происходящее. Немцы стояли у ворот Киева. Как и что тут докажешь?.. Но Гайдар знал: его слову верили. Поверят и на этот раз.

«Не верьте шептунам, трусам и паникерам, — продолжал он. — Что бы то ни было — нет и не может быть такой силы, которая сломала бы мощь нашего великого свободного народа. Победа обязательно будет за нами...»

Это был его последний — открытым текстом — наказ тимуровцам.

Опять дома

В середине августа вызвали в редакцию, в Москву. На Большом Казенном никого не застал. И, дав по телефону срочную телеграмму в Клин, тут же заснул.

По дороге их трое суток бомбили. Последний раз вагон, в котором он ехал, разнесло в щепы. Хорошо, успели выскочить...

Дора примчалась первой электричкой, белая от тревоги, от мыслей, что случилось несчастье. Получив ночью телеграмму, почему-то решила: «Ранен!» А он ее встретил улыбающийся, веселый и сонный.

В «Комсомолке» отчетом остались довольны.

Зайдя в «Пионерку», обещал написать что-нибудь к началу учебного года, к 1 сентября.

В редакции радио сказал, что непременно выступит перед микрофоном с обращением к молодежи. И не успел дойти до дому, как в дверях ждала записка:

«Уважаемый товарищ Гайдар! Очень хотим Вас видеть у себя. Пишут эти строки из иностранного отдела Всесоюзного радиокомитета. Как от автора, создавшего «Тимура», хотим получить очерк о советских детях, как они по примеру любимого героя помогают взрослым в дни войны...» *

Особенно обрадовался, узнав, что с «Клятвой Тимура» все обстоит благополучно. Кулешов отбыл снимать куда-то под Ульяновск. Туда ко Льву Владимировичу должны были приехать артист Анненков — полковник Александров, Ливий Щипачев и Катя Деревщикова — Тимур и

Женя. От него же требовались только незначительные поправки в тексте.

К фильму еще только приступали, а он уже знал: «Клятва Тимура» устарела. Не по смыслу — по сюжету. Писать же новый сценарий не было никакой возможности. Разве немного погодя. Тем более у него появилась новая мысль: писать о Тимуре продолжающимися выпусками. Провести мальчишеского командира через многие испытания быта и передовой. В каждом выпуске — крупицы чисто практической мудрости (как в рассказах «старого красноармейца», но много шире), чтоб получился некий «катехизис» того, как в любой ситуации должен вести себя человек, чтобы остаться человеком.

А пока что внес поправки в сценарий. Отдал в «Пионерку» и записал на пленку в радиокомитете свое приветствие «В добрый путь!» к 1 сентября. Выступил в клубе писателей, где, по отзывам, произвел большое впечатление реальной и точной оценкой обстановки на фронте. Оставил в Детиздате экземпляр обращения «Берись за оружие, комсомольское племя!» для сборника «Советским детям».

«— Война! — писал он.

Ты говоришь: я ненавижу врага. Я презираю смерть. Дайте винтовку, и я пулей и штыком пойду защищать Родину. Все тебе кажется простым и ясным. Приклад к плечу, нажал спуск — загремел выстрел. Лицом к лицу, с глазу на глаз — сверкнул яростно выброшенный вперед клинок, и с пропоротой грудью враг рухнул.

Все это верно. Но если ты не сумеешь поставить правильно прицел, то твоя пуля бесцельно, совсем не пугая и даже ободряя врага, пролетит мимо. Ты бестолково бросишь гранату, она не разорвется. В гневе, стиснув зубы, ты ринешься на врага в атаку. Прорвешься через огонь, занесешь штык. Но если ты не привык бегать, твой удар будет слаб и бессилен.

И тебе правильно говорят: учись, пока не поздно... Приходи к нам на помощь не только смелым, но и умелым...»

«Берись за оружие, комсомольское племя!» явилось продолжением того, что он писал в газете «Советская Украина», обращаясь к киевским тимуровцам. Это был новый отрывок из «катехизиса» о войне, над которым он теперь все чаще думал.

Больше дел в Москве не оставалось.

Он уехал тридцатого августа. Дора с Женькой пришли на вокзал. Он махал из окна, пока мог их видеть... Было очень грустно.

«Скоро писем не жди...»

Уже в ста километрах от Москвы стало очевидно, что обстановка изменилась к худшему. И он поспешил, пока была возможность, предупредить Дору.

«...Подъехал к Харькову, — сообщал он. — Дальше мой путь будет сложнее, и скоро писем не жди. Сейчас уже виднеется город. Вспоминаю, как дружно и весело подъезжали мы с тобой к этому городу, когда ехали в Крым. Далеким-далеким кажется это время. Крепко тебя, родную, целую. Не унывай и помни своего военного зайса».

«Зайсом», то есть зайцем, шутливо звал себя, иногда придумывая смешные приключения, в которых принимал участие этот самый «заяс», и всегда рассказывая о нем в третьем лице.

Судя по ситуации, немалые приключения ждали «военного зайса» и теперь.

* * *

Он легко, хотя и не без грусти, вернулся в суровый солдатский мир.

Только две нити коммуникаций связывали теперь Киев с Большой землей. Немалых усилий стоило не дать их перерезать.

Когда случился известный бой у Голосеевского леса, то есть на окраине города, туда было брошено все, до ополченцев включительно: решалась судьба Киева. Говорили, что несколько мотоциклистов даже прорвались. Их видели где-то возле Красноармейской улицы. И все же немцев отбросили.

После схватки у Голосеева гитлеровцы чуть поутихли. И в один такой «тихий день» ему захотелось побывать в Каневе на могиле Шевченко. К тому времени уже была машина — полуторка 77—44. Он сам нашел ее у Софийского собора и получил в распоряжение бригады «Комсомолки» на основании разрешения, которое у него имелось. Журналисты «Комсомолки», то есть он, Михаил Котов и Владимир Лясковский, оставались единственны-

ми, у кого не было до последнего времени другого транспорта, кроме собственных ног.

А тут появилась машина, да еще полуторка... Она, конечно, пожирала куда больше горючего, нежели легковушка, но зато имела массу преимуществ. Запасясь как следует бензином и провиантом, на ней можно было совершить пробег в полторы-две тысячи километров. И хотя трудно было представить, куда и в какую сторону такой пробег можно совершить, сама эта возможность его радостно возбуждала, давая повод строить проблематичные, однако дерзкие планы.

Бесхозная полуторка досталась вместе с шофером Сашей Ольховичем, который оказался молодым, скромным и до трогательного исполнительным парнем. Машину Саша всегда содержал в порядке. И готов был ехать куда угодно, лишь бы обеспечили дефицитным бензином.

И когда угодили всей бригадой возле Каневского моста под обстрел, Саша, неторопливо определив, с какой стороны бьют минометы и пушки, позаботился прежде всего о том, чтобы осколки не попортили машину.

Были они в тот день и в Лепляве. Делали там остановку. Один старик, плача, рассказывал, как немцы их бомбили. И он меньше всего думал, что окажется через месяц под Леплявой снова. Придет пешком. С другими людьми. И неизвестно насколько...

Знал, что Киев окружен, но знал и о том, что защищает город по меньшей мере полумиллионная армия. И, решая для себя в те дни множество вопросов, спешил все увидеть. Он шел в разведку и подымался в атаку с пехотинцами. Ездил на аэродромы к летчикам-истребителям, и на его глазах мальчишки в великоватых шлемах садились в тупорылые «ишачки», отчаянно дрались и гибли в поединках с верткими остроносыми «мессерами».

Во время поездки на могилу Шевченко, наверно, час наблюдал из воронки захватывающую борьбу немецких бомбардировщиков с нашими зенитчиками за узкий, как штык, Каневский мост. А в самом Киеве провел немало дней с саперами полковника Казнова, получившего секретный приказ: подготовить киевские переправы к взрыву.

Саперы давали ему катер, он спускался и поднимался по Днепру, изучая нашу оборону, знакомясь с матросами и командирами Днепровской военной флотилии, которая забрасывала, а в условленное время забирала связных и разведчиков, доставляла боеприпасы, поддерживала огнем своих пушек пехоту. Но радиус действия кораблей день ото дня сужался. Матросы готовились к боям на суше.

Ему нужно было все видеть, чтобы описать потом историю обороны (не хотел думать падения) города, который он защищал уже второй раз.

В те дни мало писал, потому что... много записывал. Война вернула его не только в солдаты, она вернула его и к журналистике. Ему ничего не стоило подготовить один, а то и два небольших репортажа в день. А посылал в редакцию лишь договорный минимум.

Картины ожесточенных боев, портреты защитников города — целые очерки строка за строкой слагались в воображении, в памяти, пока вышагивал ежедневные свои километры или трясся по нескольку часов в грузовике. Оставалось только сесть, записать, через день-два набело переписать и отправить в Москву.

Но если наспех записать времени еще хватало, то снова вернуться к записям — нет.

С каждым разом все короче помечал в своих тетрадях: место, число, фамилию, звание и в нескольких словах сюжет. Остальное, верил, когда сядет дома за стол, подскажет память.

Мог забыть телефон или номер квартиры знакомых, но то, что нужно было для работы, врезалось в память, как вырезанное в камне.

И когда у него, как деликатно выразился в письме домой, «при одних обстоятельствах» пропала сумка с блокнотами и записями, конечно, опечалился, но не очень: главное помнил. При тех же «обстоятельствах», между прочим, мог «пропасть» и сам, но это его не пугало. Или, если быть совсем точным, не останавливало.

И когда однажды Котов и Лясковский его спросили: «Как вы относитесь к смерти?» — честно ответил, что симпатии никогда к ней не испытывал.

«Зачем же,— допытывались они,— вы так дерзко лезете под пули?»

«Чтобы жить...»

Был убежден: ни положение, ни талант, ни даже гениальность не могут служить индульгенцией трусости. Лорд Байрон отправился к греческим повстанцам и погиб на чужой земле. Пушкин с казачьим корпусом Паскевича штурмовал Арзрум («Приехать на войну с тем, чтобы воспевать будущие подвиги, было бы для меня

с одной стороны слишком самолюбиво, а с другой слишком непристойно»,— писал Пушкин в «Путешествии в Арзрум»), а прапорщик граф Толстой поступил в армию добровольцем, служил в Севастопольскую кампанию артиллеристом и получил Георгиевский крест за стойкость на трагически известном четвертом севастопольском бастионе.

Он был далек, чтобы сравнивать себя с ними: просто был солидарен. И хотя «представителей прессы» здесь, на фронте, берегли, приход любого из них на передовую предварял звонок или донесение — видел: каждому бойцу, каждому командиру хочется, чтобы писатель или корреспондент был в первую очередь Человеком, то есть Солдатом.

А кроме того, полагал: один человек на войне — это много и мало. Мало сравнительно с тем, сколько требует война. Много, если прикинуть, сколько может сделать один отважный разведчик, один хладнокровный артиллерист, один умелый сапер, один умный командир, один паникер или дурак, один вовремя подоспевший бывалый человек.

К бывалым людям относил себя. И дело ему всегда находилось.

Один сожитель по «Континенталю» недавно спросил: «А знаете, Гайдар, что главное на войне?.. Выжить...»

Он тоже был бы не прочь выжить — только не за чужой счет.

«Посмотри на Киев, на карту...»

Киев погибал. Кольцо вокруг него смыкалось.

В штабе полковника Казнова, которому было поручено подготовить к взрыву все мосты, ему сказали, что командующий фронтом генерал-полковник Кирпонос запросил Ставку, позволяет ли она оставить город, чтобы спасти войска. Город был уже обречен, а вывести армию, сохранить технику, эвакуировать часть населения было еще можно. Ответ Ставки держался в секрете. Но числа 15 сентября состоялась радиоперекличка Киева и Ленинграда. Оба города были окружены. Защитники обоих поклялись: «Не сдадим!»

А в ночь на 18-е из Москвы пришла шифровка: «...Оставить Киевский укрепрайон», но приказ опоздал. Немцы успели перерезать последние коммуникации. Город со всей техникой и многосоттысячной армией очутился в «котле».

За день до этого последним самолетом через Харьков в Москву летели Котов и Лясковский. Ольхович и он поехали провожать.

На пустынном поле, превращенном в аэродром, простились. Дверца самолета захлопнулась. С оглушающим ревом слились в прозрачный диск винты. И он долго, не отрываясь, смотрел, как разворачивалась, беря курс на Москву, перегруженная машина.

Перед отъездом на аэродром успел набросать домой письмо. Нужно было исподволь подготовить Дору к тому, что могло произойти:

«Дорогая Дорочка! Пользуюсь случаем, пересылаю письма самолетом. Вчера вернулся и завтра выезжаю опять на передовую, и связь со мною будет прервана. Положение у нас сложное — посмотри на Киев, на карту, и поймешь сама...»

Доре наказывал в Клину еще — ни в коем случае не уезжать из Москвы. И чтобы она, узнав о падении Киева, не сорвалась с места, успокоил: «У вас на центральном участке (эту фразу подчеркнул) положение пока благополучное. Крепко тебя целую».

Письмо выходило подозрительно кратким. К тому же не хотелось так быстро его кончать. Мысли ж были заняты тем, что происходило кругом. Для успокоительного письма это мало годилось, и он приписал:

«Личных новостей нет. На днях валялся в окопах, простудился, вскочила температура, но я сожрал пять штук таблеток, голова загудела, и сразу выздоровел».

Конечно, лучше б рассказал о чем-нибудь посмешней, но ничего посмешнее в голову не пришло. Он всегда, уезжая, сообщал о дорожных приключениях: о том, как потерял трубку. Или как у него в чемодане вылетела пробка из бутылки с лимонадом, но, к счастью, «вся пена ушла как-то в сандалии. И ничего не промокло...» *

Традицию удалось соблюсти и теперь. Пора было прощаться.

«Роднулечка, помни своего зайса, который ушел на войну, потому что у него, кроме тебя, нет ни одного доброго сердца. И потому, что этот зайс сирота и глупота *.

Будь жива, здорова».

Теперь вроде все, но не было сил оторваться от бу-

маги. Завтра-послезавтра этот лист попадет Доре прямо в руки.

«Эти товарищи, — добавил он, — которые передадут тебе письмо, из одной со мной бригады. Напои их чаем или вином. Они тебе обо мне расскажут.

Гайдар».

И еще ниже подписи: «Целую Женьку».

И еще совсем напоследок: «Привет маме и всему вашему табору» *.

«Табором» звал многочисленную родню Доры. Это были приветливые, простые, иногда по многочисленности своей немного шумные люди. Случалось под настроение, кого из них резким словом обижал. А сейчас вспомнил всех с нежностью.

И пока Ольхович вез его обратно в полупустой, обреченный город, все представлял, как дома, на Большом Казенном или в Клину, будут это письмо читать вслух, а потом набросятся на ребят:

«Как теперь-то Аркадий там?.. И потом — прошла ли у него простуда, а то, может, ему лучше немного полежать?..» [1]

* * *

Последнюю ночь в Киеве провел в квартире Ольховича на Круглоуниверситетской, 15, недалеко от «Континенталя».

Сашина мама их накормила, приготовила постель, но он не ложился. Сел за стол. Стал писать письмо Тимуру. Получилось оно грустным: полным раздумий, заботы и скрытой тревоги.

«По всей вероятности,— заканчивал он,— в ближайшие дни нам придется Киев оставить, но обещаю тебе, что рано или поздно мы сюда вернемся опять. И тогда с тобою встретимся».

С тех пор как днем ушел самолет, не находил себе места. Он остался в Киеве, остался с армией. Он пройдет весь тот путь, который предстоит ей, чтобы рассказать потом и об этой странице войны. Эта мысль его поддерживала, и все-таки было грустно, хотелось поговорить о доме, близких. И он сказал;

«Дай, Саша, прочту. Это Тимуру».

Тронутый доверием, Ольхович его внимательно и торжественно выслушал.

«Хорошее письмо»,— похвалил Саша.

Он сложил листки. Достал из сумки свою фотографию: в гимнастерке, с наганом на поясе. Вложил снимок в конверт. Четко вывел адрес.

— Если мы отступим,— сказал он Сашиной маме,— то вы это спрячьте. А когда придут наши, отошлите, пожалуйста, моему сыну. Адрес тут есть... [1]

Утром в гостинице им сообщили о приказе оставить Киев. И они медленно ехали с Ольховичем по чисто вымытому городу, в потоке отступающих и беженцев, в клубах раздуваемого ветром дыма: горели бумаги сотен учреждений.

Но лишь возле Цепного моста сделались очевидны подлинные размеры катастрофы. Никогда еще этот мост не видал такого столпотворения и не испытывал таких нагрузок.

Пушки, автобусы, подводы, грузовики, фургоны, легковушки, кареты «Скорой помощи» и даже пожарные машины — все это было набито, забито, обвешано людьми, ящиками, узлами, чемоданами, связками, тюками. И оттого, что все это колыхалось и двигалось, было ощущение, что от непомерной тяжести раскачивается мост.

Как непременно бывает при внезапном отступлении, на мосту и подступах к нему было мало порядку. В другой бы раз он вылез из машины и попытался бы порядок навести. Но тут просто не было сил: его душило и вдавливало в сиденье сознание личной его вины за все случившееся.

Когда переправились через Днепр и очутились на Бориспольском шоссе, вылез из кабины посмотреть, что впереди. Он долго шел в сторону Борисполя, надеясь, что ведь где-то живой поток наконец кончится. И он отыщет людей, которые отходом руководят и потому знают, куда двигаться беженцам, а куда армии, учитывая, что цели у тех и других разные: у беженцев — спасаться, у армии — спасать.

Но сколько ни шел вдоль «живого шоссе», оно не кончалось. И, боясь потерять Ольховича, повернул назад, но милого добряка Сашу уже не нашел. Только обнаружил на обочине остов знакомой полуторки с проколотыми шинами, обгорелым мотором и еще дымящейся кабиной. Видимо, Саша облил все бензином и поджег. Нетронутым оставался лишь номер: 77—44.

Здесь, у начала шоссе, людей было меньше. И возле

военной машины с длинной, как хлыст, антенной ему сказали, что впереди, у Борисполя, кажется, немцы, а Киев пуст. Тогда он двинулся к Киеву, ослепленный почти сумасшедшей мыслью: «А что, если повернуть всем... обратно?!»

Его задержали возле Цепного моста. Он не обиделся, наоборот, обрадовался проявлению элементарной уставной дисциплины, потому что за много часов бесплодных блужданий эти двое красноармейцев были первыми, кто за что-то отвечал.

На командном пункте, куда его привели, он, к своему удивлению, увидел начальника киевских переправ полковника Казнова (что сразу избавило его от сложных и неприятных объяснений) и познакомился со старшим политруком Белоконевым, специально присланным сюда, на переправу, Военным советом фронта.

Казнов, однако, не проявил радости от встречи: у полковника был озабоченный, истомленный вид человека, в самую горячую минуту оторванного от дела.

Не вдаваясь в подробности, он попросил разрешения остаться на переправе, обещав, что уйдет, когда все уйдут.

«Оставайтесь»,— пожали плечами командиры и вернулись к своему недоконченному разговору.

Суть его сводилась к тому, что связь со штабом фронта прервалась. В последнем полученном приказе говорилось: с отходом наших войск уничтожить мосты. К взрыву было все готово. Поворот рукоятки подрывной станции — и... Но как знать, когда эту рукоятку повернуть? Что, если окажется: на окраине идет бой, там дерется наш полк, уверенный, что до последней минуты их будут ждать саперы?

С другой стороны, в любую секунду могут появиться немецкие танки. Мост, положим, все равно взлетит, но взвод... куда денется саперный взвод?

Сошлись на том, что нечего ждать приказа, которого, по всей видимости, уже и не будет, а надо послать в город своего разведчика. Но кого? Сами они пойти не могли, бойцы, которые остались, охраняли подходы, подрывную станцию, катер, автомашины, хлопотали возле проводов и фугасов, и выходило, что послать некого.

— Разрешите мне,— произнес вдруг он.

— То есть что именно? — переспросил, недовольно поворачиваясь, начальник переправ.

— Пойти в Киев... Делать-то мне ведь все равно нечего.

Казнов достал портсигар. Вынул папиросу, долго стучал ею по крышке:

— Будь вы боец какой-нибудь соседней части, мы бы с благодарностью вас послали,— ответил Казнов.— Но вы не боец... Вы писатель...

— Я и прошусь не как боец, а как писатель. Иначе я потом никогда себе не прощу, что упустил возможность побывать в Киеве перед самым вступлением в него немцев. А заодно разведаю обстановку.

Несколько минут назад эта мысль даже не приходила ему в голову. Попав же на КП, он понял: если Киев и пуст (движение по мосту почти прекратилось), то ненадолго. О том, чтобы всем повернуть назад, конечно, не могло быть и речи. И, несмотря не усталость, переживал оттого, что оказался один и без дела.

И вдруг дело ему нашлось. Даже целых два: пойти в разведку, а заодно увидеть улицы и площади, увидеть оставшихся там людей, чтобы потом в своей книге, в своей истории обороны и *падения* Киева описать город своей курсантской юности таким, каким он живет в эти страшные часы перед вступлением врага.

— Если вы пойдете,— сказал Казнов,— мы вас, конечно, подождем. Но ведь может случиться: только вы ушли — с тылу по нам ударят танки.

— Понимаю. Но ведь другого выхода сейчас нет?.. Я пошел собираться.

Он подобрал возле моста, где валялся целый арсенал, несколько лимонок, нашел запасные обоймы к ТТ. Проверил и переложил пистолет в карман шинели. После этого бережно вынул из полевой сумки три тетради. Две сунул в широкие голенища сапог, одну, как делал еще в школе,— под гимнастерку, за пояс. Остальные бумаги и блокноты оставил в сумке.

Казнов и Белоконев показали на карте, где в крайнем случае его некоторое время будет ждать катер. Обнялись. Он попросил:

— Если все-таки я не вернусь ни сюда, ни к тому месту, где будет стоять катер, доложите при случае в Москву, что я остался в Киеве.

...Он вернулся, когда его уже не ждали. Шинель на нем была распахнута, ворот гимнастерки расстегнут: ему было жарко.

— Наших в городе нет,— доложил он, переступив порог командного пункта.— Я был вот здесь, в Голосеевском лесу, потом прошел сюда, сюда и сюда... Везде окопы наши пусты. Кого спрашивал,— наших, отвечают, нет, ушли. Немцы не появлялись пока тоже... Так что...

— Так что,— заключил Казнов,— можно взрывать?..

— Можно взрывать.

Взрыв был назначен на утро, но, когда рассвело, к мосту опять потянулись беженцы.

«Немцы!» — повторяли они.

Взрыв с минуты на минуту откладывался. Взлетели в воздух два соседних моста. И все, кто не успел переправиться по ним, тоже кинулись к Цепному. Напряжение на КП нарастало. Вот-вот могли показаться танки, а люди продолжали идти. Это злило: ведь ночью-то проход был свободен.

Лишь часам к трем поток схлынул. Цепной опустел. Бойцы, в последний раз все проверив, отошли в укрытие. Казнов повернул рукоятку.

Когда обломки уже рухнули в воду, долетел дробный грохот оживших фугасов.

...Двадцать два года назад, в конце августа, он стоял почти на том же самом месте и смотрел, как рвались пороховые погреба оставленного Киева. «Мы опять здесь будем!» — поклялись тогда они, мальчишки-курсанты.

Теперь, взорвав мост, ни в чем не клялись. Молча сели в машины, зная, что вернутся.

Не они, так другие...

Перед тем как сесть в машину, оглянулся и поднес к глазам висевший на шее бинокль. Отсюда, сбоку, хорошо были видны изорванные, скрученные фермы — те, что чудом удержались на быках, и те, что торчали из воды. И еще, скользнув взглядом дальше, увидел, как со стороны города к несуществующему теперь мосту бегом бегут люди.

Им уже ничем нельзя было помочь.

Бои местного значения

За сутки на Бориспольском шоссе мало что изменилось. Он вышел из «эмки», поправил кобуру и сумку, в которую снова переложил все свои тетради, и пошел вдоль шоссе. Возможно, разумнее было бы держаться

Казнова, но с той минуты, как он впервые попал на это шоссе, он начисто перестал думать о себе, ища только одного: возможности что-либо поправить.

Он шел между телег и машин, которые медленно, однако же двигались, потом, все же надеясь обогнать колонну, зашагал по обочине.

Не обогнал. Устал. Увидел снова «эмку». Подумал: «Казнов!» Но возле машины стоял и с тревогой смотрел вперед незнакомый батальонный комиссар. Он попросил разрешения занять свободное место в машине.

«Представьте, какое совпадение,— обрадовался батальонный комиссар Коршенко, когда они, уже в кабине, познакомились.— Совсем недавно приходит из библиотеки мой сын Феликс и приносит книжку «Тимур и его команда». «Нá, — говорит, — папа, прочти...» Прочел, знаете ли, сразу. По-моему, настоящая вещь».

Разговор о повести, о сыновьях (Феликс и его Тимур оказались ровесниками) здесь, на Бориспольском шоссе, где все только и думали, что об окружении и бомбежках, был ему особенно приятен, а неунывающий, улыбающийся комиссар, который мог так обрадоваться «совпадению», очень даже симпатичен. И они пробыли вместе несколько дней.

Сначала, думая, что быстрее доедут вкруговую, свернули по примеру других машин на Ерковцы и чуть не угодили к немцам, которые открыли стрельбу, а потом стали кричать: «Рус! Бросай оружие! Иди к нам!»

Мгновенно откинув дверцу, так что она стала щитом, он полоснул через окно из подобранного на шоссе автомата, а потом вывалился из кабины и пополз к канаве. Шофер и Коршенко бросились за ним. И тут он увидел бойца-мальчишку, который стрелял из винтовки, не подымая головы.

«Что же ты палишь, дружище, в белый свет?» — насмешливо спросил он парня, подползая к нему и беря его винтовку. И, тут же велев: «А теперь смотри», замер.

Трудно было лежать неподвижно, когда все кругом стреляли, но он ждал, пока над плетнем не появилась голова в каске, подвел под каску мушку и выстрелил. Каска медленно, боком, исчезла за изгородью.

Не зря, значит, ходил в Москве по тирам. Не зря выбивал сорок одно из пятидесяти возможных.

«Вот как надо стрелять,— произнес он, возвращая винтовку и беря свой автомат.— Понял?»

Парень кивнул. И хотя тонкие руки по-прежнему дрожали, приподнялся на локтях и стал целиться.

...Наверно, все-таки поздновато написал: «Берись за оружие, комсомольское племя!»

У Скопцов им с Коршенко открылась ошеломляющая панорама: в полный профиль рылись окопы. Дымили полевые кухни. Подкатывали грузовики с ящиками, цинками, мешками и прямо в кузов насыпанными гранатами. И хотя с точки зрения стратегии эта линия обороны в глубоком немецком тылу выглядела бессмыслицей (поломался весь фронт!), никто не думал, что́ получится из их сопротивления через три-четыре дня. Каждый жил сегодняшним днем и ожиданием близкого боя.

Попав в эту обстановку, он растерялся, но не оттого, что понимал драматизм происходящего, а оттого, что не мог решить, кто он сейчас: солдат или писатель?..

Было желание поговорить с людьми, вобрать в себя картины и звуки наступающей тревожной ночи, потому что подобное даже на войне увидишь нечасто. И хотя ему утром, как и всем, предстоял бой. И хотя, как журналист, как писатель, наконец, как военный историк, он был бы абсолютно прав: каждый должен заниматься своим делом,— в глазах остальных (так думал он и так объяснял Виктору Дмитриевичу Коршенко) это не могло иметь оправдания. И он забрал у пожилого, уставшего красноармейца заступ.

Когда же на рассвете раздалась команда: «Вперед!», они с Коршенко вместе со всеми рванулись в атаку. Вместе со всеми выбили немцев из села. Вместе со всеми, не выдержав железного напора танков, отступили. Вместе со всеми в тот же день, стиснув зубы, поднялись в атаку второй раз и опять вышибли немцев из Скопцов, подпалив две стальных громадины.

Многие в тот день поняли, что и победителей можно бить.

Крайний случай

Через два дня простился с Коршенко. У него уже давно имелся план: если не отзовут, остаться, сколько можно будет, с армией. А в любом крайнем случае уйти в партизаны.

Крайний случай настал.

Но чтобы возник партизанский отряд, требовались знающие, местные люди. Он местных искал и чуть было не ушел со старым партизаном Божко. Старик опять создавал партизанский отряд, но собирался воевать «без военных»: «Мы ж партизаны. Обходились в девятнадцатом, обойдемся и теперь».

— Ошибаетесь, — разочарованно ответил он. — Теперь не девятнадцатый год.

Он уговаривал создать отряд одного случайно встреченного председателя колхоза. Председатель шел с сыном.

— Пойдемте с нами, — предлагал он. — Выберем лесок. Вы — человек местный, хозяйственный, будете у нас начпродом... А Вася ваш будет у нас связным — разведчиком...

— Нет, у нас свои планы, — ответил председатель.

Оставалась последняя надежда: повстречать матросов Днепровской речной флотилии, которым пришлось затопить суда и перейти к войне на суше. Это был отчаянный народ. И вот, словно по щучьему велению, приметил однажды под вечер нескольких человек в бескозырках и черных шинелях, которые, проверив у него документы, сообщили, что у них две группы. Человек тридцать. Выходить из окружения пока не собираются. Наоборот. Думают пробраться в Приднепровские плавни и устроить немцам «веселую жизнь».

Он сказал, что идет с ними, тепло простился с Коршенко (тот направлялся к линии фронта), но по дороге он узнал, что в лесу возле Семеновки много окруженцев. Руководит ими полковник. И люди готовятся к серьезным делам.

Представил, какая это грозная сила: воинская часть под руководством боевого командира (при неограниченном запасе оружия!) в глубоком вражеском тылу. Первая же удачная операция привлечет много новых бойцов.

И он с немалым риском и нешуточными приключениями проник в Семеновский лес, потому что немцы, видимо, тоже кое-что прослышав, лес уже оцепили.

Пробираясь сюда, рассчитывал увидеть обстановку боевого лагеря, как под Скопцами. А попав, еще раз убедился: на войне слухам верить нельзя. Он увидел тысячи женщин, красноармейцев, раненых, каких-то полуштатских, полувоенных, сотни детей, которых куда-то

собирались вывезти, да и не успели. Все были подавлены, растерянны, испуганы.

Спасительный лес, куда все ринулись, оказался ловушкой. О боях и дерзких операциях никто не говорил — только бы вырваться.

Очутившись тут, он неприкаянно ходил, набросив на плечи шинель, от одной группы к другой и просто обомлел, когда к нему приблизился с винтовкой наготове боец и строго спросил: «Что за товарищ? Почему такой вид?», а сзади, отрезая пути, подошло еще несколько человек. И с ними сапер-лейтенант. Лица у всех были суровые. Видимо, они его в чем-то заподозрили.

И тогда он... радостно улыбнулся, поправил шинель и предложил:

«Давайте знакомиться: Аркадий Петрович Гайдар, корреспондент «Комсомольской правды».

Бойцы и лейтенант смутились: «Гайдар... «Школа»... «Тимур и его команда». Но ему хотелось поддержать ту уставную строгость, которую они проявили. И он сказал, все так же улыбаясь: «Не верьте мне на слово» — и вынул маленькую сафьяновую книжечку. Все по очереди книжечку эту подержали и бережно вернули.

Лейтенант Сергей Абрамов и его красноармейцы были из одного понтонного батальона. От них узнал, что по одному — по двое уйти из лесу можно, а большими группами — нет. (Им на рассвете сегодня как раз не повезло.) А положение в лесу такое: народу масса. Продовольствие кончилось, второй день питаются кониной. Навести какой-то порядок пытается один человек, полковник, летчик, фамилия Орлов, но помогают ему неохотно, а в одиночку здесь много не сделаешь.

Он знал в Киеве полковника Орлова, начальника штаба 36-й авиационной истребительной дивизии. Казалось невероятным, что Александр Дмитриевич Орлов мог сидеть теперь в Семеновском лесу и заниматься сугубо земными проблемами.

Лейтенант Абрамов проводил его в землянку полковника.

— Аркадий Петрович, — изумился Орлов, — как вы здесь очутились?

Абрамов не ошибся: полковнику было трудно. И он стал деятельным его помощником: уходил в дозоры, охотился за переодетыми автоматчиками, следил, чтобы костры разводили только днем, собрал два пулемета, нашел несколько ящиков с патронами, набил пулеметные ленты, притащил к штабной землянке миномет и несколько комплектов мин. Отпрашивался в разведку, то есть каждый раз выходил из леса, а потом возвращался, доставляя сведения, которые мало что могли изменить.

Узнав, что в Семеновке немецкий штаб, с отчаяния предложил Орлову — он взорвет штаб гранатами. «А когда начнется переполох, вы тем временем вырветесь из леса». Орлов не позволил. И вскоре нашли иное решение.

...Он сидел и писал. Он мало спал теперь. И хотя добровольно взятых обязанностей хватало, два-три незаполненных часа в сутки еще оставалось. Он занимался поделками: мастерил остроносые лодочки из коры, маленькие пропеллеры для вертушки, а как-то на дощечке от бутылки с зажигательной смесью вырезал тем же ножом: «28.9.41. В лесу у дер. Семеновка под Киевом». Хотел на другой стороне расписаться и даже нарисовать рожицу. Но передумал. И просто обвел вырезанные буквы химическим карандашом.

А затем принялся за главную работу.

Он уже давно не открывал свои тетради. Событий накопилось много. И надо было хотя бы коротко их записать.

Рядом спорили несколько человек. А поодаль, на плащ-палатке, метался раненый пехотный капитан. У капитана была перевязана правая рука и правый же, кровью запекшийся бок.

Дома, когда он садился за работу, все должно было замереть. Здесь же он писал, машинально прислушиваясь к спору, отдаленным автоматным очередям и стонам капитана. (Даже во сне теперь не выключался из обстановки. А если выключался, то совсем ненадолго.) И, продолжая делать заметки, краем уха ловил реплики спора, который был не нов: хотя лес оцеплен, немцы бьют по нему из минометов и лязгают для страху гусеницами танков, трудность заключается не в том, чтобы отсюда вырваться (многим это удавалось), а в том, чтобы уйти от преследования.

Бывали случаи, когда немалых размеров группы, потеряв до половины состава, прорывались, а потом с горя возвращались обратно: в этой проклятой степи негде переждать день, чтобы двинуться ночью...

На своей плащ-палатке забеспокоился раненый и почти внятно во сне произнес: «Чепуха, я знаю выход...»

На него не обратили внимания: за полчаса до этого капитан кричал: «Куда вы гоните технику? Тут же болото?! Я это знаю, я охотник!»

И вдруг капитан настойчиво и ясно повторил:

— Чепуха. Вы слышите? Чепуха. Я только немного окрепну и выведу...

Спорщики снова не обратили никакого внимания. А он спрятал в сумку тетрадь, легко поднялся и пошел к землянке полковника, во-первых, доложить о раненом, который, возможно, в самом деле знает выход, а во-вторых, найти врача, чтобы спросить: в какой мере на раненого можно положиться?

За врачом послали, а сам он с полковником и еще двумя командирами вернулся к капитану.

— Товарищ капитан, вы знаете выход... из этого леса? — спросил он.

— Знаю, — с трудом, но внятно ответил раненый. — А вы, товарищ Гайдар, разве меня не узнаете?.. Я Рябоконь, из понтонного. Я вам еще катер давал. А вы с ребятами у лесной школы беседу проводили...

Ему стоило усилий сдержаться: невозможно было в этом окровавленном, изорванном и ссохшемся человеке признать того молодцеватого капитана-богатыря, который с таким радушием встречал его всякий раз в своем батальоне.

Он кивнул Рябоконю: «Конечно, помню... Вы... давно ранены?..» И полковнику тихо: «Я его знаю».

— Откуда вам известны эти места? — спросил Орлов.

— Я охотник, товарищ полковник, — ответил Рябоконь, пытаясь подняться. — И потом я тут неподалеку... работал, — Рябоконь задыхался.

— Что значит неподалеку? — нетерпеливо спросил полковник.

— Совхоз... «15 лет Октября»... Директором...

— Где этот совхоз?

— Дайте карту, покажу...

Все притихли: карты не было. И полковник сказал:

— Карты нет.

— Извиняйте... Отдохну... немного... — попросил Рябоконь и закрыл глаза. Стало страшно, что он сейчас умрет.

— Где Канев, товарищ полковник, знаете? — спросил, открывая глаза, капитан. — На другом берегу Днепра есть села Прохоровка, Калиберда, Леплява... Неподалеку от Леплявы... мой совхоз. Если б не рука, я бы начертил.

— А левой не можете? — спросил он.

— Попробую...

Рябоконя, взяв за концы плащ-палатки, бережно перенесли в штаб, у входа поставили часовых: шныряли лазутчики. Теперь же решалась судьба всех, кто был в лесу.

«Отсюда можно пойти в черниговские леса, — объяснял Рябоконь. — А можно и в каневские. В черниговские я хорошо дороги не знаю. А в каневские знаю. Дайте бумагу, попробую начертить...»

Даже на корявом плане все выглядело убедительно и просто: Рябоконь предлагал двигаться хуторами и охотничьими тропинками.

Была создана разведгруппа из трех человек. Он ее возглавил. А вернулись они через сутки вчетвером: четвертым был огромного роста немец-мотоциклист, заарканенный уже на обратном пути.

«Рябоконь прав, — докладывал он, — мы узнавали у крестьян... Все совпадает».

Пленный тоже оказался находкой. Мотоциклист точно знал, в каких деревнях стоят гарнизоны. Рябоконю пришлось подумать, как изменить маршрут, не слишком его удлиняя. И все опять удивились его памяти.

В лесу оповестили, что готовится прорыв. Все владеющие оружием могут принять участие. День, час, место прорыва и дальнейший маршрут держали в строжайшей тайне. Начались сборы — и вдруг в лесу узнали, что кое-где немецкое оцепление снято. В других еще похаживали автоматчики, доносился треск мотоциклов. А тут не видно никого, что подтвердила и новая разведка.

— Я думаю... это ловушка... — негромко сказал он.

— Что значит ловушка? — удивились и закричали вокруг.

Дорога открыта!

— Немцам сейчас просто не до нас!

— Выходить, и все!

— Не подыхать же нам тут с голоду!

— Обождите! — он поднял руку. — Я не говорю, что надо здесь сидеть. Я тоже здесь сидеть не собираюсь, но выходить нужно там, где нас не ждут. Мне, например, не нравится, что выпускают нас в чистое поле...

Мнения разделились: одни решили идти, где «дорога открыта», другие — с группой полковника Орлова. По примерным подсчетам, в группу набралось около трех батальонов. Искалеченного капитана Рябоконя заранее отобранные бойцы несли на самодельных носилках.

Немцы встретили батальоны прорыва пулеметными очередями. Им ответили огнем автоматов и гранат. Пробили брешь в оцеплении. И пока отряд прикрытия продолжал бой, вышли часа через два на потаенные тропы.

Рябоконь, который во время тяжелого этого путешествия несколько раз терял сознание, не подвел. Они очутились через несколько дней в лесу возле Озерищ и Комаровки, неподалеку от Леплявы и Канева. Было их к тому времени уже не три батальона: когда посчастливилось вырваться, люди собирались в небольшие отряды и шли в свои знакомые места.

Группа Орлова теперь насчитывала несколько десятков человек.

Лесник Швайко

В группе многие заболели. Кроме того, нечего было есть. Простудился и он, а в сумке не нашлось ни одной из тех спасительных таблеток, проглотив горсть которых можно было бы выздороветь к утру, но им снова повезло. В лагере появился немолодой уже человек с маленькими смешными усиками и добрыми, очень печальными глазами. Одет он был в белый свитер и куртку с большими пуговицами. Представился:

«Лесник кордона 54 Михаил Иванович Швайко».

Орлов с ним долго беседовал. Швайко внушал доверие. На всякий случай полковник побывал у него дома и вернулся с приглашением от жены лесника всем больным перебраться на день-другой в хату — полечиться и отдохнуть.

Он где-то задержался и был удивлен, когда, подойдя к усадьбе лесника, обнаружил на часах парнишку, сына Швайко, Васю, который показал, куда надо пройти.

Жена Швайко — Анна Антоновна — хорошо протопила комнаты, нагрела воды помыться, накормила, а потом принялась лечить горячим молоком, настоями и отварами трав. И через день бывшие больные вернулись в лес.

Тем временем Швайко побывал в Озерищах, нашел знакомых и верных людей, добыл через них с колхозных, еще не разоренных складов продукты, сняв тем самым первую и неотложную заботу.

Супруги Швайко участвовали в гражданской. Под Кременчугом в девятнадцатом и на польском фронте в двадцатом он воевал где-то по соседству с ними. А после взятия Бердичева Анна Антоновна несколько раз беседовала с «самим» Николаем Щорсом.

Когда кончилась война, Михаил Иванович, партиец и участник героической борьбы, был направлен на авторитетную работу, поднялся до председателя горисполкома, однако по ложному доносу был объявлен «врагом», осужден, но через некоторое время за недоказанностью выпущен. Швайко ушел в лесники. И теперь занимался тем, что спасал людей.

Семья Швайко приютила, обогрела, накормила, дала еды на дорогу и отправила по каждый раз проверенному маршруту не одну сотню человек. Это были в основном партийные работники, бойцы, командиры и комиссары Красной Армии.

Отряд Горелова

Он стоял на часах и задержал подводу с подводчиком — рыхлым мужчиной в штатском, с манерами руководящего работника.

Отвел задержанного к полковнику, но арестованный отказался отвечать на вопросы, заметив:

«Много вас, дармоедов, по лесу шатается... Всех, что ли, думаете, партизаны в отряд возьмут?»

Было очевидно, что задержанный не только отъявленный нахал, но вдобавок и пьян. Пришлось привести его в чувство.

— Товарищ полковник, — незаметно подмигивая, обратился он к Орлову, — разрешите вывести задержанного вражеского лазутчика в расход...

«Лазутчик» вмиг протрезвел. И сообщил, что зовут Александр Погорелов. Он заместитель командира партизанского отряда по снабжению. Везет муку в отряд с мельницы.

В тот же день познакомились с руководством отряда: командиром Федором Дмитриевичем Гореловым, комиссаром Моисеем Ивановичем Ильяшенко и начштаба Иваном Сергеевичем Тютюнником.

Партизаны предложили всей группе свободный и вместительный дом лесника возле своего лагеря. Все, конечно, согласились.

«Я могу быть командиром»

Располагался лагерь в негустом лесу близ Леплявы. Жили партизаны в землянках, наскоро вырытых еще летом, когда никто не думал, что война затянется до зимы. Запасы отряда были велики. Оружия — выданного и подобранного — хватало, но связи с Центром партизаны не имели и разворачивать боевые действия не спешили.

Командир отряда Горелов до ухода в лес работал секретарем Гельмязевского райкома партии. Секретарь он, видимо, был неплохой: колхозы жили хорошо, в достатке, а в военном деле разбирался не очень. И, зная за собой эту слабость, ревниво относился ко всем рекомендациям и советам.

В отряд из «приблудших» брал не всех, предпочитая рядовых. А если командиров, то все равно рядовыми. Исключение было сделано для батальонного комиссара Бугаева: ему Горелов доверил проведение политинформаций в отряде. И то, что группе Орлова предложили обосноваться в пустом доме лесника, в километре с лишним от лагеря, преследовало, как поняли позже, две цели: гостям оказывали внимание и отдавали лучшее, но поскольку они все же гости, ни полковнику Орлову, хоть он и орденоносец, ни подполковнику Николаеву, ни старшему политруку Белоконеву (который был представителем Военного совета фронта на киевских переправах и с которым он опять встретился в Семеновском лесу) не надлежало вмешиваться в дела отряда. Никому из командиров группы не было также предложено вступить в отряд.

Впрочем, оставаться здесь, под Леплявою, в планы командиров и не входило. Люди рассчитывали немного отдохнуть и двинуться к линии фронта.

Рано утром, когда в доме лесника, отведенном Гореловым, еще спали, он пришел в партизанский лагерь, где их накануне кормили обедом, поили разбавленным спиртом, а также устроили что-то вроде бани, дав переодеться и сменить белье.

В лагере уже проснулись. Однако не было и признаков деловой спешки или приготовлений. Лишь в одном месте, неподалеку от командирской землянки, молодой лейтенант разъяснял, почему в войне с фашистами, хотя у нас и получились временные неудачи, мы все равно победим.

Вопрос был трудный, а случай особый: человек, видно, привык повторять то, что пишут газеты. А здесь почтальон газет по утрам не носил. И парень не придумал ничего иного, как только напоследок повторить:

«Враг будет разбит, победа будет за нами».

— Понятно, — произнес партизан в командирской шинели и кепке. — Значит, победа будет за нами: сначала нас не будет, а потом и победа придет?

Лейтенант испугался: «Вы не должны, вы не смеете так говорить».

— А ты мне растолкуй, в чем же я ошибаюсь?! — продолжал партизан. Возможно, у него тоже кошки скребли на душе, но сейчас к тому же было и скучно.

«Дай-ка, друг, я ему отвечу, — вмешался он. — Зовите давайте всех, объясню, как надо понимать: «Наше дело правое, победа будет за нами».

Долго ждать не пришлось. Послушать свежего человека собрались все, кто был поблизости.

— Я знаю, о чем вы сейчас думаете, — начал он. — Фронт далеко. Немцы близко. И всем нам приходится круто... Так?

Партизаны одобрительно зашевелились: так.

— Могу вас утешить: в гражданскую было еще хуже. Но ведь победили?.. Победили. А почему победили, вы думали? А я скажу почему — была в нас тогда злость. Трудно, легко ли — мы дрались. А вы, простите, сидите и ждете, что кто-то станет драться вместо вас.

Партизаны смущенно закашлялись.

— Вас бы на часок под Борисполь... Вас бы на часок в то село, где колодцы забиты трупами женщин и детей,— вы бы сейчас спокойно цигарок не курили и к мальчику-лейтенанту (прости, браток!) с идиотскими вопросами не приставали. И когда появится в каждом из вас такая злость, когда научитесь бить врага и в хвост и в гриву всем, что под руку подвернется, тогда вы и без политинформации поймете, почему победа будет за нами...

Увидел: людям этим нужно дать дело.

Получив согласие Горелова, подготовил и провел первую в истории отряда операцию — подбил вездеход и «опель». Несколько гитлеровцев были убиты. А двух офицеров со штабными документами и картами взяли даже в плен. К сожалению, допросы и документы отряду практически ничего не дали. Свои силы были пока слабы. А передать информацию было некуда.

Однако успешное начало крепко всех приободрило. К тому же скоро выяснилось, что он весьма удачлив. Не было случая, чтоб, уйдя «на охоту», вернулся бы со своей группой ни с чем. В лагере докладывал Горелову о подбитых машинах, сожженных обозах, вываливая на стол удостоверения солдат и офицеров, письма, карты, пистолеты, автоматы.

«Инерция удачи» помогла провести и вылазку в Каленики, небольшое село возле райцентра, где осталась в спешке брошенная свиноферма.

«Отрядить бы в Каленики для такого случая человек десять, — предложил кто-то. — Мешки за плечи и пошел».

«На себе тащить не дело, — возразили ему. — Нужна подвода. Хорошо бы две. Кинул свинку-другую на телегу — и порядок».

«А машины у нас для чего?» — поинтересовался он.

«Как для чего? — удивился завхоз Ваченко. — Подвезти что, подбросить, хозяйство — это вещь такая...»

«Вот и надо в твое, Иван Семенович, такое хозяйство подбросить свиней на машине».

Все подумали: шутит.

«Но ведь на машине тропками не проедешь?»

«Значит, нужно проселками», — отвечал он.

«Но тут всякий, кому не лень, увидит...» — «Пусть, — соглашался он. — Кому же в голову придет, что партизаны разъезжают по селам на машинах?»

Уговорил. Игнат Касич сел за руль. Он рядом. Человек пять, спрятав оружие, разместились в кузове. И машина с включенными фарами покатила через занятые немцами села, через райцентр Гельмязево, где в здании райисполкома теперь помещалась немецкая управа, но машину никто ни разу не остановил: принимали за полицаев.

У фермы связали бойкого старичка сторожа, проникли внутрь — и тут операция чуть не сорвалась: ведь живьем свиней не повезешь. Резать тоже нельзя — поднимут визг, перебудят все село... На помощь пришла родная литература.

— Надо было, друзья, — серьезно сказал он, — читать повесть Пушкина «Дубровский».

Достал пистолет, приставил к уху первой подвернувшейся под руку свиньи — негромкий, как хлопок, выстрел. Второй. Третий... Через несколько минут двенадцать тяжелых туш погрузили на машину и тем же путем доставили в лагерь.

В районе об этой операции было много разговоров. А тем временем в отряде разделывали и коптили свиные туши, которые за неимением кладовой подвешивали на деревьях.

...Он уже окончательно перешел в отряд (в дом лесника приходил только ночевать), но, когда попросил Орлова отпустить в партизаны насовсем, полковник наотрез отказался. Тогда с той же просьбой к Орлову обратился Горелов, который сказал, что писатель здесь, в тылу, нужен для пропагандистской работы и составления истории отряда.

Отказать Горелову было труднее, но Орлов, надо воздать ему должное, отказал Горелову тоже. Тогда он снова обратился к полковнику сам.

— Запрещаю вам не только этот переход, — оборвал его Орлов, — я категорически запрещаю даже разговоры на эту тему...

Можно было бы повернуться и уйти в лагерь без всякого разрешения, но не хотел портить отношений с Орловым, который в Семеновском лесу показал себя волевым и умелым командиром, собрав людей и отважась на то, на что не отважились другие. Кроме того, Орлов направлялся в ближайшие дни к линии фронта. И, смягчая тон разговора, сказал:

«Позвольте, Александр Дмитриевич, вам не подчиниться».

Поведал, что давно уже «белобилетчик» (Орлов, глядя на пустые его петлицы, думал, что писатель просто не успел получить звание), что на фронт попал, если разобраться, случайно. Коли теперь вернется, скорее всего упекут в глубокий тыл. А он должен быть «в гуще событий». Здесь же, в отряде, он и материал для себя найдет, и ручной пулемет его «без дела не соскучится».

Все это, разумеется, была правда — только не вся. Он был единственным человеком из «пришельцев», кого искренне приветил Горелов. Возможно, Федору Дмитриевичу льстило, что в отряде известный писатель, да еще орденоносец. Одновременно Горелова, по всей видимости, успокаивало, что писатель, хотя и командовал в прошлом полком, не имеет сейчас никакого воинского звания, кроме громкого, однако в этой ситуации бесполезного титула «специальный корреспондент».

И Горелов не препятствовал тому, что он разрабатывал и планировал боевые операции, настаивая лишь на двух вещах: первое, чтобы он обо всем предварительно докладывал, и второе — чтобы... он на эти операции не ходил. (Тут они каждый раз спорили. И он, разумеется, все равно уходил, только с растрепанными нервами.)

И выходил парадокс: Горелов, который опасался влияния окруженцев на жизнь отряда, целиком доверил ему руководство диверсионной, то есть практически всей боевой деятельностью партизан.

Он, разумеется, не хуже Орлова понимал, что дисциплина в отряде «неважная», что лес «пятачковый» и долго продержаться тут нельзя. Но жизнь отряда с его приходом заметно переменилась. Кроме того, никто не собирался оставаться здесь долго. В-третьих, ему доверяли людей. Людей этих ему, в частности, доверял и Горелов. И дальнейшая судьба семи десятков человек, во всяком случае он так думал, в немалой степени зависела теперь и от него.

Объяснять это Орлову, наверно, было бы нескромно. Полковник же понял, что уговаривать бесполезно. И он окончательно поселился в партизанском отряде. Спал в командирской землянке, которая, впрочем, не отличалась от остальных и была такой же холодной. «Военные советы» проводил у подножья дуба, а писал, сидя на громадном пне от спиленной сосны. На пне хорошо работалось, а ему нужно было многое записать.

Из рассказов людей группы Орлова, из бесед с окруженцами, которые попали в отряд до него, прояснились новые подробности обороны Киева. Помимо этого, он писал историю отряда Горелова, которая пока ничего особо интересного не представляла, но он полагал: когда отряд окрепнет и развернется, все это любопытно будет сравнить.

Маша — Желтая ленточка

Еще в первое свое появление в лагере заметил: из-за кустов, когда работал, за ним внимательно наблюдала какая-то девочка лет четырнадцати, в светлом платье, теплой фуфайке и аккуратных, по ноге сшитых, сапожках. Девочка носила платок, под которым оказались длинные русые косы, перевязанные сверху желтой ленточкой.

Каждый раз выходило так, что девочка начинала свое тайное наблюдение за ним, когда писал особенно трудный кусок и не хотел отрываться.

Вообще писать ему становилось все трудней: и от переутомления (очень мало спал), и оттого, что писать в осеннем лесу, положив на колени сумку, — это не за столом в теплой избе, и еще оттого, что хотелось быть кратким и точным. Это не всегда удавалось. Он нервничал. И партизаны знали: если Гайдар пишет, лучше без особой нужды его не трогать.

И, замечая Желтую ленточку, как он прозвал ее про себя, тут же про нее забывал. А когда вспоминал, ее уже не было. Она так же неприметно исчезала, как и появлялась. И он не видел, чтобы она в лагере с кем-нибудь разговаривала.

Однажды, когда снова работал, торопясь при свете костра занести что-то в свою тетрадь, ему протянули эмалированную кружку с горячим, дымящимся на холоду чаем и кусок крупно отрезанного хлеба. Он неохотно и не глядя взял, поблагодарил, потом быстро поднял голову и увидел таинственную Желтую ленточку.

— Вас как зовут? — спросил он.

Смутилась: «Мария».

Усмехнулся: «Нет, мы будем вас звать Желтая ленточка».

Мария машинально потрогала косы (была без платка), как бы проверяя, ее-то ленточка на месте или нет, и спросила:

«А это именно почему?»

В тон ей, поддразнивая, ответил: «Именно вот поэтому...»

Он уже знал, кто она такая: это была пятнадцатилетняя дочь комиссара Моисея Ильяшенко. Только в мае Желтая ленточка получила комсомольский билет. В отряд с маленьким узелком, в одну минуту собранным матерью, пришла вместе с отцом. А через несколько дней ее вызвали в командирскую землянку.

— Вот Моисей Иванович, — сказал ей Горелов, — советует сделать тебя разведчицей... Что скажешь?

— А что нужно будет делать? — ответила она.

Сначала Марину (как звал ее отец), или Машу (как звал ее Горелов), посылали на задания вместе с Натой Евдокимовой, но в селах Нату знали, она работала в райкоме. И Маша стала ходить одна. Возвращаясь, она незаметно проскальзывала к отцу или Горелову, рассказывала об узнанном, быстро ела и снова уходила в Гельмязево. Или шла по особому маршруту — тогда ей с собой давали специально заготовленный документ (этим ведал начштаба Тютюнник). Несколько раз Машу задерживали, а документы перепроверяли, но все сходило: «липу» делали надежно.

В лагере ей строго-настрого запретили разговаривать и спрашивать о людях, которые приходят в отряд. Однако встречаться с Машей — Желтой ленточкой в потаенном месте, как он это делал в Сибири, посылая на задания другую Машу — Настю Кукарцеву, в лагере Горелова не додумались. После двух-трех ее приходов Желтую ленточку знал в лицо весь отряд. «Конспирация» теряла смысл. И Маше изредка дозволялось ночевать в отряде. В такие вечера она заботилась о нем.

Если он писал, его не отвлекали. И, работая при свете костра, в нескольких метрах от кухни, он тем не менее иногда оставался без ужина. Его это мало печалило. Он полюбил работать на пустой желудок, когда голова делалась легкой-легкой, поэтому самым хорошим временем считал утро, до подъема, и немного жалел, если из-за ночной, им же предложенной операции рабочее утро

пропадало. А Маша, когда оставалась в лагере, следила, чтобы он непременно поел.

Она незаметно подходила к нему с котелком, прикасалась ладошкой к его плечу (если тихо позвать — не слышал, а громко она стеснялась). Он вздрагивал и оборачивался:

«А-а, это ты, маленькая? Что случилось?»

Она протягивала котелок с кашей: «Вы бы поели...»

Невозможно было объяснить ей, девочке, воспитанной на украинском гостеприимстве, что если он не ест, то ему только лучше пишется. И с надеждой спрашивал: «А разве это обязательно?»

Она изумленно отвечала: «Конечно, обязательно... Вы же остаетесь без ужина».

Он съедал немного, потому что, если съесть весь котелок, сразу захочется спать. И он не выполнит норму. А Маша не отходила, пока он не попьет еще и чаю.

Любого другого он бы прогнал (что и делал), а ее не мог. Впрочем, кажется, ее нарочно поэтому к нему с котелками и подсылали.

В разговоре выяснилось, что Маша прочла все его книги, «какие только смогла достать», «Тимура» помнила «почти на память».

Он провожал ее на задания и старался встретить каждый раз, когда она возвращалась. Бывало, она уже в лагере, а он еще не знает. И начинает нервничать. И вдруг она выскальзывает из штабной землянки. Он встревоженно спрашивает:

«Ты уже вернулась?»

Она растерянно кивает.

«Ты давно вернулась?.. А поесть успела?.. Ты не очень торопишься?.. Нет?.. Тогда расскажи, что узнала и что видела...»

Она рассказывала, что в райцентре «тревожно-спокойно». И хотя еще никого не арестовали, «возле нашего дома каждую ночь засаду устраивают: отца ждут».

«Но тебя ведь тоже могут схватить?»

Она смеялась: «Конечно, могут, но только не схватят. Неподалеку от нашего дома есть копна. Я в ней и сижу, пока полицаи не уйдут. А уйдут — я шмыг в хату. И когда десятихатник — есть у нас такой, ну вроде надсмотрщика — приходит звать меня на работу, я уже готова и выхожу, как все, в поле».

Маша старалась рассказывать про дела свои беззаботно и весело, но с каждой минутой от ее слов ему становилось только печальней.

Его не покидало странное ощущение, что однажды это все уже было. И тревожное предчувствие: он знает, что будет.

Он видел то смешанный лес, себя на коне в разведке, чью-то тень при лунном свете. Подумал тогда: белый лазутчик. Оказалось — девчонка, Маруся.

А то вдруг лес перед внутренним взором. менялся. Кругом стояли мохнатые ели и сосны. И он ждал в потаенном месте другую девчонку, веселую и дерзкую. Она приезжала на коне с длинными, как у Желтой ленточки, только черными косами. И тоже смеялась, уверяя, что с ней ничего не случится. И каждый раз мучительное ожидание. И каждый раз тревога, если Маша — Настя задерживалась. А потом ему не показали ее даже мертвую...

— Когда же ты спишь? — заметив, что давно молчит, спросил Желтую ленточку.

— В обед вздремну полчасика. И мне почти хватает. До ночи могу не спать.

— Пойдем, я тебя провожу. — Он доводил ее до развилки и останавливался.

— Счастливого пути... И будь, пожалуйста, как всегда, умницей.

— Ладно.

Незадолго до нынешнего боя Желтая ленточка пробыла в лагере почти сутки. Вечером сидели все у костра. Демьян наигрывал на старой скрипке печальные цыганские мелодии. Партизаны приуныли. И тогда, шепнув два слова музыканту, под ту же скрипку он затянул старую дальневосточную:

По долинам и по взгорьям
Шла дивизия вперед,
Чтобы с бою взять Приморье —
Белой армии оплот...

Песню подхватили. Пел ее не очень большой и не очень дружный хор. Иные, позабыв слова, выводили голосом один только мотив. Но даже от этой не очень складно исполненной песни легче задышалось...

Когда кончили петь, повернулись все вдруг к нему:

«Аркадий Петрович, прочтите, что вы пишете... Хоть сколько-нибудь».

Смутился. То, что можно было прочесть, — готовые очерки: о командире эскадрильи капитане Солдатове, гневное «Варвары XX века», смешное — о том, как тонул в гнилой речке Трубеж и как вытащил его за воротник незнакомый солдат, — уже читал. И сегодня его просили не об этом: знали, пишет про отряд. И каждому хотелось услышать немного про себя. А это была еще не книга, только подступы к ней... Кроме того, писал, что было: и хорошее, и нелепости, и мысли по поводу, и свои не всегда лестные оценки. А людям хотелось приятного.

И он сказал:

«Записки свои читать я сейчас не буду. Не могу. Это еще только заготовки. Наброски. Над ними нужно много работать, прежде чем их можно будет показать. Вот напечатаю книгу, тогда сами и прочтете. Я много о вас написал. Думаю, еще больше напишу. И если выйдем из лесу, из кольца — страна трудов ваших не забудет...»

Когда расходились по землянкам, подошла прощаться Маша. «Аркадий Петрович, — спросила она, — а вы разве пишете только о войне?»

— Ты права, — ответил он, — я пишу о многом, но о войне, конечно, в первую очередь.

— Но ведь раньше у вас были только детские книги. А теперь, значит, будет книга для взрослых?

Сказал, что думает написать не одну, а много книг, но в романе для взрослых непременно будет про ребят. А в книжке для ребят — про ребят и про взрослых. «Но в первой же книге, — обещал, — я непременно расскажу про тебя. И глава про тебя будет называться «Желтая ленточка».

— Но обо мне, — растерялась Маша, — совершенно нечего писать. Я ничего характерного не делаю.

— В любом сложном деле, — ответил он, — встречаются люди, которые не делают «ничего характерного». Они просто делают то, что нужно. И на поверку получается, что они-то и делают самое главное... Мне хочется, — добавил, — написать о комсомольцах твоего поколения, потому что, когда мне было столько же лет, сколько тебе, когда я был мальчишкой-комсомольцем, я тоже

впервые воевал здесь, на Украине, и дымное то время и себя той поры хорошо очень помню...

Он замолчал, думая о том, как в его биографии все удивительно сомкнулось.

* * *

Судьба Маши — Желтой ленточки оказалась похожей очень на судьбу Маши — Насти Кукарцевой, с той лишь разницей, что Желтая ленточка, пройдя застенки и пытки, никого не выдав, чудом осталась жива...

Бой

Между вечером у костра и вынужденным отдыхом на болотистой опушке лежал только что закончившийся бой, который переворачивал все. Отступление по спиленной сосне нельзя было назвать поражением. Отряд продержался несколько часов и отошел в относительном порядке, забрав раненых. Партизаны сегодня потеряли гораздо меньше людей, чем могли потерять, но лишились лагеря. Нужно было спешно создавать другой...

Знал: рано или поздно, а бой такой будет. Ради этого боя, то есть большого сражения отряда с оккупантами, остался в лагере, не пошел с группой Орлова к фронту, но бой этот представлял себе иначе, то есть с другим исходом.

...Орлов уходил восемнадцатого — четыре дня назад. Снова настойчиво звал с собой, а он попросил только взять на Большую землю пакет с очерками и письмо Тимуру.

Ни того, ни другого Орлов взять не решился. Возможно, полковник был и прав.

Идти ж с Орловым он не мог. И тоже по-своему был прав. Сегодня, например, отряду без него пришлось бы много хуже. И будет, верно, еще немало похожих случаев, тем более что планы у него самые обширные.

Он предполагал обосноваться с отрядом сперва на Черниговщине, а затем и в брянских лесах. Установив связь с Центром, собрать побольше людей. Не сто и не двести, а партизанскую армию с настоящей разведкой, санчастью, пулеметными ротами и даже артиллерией, чтобы немцы узнали, какие силы таятся у них в тылу, чтобы

мир увидел, на что способны партизаны в современной войне. Для начала же планировал захват Каневского аэродрома.

И вот немцы неожиданно внесли свой корректив.

Впрочем, так ли уж неожиданно?

Дней пять назад пропал Погорелов, тот самый хозяйственник, которого он задержал возле Озерищ. Вскоре после этого в лагере появились двое незнакомых парней. Их заметили уже возле командирской землянки. Один нес на руке аккуратно сложенную немецкую шинель на шелковой подкладке. Когда их спросили, кто такие, парни развернули шинель: с левой стороны светло-серое сукно было прострелено и даже запачкано кровью. А погоны оказались генеральскими.

Парни объяснили: генерал убит ими вместе с шофером.

«А где его документы?»

«Мы их не взяли. На что они нам? Все равно по-немецки не балакаем».

«В каком же месте вы бросили машину?»

Назвали в каком.

«Надо б проверить», — шепнул Горелову Дороган. (Он ведал в отряде контрразведкой.)

«Да ну, видно, что свои хлопцы, — громко ответил Горелов. — Накормите их только, не забудьте».

Хлопцев покормили. Даже поднесли по стаканчику. Парни с удовольствием выпили. А потом исчезли вместе с шинелью.

Тогда он вспылил:

«Нельзя было их отпускать, пока не проверили».

«Да брось ты, Аркадий Петрович, чего нам бояться? — усмехнулся Горелов. — Нехай немец нас боится».

«Ты, Федор Дмитриевич, конечно, хороший человек, — ответил он, — но в военном деле, прости, ни черта не смыслишь».

Здесь уже рассердился Горелов. Велел Дорогану послать людей к тому месту, где подбили генеральскую машину. Никакой машины не нашли. И следов ее тоже.

И вот сегодня утром, когда все спали, со стороны лесопилки раздались два выстрела. И потом ветер донес гул автомобильных моторов.

«Тревога!»

Комиссар Ильяшенко и Дороган направились в глубь леса, в разведку. Их догнала встревоженная Маша:

— Папа, ты куда?

— Мы, Марина, — ответил комиссар, — дойдем до лесопилки и вернемся. Если задержусь, помни: что бы ни случилось, будь в Гельмязеве для связи... Поняла?

Отряд готовился к возможному бою. Он залег с трофейным пулеметом на холме на левом фланге, в специально вырытом окопчике, откуда хороший обзор и где можно было держать круговую оборону. Рядом примостился Миша Тонковид — «лейтенант в кожаной куртке», который вызвался быть вторым номером.

Со стороны лесопилки забил немецкий автомат. Затем все смолкло. И через некоторое время в напряженной тишине стал слышен гулкий топот сапог. Бежал один... Или двое...

«Не стрелять!» — приказал Горелов.

Из сосен выскочил Дороган. От него узнали: немцев много. Не меньше трех сотен. Идут сюда. А комиссар Ильяшенко убит...

«Бедная Маша...»

Потом меж деревьев мелькнули немецкие шинели. Начался бой. С нашей стороны стрекотали автоматы и били два пулемета: его и Кравченко. Когда гитлеровцы подымались в атаку, навстречу им летели гранаты. Немцы подтянули минометы. Мины лопались прямо над головой, но обстрел скоро прекратился: немцы очень близко подошли к партизанским окопам, и минометчики боялись ударить по своим.

Бой вошел постепенно в более спокойный ритм. Огонь с немецкой стороны становился очень плотен: гитлеровцев было по меньшей мере в четыре раза больше. При этом немцы за два с лишним часа не продвинулись вперед ни на шаг, хотя с холма он видел: отрядные девушки-санитарки кого-то перевязывали и уводили. А у Михаила Кравченко почему-то замолчал ручной пулемет.

Но партизаны держались. И продержались бы еще долго, потому что линия обороны была удобной, а боеприпасов хватало, если бы пули не взбили фонтанчики песка возле его окопа с левой стороны.

Ведя огонь со своего пригорка, он следил и про себя отмечал всякое, даже малейшее передвижение среди немцев. Но автоматчики, стрелявшие в него слева, все же подобрались незаметно, и это было признаком тревожным. Он приподнял и легко переставил пулемет на другой край окопа. И тут увидел, что стреляют по нему, охотятся за ним не один или два, а много автоматчиков, потому что кусты шевелятся в разных местах.

Видимо, неся потери и уже не рассчитывая взять лагерь в лоб, немцы задумали обходный маневр. И то болото, которое прикрывало партизан с тыла, грозило превратиться в ловушку. От бойца к бойцу передали приказ Горелову: «Отступать по одному к переправе» — переброшенной через топь сосне.

Отступление началось. Партизанская цепь постепенно редела. И главным сейчас было сколько можно задержать немцев, пока все товарищи покинут лагерь. И он, еще круче развернув пулемет, ударил очередь за очередью по тем автоматчикам, которым удалось подобраться к холму ближе всего. Началась дуэль.

По нему били из-за дубов, сосен, из-за старых, трухлявых пней. Пули жужжали над головой или рыли песок у самого края окопа. Ни одна его еще не задела. Раза два рвались гранаты, но гитлеровцы бросали их лежа, и они не долетали. Он отвечал, поводя, перенося, почти перебрасывая пулемет, мгновенно отвечая на новую вспышку огня непременно короткими очередями. И не иначе как прицелившись.

Все чаще после его очередей, в мимолетных паузах, из кустов доносился испуганный крик или тяжелый стон. А он бил, менял ленту и стрелял снова, держа в поле зрения все пространство перед бугром и радуясь, что немцы, сдерживаемые его огнем, дальше покамест не пошли. И если гитлеровцы вздумают все же осуществить обход, им придется углубиться в лес и сделать немалый крюк, требующий времени, которое любой ценой ему нужно выиграть, чтобы дать товарищам возможность отойти.

В самый разгар поединка за ними приполз лейтенант Вася Скрыпник.

«Горелов, — сказал Вася, — велел брать пулемет и отходить».

Он только махнул Васе рукой, чтобы тот поскорей отсюда убирался, пока не убило, и крикнул Тонковиду, который чего-то замешкался: «Готовь ленты!», потому что немцы, использовав паузу, сделали перебежку, и стал бить, экономя патроны, еще более короткими очередями.

И когда он уже забыл про Васю Скрыпника, тот под жестоким огнем появился у холма снова.

«Аркадий Петрович, — волнуясь, но громко прокричал Скрыпник, — вас и Тонковида вызывает Горелов! Сердится он очень...»

Он обернулся и посмотрел на бедного Васю злыми глазами:

«Уходи отсюда и не мешай...»

А Тонковид добавил: «Когда можно будет, сами уйдем».

В ту минуту они с Тонковидом уйти не могли. Он держал своим пулеметом сотни полторы, не меньше. И выпрыгни они с Мишей из окопа, немцы как саранча ринулись бы на пригорок, а там и в самый лагерь, где еще оставались люди. Они с Тонковидом не очень-то представляли, как выберутся отсюда. Да и выберутся ли вообще, но уходить сейчас, сию минуту, было ни в коем случае нельзя. И они с Мишей убедились в этом очень скоро.

Пошел на перекос патрон, и пулемет умолк. Ему бы эту ленту осторожно вынуть. А он, обдирая ладонь и пальцы, ленту рванул — и все. Гитлеровская машинка замолчала.

То без конца стрельба, он по ним, они по нему, то тихо... Немцы, видимо, заметили, что его пулемет молчит, и тоже перестали стрелять, желая удостовериться. Удостоверились и поднялись.

Вышло их столько, что зарябило в глазах. И, строча на ходу из автоматов, двинулись к бугру. А он, не снимая рук с горячего ствола пулемета, тяжело дыша, словно от бега, смотрел прямо перед собой, ожидая, как в детстве во время драки, чтобы противник подошел на взмах руки.

У него еще не было никакого плана. Но он знал: через мгновенье-другое решение придет. И ждал.

Остывающий пулемет приятно согревал руки. А немцы подбирались все ближе и ближе.

Видя, что партизаны не отвечают (они с Тонковидом только теперь обратили внимание, что справа почти никого не осталось), немцы бежали, изредка постреливая. Возможно, берегли патроны. Или полагали: все убиты, путь в лагерь открыт.

И тут пришло решение. Он пододвинул к Тонковиду пулемет:

«Займись!»

Быстро поставил ногу на край окопа, поднялся на холме во весь свой рост и, выхватив гранату, закричал: «Ура!» — и запустил ею в тех, кто был ближе к бугру.

Он любил гранаты «лимонки» еще с гражданской, Любил за малый вес. За удобную — по руке — форму. За скрытую под толстой — в крупную клетку — оболочкой мощь и устрашающий грохот разрыва. Еще тогда научился быстро и далеко их бросать, зная, как ошеломляет очередь внезапных, сильных и в самую точку разрывов, когда от неожиданности трудно сообразить: кто, из чего и откуда бьет...

Этими гранатами и теперь были всегда полны его карманы. Готовясь к бою, вставил запалы и сейчас, все так же стоя в полный рост и крича «ура», кидал их одну за другой то влево, то вправо, то прямо перед собой.

Немцы заметались. А он еще громче закричал: «Ура!» — и запустил две последние «лимонки».

Немцев было много — он один (Тонковид возился с пулеметом). Он стоял во весь рост на вершине холма, и достаточно было одной прицельной очереди, чтобы его убить, но ни у кого там, внизу, у подножья, не хватило духу остановиться, прицелиться и нажать спуск. Ни у кого... И на это он рассчитывал.

Он знал, что делает паника. Знал, что делает страх, от которого захлебываются пулеметы, перестают вдруг лезть в «казенку» обоймы, а трясущиеся руки позабывают стрелять.

«Трус, он действует в момент опасности глупо, даже в смысле спасения собственной своей шкуры».

И, запустив две последние свои гранаты, наклонился к Тонковиду и тем же голосом:

«Давай твои!»

У Тонковида на поясе тоже висело несколько «лимонок». И Миша протянул их вместе с поясом. И он снова закричал во всю глотку: «Ура!» — и, уже выбирая, где немцы покучнее, запустил одну за другой. Немцы вскрикивали, падали. Осколки его же гранат свистели совсем рядом, не задевая. И тут произошло то, что должно было произойти: серые шинели побежали.

Тонковиду наконец удалось вынуть злосчастную ленту и вставить новую, последнюю. Легко подхватив с земли громоздкий пулемет и крепко прижав приклад к плечу, он стал бить немцам вслед, не давая опомниться. Тонко-

вид встал с ним рядом, следя, чтобы не вышло нового перекоса.

Когда вышли патроны, он с сожалением опустил пулемет, спрыгнул вслед за Тонковидом в окоп и осипшим от крика голосом сказал:

«Теперь, Миша, беги. Я за тобой».

И вот они все прибрели на эту опушку [1].

ЕЩЕ ЧЕТЫРЕ ДНЯ

Решение

26 октября 1941 года Гайдар, лейтенант Абрамов, лейтенант Скрыпник и еще двое, склонясь под тяжестью заплечных мешков, шли вдоль железнодорожной насыпи на окраине села Леплява. Им предстояло дойти до будки путевого обходчика и свернуть на тропку, которая вела к новому, временному лагерю.

Было очень рано. Стоял туман. Тропа вдоль насыпи вывела пятерых на небольшую полянку. Чуть впереди слева, на высокой насыпи, темнела похожая на большой скворечник дощатая будка. Справа росли молодые сильные сосны. А немного дальше, на краю полянки, начиналась тропка. Если на нее свернуть — до нового лагеря часа два ходу.

Неподалеку от тропы, под соснами, пятеро делают привал. Снимают мешки. Разминают плечи. Усаживаются на пожухлой траве. Достают кисеты. Устало улыбаются.

Когда совсем рассветет — они в лагере. А завтра в это же время снимаются и уходят в настоящий, надежный партизанский лес, где можно продержаться до весны, а там будет видно.

...После боя в лесу у него было совершенно убитое настроение. И когда в ожидании темноты все сидели кто на чем, рядом с ним, на поваленном дереве, устроился лейтенант Сергей Абрамов, саперы которого «задержали» его в Семеновском лесу.

Абрамов относился к числу тех ребят — солдат и очень молодых командиров, которые, по их словам, «росли на книгах Гайдара» и которые с предупредительностью и почти обожанием относились к нему всякий раз, как только его узнавали. А Сергей Абрамов со своими саперами еще там, в Семеновском лесу (как он узнал), дал себе зарок быть всюду с ним, по крайней мере до выхода из окружения. И в самом деле, Абрамов сопровождал его на все операции и только из-за него не пошел к линии фронта с Орловым...

И, поворотясь к Абрамову, он сказал:

«Сережа, запиши мой адрес...»

— Ну, что вы, Аркадий Петрович, — испугался Абрамов.

— Нет, ты на всякий случай запиши... Если что со мной случится, сообщишь в Москву, даже не домой, а в Союз писателей, вернее дойдет.

Он вынул из нагрудного кармана гимнастерки маленький браунинг и протянул лейтенанту:

«Он долго у меня хранился. Нá вот, я дарю его тебе».

Адресами в окружении обменивались все. Это был единственный шанс дать о себе знать на Большую землю. Просил не только он — просили и его. Многие адреса он записал. Какие-то при самых разных обстоятельствах потерял. До линии фронта по-прежнему было еще далеко. А ему нужно было, чтоб при всех обстоятельствах сведения о нем дошли в Москву. То есть в первую очередь в Союз писателей, потому что существовал не только он, но и его книги. И если даже его здесь, в немецком тылу, убьют, на книги не должна лечь тень.

И тогда он придумал, как сделать, чтобы люди о нем не забыли: давал адрес союза, то есть просто: «Москва, Союз писателей» — и каждому, кого об этом просил, дарил оружие.

Он с детства был неравнодушен к пистолетам и револьверам. Добывал и находил их теперь где только мог: хорошее оружие на войне — большая ценность, особенно если его не хватает... И он подарил свой наган шоферу Саше Ольховичу, в доме которого оставил письмо для Тимура.

Он дал свой браунинг второй номер капитану Якову Рябоконю, который вывел их всех из Семеновского леса, дал в надежде, что покалеченному капитану вряд ли придется еще воевать, отлежится где-нибудь в тиши, а там, смотришь, и придут наши [1].

Один пистолет с той же просьбой оставил детям лесника Швайко — Васе и Володе. Хотел, но не успел — помешали немцы — подарить браунинг Мише Тонковиду (разговор на эту тему с Мишей случился во время

засады). И вот отдал крошечный свой «вальтер», который берег на всякий случай *для себя*, Сереже Абрамову.

После боя у лесопилки (наверное, от усталости) у него было редко обманывающее старых солдат предчувствие, что ему отсюда уже не выбраться — иначе бы ни за что не расстался с крошечным браунингом.

В том же настроении пришел с товарищами и к Степанцам. Они жили в самой Лепляве.

Андриан Степанец, председатель соседнего колхоза, человек скромный, даже незаметный, на задания в отряде ходил со всеми, на рожон никогда не лез, зато в минуту опасности не робел.

Немало партизан было из окрестных сел, однако только тихий Андриан Степанец решился превратить свой дом в Лепляве в явочную квартиру [1].

А семья у Андриана была такая: жена Феня, да теща, баба Устя, да двое мальчишек: Витя и Коля, да двое девчонок: Лида и Нина. В отряде, когда Степанец впервые такое предложил, то есть чтоб не стеснялись, приходили к нему в дом, задумались: соглашаться или нет. Шутка: семь человек. Из них четверо детей. Но Андриан убеждал: если пробираться огородами и по вечерам, то ничего страшного.

Соблазн иметь в селе явочную квартиру был велик. Идешь ли в дальнюю деревню, возвращаешься ли с задания, всегда можно зайти, узнать новости, заодно погреться, поесть горячего, а то и поспать в тепле. И пока ты короткие часы эти, бывало, спишь, Феня постирает рубашку, просушит портянки. Наварит картошки на завтрак. И ты выходишь из дому в знобкий туман, ощущая, как тепло ногам и всему телу.

Он любил приходить к Степанцам. И как только вваливался в дом, садился на любимое свое место под портретом старого Тараса, доставал тетрадь, не отвлекаясь на разговоры, принимался за работу. И жалел, что ее всякий раз прерывал обязательный ужин.

Но тогда, четыре дня назад, после боя, им, кажется, впервые не были рады. О бое село уже знало. И когда они все, сколько их осталось, ввалились к Степанцам, баба Устя и Феня вопросительно и тревожно уставились на них.

«Разбили нас, Федоровна, — сказал Горелов Фене. — Одно хорошо, людей спасли».

За столом места всем не хватило. Партизаны пристроились на лавках, на полатях, а двое, по лагерной привычке, прямо на полу.

Возбужденно беседовали о бое, вновь припомнили таинственное исчезновение хозяйственника Погорелова, который последнее время не находил, куда себя деть, и все повторял: «До каких же пор нам нужно будет, как зайцам, жить и каждого выстрела бояться?»

Он весь вечер молчал, но, когда заговорили о Погорелове, не выдержал:

«Попадись мне теперь этот Погорелов, задушил бы своими руками...»

После ужина, когда Феня все убрала, Горелов, он, Сесько, Абрамов, Скрыпник и еще несколько человек снова сели за стол: предстояло решить, что делать дальше.

Комиссар отряда Ильяшенко в утренней разведке погиб. Начальник штаба Тютюнник с частью бойцов отступил в плавни, и связь с ним потеряна.

Возвращаться на старое место нельзя. Оставаться в Лепляве тем более. Куда ж идти?..

И вдруг Горелов предложил: «Надо разбиться на группы и уйти в подполье».

Сам Горелов и вообще местные в подполье уйти могли: кругом у каждого полно родни и знакомых. А что делать остальным? И почему Горелов не предлагал то же самое перед уходом группы Орлова?

И он снова вспылил:

«Что значит «уйти в подполье»? — спросил он, поворачиваясь к Горелову. — А сейчас мы, Федор Дмитриевич, что́ — легальный партизанский отряд имени Гельмязевской райуправы при Золотоношской фельдкомендатуре?.. Да́, нас теперь мало. Но пока мы вместе, мы боевой отряд. А если разделимся, мы беженцы с оружием. И нас переловят по одному...»

Его поддержали все. И смущенный Горелов на своем предложении больше не настаивал.

Условились, что Федор Дмитриевич отправляется с двумя бойцами на поиски другого отряда или в крайнем случае места для новой базы. Остальные будут ждать Горелова или связных в так называемом запасном лагере близ Прохоровки, в реденьком лесочке, километрах в восьми от Леплявы.

В двух замаскированных землянках, кроме нар, маленьких печек и сухих, заранее заготовленных дров, ничего не нашлось.

Ни щепотки соли, ни сухаря.

Леонид Довгань и Василий Сесько (оба родом из Прохоровки) сходили домой, принесли хлеб, сало и вареную картошку.

Партизаны отсыпáлись. Чистили оружие. Стояли по очереди в дозорах. Вспоминали случаи из своей жизни.

А он целыми днями писал.

Сесько с Довганем еще раза два пробирались в свое село, однако того, что приносили из дому, с трудом хватало лишь на день: это ведь не шутка — накормить двадцать человек.

По всем статьям выходило, что нужно из этой рощицы убираться подобру-поздорову, но следовало ждать Горелова.

Вынужденная предосторожность

Пока что сделал одну важную вещь: побывал у лесника Швайко и оставил там свои рукописи.

Он носил их последнее время в брезентовой сумке из-под противогаза. Маленькое отделение, для маски, было доверху набито патронами для пистолета, запалами для гранат (если попадутся гранаты без запала), мотками тонкого телефонного провода и другой военной галантереей.

А в большом у него были бумаги. Из-за них, зная, как бывает коварна война, нигде ни на час не оставлял свою сумку. Ложась спать, клал ее рядом с оружием, а вставая, надевал через плечо вместе с пистолетом.

Статьи, отосланные им в «Комсомольскую правду», — это была лишь малая часть увиденного и узнанного. Остальное копилось и собиралось им впрок. Исключение составляли два-три очерка, которые хотел, но не смог отправить с Орловым.

Он много последнее время писал: оборона Киева. Окружение. Бориспольское шоссе. Цепной мост. Семеновский лес. Марш-бросок к Лепляве. Дневник партизанского отряда. Бой у лесопилки...

Он не был на войне сторонним наблюдателем.

Он целиком относил к себе слова Пушкина: «Приехать на войну с тем, чтоб воспевать будущие подвиги, было бы для меня... слишком непристойно...» Он многое испытал сам. Еще больше ему рассказывали. И товарищам по оружию, вместе с которыми ходил в бой, случалось, обещал:

«...Кончится война, и если останемся живы, напишу и про вас».

Знал: многие ждали. Иных его присутствие заставляло не подличать и не пасовать. У него появилась даже особая поговорка: услышав печальную весть или узнав о подвиге, говорил: «Что ж, и это запишем».

И писал. И сумка тяжелела. Постепенно пришлось расстаться с книгами, которые носил. Их заменили исписанные листки и самодельные блокноты. В тетради же с коленкоровым переплетом заносил только особенно важное. А когда кончилась разрозненная бумага, то уже мелким почерком все...

И он уже не мог сумкой рисковать. В ней заключалось теперь все его литературное будущее — целая библиотека немалого размера книг, которые он чувствовал себя в силах написать... если, конечно, вернется. Но даже в том случае, если не вернется, сумка не должна пропасть.

Много раз его уговаривала оставить сумку, не таскать повсюду с собой Феня Степанец. Один раз, это было до боя, согласился, оставил, а через день пришел и забрал: так ему было спокойнее.

Когда ж теперь все стало ненадежно и неопределенно, понял: сумку дальше носить нельзя. И оставил бóльшую часть бумаг Михаилу Ивановичу Швайко. Оставил леснику, а не Степанцам не потому, что крепче доверял: просто Степанцы жили в селе, прятать могли только в доме либо в огороде. Где же еще?.. А в лесу каждый пень тайник.

Передав Михаилу Ивановичу свои тетрадки и записи, растолковал, что его бумаги представляют ничуть не меньшую ценность, чем документы, в том числе секретные, которые оставлены леснику другими окруженцами.

...Сумка сразу сделалась легкой: одна недописанная тетрадь, кое-какие малоценные бумаги: наброски, короткие диалоги, мелкие факты; оставлять и это на хранение

вроде неудобно, выбрасывать жалко. Выкинешь, сядешь потом работать, а эти бумажки как раз тебе больше всего и будут нужны... [1]

Прогулка

Горелов появился на третьи сутки. Спросил, как они тут. Бойцы пожали плечами и коротко ответили: «Пятачок». Федор Дмитриевич весело засмеялся:

«Ничего... Мы это скоро исправим. Перебираемся, хлопцы, на новое место. Человек один объяснял: есть подготовленная база. Немцы туда дороги не найдут».

Вообще было заметно, что Горелов вернулся в хорошем настроении.

Лагерь, в который предстояло перебраться, находился километрах в восьмидесяти. Требовались продукты на дорогу в самое первое время, чтобы не раскапывать аварийный склад, заготовленный вблизи тех же мест. Сесько заикнулся было, что они с Довганем принесут. На них зашикали: «Хватит...»

И тогда стали думать. Старый лагерь немцы разграбили, но солдаты, конечно, не знали про сало и копченую свинину, подвешенную в мешках к деревьям после налета на Каленики. Мяса там оставалось много. Забрать все не удастся. А унести полтораста-двести килограммов не составит особого труда.

Горелов собрал мешки. Их оказалось всего пять. И пустое ведро, в которое могло войти еще полпуда.

Пять мешков. Пять человек. Ведро можно нести в руке.

— Кто пойдет? — спросил Горелов.

— Я, — сказал Скрыпник.

— Я, — произнес Александров.

— Я, — повторил вслед за ним Никитченко.

— Я, — вызвался он.

— И я тоже, — поспешно присоединился лейтенант Абрамов.

— Аркадий Петрович, вы не пойдете, — почему-то встревожился Горелов.

— А что, Федор Дмитриевич, здесь делать? — обиделся он. — А так все-таки прогулка...

И вот теперь, с набитыми до отказа мешками, они возвращались.

* * *

> Это я... который крепко любил свою Родину... с опасностью для жизни подавал тревожные сигналы.
>
> И в следующее же мгновение пуля... крепко заткнула мне горло. Но даже падая, я не переставал слышать все тот же звук, чистый и ясный, который не смогли заглушить ни внезапно загремевшие... выстрелы, ни тяжелый удар разорвавшейся неподалеку бомбы.
>
> Аркадий Гайдар,
> Судьба барабанщика

Гайдар и еще четверо партизан отдыхают под соснами, не зная, что еще вчера их заприметили, донесли и что окраина села оцеплена, а в десяти-пятнадцати метрах от них, возле той самой тропы, на которую им предстояло свернуть, сидят, готовые схватить их всех живьем, немецкие автоматчики, которые на всякий случай держат их всех на мушке и не стреляют, между прочим, еще и потому, что недоумевают: отчего остановились эти пятеро? Или ждут кого?

Проходит несколько минут. Пора бы и трогаться. Но трогаться, чтобы снова идти, не хочется. Оттягивая время, закуривают еще по одной. Последней.

«Картошки бы взять у Сорокопуда», — предлагает кто-то.

Действительно, сало теперь есть. Мясо тоже. Хлеб в землянках оставался. А картошки нет, и достать ее в лесу негде. Разве опять в Прохоровке. А путевой обходчик Сорокопуд, вот он — рядом, перешел дорогу — и сразу его дом.

Освободили ведро. Сало из него переложили в мешки. А подыматься все равно никому не хочется. Тогда встает Гайдар.

Последнее время он почти совсем не спал, каждую ночь по многу раз, как в юности, обходя караулы, потому что все ему казалось ненадежным: и лесок, и тишина вокруг. Обойдя посты, Гайдар возвращался в землянку, но уже не мог уснуть: думал о доме, о себе, об отряде, который спас уже дважды: в бою, прикрывая пулеметом отход (Аркадий Петрович гордился, что наших при отступлении погибло очень мало), и сразу после боя, в споре с Гореловым.

Не позволив разбиться на кучки, он брал ответственность за дальнейшее на себя. И это тоже не давало спать.

Тихо звякает, покачиваясь на дужке, пустое ведро. Отчетливо слышны шаги Гайдара по промерзшей земле.

...У гребня насыпи спиной вдруг ощутил: сзади кто-то прячется, рывком обернулся — и увидел.

Они притаились до неправдоподобного близко: возле самой тропы. Надо было их вовсе не ждать, чтобы сразу не заметить.

В запасе лишь несколько мгновений, самые короткие в его жизни доли секунды. Немцы еще не уверены, что он в тумане их разглядел. Ждут, что он предпримет. И потому ход за ним. Можно сделать ход пешкой. И ход конем. Можно все выиграть и все проиграть. Военной судьбой ему сейчас отмерен один только шаг.

Метнуться через насыпь? Здесь одноколейная дорога. И если прыгнуть сперва чуть в сторону, чтобы сбить немцев с прицела, то уйти можно. Конечно, шанс невелик. Это ясно. С десяти-пятнадцати шагов он до обидного отличная мишень. Но шанс этот есть!.. Есть!! Есть!!! И весь прежний опыт ему подсказывает: не бывает такого положения, когда рисковый человек может безвольно сказать себе: «Кончено...»

Он сам писал о Сережке Чумакове, который, столкнувшись лицом к лицу с белыми и не имея под рукой ничего, кроме гранаты без капсюля, не только не погиб, а еще взял в плен троих.

Он сам, в молодости наткнувшись с комвзводом Никитиным на полусотню Ваньки Соловьева, первым выхватил саблю и, отдав команду двум несуществующим эскадронам, ринулся вперед...

И еще недавно в Киеве, когда его спросили, зачем он лезет под пули, ответил: «Чтобы жить!»

Он всюду шел первым, чтобы выжить — но не за счет других...

— Ребята, немцы! — крикнул он.

Треснула одинокая очередь.

Но прежде чем пулемет застучал опять, в кусты, где притаились немцы, за деревья, где они прятались, полетели гранаты. Крик Гайдара лишь на несколько мгновений опередил выстрелы. Но это были те самые мгновения, которые позволили товарищам выхватить и бросить гранаты. Мгновения, ошеломившие гитлеровцев стремительностью ответного удара. Мгновения, лишившие врага главного преимущества — внезапности... Мгновения, даровавшие жизнь всем четверым...

Когда немцы, переждав взрывы, ударили из всех пулеметов и автоматов, под соснами лежали только мешки.

Он погиб, чтоб спасти. И спас.

Одна-единственная пуля попала ему прямо в сердце, но и с пробитым насквозь сердцем он еще какое-то время жил.

Кого он в эти мгновения мысленно видел перед собой?

Кого молча звал?

О чем думал?

А может, ни о чем не думал? Ведь это, наверное, очень больно — так любить людей...

* * *

Его похоронил тот самый путевой обходчик Игнат Сорокопуд, к которому он шел за картошкой.

* * *

Отряд после гибели Гайдара просуществовал два дня.

Горелов снова предложил разделиться и порознь двинуться к линии фронта. И не было никого, равного Гайдару по авторитету, кто бы вновь отстоял отряд.

Первой жертвой ошибочного решения Горелова стал сам Горелов. Вместе с двумя бывшими партизанами он был схвачен неподалеку от райцентра, на хуторе Малинивщина. Все трое были жестоко пытаны и расстреляны.

Держался Горелов на допросах, по рассказам, стойко.

* * *

Весной 1942 года в Москву пришло письмо:

«Уважаемая товарищ Гайдар!

Я пишу это письмо и не знаю, попадет ли оно Вам в руки, потому что отправляю не совсем обычной почтой и боюсь, что оно может Вас не застать в Москве.

...Выполняя просьбу Вашего мужа, Гайдара Аркадия Петровича, сообщаю Вам, что он погиб от рук фашистских варваров 26 октября 1941 года. Мне трудно писать эти строки, но я обещал ему исполнить его просьбу, как будет только возможность сообщить о его смерти Вам. И вот только теперь представилась эта возможность.

Вы знаете, что Аркадий Петрович последнее время был корреспондентом Юго-Западного фронта. До последнего

времени он был в Киеве. Когда образовалось окружение, то Гайдару предложили вылететь на самолете, но он отказался и остался в окружении с армией. Когда часть армии была разбита, то мы, выходя из окружения, остались в партизанском отряде в приднепровских лесах. И однажды мы ходили по продукты на свою базу и нарвались на немецкую засаду, где и был убит тов. Гайдар Аркадий Петрович.

Его могила находится в Полтавской области, около железной дороги, которая идет с Канева на Золотоношу. Если ехать с Канева, то надо доехать до станции Леплява и затем пойти пешком до первого переезда в направлении Золотоноши. Там есть будка, вот около этой будки, на правой стороне железной дороги, метрах в пяти от полотна, и похоронен он.

Будочник знает могилу. И если когда-нибудь Вам придется побывать там, то Вы ее найдете.

Я кончаю писать, мне трудно теперь вспомнить то, что прошло, потому что мы любили нашего Аркадия Петровича.

До свидания.

Остаюсь — лейтенант С. Абрамов...»

Это письмо я передаю из временно оккупированной Украины.

Привет всем, всем, всем от товарищей-партизан, знавших его.

Мы обещались отомстить врагу за то, что они его убили, и мы отомстим так, как умел мстить тов. Гайдар. Он всегда храбро дрался и геройски погиб».

* * *

Этим письмом начиналась новая жизнь Гайдара в литературе.

ПРИМЕЧАНИЯ

К стр. 19. Лебяжьев послужил прототипом училищного инспектора в повести Гайдара «Школа».

К стр. 28. В автобиографической повести «Школа» бесславный побег на фронт совершает первоклассник Митька с выразительной фамилией Тупиков: «Первоклассник Тупиков оказался дураком. Он даже не знал, в какую сторону надо на фронт бежать...»

К стр. 28. Как известно, преподаватель словесности Н. Н. Соколов выведен в повести «Школа» под именем ремесленного учителя Галки.

К стр. 74. В 1924 году в память о друге, который погиб на гражданской войне, С. В. Бычков взял себе фамилию Лаут, о чем Тамбовский городской загс 10 января 1924 года выдал специальное «Свидетельство о перемене фамилии или имени» за № 2.

В настоящее время С. В. Лаут — персональный пенсионер. В связи с 50-летием Октябрьской революции награжден орденом Красной Звезды.

К стр. 84. П. М. Никитин («Пашка Цыганок») после гражданской прошел еще три войны. В настоящее время персональный пенсионер. В связи с 50-летием Октябрьской революции награжден орденом Красного Знамени.

К стр. 121. Н. А. Голикова похоронена в Алупке, в Воронцовском парке, в братской могиле коммунистов, павших в гражданскую войну за освобождение Крыма. На большом памятнике, который сохранился в парке, имена героев не указаны. Имя Н. А. Голиковой тоже.

К стр. 141. Письмо хранится в личном фонде С. А. Семенова в отделе рукописей Государственной Публичной библиотеки имени Салтыкова-Щедрина в Ленинграде. Публикуется в сокращении.

К стр. 151. Сорок лет спустя, 9 июля 1966 года в газете «Вечерний Свердловск» была напечатана заметка «И на помощь пришел Гайдар», посвященная дальнейшей судьбе бывшего студента Левина, который, став врачом, «спас жизнь сотням людей, пришел на помощь не в одну семью».

В письме автору этих строк М. С. Левин написал: «Я помню... разговор с А. Гайдаром в редакции пермской газеты «Звезда» и то, как чутко и быстро он среагировал на мою обиду. Резонанс от фельетона был — все было сделано так, как надо было бы это сделать сразу...» *

К стр. 204. Письмо на бланке журнала «Октябрь» датировано 10/III 1929 года. Написано от руки. Подпись, к сожалению, не разборчива (ЦГАЛИ, ф. 1672, оп. II, ед. хр. 17).

К стр. 209. Дружба Гайдара с М. М. Ландсманом длилась свыше десяти лет. Некоторое время назад в домашнем архиве Ландс-

манов нам посчастливилось обнаружить два редких снимка: на одном Гайдар был сфотографирован с Ландсманом, а на втором — с Тимуром и Л. Л. Соломянской. Второй снимок, как выяснилось, больше ни у кого не сохранился. И был переподарен автором этих строк Л. Л. Соломянской.

М. М. Ландсман, командир кавалерийской разведки, погиб в конце 1941 года во время рейда в немецкий тыл.

К стр. 244. Сохранившиеся черновики «Военной тайны» — это три столистовые тетради в клеенчатых переплетах. Одна была подарена Гайдаром И. И. Халтурину (эта тетрадь частично опубликована в книге В. В. Смирнова «Аркадий Гайдар»). Две другие находятся в личном архиве Л. Л. Соломянской. С любезного разрешения Л. Л. Соломянской с этих тетрадей в 1956 году нами была снята копия, по которой и приводятся публикуемые отрывки.

К стр. 279. П. И. Голиков умер в 1927 году и, как бывший комиссар полка, был похоронен в Арзамасе с воинскими почестями. Могила не сохранилась. Теперь на месте старого кладбища — парк имени А. П. Гайдара.

К стр. 290. Оценка дискуссии о повести «Военная тайна» содержалась в выступлении А. С. Щербакова (в ту пору заведующего отделом культурно-просветительной работы ЦК ВКП(б)) на Первом совещании по детской литературе в январе 1936 года.

«Плохо то, — говорил Щербаков, — что иногда идейность и принципиальность в критике подменяются мелкой, ненужной возней, что в эти споры вносятся неделовые моменты, — в результате споры перерастают в мелкие придирки, и тогда грош цена этому спору.

Примером такой непринципиальной, а стало быть, ненужной дискуссии явилась дискуссия о книге Гайдара «Военная тайна» (журнал «Детская литература», 1936, № 3, стр. 3).

К стр. 305. Киносценарий до недавнего времени считался утраченным. К счастью, первые десять страниц отыскались в личном архиве Гайдара в ЦГАЛИ. Остальной же текст до конца сороковых годов хранился *у писателя С. В. Розанова. При подготовке* сборника «Жизнь и творчество А. П. Гайдара» Розанов передал машинописный текст сценария с пометками и правкой Гайдара В. С. и Р. И. Фраерман.

Киносценарий «Военная тайна» с предисловием Р. И. Фраермана впервые опубликован в журнале «Пионер», 1969, № 5 и 6.

К стр. 340. Кинофильм «Клятва Тимура» самоотверженными усилиями коллектива во главе с Л. В. Кулешовым был в короткие сроки отснят, однако на экран не вышел. Лента хранится в Центральном государственном архиве кинофотофономатериалов СССР.

К стр. 345. Письмо в партбюро ССП цитируется по заверенной копии, хранящейся у Д. М. Гайдар. Подлинник — в архиве Союза писателей СССР.

К стр. 356. Норик Гарцуненко и его товарищи продолжали свою работу и после падения Киева... В настоящее время Н. М. Гарцуненко живет на Украине. Он мастер цеха на одном из крупных предприятий.

К стр. 364. Письмо пришло по почте. В настоящее время хранится в фонде Гайдара в Центральном государственном архиве литературы и искусства СССР.

К стр. 365. Письмо Тимуру не сохранилось. Отрывок из него цитируется так, как он запомнился бывшему шоферу А. К. Ольховичу.

К стр. 394. О подвиге Гайдара в бою у лесопильного завода бывший начальник штаба партизанского отряда И. С. Тютюнник писал так: «Натиска фашистов с переважающими силами отряд не выдержал и получил команду отойти. Гайдар как пулеметчик продолжал отбиваться, так что тов. Гайдар, по сути, сам вызвался прикрывать отступающих пулеметным огнем, это была большая помощь для спасения людей отряда» (из письма автору книги).

К стр. 395. Капитан Я. К. Рябоконь через несколько месяцев выздоровел. На своей родине, в Христиновском районе Черкасской области, возглавил подпольную группу, которая действовала до прихода Советской Армии в 1943 году.

Весной 1945 года, на подступах к Берлину, Рябоконь был вторично тяжело ранен. В настоящее время — инвалид войны.

К стр. 396. Сейчас в хате Степанцов в Лепляве «Дом партизанской славы» — филиал Каневской библиотеки-музея А. П. Гайдара. Десятки тысяч экскурсантов ежегодно бывают в этом доме. И пояснения всем им дает вдова партизана — Афанасия Федоровна («Феня») Степанец.

К стр. 400. Лесник Михаил Иванович Швайко уже после гибели писателя несколько раз обещал жене и сыновьям показать место, где спрятаны рукописи Гайдара. К сожалению, лесника все время отвлекали другие дела, а зимой 1942 года по доносу предателя Михаил Иванович был арестован и расстрелян.

В октябре 1966 года автор этих строк вместе со старшим сыном погибшего лесника, Владимиром Михайловичем Швайко, с помощью товарищей из Каневского райкома партии предпринял раскопки на территории бывшего кордона № 54, которые не дали никаких результатов.

Каневская библиотека-музей А. П. Гайдара, пользуясь наплывом экскурсантов и туристов, проводит каждое лето поиск «Операция «Сумка Гайдара», в котором принимают участие сотни пионеров и комсомольцев, сотни людей старшего возраста. Найдено много оружия, предметов снаряжения и военного быта.

Может быть, одна из групп в цинковом ведре или проржавевшей патронной коробке найдет и рукописи Гайдара?..

ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА

1904, 22 января — Во Льгове, в семье учителей Голиковых, родился сын Аркадий.
1910 — Переезд семьи в Нижний Новгород.
1912 — Переезд семьи в Арзамас.
1913 — Аркадий поступает в подготовительную школу Хониной.
1914 — Аркадий поступает в реальное училище.
1917, февраль — Аркадий знакомится с большевиками.
1918, ноябрь — Вступает в Красную Армию, становится адъютантом Ефимова
1919 — С февраля по август учится на Киевских командных курсах Красной Армии. Становится командиром роты.
1919, 6 декабря — Контужен и ранен в ногу шрапнельным снарядом.
1920, январь — Приезжает на побывку домой, в Арзамас.
1920, февраль — Направлен в Высшую стрелковую школу командного состава («Выстрел») в Москве.
1920, март — Послан «для практики» на Кавказский фронт.
1921, февраль — Окончил школу «Выстрел». Назначен командиром 23-го запасного полка ОВО в Воронеже.
1921, июнь — Назначен командиром 58-го особого назначения полка в Моршанск Тамбовской губернии. Здесь вторично ранен.
1922, февраль — Получает направление в Сибирь. В апреле назначен командиром второго боевого района по борьбе с бандитизмом. Приступает к повести «В дни поражений и побед». Заболевает травматическим неврозом.
1924, апрель — Уволен из армии по болезни в должности командира полка.
1924, осень — Приезжает в Ленинград. Знакомство с С. Семеновым, М. Слонимским, К. Фединым.
1925 — В альманахе «Ковш» выходит повесть «В дни поражений и побед», в апрельском номере «Звезды» — рассказ «РВС».
1925, осень — Переезжает в Пермь Работает фельетонистом в газете «Звезда»
1926 — *Пишет и публикует повесть «Жизнь ни во что»* («Лбовщина») Совершает с Н. Кондратьевым путешествие в Среднюю Азию. Пишет повесть «Всадники неприступных гор»
1927, февраль — Работает в газете «Уральский рабочий» (Свердловск).
1927, июль — Переезжает в Москву. Сотрудничает в газете «Красный воин».
1928 — Заканчивает книгу «На графских развалинах». Начинает повесть «Автобиография».
1928, декабрь — Переезжает в Архангельск. Работает в газете «Волна» («Правда Севера»).
1929 — В журнале «Октябрь» (апрель — июль) печатается повесть «Обыкновенная биография», которая затем выходит в «Роман-газете для ребят».
1930 — Переезжает в Москву. Пишет рассказ «Четвертый блиндаж».

1931 — В августе в Крыму заканчивает повесть «Дальние страны». В декабре уезжает на Дальний Восток.
1932 — С января по сентябрь — фельетонист газеты «Тихоокеанская звезда» (Хабаровск).
1932, осень — Возвращается в Москву.
1933 — Публикует рассказ «Пусть светит» и «Сказку о Мальчише-Кибальчише».
1934 — Публикует в «Пионере» повесть «Синие звезды».
1935, январь — Едет в Арзамас. Летом начинает рассказ «Хорошая жизнь», который заканчивает в декабре в Ленинграде.
1936 — Весной задумывает повесть «Судьба барабанщика», которую завершает зимой 1938 года.
1937 — Пишет повесть «Талисман» («Семен Бумбараш») и сценарий «Военная тайна».
1938 — Пишет сценарий «Судьба барабанщика».
1939 — В феврале награжден орденом «Знак Почета». В октябре приступает к повести «Дункан и его команда».
1940 — В апреле заканчивает сценарий «Тимур и его команда». Летом — одноименную повесть. Осенью пишет сценарий «Комендант снежной крепости».
1941 — С 23 июня по 6 июля вместе с режиссером Л. Кулешовым работает над сценарием «Клятва Тимура».
21 июля — Уезжает на фронт.
Август — Последний приезд в Москву.
18 сентября — Остается в окружении под Киевом.
4 октября — Попадает в партизанский отряд под Леплявою
22 октября — Прикрывает огнем ручного пулемета отход товарищей в бою у лесопильного завода.
26 октября — На окраине Леплявы совершает свой последний подвиг.
1947, лето — Прах Гайдара перевозят из Леплявы в Канев.
1963, 31 декабря — Награжден орденом Отечественной войны первой степени (посмертно).

КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

Сочинения. (Вступительная статья Л. Кассиля.) М.—Л., Детгиз, 1946
Сочинения в двух томах (Предисловие А. Кононова.) М.—Л., Детгиз, 1949
Сочинения в двух томах. М., ГИХЛ, 1957.
Собрание сочинений в четырех томах. (Вступительная статья Л. Кассиля.) М., Детгиз, 1955—1956 (издание повторено в 1959—1960 и 1964—1965 гг.).

Произведения, которые не вошли в собрания сочинений

«Жизнь ни во что» («Лбовщина»). Повесть. Пермь. «Пермкнига», 1926
«Тайна горы». Фантастический роман. Сборник «На суше и на море». М., «Молодая гвардия», 1927.

«Судьба барабанщика», киносценарий (публикация Л. Л. Соломянской), «Искусство кино», 1955, № 4.

«Военная тайна», киносценарий (публикация Р. И. Фраерман). «Пионер», 1969, № 5—6.

«История о неуловимом билете». Рассказы. Очерки. Фельетоны (Составитель Н. Н. Орлова.) М., «Молодая гвардия», 1965.

Литература о Гайдаре

«Жизнь и творчество А. П. Гайдара». Сборник. (Составление и общая редакция Р. И. и В С. Фраерман. М., Детгиз (Дом детской книги), 1951 (издание повторено в 1954 году и в дополненном виде в 1964 году).

«Жизнь и творчество А. П. Гайдара». Материалы для выставки в школе и детской библиотеке. (Составители Н. В. Александрова и Н. И. Павлова.) М., Детгиз, 1963

Е. И. Петряева, О творчестве Аркадия Гайдара. Учебное пособие для студентов-заочников. Одесса, 1961.

А. П. Гайдар, Сборник статей. (Отв. редактор В. В. Основин). Арзамас, 1963.

«Творчество А. П. Гайдара». Сборник статей. (Отв. редактор В. В. Основин). Горький, Волго-Вятское книжное издательство, 1966.

«Творчество А. П. Гайдара». Материалы Третьей межвузовской теоретической конференции, проводившейся в Арзамасском государственном педагогическом институте имени А. П. Гайдара. (Отв. редактор В. И. Курылев). Горький, 1968.

«Гайдар на войне». Письма и воспоминания фронтовых товарищей. (Вступительная статья и публикация Б. Н. Камова). В кн.: «Советские писатели на фронтах Великой Отечественной войны». «Литературное наследство», т. 78 (книга вторая). М., «Наука», 1966.

Н. Афонина, А. П. Гайдар и наш край. Горький, Волго-Вятское книжное издательство, 1968.

Н. В. Богданов, Побратимы революции. Рассказы об Аркадии Гайдаре и Николае Островском. М., «Знание», 1967.

А. Бурлов, Гайдар на Севере. Архангельск, Северо-Западное книжное издательство, 1965.

Шамиль Галимов, Аркадий Гайдар в Архангельске. Архангельское книжное издательство, 1962.

С. Гинц, Б. Назаровский, Гайдар на Урале Пермское книжное издательство, 1968

Б. Емельянов, Рассказы о Гайдаре. В книге «Повести и рассказы разных лет». М., «Советский писатель», 1967.

Б Камов, Партизанской тропой Гайдара М, «Детская литература», 1968.

Б. Камов, Аркадий Гайдар. Биография. Пособие для учащихся. Л., Учпедгиз, 1963.

В. Малюгин, Повесть о Гайдаре. Горький, книжное издательство, 1964

В. Королев, Гайдар шагает впереди. Владивосток, Дальневосточное книжное издательство, 1967.

М. Котов, В. Лясковский, Всадник, скачущий впереди. М., Воениздат, 1967.

Б. Осыков, Здесь рождались «Синие звезды». Воронеж, Центрально-Черноземное книжное издательство, 1968.

Е. Путилова, О творчестве Гайдара. Л., Дом детской книги, 1960.

В. Смирнова, Аркадий Гайдар. М., «Советский писатель», 1961.

Р. Фраерман, Любимый писатель детей. М., «Московский рабочий», 1964.

По гайдаровским местам (Арзамаса). Справочник-путеводитель. Составитель Ю. В. Суворов. Волго-Вятское книжное издательство, 1966.

Библиотека-музей Аркадия Гайдара. Путеводитель. Составитель В. Береза. Днепропетровск. Издательство «Проминь», 1970 (на украинском языке).

При подготовке книги использованы материалы Арзамасского краеведческого музея, Арзамасского музея А. П. Гайдара, библиотеки-музея А. П. Гайдара в Каневе, архива ДДК издательства «Детская литература» (Москва), отдела рукописей ГЛМ (Москва), отдела рукописей ГПБ имени Салтыкова-Щедрина (Ленинград), архива редакции газеты «Тихоокеанская звезда», архива редакции радиопередач «Амурские орлята» (Хабаровск), ЦГАЛИ СССР, документы государственных и партийных архивов Архангельска, Красноярска, Перми, Свердловска, Хабаровска и Черкасс, а также материалы личных архивов и личные воспоминания близких, друзей, боевых товарищей и сотрудников А. П. Гайдара, рассказы которых, за редким исключением, записаны на магнитофонную ленту.

По арзамасскому периоду: З. В. Гладкова, Е. П. Голикова-Стадухина, Н. П. Голикова-Полякова, Л. П. Голикова, М. П. Голикова, О. П. Голикова-Волина, А. Ф. Зиновьев, Н. Н. Киселев, П. П. Мелибеев, Н. И. Николаева, Е. И. Петрова, Н. Н. Похвалинская, И. Б. Сегаль, З. В. Субботина.

По периоду гражданской войны: М. И. Штиллер (Киевские командные курсы Красной Армии), А. А. Оболдуев (23-й запасный полк), С. В. Бычков-Лаут (58-й Нижегородский полк), Ф. И. Барков, Н. К. Казанцев, Ф. Ф. Катюрин, Ф. И. Качкин, А. А. Кожуховская, И. А. Кожуховский, П. М. Никитин, Н. А. Урванцев и др. (сибирский период).

По ленинградскому периоду: Н. Г. Волотова-Семенова, М. Л. Слонимский.

По пермскому периоду: М. С. Альперович, С. М. Гинц, С. С. Завьялов, Г. В. Ляхин, С. В. Милицин, Б. Н. Назаровский, А. В. Плеско, Г. Н. Плеско, В. Г. Соколова, Л. Л. Соломянская.

По архангельскому периоду: В. Н. Донников, А. Н. Семаков, А. А. Талашов.

По артековскому периоду: Н. И. Зубаков, Н. А. Лялин, В. М. Филиппова-Пушкина, С. М. Фрадкина.

По хабаровскому периоду: И. А. Горбунов, Б. Г. Закс, А. Ф. Ивенский, В. С. Красноперова, В. Д. Костко, С. А. Леонов.

Предвоенные годы: Н. В. Богданов, Д. М. Гайдар, Е. А. Гайдар,

Т. А. Гайдар, В. Г. Ивантер-Гвайта, Л. Б. Ивантер, Н. В Ильина, Л. А. Кассиль, Л. В. Кулешов, Л. Э. Разгон, А. Е. Разумный, В. М. Рябов, М. Н. Стадухин, А. Я. Трофимова, В. С. Фраерман, Р. И. Фраерман, А. С. Хохлова.

1941 год. С июля по октябрь: Б. А. Абрамов, С. Ф. Абрамов, А. И. Безыменский, Е. Ф. Белоконев, Н. М. Гарцуненко, М. М. Ильяшенко-Денисенко, Б. И. Камир, А. Н. Козаков, В. Д. Коршенко, А. К. Ольхович, А. Д. Орлов, И. Н. Прудников, Я. К. Рябоконь, А. Ф. Степанец, В. И. Скрыпник, М. Ф. Тонковид, А. А. Швайко, В. М. Швайко и др.

Очень помогли пионеры Гайдаровского штаба при Архангельском Дворце пионеров, члены клуба «Звезда Гайдара» села Подберезцы Пустомытовского района Львовской области, школы № 16 города Черногорска Хакасской АО, школы № 54 Москвы.

Автор приносит всем им сердечную благодарность.

СОДЕРЖАНИЕ

Часть первая

«ВСЕ ЭТО ОЧЕНЬ СТРАННО, НО ВСЕ ЭТО БЫЛО...»

Часть вторая

«...СКОЛЬКО МУК ДОСТАВЛЯЕТ МНЕ МОЯ РАБОТА!»

Часть третья

«...И СВЯЗЬ СО МНОЮ БУДЕТ ПРЕРВАНА»